



От автора
бестселлера
«Вам и
не снилось»!

Галина
Щербачева

**Провинциалы
в Москве**

Лучшая
современная
женская
проза

Галина Щербакова

Провинциалы в Москве

Диалогия

Нагруженный в тайны жизни.
Вспоминая путь судьбы
На распутье три дороги
Но какой же выбрать?

Мне одна сулит богатства
Другая — счастье
Третья — любовь и тепло
А взамен — любовь и лгу
Что же выбрать?

Галина Щербакова
Москва, 2008 г.
М. — 2008

МОСКВА

ЭКСМО

2 0 0 8

УДК 82(3)
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
Щ 61

Оформление *А. Саукова, П. Иващука*

Щербакова Г.

Щ 61 Провинциалы в Москве. Диалогия / Галина Щербакова. — М.: Эксмо, 2008. — 448 с.

ISBN 978-5-699-27249-5

Вера. Надежда. Любовь. Эти понятия отражают лучшие стороны нашей жизни, наши стремления и мечты. Подтверждение тому — судьбы героев дилогии Галины Щербаковой «Провинциалы в Москве», автора легендарного супермегабестселлера советского времени «Вам и не снилось».

Галина Щербакова написала историю тех, кто страстно, как могут только русские из глубинки, рвался в Москву, а потом получал от столицы колотушки, подарки, признание или изгнание. В чем-то это судьба самого автора и ее поколения, чьи поиски счастья были подчас так наивны и нерасчетливы.

Как всегда в романах Щербаковой, в «Провинциалах» много любви, потому что без нее мы ничего не стоим, считает автор.

УДК 82(3)
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 978-5-699-27249-5

© Щербакова Г., 2007
© Оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2008

Романтики и реалисты (Не для белого человека)

Роман

Нагруженный тайны и всеми
Вспоминаная путь судьбы
На распутье три дороги
На какой ж

Мне одна сулит богатства

Властью тайну ти

Забывая только счастье

Оставая пустоту

Другая предлагает
Власть боливую и тепло
Но взамен любовь и музу
Что-то вводит третий

Ангел не обманет

Мелко претит, содрог

Но, пока ждешь в пути не думай

Все зависит от тебе

I

Федя Марчик вернулся в город к майским праздникам. Бородатый, с розовой проплешиной, в модной курточке, он собирал вокруг себя слушателей и вещал:

– Столица, братцы, не для белого человека. Снес я в крематорий двух мужиков на четвертом десятке и понял: надо смываться. Трусой, рысцей, чем можешь. У тех мужиков было все – степени, спецбуфеты, заграничные визы. А легли и не встали. Столица – это, родные мои, мясорубка. Входишь цельным куском – выходишь фаршем. И это при том счастливом обстоятельстве, если тебя не обмотает вокруг винта... А я хочу ходить на работу пешочком, не торопясь, хочу дышать носом и смотреть на девочек. Хочу патриархальности!.. Я человек полный, темп не для меня. Он разрушает мой образ. И вообще... Свои семьдесят я желаю прожить полностью... Меньше мне не нравится. Семьдесят полноценных, обеспеченных здоровьем годочков.

Среди Фединых слушателей были верующие и неверующие. Первые кивали и похлопывали Федю по круглому мягкому замшевому плечу. «Правильно, старик! – говорили они. – У нас и снабжение в норме, и хороший телевизор две программы из Москвы запросто берет. И тихо, лесом пахнет...»

Неверующие, в свою очередь, делились на злорадных и сочувствующих. Злорадные полагали, что Федю турнули из столицы за недостаток ума. Вот он и приспособливает к себе старую, придуманную неудачниками истину, что мол, лучше быть первым в деревне... А вообще так ему и надо... Высоко взлетал, да на то же место сел... Сочувствующие тоже не верили Феде, соболезновали – как ему, должно быть, бедному, горько там,

в глубине души. Себя представляли в его замшевой шкуре и ежились. Не по себе рубить дерево, ох, какое это вредное для здоровья занятие...

Ася наскочила на Федю, неся полную предпраздничную авоську. Тот не спеша шествовал из пединститута, где получил место на кафедре, в доме возле леса, где по утрам такой густой настой хвои, что обалдеть можно...

Он поцеловал Асю в щеку, и она долго потом ощущала прикосновение мягких Фединых губ, пахнущих заграничной жвачкой.

– Старуха! – вещал Федя, воздевая руки. – Слушай меня! Ходить надо медленно, пережевывать пищу тщательно, тяжестей не носить и улыбаться, улыбаться, улыбаться... Идти, так сказать, от внешнего к внутреннему.

Асе уже передавали этот его монолог – слово в слово. Она слушала и про себя отмечала – все точно. Нашел-таки формулу для оправдания своих неудач. Федя-пустыня, а туда же... Федей-пустыней его прозвали, когда он волею каких-то дурацких обстоятельств еще в институтские времена возглавил в обкоме комсомола лекторскую группу и стал поучать биологов, физиков и славистов, поправляя всех их с «точки зрения марксизма», пока его энергично не остановили. Вот тогда и пошло это точное – Федя-пустыня.

– Перестань, Федя! – не выдержала Ася. – Я это все уже знаю, мне рассказали.

Федя не обиделся. Он благодушно улыбнулся и, наклонившись к Асиному уху, спросил:

– Все не можешь простить? Неужели на всю жизнь затаила обиду? Не гуманно, Аська!

Дело в том, что пять лет назад в Академию общественных наук были представлены на область две кандидатуры – Федина и ее. Ася спала и видела возможность поехать учиться. В работе был кризисный период, когда кажется – все исчерпано, все написано, когда стало му-

торно от однообразия рубрик и тем: «Застрельщики соревнований», «Письмо позвало в дорогу», «С любовью к природе», «Педагогические раздумья»... Казалось – тупик!.. Я вдруг такая возможность – учеба, Москва. Даже разлука с семьей казалась не страшной. Но в академию послали Федю, а ей сказали так:

– Есть у тебя один недостаток. Женщина! Тебя даже рассматривать не стали. Федя, конечно, менее подготовлен, он навсегда останется рядовым мальчиком в хоре, но зато – мужчина...

Говорил так хороший знакомый, ответственный товарищ. Ради этого душевного разговора он даже вышел из-за стола, и они стояли у окна его кабинета, у шелковой лимонной шторы. Нельзя было ни обижаться, ни возмущаться, потому что всякий разговор у шторы – он и есть разговор у шторы. Тем более если слово «женщина» произносится с нежнейшей мужской лаской и легким прикосновением к плечу.

Тут, у окна, и Феде можно было дать объективную оценку – мальчик в хоре, и это не имело никакого отношения к тому, что положительные характеристики на него уже были подписаны. И слово «рядовой» в них без иронии Подразумевалось. Эти тонкие сложности или сложные тонкости выдвиганий – как хочешь их назови – Ася уже давно постигла.

В общем, Федя поехал, а Ася осталась. Понемногу пережила кризис, успокоилась. А теперь Федя вернулся. Борода, степень, курточка, плешь, трубка, жевательная резинка, слово «шокинг»...

– Тебя бы Москва расплющила, – сказал он в ту встречу. – Поверь мне на слово.

– Ладно, – ответила Ася. – Расплющила, так расплющила.

– И, знаешь, давай дружить, – предложил Федя. – Я могу стать твоим внештатным автором. Про что бы тебе накропать?

...На майском празднике они оказались в одной компании. Федина жена Валя и Ася мыли на кухне тарелки. На Вале были франтовский брючный костюм и длинно-волосый пепельно-сиреневого цвета парик.

– Хочешь, продам? – сказала Валя о парике. – Мне он надоел.

– Я не решусь натянуть такой, – ответила Ася. – Еще не доросла до понимания.

– Чего там понимать? – удивилась Валя. – Мода не требует понимания. Москва вся в париках. А тут иду по улице – оборачиваются. Темнота!

– Тебе не жалко было уезжать из Москвы? – спросила Ася.

– Знаешь, когда в любой момент можешь вернуться, не жалко...

– То есть как это – в любой момент? – удивилась Ася.

– Я же не выписалась, – пояснила Валя. – Квартира за нами. Сдали одному аспиранту, он жену с собой учиться привез... Такая любовь!..

– Разве так можно? – удивилась Ася.

– Не можно. Нужно, – ответила Валя. – Нужно. Сын подрастет, поедет учиться, а у него – нате вам! – прописка.

– Не понимаю, – сказала Ася. – Значит, вы сюда не насовсем?

– Почему? Я в Москве жить не хочу, но прописки не отдам. В случае каких осложнений мы с Федей договорились – разводимся. Фиктивно, конечно...

– Треплешься? – В дверях стоял Федя, неодобрительно глядя на Валю.

– Аська своя! – махнула рукой Валя. – Своим – можно. И что мы с тобой, первые?

– Загонишь ты меня в гроб своим языком, – сказал Федя и приобнял Асю. – Не слушай ее. Никуда теперь я из родных краев не тронусь.

Ася рассказала все Аркадию. Он не удивился, не воз-

мутился. «Ну и что?» – «А ты бы мог иметь две квартиры? И там и тут? Смог бы?» – спросила она. «Не дадут, – засмеялся Аркадий, – а то бы...» – «Не выдумывай! – оборвала его Ася. – Никто бы из наших не смог».

«Наши» – и сердце затопляла нежность. «Я становлюсь сентиментальной, – думалось Асе. – И пусть. Наших всегда буду любить».

...И почему ее так разволновал приезд Феди? Неужели сидит в ней старая обида? Ведь она еще тогда себя убедила: в логике «нужен мужчина» есть какой-то резон. Взять ту же любимую подругу Маришу. Два, три года от силы потребовалось, чтобы уяснить и ей, и всем вокруг, что любая работ та, если она грозит «вечно женственному», для нее – катастрофа. А какая работа не грозит? Разве есть такая? Взять хотя бы это умиление в очерках о замечательных женщинах по поводу того, что они – это же надо! – со вкусом одеваются, красиво причесываются, следят за ногтями... Потому что всем ясно – времени на это не хватит. Самой талантливой женщине надо втрое больше усилий, чтобы чего-то добиться, чем самому завалященькому мужичонке. Нет, на Федю нечего было обижаться, и Ася не обижалась. А вот теперь он вернулся, и выяснилось, что обида – даже не обида, а что-то там все-таки шевелится. И это «что-то» не может простить Феде глупой болтливости, запаха жвачки, снисходительной манеры всех поучать. Не может простить разговора о «родных краях», показного, наивного простодушия. В общем, весь он, Федя, со своей Валецкой в сиреневом парике – ее, Асин, неприятель. И не только Асин. Мысли снова вернулись к «нашим». Когда учились в университете, называли себя шестидесятниками. Слово это первым произнес Володя Царев, отличник и лидер всех студенческих движений. «Мы выходим в жизнь во все времена славные шестидесятые...» Он был такой. В полемическом задоре мог создать любую неожиданную теорию. Из ничего. Из слова. Из дыхания.

Трепач был вдохновенный. Но историки спустили на него собак. Неточно, неверно насчет во все времена славных, ври, ври, да не завирайся. Но Володя был, как лев. И всех увлек этим определением. Стали называть себя шестидесятниками. В самом слове была какая-то магия. Самоотверженность, бесребреничество, великодушные, нетерпимость к подлости, идейность, духовность. Вот в чем был смысл этого слова. Однажды она рассказала обо всем этом Олегу Воробьеву, когда они засиделись на кухне с его материалом. В голову не могло Асе прийти, что Олега это взбесит. «Болтовня! – возмутился он. – Чванство высшим образом!» Ася не стала спорить. У Олега было девять классов и был талант. Он страдал от незнания каких-то вещей и, страдая, нападал на всех, проявляющих «осведомленность». Как вот сейчас. Она тогда увела разговор на другое. Это не важно, что Олег ругался. Он по сути тоже был «нашим, шестидесятником». Живет Олег сейчас в Москве, в крохотной квартирке с двумя детьми, восемь месяцев в году – в дальних командировках. Шлет к праздникам открытки: «Скучаю по твоей кухне, по твоему чаю». Но разве придет? Когда ему?

Будь ты неладен, Федя! Разворошил душу своим возвращением. Жвачный кандидат. Такие возможности – и такой результат. Ася даже застонала от обиды. И все-таки... Разве Федя безобиден, как кажется?.. Разве он не генерирует подлую философию? Глядишь – и уже какой-нибудь мальчишка семнадцати лет пишет в редакцию, что наше время – время допусков. Допуск фальши, допуск приспособленчества, допуск расчуждения, допуск бесчестия, допуск предательства. И катишь к нему за тридевять земель доказывать, обращать его и его друзей в свою веру. А он ссылается на какого-нибудь своего Федю, а то и на десяток Федь сразу. Допуск, допуск... Как это у дочери на школьных уроках кройки и шитья? Допуск (или припуск?) на фигуру об-

легания. Требуется, чтоб фигуре было удобно. А «нашим» всегда будет неудобно! Всегда! А на Федю надо наплевать и забыть.

Но Федя – человек слова! – принес-таки статью. Прямо редактору. И ее сразу же тиснули. Актуальная тема – техническая революция, связь искусства и науки в этот период и что-то там еще в связи с моралью. Они оказались в номере рядом – два «кирпича», Федин и Асин. Ася в своей статье рассказывала о трудностях работы сельского отдела культуры. Два года ездила, сравнивала, считала, пересчитывала, прогнозировала. Кто-то на летучке сказал: эти два материала оттеняют, подчеркивают друг друга, а на другой день Федя пришел с коньяком, и редактор вызвал в кабинет Асю, чтоб выпить за нового автора. Федя снова подарил Асе дружеский поцелуй и сказал, что ее материал сделал бы честь любой центральной газете.

– Немного растянуто, – ворчал редактор. – Не умеем писать коротко. Антимонии разводим.

– Ни, ни, ни! – замахал Федя. – Сделал бы честь!

И неожиданно для Аси он оказался прав: материал был перепечатан в центральной газете, потом в сборнике. А через некоторое время Асе позвонили из Москвы и спросили: как она смотрит на то, чтобы взять в свои руки отдел в той газете? Или она кругом повязана семьей и бытом?

– Я не повязана! – ответила Ася.

Сказала и испугалась. Манжетики для Ленки, свисток мусоровоза, очередь за сосисками. Что это? Быт или не быт? Повязка или не повязка? Сердце виновато колотилось, а язык уже на все вопросы ответил, как того ждали. Прости, Аркашенька, прости, Ленка! Я с соседкой договорюсь, она за пятьдесят рублей давно согласна была пришивать манжетики и доставать сосиски. Но когда она, Ася, сама дома, отдать пятьдесят – преступление. Вот когда ее не будет, сумма в самый раз. Ну,

правда! В самый раз! Аркаша, дешевле это не стоит!

Удивило, поцарапало одно: редактор, шестидесятник Володя Царев сам с ней так и не поговорил. Переговоры велись «по его поручению». Неужели же так и не было у него минутки свободной?

А с другой стороны, посмотришь на здешнего редактора – загнанная лошадь и та выглядит посвободней. Володе во сколько раз труднее! Не имеет она права начинать с обиды. Короче, дала согласие приехать.

Будильник был поставлен на шесть часов, а в четыре Олег придавил пуговичку: все равно не спит, все равно уже не заснет. Вдруг выяснилось, что в его замотанной, подчиненной графику выпуска газеты жизни жили и здравствовали воспоминания, о которых он и не подозревал. И вот теперь, когда поезд, везущий Асю Михайлову в Москву, только проскакивает Рязань, его воспоминания уже приехали и расположились в сонной комнате, расселись где положено и не положено, а ему ничего не остается, как каждому оказать гостеприимство.

...В ту пору он ходил в армейских сапогах и гимнастерке. И у него было раз в пять больше волос. Причем совсем другого цвета.

Они жили с Асей в одном доме. Олег один в совершенно пустой квартире, потому что жена Тася ждала сына и жила у матери в деревне. Он любил возиться с Асиной Ленкой, ей тогда был год... Ася была худая, от этого еще более длинная, о ней на работе говорили: «Аська из тех, кто тянет воз...» Определение ей подходило. Даже лямки на плечах виднелись. Но тогда для него имело значение совсем другое – она подтягивала его. Он в те времена говорил «лабалатория», «фундамент» и «буржуазия», потому что были у него за плечами девять вечерних классов сельской школы, три год а армии и два года районки. И еще у него была убежденность, что он может научиться писать... Оставалось

только убедить в этом остальных, всех, кроме Аси. Она не то что верила в него, она просто все в нем видела. Она видела каждую избитую фразу, каждую коряво обрубленную мысль. И это его потрясло. Действительно, тут он прервался на слове, потому что казалось, дальше – его личное и будет никому не интересно. А она извлекала из него это личное, и получалось то, что надо! Он был замечен и оценен. Самое главное, что тогда он и не подозревал, как она на него влияет. Потому что, заподозри он это, он не пришел бы к ней больше. Никогда. Был Олег в те времена человеком упрямым и гордым и ничьего влияния на свою личность и свои писания не допускал. Надо было, чтобы прошли годы и многое увиделось и оценилось по-новому.

«...Старая компания, встретившаяся через десять лет, уже новая компания. Ечдо...» Фраза броско и крупнокегельно лежала на талере, а маленький армянин – верстальщик, размахивая шилом прямо на уровне Олегова живота, шумел:

– Армянский ты не знаешь? Не знаешь! И черт с тобой! Но почему ты воображаешь, что знаешь латынь? Зачем тебе это самое ечдо? С чем его едят? И может, ты думаешь, что у меня в кармане специально для тебя, умника, лежит узкая египетская латынь? Да? Ты так думаешь?

И он шел на Олега, выставив впереди шило, готовый пронзить каждого, кто...

Сон это или воспоминание? В нем все, как было на самом деле. Кроме фразы. Тогда, десять лет тому, он ее еще не знал, не мог знать. Сегодня совсем по другому случаю сказала эти слова их корректорша. «Ах, Олег Николаевич! Десять лет, такой срок! Когда живешь с человеком вместе – не замечаешь. И то – поверьте – иногда подумаешь: во что это мой милый или моя милая выросли?.. А когда не видишь? Бойтесь встреч со старыми знакомыми. Бойтесь разочарований... Вы хотите мне

сказать, что у вас не так. У вас ведь все не так. Хорошо, я молчу!.. Но десять лет! Боже мой!.. Это пойти в школу и кончить. Это быть молодой и постареть... Это умереть и быть забытой. Это что угодно. Тем более в молодые годы».

Олег поцеловал ей руку. Это был принятый всеми мужчинами редакции прием заткнуть корректорше рот. Она тут же радостно умолкла. О чем бы она ни говорила: о дороговизне, о безнравственности молодежи, о многосерийном фильме, о собаке Альме, заболевшей плевритом, стоило ей поцеловать руку – и она растроганно замолкала. «Мерси», – говорила она тоненько.

Верстальщик и корректорша никогда не знали друг друга. Они из двух половинок Олеговой жизни. Как теперь говорят: до того и после того ... Валек Манукян уже умер. Очередной гнев против газетчиков, которые понятия не имеют, что такое верстка, шмуцы, «воздух», а торчат у него возле талера, кончился инфарктом. Упал, сжимая в руках шило и чьи-то отлитые строчки.

– Та-а-а-лант? А что это такое? – шумел он. – Такого слова нету в моем наборе. И я тебе скажу: всякого умника можно сокращать с любой стороны, а с середины еще лучше. Я могу взять весь твой материал на шпоны... Думаешь, кто-нибудь это заметит?

... От свертка на шкафу падала на стену геометрическая тень. В свертке было шесть высоких фужеров, вроде как бы хрустальных. Тасина идея – принести их на Маришино новоселье. Олег не спорил, хоть и считал, что нужно что-то другое, попроще, без затей. И без подделки. Даже эмалированная кастрюля была бы лучше. Не под что-то, а сама по себе.

В той, старой жизни он любил Маришу. Любил так, что мог бы бросить беременную Тасю, новую квартиру, работу, единственные сапоги и босиком пойти за ней, куда она скажет. Она не сказала, она уехала. На ее про водах много пили, много ели, много пели. В какой-то

момент Ася с мужем взяли его за руки и увели к себе домой. И уложили на диванчике напротив маленькой Ленки. И Ася дала какую-то таблетку. Он уснул и проспал поезд, на котором уезжала Мариша. Пришел в редакцию, когда все провожавшие уже вернулись с вокзала.

На этом история и кончилась. А сегодня у Мариши московское новоселье. Они понесут ей с Тасей фужеры. Но это – вечером. А рано утром он встретит Асю...

И будет их в Москве трое из общей молодости... Ася кричала в трубку: «Ты советуешь, да? Ты советуешь?» Он советовал. А теперь вот не спит. Пойдет встречать, посмотрит на нее и скажет то, чего не сказал по телефону.

«Мать, – скажет он. – У тебя есть силы? Элементарные, физические? Ты спишь ночами? Какой у тебя гемоглобин?»

Чушь! Ничего такого он у нее не спросит. Если гемоглобин считать, надо уезжать, а не приезжать. Уезжать в глухомань, чтоб от узловой станции не на машине – на лошадке добираться до места. Чтоб вода – так из колодца, баня – так по-черному... Зачем он врет? Кто ради высокого гемоглобина будет теперь так жить? Вот недавно уехал из Москвы Федя Марчик. Собирал знакомых мужиков выпить с ним «стремянную». Компания собралась вся из бывших провинциалов. И естественно – сцепились на старую тему: стоило или нет рваться в Москву. Взвешивали плюсы и минусы. Здесь большая информированность, ближе к пульсу, самой Москвой заданная высота. Зато там ты – ферзь. Выпили, крикнули и пошли по детям. Тут единодушия не было. Музыкальные школы, фигурное катание, уже в детстве московский уровень взглядов и отношений. Но с другой стороны – здесь они в машинах разбираются, а березу от осины не отличают. Московские эрудиты, умники, помешанные на любви к собакам и кошкам, а... злые...

злые. Нет, в деревню бы всех детей, чтоб «здравствуйте» говорили всем взрослым, чтоб в школу в валеночках, пешочком, по тропочке меж сугробов. Федя в дискуссии был мячиком: то Федя – дурак, что уезжает, то Федя – молодец.

Олег тогда тоже высказывался на эту волнующую тему, а потом приехал домой, выпил крепкого чаю и всю ночь думал: а где ему лучше? У него были все этапы продвижения по лестнице (вниз? вверх?). Были и баня по-черному, и колодезная вода. Было общежитие строителей, где ему дали коечку, когда взяли в областную газету. Потом была выстрадавшая в разных приемных комнатах в коммуналке, с уборной посреди двора. И он нес туда по утрам зеленый эмалированный горшочек, потому что Тася в конце беременности сильно отекала и ей прописали мочегонное. Было стыдно идти через весь двор. Казалось, в каждом окошке по десять пар глаз. Он ненавидел тогда Тасю. Негоже в этом признаваться, но что поделаешь, если тогда все было сразу: любовь к Марише и расплывшаяся Тася, комок в горле оттого, что Мариша уехала, и горшок... Периодец! Хлебал трагедию и фарс деревянной ложкой.

Потом были гостиницы в Москве. И манную кашу варили сыну тайком, под кроватью. И однажды загорелся матрас. Чтоб его потушить, он бросил его на пол и лег сверху, прямо на черное, посверкивающее искрами вонючее пятно. А Тася, распахнув окно, принялась выгонять полотенцами дым. Теперь у него квартира из двух маленьких комнат, на пятом этаже. Без лифта. И уже тесно, неудобно, а ничего впереди лучшего. Но черт возьми! Разве в этом суть? Все это мелочь – и ночные горшки, и теснота. Главное – возможность реализации. Это не его выражение. Это определение одного социолога, который занимается проблемами миграции и, в частности, вечно живым в русской интеллигенции зовом – в Москву! Ведь если честно, то они с Тасей за

шесть лет были в театре один раз и то на общественном просмотре, куда его пригласили как специалиста по сельской теме. Но что делать, если он человек не светский и гармонического сочетания того, другого и третьего у него не получается?

Получается одно – заметки, которые он до сих пор пишет с таким трудом. Это внутренняя кухня каждого – как писать. Одному тишина нужна, другому окно, чтоб из него дуло, третьему побольше дыма и ору вокруг, а ему – чтоб заломило в душе. Чтоб пришло ощущение, что это с тобой случилось, что сквозь тебя, навывлет прошла история и другого пути, как написать об этом, нет. И тут его ценят за это. Тут уважают его состояние, когда он болен темой. И ничего ему другого в жизни не надо!

Но разве все это в пьяной Фединой компании скажешь?

Приезды, отъезды. Это целый роман, которого он никогда не напишет. Роман на вечную тему: что человеку надо?..

Скоро поезд привезет Асю. Хорошая она, честная, добрая, работающая... Она-то приезжает дело делать. Шестидесятница! Федя – туда, она – оттуда. Жизнь не такая дура, если разобралась, кого куда.

Ей надо будет помочь. В трудное время она приезжает. Вовочка Царев подминает под себя своего первого зама Крупеню. Два медведя в берлоге. Царев страстно, целеустремленно, умело выживает Крупеню. И это невозможно понять. Потому что Крупеня – главный кирпич в основании газеты, вытолкни его, и все рухнет, к чертовой матери. К нему все нити, от него все связи. Кто-то сказал: Крупеня скрепляет вчерашний день с сегодняшним, а сегодняшний с завтрашним. Он сразу и традиция, и перспектива. Так Крупеню и изобразили в дружеском шарже к его пятидесятилетию. Большая голова с острым носом ростками вверх и вниз. К нему

идут все. Стажеры по поводу выпестованной гениальной фразы и старые корректорши с жалобами на радикулит и непонимание. А Вовочка уже наложил ему на хребет свою челюсть, осталось только сомкнуть. А почему бы им не быть вместе?.. Но идет битва до крови. С большими потерями... И не только для них самих. Начался мерзопакостный процесс ориентации. В царевском предбанничке без дела толпится разнообразный редакционный люд – прямиком в кабинет не идут, Вовочка выше лизоблюдства и подхалимажа. Оставляет люд о себе, так сказать, зрительное воспоминание: я тут стоял, когда еще ничего не было решено... И предстоит партийное собрание, на котором Олегу надо будет изложить свою точку зрения. Он знает, что скажет. Он скажет Цареву и Крупене: «Мужики! Вы в борьбе теряете две вещи – один здоровье, другой совесть. Кому вы без этих компонентов нужны?» «Мужики», «компоненты»... Идиотский стиль, соответствующий идиотской ситуации. Кстати, Аську надо научить жить и работать в этой сваре. Нужнейшая, надо сказать, наука.

И тут, конечно, желательно высокое количество гемоглобина. Да еще с примесью самоуверенности. Вот этого никогда в ней не было. А может, с годами приобрела?

Сколько сейчас сил у Аси, чтобы начать сначала? Сколько? Мариша за эти годы ушла из журналистики. «Журналистом хорошо быть в молодости... Седая дама, берущая интервью, смешна... Похожа на просящую подавание...» – «Я тебе дам подавание!» – закричала тогда на нее Ченчикова, их Великая Священная Корова.

Сегодня вечером соберется старая компания. И не надо каркать. Все должно быть хорошо. Мы сделаем, чтоб все было хорошо. Как сказал бы маленький верстальщик Валек Манукян.

– Не важно, сколько строк. Важно, чтоб от этого кому-то стало лучше!.. Или хуже! Важен – результат!..

Конечно, если стоишь целый день в коридоре вагона у окна, обязательно кто-то начнет тебя «кадрить». Ася удивилась, когда всплыло именно это слово. Она не любила современного молодежного сленга. Но тут вроде точнее не скажешь. Какое есть слово для обозначения этой нахально-трусливой манеры задевать ее локтем, извиняться и спрашивать, что она такое интересное увидела за окном. Или, может, она задумалась? Очень тонкое и глубокое наблюдение! «Двинуть бы тебя разок», – беззлобно подумала Ася, глядя вслед синему тренировочному костюму. Сейчас он будет идти назад от мусорного бака и спросит, не заболели ли у нее ноги от долгого стояния.

– У девушки ноги устали, а она все стоит и стоит, – сказал «тренировочный костюм». – А, между прочим, в ногах правды нет... Если бы я был вашим мужем...

«Ну а если все-таки двинуть?» – вернулась Ася к мысли.

– ... я бы такую симпатичную жену одну никуда не отпускал. Тем более такую грустную... Стоит и смотрит, и смотрит, а за окном ведь однообразие... Столбы и поле... Поле и столбы...

Из соседнего купе вышла дама: в брюках и цветастой нейлоновой кофте навывпуск и, загородив дверь, встала спиной к коридору.

– Я ни в чем не нуждаюсь, – сказала она, продолжая разговор с кем-то в купе. – И поесть, и надеть хватает. И техника вся есть – и бытовая, и развлекательная. И на книжке на всякий непредвиденный случай. А работы я и после пенсии не бросаю. Не представляю себе жизнь вне коллектива...

– А вы не любите коллектив, – сказал «костюм», заглядывая Асе в глаза. – Вы любите одиночество.

– Слушайте! – Ася вдруг разозлилась. – Идите-ка вы подальше. Какое вам дело, что я люблю, что не люблю... Перестаньте меня нечаянно толкать... Я ведь тоже умею

толкаться.

Скандала она не ожидала. Но, оказывается, все не так просто. Тип объединился с дамой, и пошло. И что они ей годятся в родители. И что образование, может быть, у нее высшее, а воспитания, культуры нет... И что не положено стоять в коридоре. Если есть билет, садись на свое место. И не мешай проходу. Людям в туалет надо, может, кто стесняется, а она торчит здесь торчком. А если стоишь, то уважай других, отвечай, когда спрашивают.

– Я ведь что у нее спросил? – горячился «тренировочный костюм». – Спросил, любит ли она коллектив или предпочитает одиночество. А она грубит!

Ася закрылась в купе.

– Чего там шумят? – спросила ее соседка. Она снимала на ночь серьги, броши и кольца и складывала все в полиэтиленовый мешочек. На ней было великое множество украшений. Ася не очень в этом разбиралась, но, даже по приблизительному подсчету, это должно было стоить много денег. Профессиональное журналистское любопытство толкало к разговору, чтобы выяснить, кто она, эта владелица дамских елочных игрушек.

– Это они обо мне. Я стояла и мешала людям ходить в туалет. И не люблю коллектив...

Соседка подняла на Асю большие перламутровые глаза и покачала головой.

– Я не поняла, – сказала она. – Я многого сейчас не понимаю. У меня сын в десятом классе. Вы знаете, я почти не понимаю, что он говорит.

– Почему? – удивилась Ася.

– Потому что все не так, как говорили мы. Вы знаете такое слово – кадрить?

Ася засмеялась. Это ж надо!

– Знаю. Хорошее слово. Точное.

– Хорошее? – Соседка откалывала от блузки овальную янтарную брошь. – Я его не понимаю. Что это?

– Ну... Закидывать крючок... Заигрывать...

– Это понятно. Но какой там корень? Кадр?

– Пусть говорят, как хотят. Ничего ведь в этом нет плохого. Язык – организм живой.

– Организм... Язык – организм, – прошептала соседка. – Тоже не понимаю.

– Бросьте, – мягко сказала Ася, – дело ведь не в словах...

– В словах! В словах! – Соседка затрясла перед Асиным лицом полиэтиленовым мешочком. – Я вот вас спросила, что за шум в коридоре. Могли вы мне просто сказать, кто поскандалил или что разносят чай, а вы мне что говорите? Что не любите коллектив. Или это они вам сказали?

Ася видела, как большие глаза соседки наполняются слезами. И вдруг вся ее дорога, и этот тип в коридоре, и дама из соседнего купе, у которой есть вся техника, и эта соседка с мешочком и с набухшими от слез глазами, и она сама, вся неприбранная, уставшая, – все это показалось ей неправильной случайностью. Зачем она едет в Москву? Чем ей было плохо дома? Ведь было хорошо. Очень хорошо. У нее тоже все было. И даже в смысле техники. А она рванула по шву такую добротню сшитую жизнь. Она вспомнила, как провожали ее на вокзале. Шумно, бестолково, говорили, что она счастливая, что ей повезло, а Аркадий всех уверял, что не хочет в Москву. Его обнимали, утешали, но формально: никто не хотел верить, что ему действительно жалко бросать работу и что в Москве ему может быть хуже. Только Ася знала, что дело не в работе, а в том, что Аркашка не любит никаких перемен. Такой уж характер. Он любит темные рубашки, потому что они дольше носятся. Смешно, но, когда даешь ему все чистое и наглаженное, он все как следует изомнет, а потом только наденет. Пьет всегда из одной чашки, ходит только одной и той же улицей, выписывает уже тринадцать лет одни и те же издания.

Человек-привычка. И не было у нее большего противника переезда, чем он. А ведь как она была красноречива! Он все выслушал и сказал, что она неэкономно тратит эмоции и слова, что она наговорила минимум «на три подвала» о пользе перемен. Но, увы, ни в чем его не убедила. У него тоже есть свои «три подвала» на противоположную тему, но если родина, то есть родная жена, скажет, что надо, он готов ехать куда угодно, хотя убежден, что счастье – понятие оседлое.

– Когда говорят «счастье дорог», – сказал тогда Аркадий, – это надо воспринимать как пропагандистский трюк... Ведь кому приходится много ездить, не должны чувствовать себя обделенными.

– Ты это серьезно? – возмутилась Ася. – Журналисты, геологи, монтажники, моряки, по-твоему, ненормальные?

– Я деликатен, – сказал Аркадий. – Но если совсем честно, то у них не все дома... Ты не обижайся, я тебя все равно люблю... Ненормальные, они чем хороши? С ними не соскучишься.

И он произнес своих «три подвала». Мужчина второй половины двадцатого века: не охотник, не добытчик, не воин – мыслитель, философ, лентяй.

– Я тебя возненавижу, – сказала Ася.

– Нет, – сказал он. – Это пройдет... Ты меня оценишь потом.

– А если не оценю?

– Ну почему ты мне не веришь? – оскорбился он. – Я же самый умный в нашем роду.

Они расстались на три месяца. За этот срок ей обещали, если все будет о'кей, квартиру. «Дом на выходе», – сказали ей по телефону, знакомые ребята посоветовали поехать посмотреть постройку, покалякать с рабочими, они, мол, знают, как на самом деле, и точно скажут, сколько дней в этих трех месяцах. Скорей всего, не девяносто. Может, сто восемьдесят, и вообще есть ли там

фундамент? Договорились до того, что она, дура, обольщена редактором (у того опыт работы со слабо-развитыми странами). И пусть захватит с собой с Урала гвоздей, с ними в столице напряженно, хотя, конечно, глупо везти их так далеко, лучше и надежней наворовать на любой стройке. Тут же стали решать, кто будет на стреме, а кто пить со сторожем и в каких сумках гвозди лучше таскать. Пришли к выводу, что дипломатические чемоданчики, вошедшие теперь в моду, очень для этого пригодятся.

Все испортил Федя. Прослышав об Асином отъезде, он прибежал и стал давать советы.

– Прежде всего, – поучал он, – определи расстановку сил. Кто там над кем и кто под кем. Реально, а не по штату... Темы выбирай осмотрительно. Они все ушлые, подсунут тебе что-нибудь гиблое – сорвешься. Нужен верняк...

– Федя, я как-нибудь сама, – оборвала его Ася. – Своими слабыми силами...

– Квартиру требуй хорошую. Ссылайся, что, мол, у тебя тут...

– Никудышная, – засмеялась Ася.

– А кто тебя будет проверять? Дороже, дороже себя продавай!

– Надо, чтоб у меня еще хоть что-нибудь получилось.

– Идиотка! – закричал Федя. – Ты же въезжаешь на белом коне! О чем ты говоришь!

Потом он сообщил, в каких лучше жить гостиницах. В «Центральной» есть одноместные дешевенькие номера (но без санузла!), а в «Юности» очень шумно, не смотря на близость Новодевичьего кладбища, гостиницы ВДНХ – это у черта на рогах и никакого приличного сервиса, и вообще, если б он знал, то, конечно, не впустил бы в свою квартиру аспиранта, пусть бы жила она, все-таки она ему ближе. И снова полез целоваться, ну прямо отец родной... А Ленка принялась составлять

список, что ей купить и выслать.

Писала и спрашивала, как пишется «фломастер». «Напиши как-нибудь, – сказала Ася. – Я разберу». – «При чем тут ты? – оскорбилась Ленка. – Я должна знать точно. Так как же?» – «Посмотри в словаре», – крикнула из кухни Ася. «Ты сказала много лишних слов вместо двух – не знаю. Если человек честно признается, что он чего-то не знает, это гораздо лучше, чем прикидываться, что знаешь...» Могла ли я, подумала тогда Ася, в двенадцать лет ответить так матери? Даже теперь, когда мать приезжает, Ася ловит себя на мысли, что теряется в ее присутствии, что вдруг начинает давать двусмысленные ответы, как-то робеет... Видно, это все приходит вместе с матерью из детства, которое было и достаточно бедным, и достаточно неласковым, и довольно несправедливым в распределении любви между детьми. Мать любила младшего сына, к Асе относилась сурово, считала ее неудачницей уже потому, что к тридцати годам у Аси было не больше платьев, чем в двадцать. «Не в платьях счастье, – сурово вещала мать, – но все-таки. Ты же дама, а не свиристелка какая... У тебя и простыни все те же, что я тебе в замуж дала». Бывало, что, зная о приезде матери, она мчалась в магазин и покупала первое попавшееся, наносила рваную рану в бюджете и сама себя за это презирала. Вообще с деньгами и вещами у Аси отношения были сложные. Она не умела с ними обращаться, а они с ней обращались дурно. Деньги тут же уплывали, вещи мгновенно изнашивались, всегда стояла проблема то пальто, то сапог, то шапки. Это злило. И тогда она шла и покупала то, что продавалось без очереди по причине уродливости и дурного качества. Когда-то в студенчестве она научилась приспособливаться к новой жизни старье и иногда выглядела недурно в перешитых, перекроенных платьях и шляпах. Но сейчас было другое время и переделанная шляпа выглядела переделанной шляпой, а не чем-то оригинальным. И

платье местной швейной фабрики даже с роскошным галстуком (совсем из другой оперы) выглядело платьем местной швейной фабрики и галстуком из другой оперы. Никто теперь не говорил: «Аська, какая ты придумщица!» А говорили так: «Галстук привезенный? Сразу видно...» Это значило, все видят: платье везли не изда- лека...

... Соседка по купе смотрела в окно. В ее больших неподвижных глазах плясали огни переездов, незнакомых поселков, и от этих огней глаза ее казались особенно большими и особенно потухшими.

– Я думаю о сыне, – вздохнула она. – Вы знаете, он мне отвечает только тогда, когда ему хочется. На некоторые вопросы я получаю ответ через месяц. Я как-то у него спросила, нравится ли ему дочь моей приятельницы. Он посмотрел на меня и ничего не сказал. А ровно через месяц за обедом говорит: «Ты спрашиваешь меня, нравится ли мне Оля. Так вот. Она дрянь».

– Ну, тут все понятно, – засмеялась Ася.

– Что? Что вам понятно? – заторопилась соседка. – Что Оля ему нравилась, а потом разонравилась, так, да?

– Ну конечно!

– Разве я об этом? Почему он мне сказал об этом через месяц? Ведь, в конце концов, я могла и забыть, что спрашивала.

– Не забыли ведь...

– Могла забыть, – рассердилась соседка. – У меня не только Олей занята голова. У меня таких, как она, сто двадцать человек. Ведь я веду занятия с хором в музыкальной школе.

– Вы музыкантша? – почему-то обрадовалась Ася.

– Я педагог, – сказала соседка. – Музыкантом я не стала. Не спрашивайте меня почему.

– Я не спрашиваю.

– Давайте ложиться спать. В Москве будем рано. Вас будут встречать?

– Нет, – ответила Ася.

– А меня будет встречать муж. Я вас предупреждаю сразу, он у меня старый... Но это не имеет никакого значения. У каждого свои обстоятельства.

Старый муж оказался человеком лет семидесяти с профессорской внешностью. Он довольно лихо подхватил чемодан и сумку и бочком, молча засеменил к выходу.

– Счастливо вам, – сказала соседка. – Так к нам никого и не посадили. Очень удобно вдвоем с женщиной. Я на ночь совсем раздевалась.

– До свидания, – ответила Ася. Ей хотелось сказать, чтоб соседка взяла у мужа хотя бы сумку, но тут она увидела в окно Олега. Он махал ей рукой и показывал, что все, мол, выходят и ему поэтому никак не зайти в вагон. «А профессор вошел», – подумала Ася, и тут он как раз прошел мимо окна с сумкой и чемоданом, а за ним, сверкая бриллиантами в ушах, прошествовала соседка. «Как все просто, – подумала Ася. – Сколько же это между ними? Двадцать? Тридцать? И сын, который отвечает на вопросы с месячным опозданием?!»

Олег протиснулся в купе.

– Ты лентяйка, – сказал он. – Не могла заранее выйти в тамбур? Было бы гарантированное такси.

Поехали на метро, и хорошо сделали, потому что именно там Ася вдруг почувствовала себя неожиданно счастливой. Вот она в Москве, все у нее славно и будет славно, все получится, это даже хорошо, что первое время она будет одна, не будет отвлекаться заботами о Ленке и Аркашке, будет вкалывать как зверь и докажет, что пригласили ее не зря. Олег такой молодец, что встретил, ему ведь через всю Москву пришлось ехать. Хотя они и дружили когда-то, но она его на вокзале не ждала и не обиделась бы, если б он не пришел.

– Как твои? – спросила она его.

– Нормально.

– Соскучилась по Таське. Когда я ее увижу? Мы соберемся?

– И даже очень скоро...

– То есть?

– У Мариши сегодня новоселье. Она уже договори-
лась с Царевым, что сегодня ты на работу не выйдешь.
Ей некому тереть яблоки, у нее руки будут луковые.

Ася прислонилась к колонне и расхохоталась. Она
смеялась долго, и люди, которые их обтекали, все шли и
оглядывались, потому что думали – она плачет. Ничего
другого и нельзя было подумать, глядя на печальное
лицо Олега и на то, как он задумчиво и с пониманием
тряс головой, мол, поплачь, поплачь, полегчает. Ася
представила, как они выглядят со стороны, и совсем
зашлась. Это ж надо! Мариша звонит и говорит главно-
му: «Вовочка! Ты меня любишь? Хотя смешной вопрос, я
это и так знаю. Так вот, у меня руки луковые, а ты как
раз сегодня ждешь новую сотрудницу. Отдай мне ее на
день... У меня яблоки некому тереть. Отдай, отдай, не
будь феодалом. В конце концов, она после поезда и ни
на какую умственную работу не способна. Спасибо, Во-
вочка, ты – молодец, и я тобой горжусь... Чмок, чмок...
Это я тебя поцеловала...»

– Ну, хватит, – сказал Олег. – Идем, мать... Я так и не
понял, чего тебя разобрало?

Ася закивала. Ну где ему это понять? Приехал через
всю Москву, она думала – вот молодец, а оказывается,
Марише нужен салат из яблок.

– Ты думаешь, я из-за нее пришел тебя встречать, –
хмуро сказал Олег. – Мы с Тасей давно решили, что я
тебя встречу. Таська убеждала меня привезти тебя сра-
зу к нам, но я думаю, чего таскаться с вещами? Надо
устраиваться капитально... Ты ведь насовсем... Не в ко-
мандировку...

Ах, Мариша, Мариша! Аркадий про нее говорит – су-
щество. «Что ты в это вкладываешь?» – спрашивала Ася.

«Ничего, – отвечал Аркадий. – Ничего конкретного. Мне само слово нравится, когда оно на нее надето».

Два года после университета они работали в одной газете. Мариша была кумиром, центром, царицей, в общем, всем. Они вокруг нее крутились, как мотыльки возле лампочки. Все, без исключения. Старенький редактор, сердечник и капельку алкоголик, лекарство принимал только из ее рук. Свирепейшая баба, что была у них завхозом, Агния Крячко, приносила ей с рынка мясо, яички, и все знали, что для этого она встает в семь утра, потому что живет за городом. Ответственный секретарь, грубый парень, презирующий всех и удовлетворяющий свое презрение тем, что из каждого повода извлекал тему для издевательств, ставил Маришины опусы в номер без правки и закорючку на «собачке» выводил бережно, не прикасаясь к листу. А Олег... Он тогда только пришел к ним то ли из районной газеты, то ли из армии, солдафон солдафоном, «есть», «слушаюсь», «будет сделано», сапоги сорок четвертого не помещались под только входящим в моду «модерновым» столиком... Кстати, это Мариша ездила с редактором на мебельную фабрику выбирать для редакции столы. Нечто легкое, абсолютно раскрытое для обозрения со всех сторон, с одним-единственным запирающимся ящичком, в котором могла поместиться разве что пудреница. Из старых прожженных, заляпанных, затасканных столов все вывалили прямо на пол. Так и лежали несколько дней непотребные кучи, с которыми не знали, что делать: выбросишь, а вдруг там что ценное? И опять Мариша пришла однажды с пионерами, и они все унесли. «А вдруг тут что-то ценное? – спросил ответственный секретарь. – Надо бы перебрать». Мариша посмотрела на него так, что тот сразу вышел и наорал на Асю за то, что она до сих пор не может сделать подпись под клише. Уж не нужен ли ей для этого творческий день? Вот тогда Олег и влюбился в Маришу без памяти. Тася жда-

ла ребенка, жила у родителей в деревне и, слава Богу, ничего не знала. А тут Мариша засобиравалась на Украину. Нынче понимаешь, что никакая это была не драма, просто всем было по двадцать с хвостом, любовь была рабочим состоянием, но это сейчас легко говорить, а тогда... Олег метался по редакции, совсем было решил ехать с Маришей на Украину. Но остался. Мариша уехала одна. Что-то между ними произошло, никто не знал что... Не любила Олега? Но ведь чувства Мариши не обсуждались. Не в этом дело. Олег-то любил и не поехал... Все ведь ждали, что он поедет. Готовы были к проявлению всяческой жалости к Тасе. А он не поехал.

Мариша потом писала, что вышла замуж, прислала несколько посылок с фруктами. Угостили ими нового редактора (старый ушел на пенсию), угощали и наперебой рассказывали, какая была удивительная их Мариша.

– Но ведь она, братцы мои, не такое уж светило, – удивился он. – Я смотрел подшивку, обычная разлюли-малина...

Ответственный секретарь покраснел.

– Она все делала вовремя, – сурово сказал он. – А тут ждешь иногда подтекстовку в сорок строк целый день...

Ася посмотрела на него в упор. «Ну что за личность!»

– Мариша – это душа, – сказала Агния.

А Олег перебрасывал пингпонговый шарик, с левой ладони на правую, с правой на левую. И молчал, а Ася думала, увидятся ли они с Маришей когда-нибудь опять.

И вот сегодня увидятся. Сколько воды утекло! Олег уже семь лет москвич, журналист союзного значения. Так о нем говорит Агния. Она всех новеньких в редакции вводит в курс дел настоящих, прошедших и если нужно, то и будущих. «У нас есть крепкие перья, – сообщает она новеньким. – Например, Ася. Очень несимпатичная женщина, но я человек справедливый. Олег еще

недавно сидел вот за этим столом. Ходил вот в таких сапогах. – Она разводила руками на всю ширину плеч. – И иногда, я извиняюсь, от них шел запах. Он ведь простой деревенский парень».

Сегодня первый день Асиной новой, московской жизни. И она будет тереть яблоки для Мариши.

– Господи! Как же это ей удалось с Украины переехать в Москву?

– А я все думаю, почему ты ведешь себя не по-женски и ничего не спрашиваешь, так сказать, по существу...

– По существу существа, – засмеялась Ася. – Просто я обалдела от самого факта... Ну так как же?

– Просто. Модный фиктивный брак. Союз двух заинтересованных лиц. Это чтоб ты не задавала лишних вопросов. Бестактных.

– Я такая? – удивилась Ася.

– Я оказался такой, – сказал Олег. – Вот и не повторяй моих ошибок.

– Какая она сейчас?

– Необыкновенная, – печально сказал Олег. – Необыкновенная она. Как всегда.

Молоденькая девчушка в номере гостиницы, куда они вошли, подняла с подушки голову в громадных бигудях.

– Я выйду, – сказал Олег. – Ты располагайся. – А глаза приклеились к бигудям. Девчушка засмущалась и попробовала прикрыть их крохотными ладонями. – Ничего, ничего, – сказал Олег. – Просто вы как космический гость. – И вышел.

Ася толкнула чемодан под кровать и остановилась, не зная, что делать дальше.

– В шифоньере плечики, – сказала девчушка. – Вы надолго?

Ася посмотрела на нее и замялась. Что ей сказать?

Приехала насовсем? Или на неделю?.. И вообще откуда она взялась, эта кроха, и почему она в гостинице, если ей надо быть в школе?

– А я на семинаре, – сказала девушка. – Я старшая пионервожатая. Меня зовут Зоя. В честь Зои Космодемьянской.

– Ну какая же ты Зоя? – усмехнулась Ася. – Сколько тебе лет?

– Столько же! – возмутилась девушка.

– А я думала, четырнадцать. Ты извини. Но сейчас все такие большие, рослые, а ты маленькая.

– Я? – удивилась кроха, рывком вставая на кровати, и Ася увидела, что не так уж она мала и ноги у нее торчат из-под короткой ночной рубашки полные, женские, с круглыми шершавыми коленями. Она шагнула прямо с постели на пол, и Ася подивилась – как можно было так ошибиться? Только лицо у девушки было детское, маленькое, а может, таким оно казалось от бигудей? – Пусть он заходит, – сказала Зоя. – Я пойду умываться. Чего там? Надо понимать. Ко мне тоже будут приходить знакомые. – И она скрылась в ванной.

Ася взяла сумочку и вышла в коридор. Олег стоял у окна.

– Пошли попьем кофе, – сказал он. – Ты заметила, какое смешное лицо у девчоночки? Совсем детский сад.

– Я тоже так думала. Решила – ребенок. А у нее бабьи ноги. Она пионервожатая и дала мне понять, что к ней будут гости ходить. Вот так-то, старичок. Ни черта мы в них, в нынешних, не понимаем. Терра инкогнито.

– Хочешь получить первый совет? Не драматизируй и не усложняй. Больше присматривайся.

– Я разберусь, – перебила его Ася. – До таких советов я сама могла додуматься.

– Я тебе сокращаю путь познания.

– Не надо, – сказала Ася, – не надо. Ты мне лучше скажи, как дети?

– Смотри, – сказал Олег, – твоя соседка. Зоя шла, покачивая бедрами. Было видно, что походку она себе придумала специально к брючному костюму.

Рядом с ней шла другая девушка. Олег тихонько присвистнул. Ася поняла: посмотри, мол, и сравни. Зоя воплощала собой провинциальный модерн – кримпленовые брюки, на плече галантерейный набор из листочков и ягод, волосы – аккуратными трубочками, грубо раскрашенные глаза. Другая была полной противоположностью. Румяная, здоровая, с вызывающе деревенской косой, с такими просто глазами, с таким большим телом, которое исхитрилось остаться независимым от надетых на него тряпок.

Ася кивнула – поняла! И когда те ушли, Олег спросил:

– Какова? Надо бы сходить на этот семинар! Посмотреть, что они там делают, эти полпреды пионерского детства. Сомнения у меня относительно их надежности огромные... Слишком уж они высокие, здоровые, сильные. А я тоскую «по туберкулезному типу». Такой я паразит.

– Ты скажи это Тасе, – посоветовала Ася. – Она тебе мозги вправит.

– Вправляла, – сказал Олег. – Знаешь, что она утверждает? Что они с виду здоровые, а внутри такие хворые, такие хворые. – Олег глазами и губами показал, как это могла сказать Тася. Вышло смешно. – Смеешься? – удивился Олег. – У тебя разве не возникает страха, что мы выкармливаем породу, не представляя себе четко ее назначения?

– Дай им вырасти. Они сами найдут свое назначение.

– Сами? – взметнулся Олег. – Сами? Чего ты ждешь на непосянном поле?

– А ты вроде пенсионера. «Вот мы, в наше время...»

– Слушай, мать, – сказал Олег. – Я согласен быть ретроградом, мракобесом. Кем хочешь... Я выдвинул идею,

но очень жажду, чтоб ее опровергли. Ведь я лицо заинтересованное, у меня у самого двое хлопцев.

– Боже мой! – Мариша притиснула Асю к своему розовому стеганому халатику. – Еще выросла? Или это я уже оседаю?

Ася разревелась. Вот уж этого она от себя никак не ожидала. Слезы полились, полились, и на душе стало печально и сладко, и хотелось плакать долго, долго, промокая щеки на розовой душистой Маришиной груди.

– Все! Все! – сказала Мариша. – Ты дурочка. Я совсем забыла, что ты у нас ревушка-коровушка.

– Да нет, – сказала Ася. – Уже давно нет... Это я так... Случайно... От недосыпа...

– Ты у меня отдохнешь. Я с Вовочкой договорилась, ты можешь сегодня на работу не ходить.

Ася покачала головой.

– Вот это ты зря. Я обязательно пойду. Если нужно, давай я сейчас что-нибудь сделаю, а потом обязательно – в редакцию.

– Но я же тебе объясняю. – Мариша взяла Асины руки в свои и стала их раскачивать. – Объясняю тебе, дурочка. Хочешь, я позвоню ему еще раз?

– Да нет же! – рассердилась Ася. – Я должна идти, должна.

– Ну хорошо, – сказала Мариша. – Должна, так должна. Я хотела как лучше.

– А сейчас я тебе помогу.

– Глупости, – ответила Мариша, – не в этом дело. У меня сейчас Полина. Я просто по тебе соскучилась. Я ведь знаю – завертись в колесе, тогда и не вытащишь. А сегодняшний твой день был вроде ничей, вот я и решила его захватить.

– Ты не сердись, – мягко сказала Ася. – Но мне не хотелось бы начинать с того, что мы с Вовочкой из одного

инкубатора и нам ничего не стоит вот так взять и договориться...

– Все не так! – воскликнула Мариша. – Все не так и наоборот. Ты должна помнить, что всегда можешь рассчитывать на старую дружбу.

– Не знаю. – Ася упрямо покачала головой. – Отношения должны складываться заново. Тогда мы пели в одном хоре, а сейчас, говорят, у него уже есть опыт работы со слаборазвитыми странами. Кое-где повращался!

Обе засмеялись, и Ася почувствовала, что с Маришей ей будет легко, что у нее всегда можно будет найти понимание, а ей, Асе, это нужно потому, что она последнее время ловит себя на мысли, что ей легче поссориться, чем найти общий язык, легче отказаться от каких бы то ни было отношений, чем наладить, гораздо легче терять, чем находить... Она казнила себя за это, мучилась, но, будучи человеком искренним, не могла не видеть, что именно так – с неизбежными этими потерями – она скорее остается сама собой. И она с такой нескрываемой нежностью посмотрела на Маришу, что та замахала на нее руками.

– Не верю, не верю, – сказала она. – Не подлизывайся.

– Давай мне работу, – заторопилась Ася. – У меня для тебя всего час. Что нужно сделать?

– Начистить ведро картошки. У меня сегодня будет студенческий стол – картошка, винегрет, селедка и чайная колбаса за рубль семьдесят. Зато чай у меня будет по высшему классу. Даже с икрой.

– Кабачковой? – спросила Ася.

– Не опускайся, – возмутилась Марина.

– Балда! Для этого надо подняться. Ты что, до сих пор не знаешь, где верх, а где низ?

Мариша внимательно посмотрела на Асю.

– Вот то, что ты сейчас сказала, была шутка или ты

действительно так считаешь?

– Да ну тебя! Конечно, шучу!

– Я почему спрашиваю? Я ведь зачем приехала в Москву? Чувствую, развивается во мне этот червяк – комплекс неполноценности. Все наши, ну те, кто чего-то стоил, все здесь. И так мне стало мутно. Что же это за жизнь? Люди вверх и вверх, а я? Вообще украинский вариант был у меня неудачным. Ты, конечно, слышала? – Ася кивнула. – Когда я выходила замуж, мне и в голову не могло прийти, что меня подстерегает такая заурадная участь – муж-пьяница. Что угодно, только не это...

– Он раньше не пил?

– Оказывается, он пил все время. Лет с семнадцати. Но так интеллигентно, так тихо, что это удавалось долго скрывать. Я ведь о нем судила по его отцу. Святейшее семейство, а сын алкоголик.

– Ты его любила?

– Пошла бы я за него иначе? Что мне, не за кого было, что ли? Конечно, любила. Только вот в легенду неумирающей любви я теперь не верю. Так не бывает, особенно с пьяницей. Ведь ты пойми, человека, которого любишь, все равно уже нет. Есть пьющее человекообразное...

– Бедная ты моя! – печально сказала Ася.

– Хорошо еще, что у меня был вариант улучшенный: его родители. Как увидели, что жизни нет, они его забрали, все оставили нам с дочкой и до сих пор одевают Настю с ног до головы. И переезд взяли на себя. Ты знаешь, пришлось оформить для этого замужество с одним мальчиком. Иначе я бы не разменялась. И должна тебе сказать, что, как только я решила переехать, у меня все пошло как по маслу. Клянусь. С работой все устроилось в два счета. Редактирую в качестве литературного редактора научный вестник, вокруг спокойные люди, счастливы, что я избавляю статьи от тавтологии, исправ-

ляю синтаксис. Чего лучше! И мне теперь не надо обогащать статьи мыслями. Они есть и без моего вмешательства. Я до сих пор с ужасом вспоминаю эту необходимость – обогащать. Я не дура и не жадная, охотно поделюсь, но ты помнишь, как мы втискивали в чужие статьи высказывания мудрых, чтобы скрыть авторскую безграмотность. Бр-р-р... У тебя против этого нет идиосинкразии?

– Безграмотность я уже давно не обогащаю... Просто выбрасываю, к чертовой матери... И ничего... Никто не умер... Так бы сразу надо было.

– С работой у меня о'кей. Потом, мне нашли мальчика, который согласился помочь. И я получила прописку. А дальше возникает еще один мальчик и устраивает мне обмен. И оба почти не берут с меня денег. Просто феноменально!

– Сплошные от тебя народу убытки, – засмеялась Ася.

– Ну? Не я эти способы придумала, – продолжала Мариша. – Существует такса – за обмен, за прописку. И я была согласна платить. Ведь за все надо платить. Разве нет? Вот ты платишь разлукой с семьей, неудобством гостиничной жизни, гастритом от сухомятки. Это разве дешевле денег?.. Ну а я – деньгами. Но я не стояла в этой толпе около бюро обмена квартир, меня не разглядывали, как кобылу на аукционе... Хочешь, я тебя познакомлю с этими мальчиками?

– Лучше не надо, – сказала Ася. – И, слушай, почему мы говорим черт-те о чем?

– Все правильно, – засмеялась Марина. – Мы пока подкрадываемся друг к другу. Все-таки столько лет...

II

В толпе, валом валившей по Сретенке, поглядев вправо и влево и убедившись, что до перехода далеко,

Полина нагнулась и уже через секунду была за этой красной проклятой трубой, что тянулась вдоль всей улицы. «Ладно, – сказала она себе, – если что – заплачу, а обходить – так куда ж это я приду? Мне вот сюда – напротив». Так она собиралась убеждать милиционера, если он вдруг появится. Но никто не появился, и машины шуршали прямо возле ее потертых ботишков спокойно и мирно. «Проедут, и перебегу», – прикидывала Полина, ища глазами место, где легче будет нырнуть под железку. Но тут машины стали притормаживать, и одна черная, чисто вымытая, осела на тормозах прямо возле Полины. Шофер повернулся к ней и укоризненно покачал головой. «Да ладно тебе, – махнула рукой Полина. – Не задавил же?» И, ища поддержки, она повернула голову чуть влево, к пассажиру, что сидел сзади. Повернула и обмерла. Это был Василий. Он не смотрел на нее, смотрел прямо, сидел неподвижно, и глаза у него не мигали, из чего Полина заключила, что он ее видел и тоже одеревенел от неожиданности. Он был так близко, что можно было протянуть руку и пальчиком постучать ему в окошко. Искушение было велико, но мешал сверток, где были покупки девочкам, и пока она перекладывала сверток в другую руку, машина чуть дернулась и проплыла прямо возле полосатого платка, за которым Полина стояла три часа в ГУМе и который нахально и полосато торчал сейчас из бумажного пакета. Проплыло мимо и тяжелое, так и не повернувшееся к ней Василиево лицо. «Сейчас моргнет, – подумала Полина, – отъедет и моргает». И она потерла глаза, вдруг почувствовав тяжесть напрягшихся чужих век, а когда отняла пальцы, увидела, что они мокрые. «Тю, дура! – сказала она себе. – Чего это я?» И побежала через улицу, и нырнула под трубу, но в магазин не вошла, а завернула за угол и села на лавочку. «Связать надо все как следует, – говорила она себе и все заталкивала внутрь пакета яркий радостный кончик платка. – Как же они его назы-

вали, этот платок, девчата в очереди? Попона, что ли? Нет, попона – это ведь по-нашему, а то было чужое слово, на „ч“. Старый стал, – думалось Полине. – Сколько ж это ему до пенсии? Ну, мне пятьдесят пять – значит, ему пятьдесят девять? Так ведь моему Петру семьдесят, а он лучше смотрится... Сейчас все питаются хорошо, а этот, видать, без движения сидит, все курит. Вон и шофер у него приставленный, аккуратный парень, и машина чистая...» Необязательные мысли закружились в голове у Полины: в магазин все-таки надо зайти и в аптеку – лекарство взять для сватьи. И – не забыли ли дети купить в поезде нижнюю полку? С них станется, и не посмотрят билет. Ах, о чем бы только не думать, чтобы не о том, о чем хочется... И Полина, никогда не умевшая справляться сама с собой, громко вздохнула и вся отдалась воспоминанию. Потому что проехал прямо мимо ее ботишков по улице Сретенке не просто какой-нибудь начальник на собственной машине, для других – просто индюк с набрякшими глазами, а ее первый муж. И не захотел он ее узнать правильно, справедливо, потому что... Полина тихо засмеялась, туже завязывая платок и вся превращаясь в ту молодую, бедовую девчонку, которая давным-давно взяла вот этого самого Васю за руку и отвела в загс.

... В тридцать шестом мать привезла ее из деревни, где она жила у бабушки. Чтоб училась, сказала мать. Хочу, чтоб была служащая. Было восемнадцать лет дуре, и пошла она в седьмой класс. Очень это было глупо, потому что Полина среди мелкого городского народа в седьмом классе была даже не то что старшая сестра – мамаша. И что удивительного? Она в деревне повкалывала будь здоров, а все это молодому организму полезно. Разносолов никаких не было, но молоко, картошка, овощи были... Бабка Полины купила ей для города шифоновое платье, и вот в нем она и пришла в школу вместе с зеленолицыми от шахтной пыли девчонками. По-

лина стыдилась своих щек, и рук, и больше всего почему-то шифонового платья. Скинула его как-то и больше не надела, осталась дома в розовой сатиновой рубашке, стучала дверцами гардероба, все хотела найти что-то и не нашла. «Ото не морочь голову, – говорила ей мать, – пока тепло, ходи в этом, спасибо бабушке, а потом чего-нибудь сообразим». Но Полина только головой трясла. Тогда вот она и сшила себе из старых отцовских штанов юбку, смешную такую – перед из материи вдоль, а зад поперечный. Кто там замечал? А сверху приспособила материну «баядерку», так тогда почему-то называли кофты такие. В таком виде стала Полина совсем взрослой, так и эдак на себя посмотрела и не пошла больше в школу, а пошла работать в шахтную контору. Носилась с какими-то бумажками, аж трещала сшитая сикось-накось юбка да растягивалась на плечах «баядерка». Бежала на работу мимо школы, подскакивали к ней зелененькие девочки. Грызли кривоватые червивые яблоки, рассказывали о новостях в школе, «зря ты ушла» и «счастлива, что освободилась», а больше всего о том, «кто с кем». Полина слушала и потрясалась.

Ей очень хотелось, чтоб и у нее что-то было. Но пока ничего не было, а если бы и было, не стала бы она тянуть время, а вышла замуж сразу. «Как полюблю, так сразу замуж», – думалось ей всегда. Она, конечно, знала, что бывает любовь без взаимности, а может случиться и вообще кошмар – женатый человек! Но как-то для себя она и тот, и другой варианты не брала в расчет. Она-то полюбит кого надо, и все у нее будет в порядке. Вот, наверно, тогда у нее и появился этот насмешливо самоуверенный взгляд, который так пугал всегда Василия. С перепугу все и началось.

Он приехал в их городок в тридцать восьмом. На зимние каникулы. Был студентом в Москве, а папаша его копал в их городке новые шахты. Противный мужик с синими немигающими глазами. Синие глаза – это же

очень красиво. А вот поди ты... Полина часто думала, что если б она могла выбирать себе внешность, то она бы выбрала себе синие глаза, белые волосы и родинку на левой щеке. И ростик маленький, и ножку тридцать четвертого размера. Но когда увидела Васиного папашу – он строился рядом с их домом, – навсегда отказалась от синих глаз. Они ей вообще никогда не попадались в жизни, все больше в описаниях, а тут как увидела!.. Кому ж они нужны – такие синие? Он часто был выпивши, и тогда глаза у него плавали, как у сиамской кошки... К зиме дом при помощи снятых с производства рабочих был выстроен. И тут приехал на каникулы Вася. Сколько о нем до того было разговору! «Наш умница сын», «Наш красавец сын», «Наше чадо», – это его мать. Полина не знала тогда, что такое чадо... Вообще же ей соседи не нравились. Не нравилось, что строили они дом не сами, но мать сказала, что человек, который копает шахты, для их города – сейчас все. Старые, царские уже истощаются. «А то я не знаю, – возмутилась Полина. – Где я работаю, по-твоему?» – «Ну вот и понимай тогда», – сказала мать. «Зачем рабочих снимает с поверхности? Подземных небось боится...» – «Жить же ему где-то надо. Семья...»

В общем, это был бесполезный разговор. Мать ходила мыть им окна, потому что Васина мать для простой работы приспособлена не была. Была она маленького росточку, и нога у нее была тридцать четвертого размера, так что пришлось Полине в своей мечте отказаться и от маленькой ножки. Это же надо – столько негодящегося в одной семье. А тут приехал «наш умница», «наш красавец», «наше чадо...». Стрельнула на него Полина своим насмешливо-самоуверенным глазом и увидела, как он растерялся. Потом она узнала, что он пугался, терялся от всякой чужой решительности. Он ее не понимал. А Полина – ну что с нее, необразованной, возьмешь? – еще и подмигнула ему, мало того, затопала

прямо по снегу к их новому дому и объявила: «Здравствуйте, наш красавец, здравствуйте, наше чадо...»

...Вспоминая об этом сейчас, Полина ладонью прикрыла глаза и почувствовала, что краснеет. Ну что ее понесло тогда через снег? Валенки были коротенькие, набрала в них тут же, а ведь ей бежать на работу. С мокрыми ногами мотаться с бумажками целый день. Она ведь и это непонятное «чадо» произнесла так, как это делала его мать, с каким-то твердым, негнущимся «ч». Что ей сегодня эта буква не дает покоя? А, вспомнила! Пончо! Вот как называется то, за чем она стояла в ГУМе. Пончо, а не попона... Не забыть бы, когда будет дома рассказывать. Пончо...

...Василий тогда растерялся, перестал мигать, а она, ухватившись за его руку, стала вытряхивать из валенок снег. Чувствовала, как затвердела его рука, как он замер, и нарочно надавила сильнее – как в землю врос. Мать грозила ей из окна пальцем и показывала на ходики, бежать, мол, надо, а Полина, вытряхнув снег, неохотно отпустила руку Васину, заглянула в немигающие его глаза и задушевно спросила:

– Вы к нам надолго?

– На две недели, – прохрипел Василий. – На каникулы.

– Очень приятно, Поля, – ответила она и протянула ему руку.

– Василий, – прохрипел он еще раз.

– Я на работу бегу, а вечером дома. Заходите. Соседи ведь...

И ушла. А «наш умница», «наш красавец», «наше чадо» так и остался стоять столбом. И бежала она, испытывая блаженнейшее чувство власти над другим человеком. «Я б ему снег из валенок на голову высыпала, он и то бы стоял...» Вечером он пришел, как загипнотизированный. Положил шапку на колено и сидел в пальто, а она не предложила ему раздеться, потому что при-

глашение снять пальто было для нее, по тогдашним ее понятиям, новым этапом в отношениях, а не просто вежливостью. А торопиться она не хотела. Так он и сидел молча, а Полина чирикала ему про всякое разное. Он приходил каждый вечер, и уже через несколько дней Полина знала, как он относится к любви, к женщинам вообще и к женитьбе в частности. Этих вопросов она ему, конечно, не задавала, но задавала другие, на которые он отвечал обстоятельно и толково. И, слушая его, Полина делала свои выводы – как переснимала рисунок для вышивки. Куда как просто. Прикладываешь рисунок на стекло, сверху кальку и рисуешь. Все видней видно. Вот она и подкладывала под собственную кальку слова Василия.

– Я за строгость, – говорил он. – Наш строй самый справедливый, и если он кому не нравится, то не может быть двух мнений...

– Кому ж он не нравится? – удивилась Полина. А сама быстренько обводила: он верный, никогда жене изменять не будет.

– Я, к сожалению, еще не воевал, но я бы никогда в плен не сдался.

– А если берут? В плен? Ты один, а их много?

– Один выход всегда остается, – твердо говорил Василий, и Полина вся замирала от силы его убеждений.

Конечно, что она могла ему сказать? Все-таки он на втором курсе юридического, а у нее, как говорится, шесть и седьмой коридор. Но разве в этом дело? Она любила биографии великих людей и знала – почти у всех жены были домохозяйки. И рожали детей. Она никому об этом не говорила, потому что время сейчас другое, работать надо по совести, всем вместе строить социализм, но когда-нибудь женщины будут только рожать детей, как Наталья Гончарова, то есть Пушкина. Или мать Владимира Ильича Ленина.

Трудно вспомнить, когда она решила выйти за него

замуж. Надо думать – перед самым его отъездом. Его мамаша, едва видная за забором, говорила Полининой маме слова с негнущимися буквами. Такие полубидные слова:

– Ваша Поля нашего Васю приворожить решила. Решительная...

«Мол, хочется ей приворожить, аж взмокла вся от решимости, но где уж ей там...»

Так ее поняла Полина. И обиделась. Смеются над ней в этом доме, выстроенном в рекордно короткий срок? Слова бросают через забор, как камушки.

... Полина постучала друг об друга носочками ботишков. Все-таки не та погода, чтоб сидеть на лавочке, но встать не могла, надо было нанизать на нитку те дни – день за днем, потому что судила сейчас она себя строго за то, что вышла тогда за Василия замуж. И он, видать, тоже строго ее судил. Проехал – не посмотрел.

Какая началась паника, когда они с Василием все решили. Она ему первая предложила, а он от радости сказать ничего не может... Поплыли у него глаза, как у папаши. Как у сиамской кошки. Но верно поняла Полина, если уж он решился, то сводить его в загс, где работала Полинина подружка, было уже пустяком. Он бы сам ее поволок туда, если б в чем разбирался. Полина побежала, пошептала, сунула подружке духи «Красная Москва», т а а ж задохнулась от такого роскошного подарка, и обо всем договорились. Расписали их в полчаса. Пока папаша из шахты вылез, пока мамаша разводил а а нтимонии про то, что Полина не пара «нашему чаду», они уже топали домой со свидетельством.

– Слушай, Вася, а кто такой этот чадо? – задала она наконец волновавший ее вопрос. – Это птица, что ли?

– Чадо? – ответил молодой муж. – А какое предложение в целом?

– Ты наше чадо! – прошептала смущенно Полина. – Тебя так твоя мама называет.

– А! – сообразил Василий. – Это значит ребенок. Прежде так говорили, – и помрачнел, зная, что дома его ждут неприятности, но Полина как раз в этот момент повисла у него на руке всей своей драгоценной тяжестью, так что все неприятное тут же забылось.

Отдергивались на окнах занавески, кое-кто высказывал прямо на крыльцо, чтоб посмотреть им вслед. «Полька-то, Полька! – клубилось в воздухе. – Что проввернула! В какую семью вошла! Это уж кому какое счастье...»

– Вот такие нахальные деревенские тетки и доводят нас до инфаркта, – говорил в это время шофер Василию Акимовичу. – Видели вы, где она переходить решила? Приехала за барахлом, и сам черт ей не брат. Им бы быстрее к прилавку!

Василий Акимович молчал. Видел перед собой крепкие пальцы, обхватившие веревочку свертка. И широкое дутое кольцо на одном из них. Все теперь имеют кольца, холодильники, телевизоры. Стиральные машины уже не берут – у всех есть. Это материальное равенство всегда почему-то казалось ему несправедливым. И прихоти у всех одинаковы. Потому что деньги завелись... И ведут в очередях всякие разговорчики. Разве языки остановишь?! Он давно вывел такую закономерность: чем больше люди имеют, тем они недовольней. Вольница! И никаких авторитетов. А уж о страхе и уважении и говорить нечего. Полина всегда была такая: что хочу – делаю, как решу – так и будет. Отвела его тогда в загс. Прибежала и спрашивает: «Паспорт при тебе?» И вся история. Он пошел, он ведь ее любил, он ведь и подумать не успел, что это, в сущности, неприлично – девушке самой делать предложение. Даже был ей, дурак, благодарен, что она все на себя взяла. Если б знал... Они шли тогда улицей, и все высказывали посмотреть им вслед. Такая там манера. И все говорили одно: по-

везло Полине, не ему, а ей в первую очередь... Даже мать ее так сказала. А его родители, на что были против, но повели себя достойно. «Черт с тобой, – сказал отец. – Может, оно и лучше, что она остается у нас на глазах. Будем приглядывать...» Мать, конечно, упирала на то, что Полина не учится, что она говорит неправильно, но та затараторила, что пойдет с осени в вечернюю, что кончит семилетку и будет поступать в техникум, а в крайнем случае, на какие-нибудь курсы. И обошлось. Взяли ему в поликлинике справку, что вроде неделю болел, и все было, как у людей. Уезжать было трудно, хотелось и вправду заболеть. Полина так обнимала его на станции, что у него до самой Москвы от ее рук шею сводило. Зато какая сладкая это была боль. Ему даже не хотелось, чтоб она проходила... Но прошла. Все проходит. Все.

Он ее уже не вспоминал сто лет. Если б не эта встреча... Нет... Неправда... Он часто ее вспоминает. И не потому, что любовь, сердце болит или что-то в этом роде, просто он ничего с собой поделывать не может. Все, что ему не нравится, все у него как-то связано с ней. На всю жизнь она его отравила. Это ведь от них, таких, пошла (глупо, конечно, так думать, а думается) такая порода не верящих ни в мать, ни в отца... Битлы, патлы... Сегодня брюки, как пипетка, а завтра – как цыганский шатер... И она такая... А он не понял... Думал – чувство... Глупости... Юбку не успела износить – между прочим, мини, – а это когда было! – а дала ему отставку, до сих пор не понятно за что... Не стала даже объяснять... Он было хотел другим способом выяснить все про этого человека, может, и стоило кое-куда сходить, но отец остановил. И правильно сделал. А потом война началась, не до личной жизни стало. Правда, мечтал войти в их городок освободителем после оккупации. Не вышло, был на другом фронте. И вообще больше никогда там не был. Родители после войны остались в Кузбассе, куда

были эвакуированы, может, и из-за того, чтоб подальше от этого проклятого места. И ведь, если разобраться, все к счастью. Жена у него – кандидат химических наук, работает в оборонной промышленности, да и он тоже человек не маленький, в Министерстве юстиции, а вот как вспомнишь, так и шаришь по карманам валидол. Обидно, потому что несправедливо. Вот сейчас он мимо нее на машине проехал, а она с покупками суетилась посреди улицы, а чувствует он себя так, вроде она мимо него проехала... Вот болтают про породу. Если разобраться (это потом и сделают), что-то здесь есть стоящее. Коней же выводят. Или свиней. А чем человек хуже?.. Для будущего очень важно, кто родители и кто вырастет. Вот таким, как Полина, детей иметь надо запрещать. Что может произойти от безответственного, безнравственного человека? Но тут Василий Акимович вспомнил своего сына и положил под язык еще одну таблетку. Конечно, его родила не Полина, а кандидат химических наук, но когда нет настоящего отбора, то уже все равно, кто родил. Потом-то все в куче. Сын ушел, тоже без объяснений. Выстроил себе однокомнатную квартиру на отцовские деньги и был таков... Не кончится добром эта вольница. Он сердцем это чувствует.

Олегу опять не писалось. Его не торопили, но, не напиши он быстро, ничего не поняли бы. Факты требовали оперативности, они же диктовали и жанр. Маленькая подтема сверху, на виду, а все остальное между строк, для умных. Минимум слов, но зато самых главных. А пока никаких не было. Стоял перед глазами нагловатый мужик-председатель колхоза, весь такой законченный и ясный в своем рвачестве, грубости и жестокости, но неуязвимый, потому что – двоюродный брат исполкомовского зампреда. Он так и сказал Олегу: «Ты меня лучше не трожь. Я не пугаю. Я тебе правду говорю... Руки я распустил зря, свой поступок не одобряю, но на этом поставим точку... Человек на двух ногах...

Может и спотыкнуться. А если за каждую ошибку в газету тянуть человека, страниц не хватит... Это я тебе говорю по-дружески, говорю, как сыну.

Не гори синим светом, остынь». А когда Олег вернулся в редакцию, на него уже пришла «телега»: пил в станционном буфете с колхозниками запанибрата, они его хлопали по плечу, а он им обещал «вывести всех на чистую воду». «Телега» вопрошала: кого всех? На что намекал товарищ корреспондент? И звонок из исполкома тоже был. Другого рода. В этом колхозе невиданный урожай свеклы. Опыт выносят на выставку достижений, ну и, естественно, душа победы – председатель. Звонил, конечно, не брат председателя колхоза, другой человек, Олег его знал. Он еще тогда сказал Олегу: «Придется звонить твоему главному редактору». Так все интеллигентно, никаких неожиданных хуков слева. «Дай им по зубам как следует», – сказал Крупеня, прочтя «телегу». Очень дельный совет, а главное, своевременный. «Дай – и вся недолга. Что ты, неграмотный, что ли? Валяй, пиши!» А у него немота сейчас. Не-мо-та...

Олег вспомнил своего дядьку. Добрейший человек, жена его курицу зарезать идет к соседу. Дядька не может. Он даже мух не бьет, а выгоняет из избы. И этот же дядька каждый раз при встрече с Олегом рубит ладонью воздух и кричит:

– Стрелять! Других средств навести порядок нету! Напился на работе – к стенке! Украл – руби руки. Схалтурил, споганил доверенное дело – на Соловки.

Олег понимал: в дядьке воплощалась социальная воинствующая наивность целого поколения. Всю свою жизнь он не покладая рук строил идеальное общество. В семнадцатом году политкомиссар пообещал ему коммунизм непременно в течение его личной жизни, вот он и нервничает. Почему воровство? А спекуляция? А взятки? Это же получается, как у Ленина, – шаг вперед, два шага назад!

– Я тебе вот что скажу, – возражал Олег. – У каждого времени – свои болячки. У каждого возраста – своя корь.

– А зачем я жил? – спрашивает дядька. – Зачем я пуп рвал? Чтоб вырастить корь?

– Да ты в окошко выгляни, – предлагал Олег. – Ну посмотри, как народ живет!

– Мне на барахло и жратву плевать! – продолжал неистовствовать дядька. – Плевать! А в окошко мне вот что видно... Видишь, кто идет? Володя Цыбин, неуважаемый мною председатель сельсовета. Как он идет? Зигзагом. Он с начальством обмывал сегодня новую машину «Ладу», которой колхоз премировали. За что премировали? За то, что мы ловко набрехали в показателях. Куда он идет? Он идет в клуб. А в кармане у него поллитра, нет, ошибаюсь, две поллитры в каждом кармане.

Олег хохочет, и это совсем выводит дядьку из себя.

– Я когда-нибудь сам возьму ружье, – тихим, страшным голосом говорит он, – и покончу с Цыбиным.

Потом это стало навязчивой идеей – сам все решу. Олег с теткой закопали ружье в огороде. Аккуратненько схоронили в большом полиэтиленовом мешке. Три шага от груши в направлении курятника. Мысли о дядьке своим ходом притопали к двум девочкам-вожатым, которых они сегодня видели с Асей в гостинице. Начало и исход?

По возрасту – они дядькины внучки. Своих у него ни детей, ни внуков не было. В молодости они с женой обвиняли в этом друг друга. «Да я какой мужик был! – кричал дядька. – Меня колом убить нельзя было! Меня пуля не брала...» – «А мне врач справку предлагал, что гожая, – плакала тетка. – Чтоб тебя удостоверить». – «Да я тебе сто справок, каких хочешь, принесу». Полаются, полаются, бывало, да и помирятся, а теперь уже и не вспоминают об этом.

Олег подумал: а росла бы у них такая внучка... И представил ту, с косой, с очами... Что бы она деду своему сказала на его «сам все решу»? Или, когда есть в жизни живое продолжение тебя, все рассматриваешь иначе? И свою собственную точку зрения, точку зрения бывшего красного конника уже нельзя рассматривать вне точки зрения другого поколения – второго, третьего, сыновей, внуков, и ты обязан с этим считаться, потому что твои дети – это ты сам, продолженный во времени?

Но вот что мерзко получается. Этот чертов председатель из командировки – ровесник дядьки. И у него пятеро детей. Все, между прочим, с высшим образованием. И внуки. Ну и что? Ни-че-го! Кроме того, что во времени продолжился из двух худший. Мысли походили, походили и вернулись к чистому листу бумаги. «Ну что, стыдливые, не нашли концов? – со злостью подумал Олег. – Не там бродите... При чем тут дядька и пионерская вожатая с натуральной косой?.. Тоже мне ассоциации! Лишь бы делом не заниматься».

Но ни нужных слов, ни толковых мыслей не было. Вялые строки катились по листу бумаги, чернили ее, они даже делали вид, что что-то значат, но по сути были пустотой. И Олег злился. Неужели это оттого, что он лично оскорблен «телегой», неужели он до сих пор не застраховал себя от таких нападений, ведь не в первый и не в последний раз, и все-таки гнев поднимался к горлу. Внезапно Олег подумал о том, что начать материал надо с того, что у председателя массивное кольцо с печаткой. Оно, видимо, мешало ему, но снять его трудно, и председатель все время вертит кольцо на пальце, то ли пробует стащить, то ли уже привычка такая, и каждый раз повторяет одни и те же слова: «Вот чертова мода. Кто это их придумал носить? Скоро нос дырявить начнем...» Но Олег тут же отказался от этого начала. Это годилось в рассказ, если когда-нибудь на него останет-

ся время, а так кольцо это приобретало смысл только в своем денежном выражении. Ведь стоило оно недешево, и купил его председатель у попа. Поп любил старину, золотишко, меха, но это была уже другая тема, никак она с председателем не пересекалась. Вот разве только... но кольцо председатель носит на левой руке, а Костю Пришвина он ударил правой.

– Тебя к телефону! – крикнули из комнаты. Стараясь не смотреть на исписанные страницы – все не то! не то! – Олег, не садясь за стол, а, стараясь оттянуть трубку до предела, раздраженно отозвался.

– Это я, – услышал он голос Аси. – Приветствую тебя со своего рабочего места.

– А яблоки? – удивился Олег.

– Не помрешь, – засмеялась Ася. – Я начистила ведро картошки. Обойдешься. – И добавила другим тоном: – Неловко иначе.

– Понял. Ну, как тебя встретили?

– Без оваций. Я ведь человек со стороны. Модная формулировка...

– Все мы со стороны. Не тушуйся. Дамы тебя еще по гороскопу не проверяли, кто ты и что от тебя можно ожидать?

– А что – будут?

– Нашу женскую половину сейчас ничего не стоит переделать в академию оккультных наук. Машинистки не успевают перепечатывать разнообразные материалы с того света... Скоро сама все увидишь...

– Забавно...

– Главное, выясни, кто ты из зодиаков – Телец или Стрелец. От этого и танцуй по правилам.

– А ты кто?

– Забыл. Но что-то безобразное. К Марише поедem вместе?

– Я поэтому и звоню. Зайди за мной около семи.

– Ладно, зайду. Олег положил трубку, собрал испи-

санные листы и бросил в корзину. «Начнем сначала, – сказал он про себя. – Пойдем по новой».

– Не идет? – спросил Валерий Осипов, коллега по от-делу. – Может, плюнешь сегодня? Хочешь, я тебе для настроения пару шикарных писем подброшу?

– Сгинь! – тихо сказал Олег.

– Понял, старик! – И Осипов уткнулся в письма.

«Хороший парень, – подумал Олег. – И Аська – хоро-шая девка. И Мариша приехала. Хорошо, что мы тут все вместе. Надо начать встречаться. А то мы, как рыбы в редакционных аквариумах, сдохнем. Ну, сволочь с пе-чаткой, иди-ка сюда... Ну, Расскажи-ка мне, Расскажи, какой ты и как ты дошел до жизни такой?»

И кудреватые буквы побежали по чистой странице.

– Где же ты пропадала? – кричала матери Мариша, когда Полина наконец добралась до дверей ее новой квартиры.

– Я же тебе говорила, что Сене надо купить шерстя-ную рубашку, он после плеврита слабый... Вот и пошла искать.

А там давали – посмотри сама – вот эти пончи... Я же чуяла, что Светке такое хотелось...

– Красивая расцветка. Как раз для Светки. Раздевай-ся и попей чаю. Или кофе? У меня растворимый.

– Я тебе такое, Мариша, скажу, – певучим своим го-ворком протянула Полина, снимая ботинки, – ни за что не поверишь. Я б сама, если б мне такое сказали, в очи бы плюнула. А тут – на тебе. Я своего первого чоловика бачила.

Когда Полина была взволнована, она всегда перехо-дила на смесь украинского с русским. Мариша знала это с детства. И сейчас она с любопытством посмотрела на мать.

– Вин биля мэнэ пройихав... На машини... Такой на-дутый, як индюк... Я йому хотила в виконце постукать,

та подумала: на биса ты мэни сдася?

– А он тебя видел? – Мариша помешивала сахар в чашечке кофе.

– Морду не повернув... Як нэ слипый, значит, бачив. Я ж рядом стояла... Ноги биля колеса...

– Пей, – сказала Мариша. – И успокойся...

– А чего мне успокаиваться? – Полина засмеялась. – Я просто удивляюсь, что так получилось... Это ж сколько я его не видела? Больше тридцати лет. Не знала, живой он или нет. На фронте ведь могли убить...

Полина не сказала, что единственная мысль, которая всю жизнь тревожила ее, была связана с войной, с фронтом. Ей казалось, что брошенный ею Василий мог во время войны с горя не побережться и погибнуть по глупости из-за нее, из-за Полины. Никому никогда она не говорила об этом, потому что разве об этом скажешь? Начнешь говорить, и получится, что ты о себе очень много воображаешь. Поэтому сейчас она испытала глубокое внутреннее облегчение, установив, что Василий жив и что живет он, судя по машине, каракулевому «пирожку», хорошо. Значит, тогда, до войны, ничего плохого не случилось. И она с нежностью посмотрела на Маришу. Вон какая умная и красивая выросла дочка. Это ничего, что она так всю жизнь и называет ее Полей, и брат ее родной Сеня также, она их не насиловала, а относятся они к ней – лучше не бывает.

– Ты, Поля, у нас загадочная, – сказала Мариша. – Я чем старше становлюсь, тем больше тебе удивляюсь.

– Вот еще новости, – засмеялась Полина. – Поудивилась бы чему другому.

– Ты ведь отца не любила, когда к нам пришла?

– Что ты понимаешь? Вин з вамы залышився, ридных никого...

– А тебе двадцать лет, ты молодая, красивая, только что по своей воле замуж вышла... Твой поступок, Поля, прекрасен и непонятен... Поверь мне...

– Тю на тэбэ! – засмущалась Полина. – Скажешь же! Я и не раздумывала...

– В том-то все и дело... Я хорошо помню, как это было. Ты ж к нам пришла, а Сенька бросал в тебя кубики. Ты лицо закрываешь и идешь, идешь...

...Полина зажмурилась. Сенька, дурачок, целился тогда прямо в глаза. А Петр стоял и молчал. И правильно. Ведь она сама все решила. Господи, ну почему она сама всегда за мужиков все решает!.. Когда у Петра жена погибла – попала под машину, Полину из конторы послали к нему домой, чтобы помочь вдовцу по хозяйству. Ну она и пошла.

И помнит все, как сейчас. На улице была «мыгычка». Дождь не дождь, а так, мелким, мелким ситом просеянный мокрый колючий ветер. И болталось это серое сито над поселком уже который день, придавив к расхлюпанной земле черную шахтную пыль. А «мыгычкой», может, потому назвали такую погоду, что в эти дни и рта на улице не откроешь, мыгыкаешь только, если о чем-нибудь спросят. Вот ее и спрашивали тогда – куда это она идет, если ее дом совсем в другой стороне? И она мыгыкала и кивала на итэ-эровские дома, туда, мол, и иду. Хватало и этого. Она поднялась по приступочкам и постучала в грубо окрашенную дверь. Ей сразу открыли. Она потом все переживала, как же это так: дите ее не спросило, кто стучит? Открыл хлопчик, а сам стал в сторонку – заходи, мол, и бери, что хочешь. Полина ничего мальчику не сказала, чего его пугать, лучше с отцом поговорить, вошла – и тут же во все влюбилась. Мариша говорит: ты ведь отца не любила. Что она понимает, дурочка, хоть и у самой уже дочка? Вроде любовь знает одну дорогу и только по ней может прийти. Глупости! Никогда не знаешь, где это тебя подстережет. Вот она ведь была уже опытная женщина – муж-то у нее был, что еще нужно бабе знать? И сюда шла за детьми

присмотреть, кое-чего сготовить, а оказалось – пришла за судьбой? За долей, как говорила ее бабуся.

Книжки здесь стояли по стенкам. Как в библиотеке. Полин а а ж ахнула. Читать она любила больше всего на свете, читала все подряд. Когда приходила в шахтную библиотеку, у нее в горле ком стоял от предчувствия чего-то необыкновенного. Ей хотелось плакать, когда она смотрела на портрет Пушкина. Такой он красивый, такой умный, гордый. «Здравствуй, племя молодое, незнакомое!» Это ей, Полине, здравствуй, а дальше так грустно, с такой жалью: «Не я увижу твой могучий поздний возраст...» Всегда у Полины наворачивались на глаза слезы, когда она читала эти слова на библиотечном плакате. Не он увидит... Почему это хорошие люди так мало живут? И в доме инженера тоже был портрет, только не Пушкина – Чехова. Полина узнала. «В человеке должно быть все прекрасно...» Это тоже висело в библиотеке. Она пошла прямо к книгам. Наклонив голову к плечу, стала читать корешки. Радовалась, когда узнавала знакомые фамилии: Мопассан, «Милый друг». Три месяца стояла в библиотеке в очереди, пока дождалась, но книга ей не понравилась. Как-то непонятно, галопом написано. Столько всего не сказано по одному случаю, а уже читай про другое. Петр, уже потом, очень смеялся: «Что же ты хотела еще узнать?» – «А вот это!» И Полина начинала рассказывать. «Вот видишь, – говорил Петр, – ты сама все знаешь». – «Но это же я предполагаю! – сердилась Полина. – Этого ж не написано! А я люблю, чтоб и как ели, и как были одеты, и о чем думали сначала и что думали потом...» Такая она была дурная в тот день, когда, наклонив голову, как птица, читала корешки инженерных книг, а на нее внимательно смотрели две пары глаз – мальчишечка, тот, что дверь открыл и не спросил кому, и девчоночка, годочков двух, толстощекая да румяная. А потом глазом наткнулась на фотографию женщины в черненьком беретике, надви-

нутом на левую бровь.

– Это мама, – сказала девочка.

– Да, да, – растерялась Полина. – Чего же это я стою? – И, подхватив девочку на руки, помчалась на кухню. – Я ж за делом пришла, за делом. – Она громыхала кастрюлями, что-то мыла, что-то чистила и вдруг подумала: вот так бы здесь и жить. Возле этих детей, возле книг. Петра она знала плохо, только то, что слышала о нем в конторе. Из Москвы, прислан на понижение, вроде – в ссылку. Участок ему дали плохой, но он там что-то помудрил, и сейчас у него все время перевыполнение. И не матерится. Это удивительно, потому что кто же в шахте не матерится? Полинин дядька Кузьма, старый забойщик, объяснял ей, что эти черные слова, тем более если уметь их произнести, здорово очищают горло от пыли. Он так и говорил: «Тут, Поля, дело такое: не матюгнешься – задохнешься. А так – е-мое! – и вся грязнота из бронхей уходит. Ты бронхеи на картинке видела? Посмотри... Они все равно как дерево... И надо его встряхивать, чтоб не пылилось... Вот рабочий человек и делает это посредством мата... Может, потом что и придумают для чистки бронхей, но это потом, опосля строительства базы социализма...»

...Но начальник участка Петр Алексеевич Климов не матерился, может, именно поэтому все время сухо и отрывисто откашливается? Тот же дядька Кузьма говорил: «Ты, Поля, потянулась за культурностью. Это тебя мать испортила. Посадила тебя в контору, к чернилу ближе... Ты, конечно, как хочешь... У нас всякая работа почетна, только я тебе скажу – для здоровья это хуже. Я понимаю так. Когда человек работает мозгой, он все соки организма на это тратит. Он и у сердца забирает силы, и у легкого, и у печенки-селезенки. Мозг, злодей, крепчает, а все остальное, как говорится, корова языком слизывает. У нас большая была семья. Кроме меня и твоей матери еще девятеро детей. И только один ча-

хоткой заболел, и кто он был, по-твоему? Учитель! Старший наш братан. Помер. В двадцать три годочка. И твой инженер тоже кашляет. Очень сумнительно кашляет. Я как понимаю, бронхеи у него от пыли задубелые. Ты его пои горячим молоком с медом и столетником. И скажи ему по-свойски – пускай матюкается. Ты ему все объясни, а то ведь в книжках про это не пишут, это только народ знает... А народ, Поля, не думай, не дурак. Он и без образования кумекает кое-что».

Кузьмы уже нет. Умер старик, когда провожали девочек и хлопцев на целинные земли. Очень ему не нравилась вся эта затея. «Да Украина весь земной шар хлебом накормит, если не трепаться, а работать по-шахтерски... На кой ляд нам целина?.. Це-ли-на. Слово чего обозначает? Ни-че-го... Все равно что пу-сты-ня... Вот в чем смысл!»

Кузьма был стар. И не его ума это было дело. Зато говорили о нем потом красиво: «Умер Кузьма на нервной почве». Но это было потом, потом...

А сначала... Сначала она натушила капусты с салом и сварила гарбузную кашу с рисом. Все поставила в духовку и пошла вытирать пыль. Мариша за ней хвостиком. Нет, не Мариша, Маша. Полина сразу не разобрала, она вся была тогда не в себе, все голову к плечу опускала, книжки разглядывала. Вот ей и послышалось: не Маша, а Мариша. Девочка вставляла между слогами лишние звуки. Она и стала ее так называть.

– Так ты, Ма-и-ша, Ма-и-ша! Мариша, что ли? Ну идем, Мариша, пыль снимем. А то книжки пыль не любят... Они тоже дышать хотят...

– Я знаю, – важно сказал Сеня. – Как люди.

– Правильно, – обрадовалась Полина и полезла вытирать полки. Ах ты, Господи, да сколько же здесь было сокровищ! И тут в первый раз в жизни она пожалела, что бросила школу. Выучилась бы на библиотечаршу и жила бы до самой смерти при книгах. И ничего не надо.

Ничего? Ой, врунья ты, Полина! Врунья! Вот тогда и вспомнился Вася, но было это воспоминание стыдным. «Чего ж я стыжусь? – удивилась Полина. – Он мне муж». А стыд не проходил, она даже вспотела от сковывающей ее неловкости и тихонечко застонала – чего это с ней? Ведь все по закону? У них раньше времени ничего не было, все по правилам. А стыд не проходил... «Да что я? Своровала у кого что? – не понимала себя Полина. – Все как положено».

А как оно в жизни положено? И кем положено? Вот и неизвестно. Потому что пришел с работы Петр Алексеевич, удивился Полине и пятнадцать раз (а может, больше?) сказал спасибо.

– Вы не благодарите, – смущалась Полина, – а садитесь с детьми есть.

– И вы с нами, – сказал Петр Алексеевич. – Разделите ужин...

– А что его делить? – затараторила Полина. – Я много наготовила. Чтоб и на завтра.

– Откусайте с нами. – Вежливый он был такой, что просто невозможно отказать. И она села за их стол и вдруг почувствовала себя счастливой оттого, что дети с аппетитом едят, да и он тоже, только ему, видать, вроде неудобно есть левой рукой, или и это тоже так положено? И Полина – чтоб проверить – тоже переложила вилку в левую. Медленно от непривычки подносила ко рту желтые кусочки сала. «Как в кино, – представилось ей. – И хорошо-то как».

Другая бы долго думала. И ведь было над чем. А она уже через неделю сказала Петру Алексеевичу:

– Нет мне покоя. Я у вас буду жить. А так я ночи не сплю, все думаю, не угорели ли. Вы ж городские, печку топить не можете.

Сказал он ей что-нибудь на это, она теперь не помнит. Или нет. Наверное, нет. Но все равно она бы его слушать не стала. А когда пришла с вещами, Сеня, дура-

чок, стал кидать в нее кубики. Пока просто ходила – ничего, а пришла с сундучком – обиделся за мать. И ведь пришла домработницей, ни про что другое не думала, а хлопец не поверил. А вскоре побежала в загс к подружке. «Я тебе тогда „Красную Москву“ дарила, а сейчас вот тебе пудреница (из ракушек, крымская, а на стеклышке дерево-стрелочка – кипарис называется, три волнистые линии – море и белое пятнышко – парус), разведи ты меня». И послала Васе бумажку. Писала и письмо, но порвала. Хотела выразить вот что: извини, Вася, я ошиблась, мне сейчас чужих детей надо ставить на ноги, а главное, мне о тебе вспоминать почему-то стыдно. Сама не пойму – тогда на меня помрачение нашло или сейчас? Вот из-за этого стыда и не послала. Жалко было Васю. Он-то не виноват.

Как уехала из дому к Петру Алексеевичу, то и своих бывших свекров почти не видела. Мать говорила – пошумели. Но так, больше от оскорбления, чем от потери. Ведь это от матери Васи Полина узнала музыкальное такое слово «мезальянс». Говорила та это слово, когда Полина приходила к ним ранней весной мыть окна. Значит, что разошлись, это хорошо? Так нет же, плохо! Вот если б образованный Вася бросил Полину – было бы, по их разумению, правильно. А то, что Полина сама строила, сама и ломала, было и возмутительно, и похамски, и черт знает еще как! Свекор разыскал ее в конторе и дрянно обозвал. («Бронхеи очистил», – как сказал бы Кузьма.) Полина тогда взяла папку-скоросшиватель и со всего маху ударила его по щеке. И на следующий день ее уволили. Петр Алексеевич возмутился тогда, хотел идти к начальству шахты, Полина отговорила:

– Не надо! Не ходите! Детям лучше будет, если я буду дома.

– Детям? При чем тут дети! Поля, я вас убедительно прошу не ломать свою жизнь из-за моих детей. Я не мо-

гу принять такой жертвы. Считаю ее бессмысленной. Вам надо работать, учиться...

– Я буду! Буду! – успокаивала его Полина. Так вот все и было тогда...

– Дай Бог, дочка, тебе такого мужа, как твой отец. Дай Бог! Я ведь счастливая, Мариша, самая счастливая.

– Сейчас таких нет. Папа у нас не от мира сего. Знаешь, с такими сейчас счастья не найдешь. Я просто на минуточку себе представила: кого-то из моих знакомых усылают из Москвы... В глушь, от театров, от музеев, от магазинов московских...

– Ну и что?

– Ужас! Я уже не говорю о том, что моя незнакомая родная мама бросает консерваторию, едет за ним. По нынешнему времени – это чудо, небывальщина! А потом возникает ты. Папино счастье...

– И он мое, Мариша, и он мое счастье...

– Вам надо было нарожать кучу детей, Поля...

– Дурочка! А война! А голод после войны? Он, знаешь, какой с фронта пришел? Весь дергался.

– Помню...

– Ну вот...

– На Светке это не отразилось?

– Господь с тобой!

– Светка у нас, Поля, не из костей и мяса, она у нас из твердых сплавов.

– Характер такой, Мариша. Папка и хотел, чтоб она была сильная. И правильно. Хорошо ведь, когда человек знает, что ему надо... Вот ты, например...

– Полечка, золотко! Меня ты не трогай. Я тоже знаю, чего хочу, только это трудно заметить. Мои цели маленькие, простенькие... Вот я перебралась в Москву. Потом я, наверное, выйду замуж...

– Обязательно выйдешь!

– А потом... Потом, Поля, что будет потом, ты не зна-

ешь?

– А ты роди...

– Может, рожу, может, не рожу... Но у меня нет далеких перспектив. У меня только ближние. Сегодня, например, я хочу, чтоб было всем весело. Я вообще хочу, чтобы у меня в доме всегда были люди. Чтоб с вокзала, откуда бы ни приезжали, шли ко мне. Знаешь, за что я ненавижу москвичей? За этот их постоянный стон: надоели приезжие!

– Ой, Мариша, их же понять можно. Ты ж посмотри, сколько народу в магазинах. И все периферия. Ее же где-то положить спать надо! Значит, самым потесниться.

– Пускай спят у меня. Я буду рада. Ведь может же быть, Поля, так, что у человека нет другого таланта, как только бездомным постель стелить?

– Эго у тебя-то нет таланта? Ты такая у нас умная!

– Кто это распространяет про меня нелепые слухи? Папа?

– Ой, Мариша, ты меня пугаешь!

– Учусь у своей дочери никогда ничего не бояться.

– Слава Богу, ей не было еще в ее жизни чего бояться... В сорок девятом году рожденная. Это вы с Сеней слабые. Войну пережили детками...

– Сенька меня осуждает?

– Та за что?

– Это же его любимая тема... Ложные престижные ценности... Москву наводнили бездарности, обладающие пробивной силой. Интеллигенция потеряла свои устои. Он у нас злой, наш Семен.

– Да ты что, Мариша... Он добрый. И тебя он любит. И знаешь, как будет рад, если ты тут счастье свое найдешь.

– Найду, найду, Поля! У меня тут все получается. Наверное, я из тех, у кого она есть, эта самая пробивная сила...

– И чего на себя человек наговаривает!

– Полечка! Я же себя хвалю. Пробивная сила – это прекрасно. Нынче люди-танки в моде. Прутся такие на широких гусеницах, земля трещит.

– Во все времена, Мариша, такие были... Вот мой бывший свекор... Рабочих с поверхности снимал, чтоб дом ему выложили. И стоит себе, смотрит на них, как чурка с глазами. Не стыдно!

– Поля! В порядке бреда... Осталась бы ты со своим Василием, ездила б сейчас в машине. Была бы жена ответственного...

Полина ничего не ответила. Пошла к раковине мыть посуду.

– Молчишь? – Мариша прижалась к ее спине. – Ты права, Поля. Человеку только человек нужен. И музеями, театрами да теплым сортиром его не заменишь. И даже машиной. А наш папка лучше всех. И ты тоже.

– Ну вот, и похвалились, – сказала Полина, ставя в сушилку кофейную чашечку. – Ты скажи, что тебе сделать? Хочешь, накручу домашних котлет? Я у тебя видела и перчик, и чесночок... А лук я теперь в фарш пережариваю, гораздо лучше получается, котлеты нежнее.

Бывший шестидесятник Вовочка, а ныне редактор газеты Владимир Царев, сел в машину, по обыкновению, не поздоровавшись с шофером. Узкий восточный глаз Умара полоснул по нему из смотрового зеркальца. Царев про себя улыбнулся. Не любит его Умар, все время сравнивает с предшественником (во хозяин! Во хозяин! Золото – не человек! Алмаз!). Сравнивает и распаляется от сравнения. Царев знал кратчайшее расстояние к сердцу Умара и, в сущности, мог его покорить. В любой момент мог, но не хотел. Отношение к шоферу было звеном в строго продуманной цепи его отношений к людям вообще, и измени он одно, придется менять другое и третье... А зачем? То, как он относится к людям, выверенно, продуманно, из теории перешло в

практику, никогда пока не подводило, так что не дождется Умар, чтоб Царев сел не сзади, а рядом и первым делом спросил, как здоровье казанской столетней Умаровой бабушки. И предшественника Царева, надо полагать, бабушка не волновала. Но тот играл в демократа. Это был его стиль – быть любимцем народа. Неконструктивный стиль, если не сказать больше. Быть любимцем накладно и для дела, и для самого себя. И бить на это может человек или слабый, или не очень умный. Он, Царев, и сильный, и умный. И если еще раз Умар в сердцах так вот затормозит, надо будет его заменить человеком менее эмоциональным и менее любящим своих престарелых родственников. От резкой остановки Царев чуть не уронил неуклюжий сверток, который держал на коленях. Это был подарок Марише. Грузинская чеканка, авторская штука, красивая и дорогая. Он полагается на вкус Ирины, он у нее безошибочный. Теплое чувство к жене приятно заполнило сердце. Уже скоро двадцать лет, как он гордится женой. Как она искала эту чеканку, как упаковывала ее, как сама отказалась ехать на новоселье, как подставила ему для поцелуя гладкий висок – все было и просто, и умно. Удивительно, как он угадал ее двадцать лет назад как жену. И не ошибся. Злые языки говорили, что он женился на дочери министра. Забыли небось, что министр через полтора года стал пенсионером, да еще и без особых привилегий: неудачником был этот самый, по расчету выбранный родственник. А они с Ириной продолжали удивляться совершенству своего союза, даже когда много было не так, как хотелось. У Ирины практически нет недостатков. Даже в ее некрасивости есть обаяние. На нее обращают внимание, и теперь, когда ей уже сорок с хвостиком, особенно. Тут все дело в индивидуальности человека. Она или есть или ее нет. Это больше, чем красота. Даже такая, как Маришина. Давно, давно, когда он еще был пятикурсником, он высмотрел среди

вновь поступивших глазастую эту казачку. На нее ходили смотреть как на достопримечательность. Потрясающая девочка была. Для первой обложки иллюстрированного журнала. И без этой присущей всем красоткам стержовности. Не ломалась, не кривлялась, носила свое личико скромненько и была любима не только мужской половиной факультета, что естественно, а и женской, что, как правило, редкость. Был момент, ему одному известный, когда подумалось о том, как приятно иметь вот такую обаятельную «первополосную» жену. И он стал заглядывать к ней в общежитие со смутно осознанной целью. Она жила в комнате с второкурсницей Асей, которую он хорошо запомнил по хору: они оба в нем пели. Она в концертах стояла впереди него и однажды, когда они выступали на каком-то ответственном вечере, а он не знал слов кантаты, пришлось листок со словами прищипливать к Асиному затылку. Это было не просто, потому что волосы у Аси прямые и тонкие и заколка скользила, пока кто-то не одолжил ему значок перворазрядника по боксу. При помощи этих двух механизмов листок удалось закрепить. Об этом они вспоминали тогда в общежитии, когда он прикатил к Марише проверять свою неожиданно возникшую мысль. Мысль так и не проверил, а потом появилась Ирина, и все прояснилось само собой. Осталось только странное ощущение благодарности Марише за то, что она в этом неизвестном ей поединке с неизвестной ей женщиной не была ни агрессивной, ни настойчивой. Ведь ей с ее внешностью стоило только чуть-чуть... Он-то это знал! Сознавал! В общем, как теперь говорят, победила дружба. Все время, сколько училась Мариша, у них сохранялись добрые отношения. И Ирина к ней относилась хорошо, правда – и в этом опять же проявлялся ее такт, – предпочитала не часто встречаться. А он продолжал бывать у них в общежитии, уже работая. И однажды даже брал интервью по случаю запуска первого спутника

у мачехи Мариши. Нужно было срочно в номер беседу с рядовой советской женщиной, а Полина как раз гостила у падчерицы. Вот он ее и спрашивал, что она думает по поводу этого выдающегося события. «Лишь бы войны не было», – сказала она, и они все очень смеялись. «Чего вы смеетесь, дурачки! – не обиделась Полина. – Я под Стокгольмским воззванием три раза подписалась. И считаю, что правильно».

Потом он узнал, как она ушла от молодого мужа к вдовцу с двумя детьми и как дети поначалу не принимали ее, а потом полюбили, как родную. Он тогда рассказал эту историю знакомому киносценаристу. Тот скривился: «Ну и где тут кино? Нет, старик, конфликты, драмы... Вот если бы в результате ее так называемого благородного порыва выросли тем не менее дети-сволочи. Чувствуешь бомбу? А так... Кубики... А потом все хорошо? Благолепие?» Царев говорил: «Нет, тут что-то есть. Ну, посмотри хотя бы на покинутого молодого мужа...» – «Ничего не вижу, – сказал сценарист. – Ничего. Он разозлился и женился снова. Элементарно. У тебя, Владимир, нет киновидения. Кино – это бомба... Кровь, трупы... Самый киношный автор – Шекспир. Самый неподдающийся – Чехов... Разговоры, проходы туда-сюда. Это не смотрится». Кстати, потом Царев видел его фильмы. Пресные, тягучие, тоскливые. Никто даже кубиками не кидался. Что ж, люди меняются, а может, и не меняются, просто со временем проявляются такими, какими они и должны быть. Соответственно заложенным генам. Вот он, Царев, всегда знал, чего хочет. И принципов не менял. Надо было поработать мальчиком на побегушках в посольстве – поработал. Великолепная языковая практика плюс материалы оттуда, написанные наблюдательным человеком. Во всяком случае, вернулся в редакцию уже с именем. Бывший его зав Леша Крупеня похлопал по плечу и сказал: «Перо держишь... Слов много знаешь...» – «Английских и испан-

ских», – засмеялся Царев. «И русских. Но ты их экономя. Будет лучше». Понял. Принял к сведению. Сейчас посмотреть – в тех его репортажах действительно никакой акварели, никаких полутонов. Сплошная гуашь.

Потом Крупеня вообще этот его заграничный опыт ни в грош не поставит. «Я, – скажет, – отдам двадцать заграничных корреспондентов за одного районного газетчика, который торчит в поле как проклятый и наживает гипертонию в изнурительной борьбе за какую-нибудь паршивую силосную яму». Они будут спорить. Царев ему скажет, что за граница тем хороша, что дает необходимый кругозор. И, конечно, силосной ямы не видно, но зато видно что-то другое... «Расстояние, оно и есть расстояние, – бубнил Крупеня. – Это картину „Явление Христа...“ хорошо смотреть издали, а у нас работа тонкая, ювелирная... Нам бы еще очки, да посильнее, и – носом, носом...»

Наверное, тогда и началось их расхождение. Причем Царев тысячу раз объяснял Крупене, что ничего не имеет против того, чтобы «носом, носом», но тот гнул свое: на словах-то ты согласен, но поехал-то за границу, а не в районку...

Царев вздохнул. Надо будет устроить Крупене проводы по самому высшему классу. Это справедливо. Крепкий он, надежный мужик, а что темноватый, так не вина это, а беда. Время учебы у таких, как он, забрали бои, а потом пришлось догонять на бегу. Рано или поздно это должно было сказаться. Крупеня – умница, он это понимает, хотя лежит сейчас промеж ними что-то... Будь это простая нормальная зависть к тому, что Царев его обогнал, можно было бы понять, но ведь нет же... Крупеня не простой завистник, и мешает он сейчас Цареву своим потаенным, невыраженным протестом в серьезных делах. И это не его, Царева, субъективная оценка, это несоответствие времени, дню, новым веяниям... Вот где тебе, Леша, не хватает кругозорчика...

Умар громко и гневно сопит. Думает небось, едем на самый край Москвы, а начальник – ни одного слова. Пусть даже не о казанской бабушке, а просто хотя бы: «Как твой, Умар, холецистит?» Нет. Не будет этого вопроса, Умар, не будет. А возить меня будешь именно ты, потому что, несмотря на нрав, ты классный шофер. А с Крупеней придется расстаться, потому что хоть он и хороший мужик, но работник, по сегодняшнему счету, плохой. Мы все проверяемся в деле. Другой лакмусовой бумажки не было, нет и не будет. Если б кто знал, сколько прежних приятелей вламывалось к нему в кабинет с тех пор, как он стал главным. С тем когда-то ел из одного котелка, с тем когда-то пил, у того – ночевал... Ни одного он ни пригрел на этом основании. Входили гоголем, уходили общипанные, и плевать, что потом о нем говорили. Он соберет в своей газете самых исполнительных, самых пробивных ребят, он их научит делать газету так, как он это понимает. Сегодняшнее торжество – это уже другая история. Но ему будет приятно увидеть на нем старых друзей и ту же Асю. Накануне Мариша уговорила его отдать Асю ей: столько лет, столько зим и так далее... Он согласился, хотя ему это было неприятно, он не любил поблажек во имя каких-то личных отношений. Но Ася вышла на работу. Он ее узнал сразу по прямым ниспадающим волосам, на которых по-прежнему не держатся заколки. Он записал ей мысленно плюс в активе не только за приход, но и за то, что не полезла целоваться, а вела себя так, будто встретились в первый раз. Правильно! В нынешнем качестве – в первый. И давайте пение в хоре и кантату со словами на затылке не считать. Ася не считала, и он был ей за это благодарен. Вот сейчас они встретятся у Мариши, и тогда другое дело, тут можно вспомнить все, что было... Кто там еще будет? Ну, Олег. Да, еще Ченчикова. Вот тоже женщина с нравом. Умняющая баба, лет на пять раньше его кончила институт. Цены ей нет как работ-

нику. Вот и приходится терпеть ее фокусы. Да, будет еще Полина, трижды подписавшая Стокгольмское воззвание, будет Маришина сестра, которой он никогда не видел. Да еще старый Цейтлин – через его литературоведческий кружок они прошли все в разное время. Царев уже тогда знал, что ему никогда в жизни не пригодится знание особенностей онегинской строфы, но в кружок ходил. Это было признаком хорошего тона...

Напрасно только Мариша собирает у себя сегодня разный люд, имевший отношение к ее переезду, прописке. Приехала ведь она в Москву на эдаком фальшивом рыдване – тут и фиктивный брак, и какой-то сложный обмен, и какая-то непонятная работа. Все ненастоящее, кроме нее самой, королевы на этом металлоломе, мягко говоря, разнохарактерных обстоятельств. По-разному складывается у людей жизнь!

Машина остановилась. Умар сидит напыжившись. Окна у Мариши празднично освещены. Ирина сказала, чтобы он сам повесил чеканку, при нынешних стенках это – проблема, женщине не справиться. Даже положила в портфель электрическую дрель. Предстоящее сверление стены почему-то приятно взволновало Царева. И умерило раздражение, какое вызывал в нем колючий, обиженный взгляд Умара.

Когда все ушли из комнаты, в которой Ася провела свой первый московский рабочий день, она подставила маленькое зеркальце к телефонному справочнику и достала из сумочки косметичку. Очень жалко выглядели эти ее причиндалы. Когда уходили отдельные девичьи, она обратила внимание на то, чем и как они себя преображали. Надо будет научиться – подумалось ей. Раз, раз – и очи загадочные, губы зовущие, щеки свежие, и волосы струятся душистым холеным потоком. Ася изо всех сил сдавила копеечную металлическую пудреницу, это было необходимо: пудреница раскрывалась только

после сильного сжатия, и задумалась. День у нее получился длинный-предлинный. Сейчас бы не в гости, а Димой, принять душ, полежать, а потом посидеть с блокнотом. Но вот-вот зайдет Олег, и они пойдут к Марише есть ту самую картошку, которую она утром наредила. И будут они ее есть вместе с Вовочкой Царевым. В общем, надо признаться, что в этом длинном, перегруженном новыми людьми дне встреча с главным редактором в коридоре была самой потрясающей. Они шли навстречу друг другу, и Ася до сих пор благословляет свою интуицию, которая заставила ее притормозить шаг и не броситься навстречу Вовочке. «Наверное, издали, – подумала Ася, – я была похожа на нетерпеливую лошадь, которая стучит копытами, готовая фыркнуть и припасть к груди...» Образ этой припадающей к груди лошади даже развеселил ее. «Надо будет рассказать Марише». И она продолжала размышлять об этой встрече, о том, как она не побежала, а подошла спокойно и ровненько, как еще раз ее благословенная интуиция сомкнула ей губы, готовые расплыться в улыбке и произнести что-нибудь вроде: «Вовочка, золотце, это я!» Вместо этого улыбка была сформирована вполне светская, и произнесено было вежливое «здравствуйте», в ответ на которое она прочитала в глазах Царева явное одобрение. Она даже видела, как истаяло в нем то напряжение, которое далеко, еще в самом конце коридора, возникло, чтобы противодействовать намерению старой знакомой повиснуть на нем, лепеча нечто из их студенческого давнего прошлого. Поздоровавшись, они прошли каждый в свою сторону, и Ася поставила себе «пять» за поведение. Глупая Мариша, что она понимает? Не желает брать в расчет время, которое лепит людей сообразно с их природой. Сожаления не было. Вовочка не был другом, чтоб глотать слезы по поводу утраты в их отношениях теплоты. Здесь был не тот случай. Царева следовало принимать таким, каким она

увидела его сегодня. Несколько удивило Асю другое – не было сказано ни слова по поводу ее будущей работы. Правда, с ней наспех поговорил об этом ответственный секретарь, но приглашал-то ведь ее все-таки Царев! Секретарь же был сух и требователен:

– В отделе завал писем. Придет ревизия – будет большой шмон. Разгребайте скорее, иначе сгорите синим пламенем. Всем на все наплевать, все теперь умники... Все хотят быть художниками слова, никто не пишет информации в десять строк. Если у вас такие же величественные планы – я вам враг... Меня тошнит от непризнанных дарований... Мне нужны просто газетчики... Ваш материал про бардак в сельских отделах культуры – стоящий... Но мелковат... Хотелось бы отстегать за безобразия кого-нибудь покрупнее. Очень хотелось бы... Накидайте план – покажете. Посоветуйтесь с Меликянцем. Совершеннейший бездельник и плут, но здорово фантазирует по части прожектов... Поговорите с ним раз... Два уже не надо... Заговорит и запутает... А главное – будет потом мешать работать. Да! Старайтесь приходить на работу вовремя. Извините, больше у меня ни минуты... Вживайтесь в образ... Помните Брехта? «Выжили сильные, а слабых кусают собаки». Как вы к нему относитесь? Я его ставлю выше всех на три головы... Недоумение на лице прощаю для первого знакомства... Все!

Потом Ася вытирала стол старыми газетами, выбрасывала из ящиков мусор. Полезла в глубину тумбы и нашла вчетверо согнутый конверт. На всякий случай посмотрела, что в нем. Развернула бумажку и прочла: «Ну и чего ты тут ищешь? Истину? Так она тебе не нужна». Какой-то редакционный шутник. Показала своим соседкам по комнате Кале и Оле. Они взяли бумажку и пошли по редакции выяснять, чей это почерк. Принесли информацию. Обрелся в газете давным-давно, то ли пять, то ли десять лет назад, некий попивающий жур-

налист. Он же борец за повсеместную справедливость. Это его рука и его стиль. Любил подсовывать людям в столы, в карманы, в машины выраженное в лапидарной письменной форме свое отношение к ним. Его уволили, когда тогдашний редактор обнаружил в пакете с чистым бельем – редактор регулярно посещал Сандуны – бумажку со знакомым почерком: «Считаешь себя отмытым добела? Чушь! Вернись и утопись в бассейне». Горе было в том, что при чтении послания были свидетели...

Ася подумала: кому предназначалась записка, которую нашла она? Кто был тот *некто*, которому не нужна истина? И что имел в виду автор записки? Жалел ли своего адресата, клеймил ли, побуждал ли к чему-то? Но уж коли нашла записку она, пусть будет она побуждением. Для хорошей работы, хороших мыслей, побуждением к тому, чтоб истина была всегда с ней...

Ася вздохнула и закрыла глаза. Длинный, длинный день... Девочка в гостинице в бигудях и та красавица, которая, проплыв мимо, почему-то разозлила Олега... Почти ведро начищенной картошки... Царев, оценивший ее сдержанность... Любите ли вы Брехта? Записка изгнанного алкоголика... Каля и Оля... И запах их нежнейших духов...

Пудреница наконец раскрылась. Она всегда раскрывается после добросовестного усилия. Надо напудриться. И хорошо бы что-то сделать с глазами. У нее ведь есть синий карандаш для век.

– Мать! Сохраняй индивидуальность. На черта тебе синие веки? – Это было первое, что сказал Олег.

– Плохо? – Ася смущенно принялась вытирать глаза. – Я просто почувствовала себя деревенщиной рядом с девицами, которые сидят со мной.

– А ты не гонись за ними. Я Таське категорически запретил издеваться над физиономией.

– Она послушалась?

– Ей некуда деваться. У нее же в школе первоклаш-

ки. Их пугать не гуманно.

– Будто они своих матерей не видят.

– Не видят. У нее дети с Трехгорки. Почти все в продленке, пока мамы ткнут полотнишко... Ну, как у тебя первый день прошел?

Олег сел напротив, за Олин стол, и приготовился слушать. Мелькнула нехорошая мысль: от души это вопрос или чисто формально? Ася посмотрела прямо в глаза Олегу – в его добрые, сочувствующие и рассеянные глаза. Вопрос был искренним, но, если она не все скажет, все-таки будет правильно: Олегу не до нее. Достала записку правдоискателя.

– Боря Ищенко – человек мелкой правды, – сказал Олег. – Сто лет пройдет, а потомки будут находить его следы.

– Поясни, – попросила Ася, – чтоб мне знать, как относиться к этому предзнаменованию. Историю с редактором уже знаю.

– Был талантливый парень из военных газетчиков. Пришел в мирскую печать и ничего не понял. Пишет, пишет, громит, кромсает всех и вся, а жизнь идет своим путем... Ну кого-то там сняли, кому-то дали выговор, но в целом мир не пошевелился из-за Бориных опусов. Что и естественно, и нормально. А Боря затосковал, запил, пока не решил, что надо начинать с малого, с частного. И тогда стал мелочиться, стал занудой. Там ворота скрипят, здесь гвоздь торчит. Тот не с той женщиной спит, а эта слишком откровенно бюст показывает. И все верно. Он хорошо все подмечал, все видел будто и правильно. Но надоел... А потом эта вздорная идея – морально очистить собственный коллектив. Вот и пошли записки – каждому личное разоблачение. Эта твоя, видимо, предназначалась Меликянцу...

– Вот как! – воскликнула Ася. – Мне с ним рекомендовано поговорить.

– Не могли! – закричал Олег. – Ни в коем разе. Боря и

он ненавидели друг друга, считали себя противоположностями, а в сущности, оба выродились в бездельников. Только Меликянц хамства по отношению к начальству никогда не допускал и не допустит потому, что весьма дорожит своим благополучием. Отчего и здравствует. Но тебе он не нужен. Начнет с того, что расскажет о своем прадеде, который один на всем Кавказе правильно варит мамалыгу. Спросит, знаешь ли ты своих предков. Если не знаешь, он оскорбится. Услышишь монолог об утрате корней и стыдливое признание, что он пишет на эту тему статью. Не пишет, говорю сразу. Он давно разучился писать. Потом будут восточные тосты, здравницы, Монтень. Он спросит твое отношение к «Опытам», а у тебя отношения нет, и тебе станет стыдно. Григол покачает головой и начнет врать, что читает Монтеня в подлиннике и с карандашом. Потом покажет тебе притчу, написанную будто бы только что, после последней планерки. Притче десять лет, и он ее время от времени освежает – перепечатывает. В ней столько же мудрости, сколько в твоей пудренице, поэтому закрой ее и пошли. Не хочу больше ни слова про Григола Меликянца. Он долгожитель, а у нас с тобой времени мало.

– Что купим? Водку или шампанское? – спросила Ася, когда они вошли в магазин.

– Ты второе, я первое, а Таська принесет соленых грибов и рыбы...

– Прелесть! Ты знаешь, Мариша первую часть делает а-ля трудные времена – винегрет, черный хлеб, брынза. А чай у нее будет с «Наполеоном».

– «Наполеон» я люблю. Единственные пирожные, которые...

– Балда! «Наполеон» – это французский коньяк. – Она что, сдурела? Такие деньги... – Ничего подобного! Это подарок от маклера, который был счастлив устроить ей квартирный обмен.

– Слушай, а может, и мы купим коньяк? А то будем

выглядеть бедными родственниками.

– Нет! Мы купим водку и не будем так выглядеть, потому что мы с тобой не маклеры и не гордимся, что нас пригласили. Мы просто идем к старому другу Марише с чем Бог послал...

– Остановись, мать! И слушай... Я счастлив совершенно так же, как тот маклер. Я счастлив, Ася, и не знаю, чем это кончится. Но с тех пор, как она здесь, у меня все валится из рук. Я так и не написал сегодня ни строчки.

– Я думала, это давно кончилось, еще тогда...

– Ничего не кончилось, ничего...

– Плохо, Олег. Сейчас это еще хуже, чем прежде.

– Еще хуже... Но, черт возьми, что я могу с собой поделать, если я счастлив от одного сознания, что могу ее встретить на улице, в метро, что стоит мне взять трубку, и я ее услышу...

– Что же будет? – тихо спросила Ася.

– Жить будем, жить! И радоваться, что жизнь еще способна преподносить нам подарки...

– Ничего себе подарочек...

– А ты думала? Это такой подарок, такой... Я ведь даже не подозревал, серый я лапоть, что у меня еще что-то может быть. Мне кричать иногда хочется! Эге-гей!

Какая-то тетка на них покосилась.

– Ты потише! Все смотрят на меня и удивляются твоему выбору.

– Я тебя тоже люблю, – сказал Олег. – Ты, Ася, хороший парень...

– Негодяй! Я тоже ничего себе дамочка, меня в поезде, знаешь, как один кадрил...

– А ты ему дала по морде...

– Ты считаешь, что не следовало?

– Сам не знаю... Хотя ты ведь не могла поступить иначе... Ты у нас правильная девочка!

– Правильная в смысле – мировая, это комплимент, в

смысле – порядочная, жуткое оскорбление.

– Слушай, как здорово, что ты приехала!

– Ты уже говорил. – Хочешь сказать, что я тебе много сказал?

– Сам ведь все знаешь, чего спрашиваешь?

– Таське не проговорись...

– Я для этого приехала. Раскрыть ей на тебя глаза.

– Извини, мать.

– Бог тебя простит, Бог... Слушай, Олег, а может, тебе не надо ходить к Марише?

– Если ты приехала меня учить, возвращайся за хребет. Уезжай!

– А если все-таки не ходить?

– Пустой разговор. Я уже иду.

Полинины котлеты прошли на «ура». Правда, «трудные времена» из-за них не получились, но после мяса и первых рюмок все стали добрее, шумнее – ну, совсем студенческая компания. Ася вначале волновалась из-за Олега, а тут успокоилась. Олегова Тася влюбленно смотрела на Маришу, сам Олег сцепился с Вовочкой по поводу каких-то редакционных дел, а в общем, не стоило обращать внимания на его бред. Это был всего лишь рецидив молодости, и ничего страшного произойти не может. Мариша этого не позволит. Вот сестра ее Светлана – форменный бес. Как это она учудила? Пили за дружбу. Полезли друг к другу целоваться. Кто-то потянулся к ней.

– Ради Бога, – сказала Светка. – Ради Бога. Я не с вами, я против вас.

– За что? – завопили. – За что нас не любит молодежь?

– А за что вас любить? Вас никто не любит, вы самоудовлетворяющиеся. Те, кому шестьдесят, считают, что вы им чужие. А я считаю, что вы и с нами не родственники.

– Почему?! – возмутился Олег. – Потому что ради вас

разгребаем дерьмо?

– Дерьмо-то ваше, – спокойно сказала Светка. – Так что нечего... И вообще пейте и целуйтесь. Хорошее занятие после санчистки. – И она ушла, неся на вытянутой руке грязные тарелки, и мазнула по лицу Священной Коровы длинными волосами. Священной Коровой называли Анжелику Ченчикову, ветерана редакции, которую, как священных коров в Индии, никто давно не смел трогать. Она пересидела столько редакторов, она налетала и наездила миллионы километров, так что если взять все, написанное ею за двадцать пять лет работы, то, может, и правда, можно было перекрыть расстояние до Луны, как шутили (или язвили?) на редакционном капустнике. Нет, все-таки шутили. Язвить было опасно – Корова лягалась. Но тут, когда Светка произнесла свой монолог, она промолчала. Плеснула в рюмку водочки и выпила сама с собой. Увидела, что Ася смотрит на нее, и сказала:

– Девушка с жалом. Если Мариша – по идее, пчелиная матка, то это пчела-воин, запрограммированная убивать.

– Мы тоже кусались в свое время.

– Мы и сейчас кусаемся. Жала нет. Вот в чем горе. Кусаемся вставными челюстями.

– Это ты не про себя, конечно? – засмеялась Ася.

– Что я, идиотка – говорить про себя? О себе я мнения высокого, ты это заруби на носу, поскольку мы теперь в одном стаде. А я, как ты знаешь, в нем Корова Священная. Да, да, да... Я знаю. Меня так зовут уж десять лет. И я горжусь этим. Ты еще попотеешь, пока заработаешь такое название... А может, и не заработаешь. Кто тебя знает? Вас, уральцев, тут много. А Священная только я.

– Ты от скромности не умрешь...

– Я знаю, как я умру. После какой-нибудь дружеской попойки у меня лопнет, к чертовой матери, какой-

нибудь сосуд. Похриплю дня три и в дым...

– А ты не пей.

– Разве я пью? Наливаю по капле, да и то редко. Меня разволновала эта змея. Что она понимает в дерьме? Вся беда в том, что по нему не видно, кто его оставил. «Дерьмо-то ваше». А сама после себя тарелки не вымоет...

Между тем Светка мыла на кухне тарелки. И радовалась горячей воде. Они с мужем жили у его родителей в старом московском доме, который стоял в глубине двора, окруженный новостройками, и сносить его пока не собирались. В общем, место лучше не придумаешь, но горячей воды там не было. И сейчас она с удовольствием мыла посуду, думая о своем. Свое – это был ее Игорь. Он не смог сегодня прийти, потому что у него уроки в вечерней школе. Надо уехать от Мариши так, чтобы к его приезду с работы она была уже дома. Иначе он разволнуется и помчится сюда. Во-первых, это поздно, во-вторых, приезжать в компанию, которая уже подвыпила, противно. Он будет вести себя интеллигентно, и это будет глупо выглядеть. Надо уезжать. А мать пусть остается. Ей интересно, она уши развесила, слушает все эти идиотские разговоры. В общем, может, они и не идиотские, просто у этих газетчиков две мании – величия и преследования. С одной стороны, мы – чернорабочие чернорабочих, а с другой – короли в изгнании. Это интересная тема, если взять биопсихологический аспект. Они умирают раньше, чем представители других профессий. Это от раздвоенности, в которой они не признаются. Чернорабочиекороли. Надо это запомнить. Не удивительно, если кто-то из них там сейчас заплачет из-за ее отповеди, оскорбившись за весь свой клан. Они ведь и плачущие. Нервные, переполненные скорбью люди. Но это определение хуже... Чернорабочие – короли... Это точнее... Отец бы сказал: «Как ты можешь? Препарировать там, где нужно проявить участие?» Ему

не докажешь, что препарирование – это тоже участие. Только более эффективное, более нужное человеку, чем разные там «сю-сю», «тили-тили». Потому что препарирование дает знание. А знание – это благо, в отличие от незнания, которое всегда «жалкая вина». И это не противоречит, папочка, доброте, знание – это оружие доброты. Не пугайся, не пугайся слова «оружие». Вот добро с кулаками – это действительно страшно, потому что примитивно. Примитивность – бич нашего сознания. Все-таки надо пойти и посмотреть, кто там сейчас плачет. Плакать ведь должен кто-то обязательно.

Плакала Олегова Тася. Она сидела, поджав ноги, на софе, и слезы падали на голубую, съжившуюся от сырости кофточку. Полина, сидя рядом, гладила ее широкую, в желтых мозольных пятнах от стирки ладонь.

– Я не могу, тетя Поля, не могу. Такие они бледные, такие они по утрам невыспавшиеся, что нету сил... Ну, была б моя воля, я б сказала: спите! Я и говорю иногда: «И сейчас все головки на парту, глазки закрыли». А сама, поверите, тихонько пою: «Придет серенький волчок...» Мне уже был за это выговор. А мне их жалко. И то ведь. После школы они домой не идут, а в продленку. Целый день во всей этой амуниции. А им же всего по семь... Ну, что делать? Я Олегу говорю – напиши про это. Отмените продленку. Сама говорю, а сама знаю: куда им деваться, если мать на работе?.. У них сейчас уже нервов никаких... Это я про детей... Матерей мне уже и не жалко. Честное слово, тетя Поля. Они привыкли – садик, школа... Я Олегу говорю – напиши про это. Он на меня сердится. У меня, говорит, начальников – во! – но они все вместе столько мне заданий не придумывают, как ты... Я говорю: дети у них есть? Если наши дети вырастут нервными, больными, есть нам оправдание? Ну скажите мне, тетя Поля, есть?

– Никогда не думала, Тася, что плакать будете вы. – Светка подошла и села рядом.

– Жалеет она своих учеников, – сказала Полина. – Мне сдается, что на периферии дети крепче. Тут же шум. Ведь посмотреть – все есть. Одетые, как куколки. Никто на дитя денег не жалеет. И питание. А все-таки не сравнить...

– С чем ты хочешь сравнить, мама? – спросила Светка.

– С довойной и послевойной, – тихо почему-то и виновато ответила Полина. – Разве я не то говорю, Светочка?

– Я знаю только одно. Когда рожают, не думая, – плохо. Безнравственно. Когда начинают думать – не рожают. Я думаю и не рожаю. И, наверное, не рожу.

– Ну как можно! – забеспокоилась Полина. – Какая ж это семья без детей?

Тася согласно закивала головой.

– Ладно, ладно, – сказала Светка. – У меня есть еще время и передумать.

– Конечно, передумаешь. – Это Полина. Светка не может вынести этот ее умоляющий материнский взгляд.

– Не смотри, не смотри, муся! Мне уже стыдно. Давай лучше потихоньку попрощаемся, и я исчезну. Хочу приехать раньше Игоря. Я уйду по-английски...

– Это без досвиданья? Ну хоть Марише скажи.

– Конечно! Всего доброго, Тася. И не ревите. Жалко кофточку. Так выглядит, будто вы шли навстречу дождю...

– Вот уж чего мне никогда не жалко, – сказала Тася.

– Вы милая, но несовременная женщина.

– Да что ты, Света! Представляю, на кого я сейчас похожа.

Но уйти по-английски не удалось. Светлана натягивала в передней свои блестящие сапоги-чулки, когда в дверь позвонили. Мариша сделала круглые удивленные

глаза и пошла открывать. Светка прижалась к вешалке: неловко как-то уходить, когда люди только приходит. В прихожую вошел старенький поникший человек с громадным, завернутым в бумагу пакетом. Букет угадывался, потому что с виду сверток напоминал завернутый веник. Или балалайку, занесенную для удара.

– Учитель! – радостно закричала Мариша.

– Пред именем твоим, – прошелестела из-под вешалки Светка. И он услышал. Этого никак нельзя было от него ожидать. В его возрасте уже полагалось не видеть, не слышать, а он даже приносил букеты в форме сражающейся балалайки.

– Это моя сестра, – сказала Мариша. – Выйди и поклонись профессору Цейтлину, мартышка.

Цейтлин раздвинул сухие губы и улыбнулся доброй улыбкой. А в прихожую уже набивался народ.

– Арон Моисеевич! – Вовочка вытянул руки, будто хотел пересадить профессора вместе с куском паркета в новые условия.

– Цейтлин! – кричала Священная Корова. – Вы еще живы? Это прекрасно и удивительно!

Профессора увели.

– Уходишь? – спросила Ася.

– Если не поймаю такси, то уже опоздаю. Кто этот Цейтлин?

– Известный филолог. Мы все ходили к нему в кружок, а Мариша была его любимицей.

– Я рванула, Ася, ты останешься ночевать у Мариши?

– Да нет. Я в гостинице.

– Ну, пока. Увидимся.

– Надеюсь. – Ася защелкнула за Светкой замок и вдруг почувствовала, что очень устала. Лечь бы сейчас где-нибудь в уголке и уснуть. Или просто полежать, стянув с себя туфли, пояс, чулки. «Пойду лягу в маленькой комнатке. Вместе с Настей». Она пробиралась за спинами сидящих за столом, боясь, что ее сейчас оста-

новят, усадят и она не сможет лечь и, ни о чем не думая, смотреть в потолок. Но ее не задержали. И она нырнула в темную спальню, где громко сопела, раскинувшись на широкой материнной кровати, девятилетняя Настя. Ася легла у нее в ногах, поперек, положив ноги на кресло. Настя шевельнулась во сне и по-хозяйски взгромозила на Асю ногу. «Все они такие, – с нежностью подумала Ася. – И Ленка моя». Прикинула, что на Урале уже глубокая ночь. Аркаша тоже, небось, спит поперек на их двуспальной кровати – недавнем приобретении. Еле установили тогда это сооружение. От маленькой комнаты ничего не осталось. Так, узенькие проходки слева и справа. Приятели разглядывали кровать, стоя в дверях, издали, и клеймили Асю и Аркадия за их высокие требования к бытовым условиям. («Вся интеллигенция на диван-кроватях, а вам бы все пороскошней... Может, вам и две спальни хочется?..») И еще острили по адресу архитектора, придумавшего комнаты для одной двуспальной кровати. Кто он? Какие у него взгляды на жизнь? «На двуспальную кровать», – уточнила Ася. «Он не знает, что это такое, – смеялся Аркадий. – Он просто их никогда не видел». Договорились, что в архитекторы пролез маленький переодетый японец. («Два татами – и хватит».) Ася улыбнулась. На маленького переодетого японца был похож Цейтлин. Что он сейчас там делает? Когда Ася пробиралась за спинами, Полина ставила перед профессором чистую тарелку и маленькую хрустальную рюмочку.

– Что вы, что вы! – отмахивался Цейтлин. – Мне что-нибудь поменьше.

– Меньше не бывает! – кричала Священная Корова. – Эту и так взяли взаймы у гномов.

– Вы верите в гномов? – притворно удивился Цейтлин.

– Что вы, профессор?! – возмутилась Священная Корова. – Я не верю. Я их вычислила. Знаете анекдот?

– Да, да! – сказал Цейтлин. – Очень интересно, как вы их вычислили?

И Асе тоже было интересно, но она не остановилась. Сейчас ей было покойно, и она думала, что если уснет, то и пусть. Останется у Мариши. А завтра утром поедет в гостиницу. Но только вряд ли она уснет. Она лежала в полудреме и слушала Маришино новоселье.

– ...Надо бы сходить на какой-нибудь литературный концерт.

– Ни к чему. Стихи надо читать наедине... или глазами.

– Скажешь! Сейчас другое время. Стихи вышли на площадь...

– Площадная поэзия?..

– Заткнись! Если тебе есть что сказать людям, выходи на площадь и ори! Используй мегафоны, микрофоны, все что угодно, но вложи это людям в уши...

– Ну да! Кто кого перекричит? А если я стесняюсь? А может, сказать я мог бы больше, чем другие, а у меня голоса не хватит?

– Если есть что сказать – поищешь и найдешь!

– Побеждает глотка.

– ...Техническая интеллигенция – в массе, в массе! – эмоционально глуха. Она не растрожена. Ей ничего не надо.

– А кто растрожен, кто? Всем ничего не надо!

– Не бреши! Если брать массу, то она, конечно, сырковая. Это всегда было. Но ведь есть лидеры...

– Вовсе не так! Все теперь лидеры. Об этом даже «Литературка» писала... Все дети, если один ребенок в семье, – лидеры...

– При чем тут дети? Еще неизвестно, чего стоят эти лидеры в будущем.

– Захожу в магазин. Смотрю – хвост. И как раз в том месте, где обычно бывает импортное мыло. Я туда. Что вы думаете? Дохи. По шестьсот семьдесят ре. Очередь такая же, как за тридцатикопеечным мылом.

– У народа полно денег.

– А у меня нет! Почему? Как это? Как это? – Лежат без движения, в чулках, миллионы. Это страшно, граждане. Деньги в чулке – это экономическая проблема. Благословим эту очередь за шубами.

– Ни за что! Очередь не благословлю!

– Зря! Ты ведь в очередь не встала, и я не стану... А у кого есть деньги, пусть отдадут в оборот. Святое дело!

– Читали «Примаверу»? Какой блеск!

– Ядовитая женщина! Я подумал, не увела ли у нее какая-нибудь Феврония мужа? тем более она есть не ест, а только курит!

– Во! Только так вас и надо подлавливать! У вас обязательно герой – это автор! На другую точку зрения образования не хватает. Эго примитивно. Несправедливо по отношению к автору... Мы толкаем его на стремление нам нравиться. Не должен он быть этим озабочен.

– Автор нынче озабочен одним, чтоб его напечатали.

– Что тут плохого?

– А ты сообрази! Напрягись! Напрягись!

– ...А где Ася?

– Еще один человек со стороны... Голый человек на зеленой траве.

– Мы все оттуда...

– Поломают ей тут кости...

– Тише! Зачем ты так? Мы же все вместе.

– Гуртом и батяка добре быты.

– ...Братцы! Споем! «Шеф нам отдал приказ лететь в Кейптаун...»

– Да брось ты своего шефа... «Тополя! Тополя... Чем-то коронованы...»

– Слов не знаем! Слов не знаем!

– Нет, нет, не то! Давайте простую. «Я люблю тебя, жизнь...»

– Хозяйка! Совсем не пьем! Ты смотри, что предлагают петь! Какое-то массовое помрачение. «Мы бежали с тобою золотою тайгою... Там, где тундра оделась в свой вечерний наряд... А мы по ту-у-ндре...»

– ...Ах, вот она где, Аська! Тише! Она спит. Ну вот и хорошо! Пусть! – Мариша плотно прикрыла дверь.

«Я не сплю», – хотела ответить ей Ася, но ничего не сказала, повернулась на бок и уже совсем сонно и облегченно решила, что не поедет в гостиницу.

– Первая ночь в Москве, – пробормотала она и, засыпая, почувствовала, как Настя подбадривающе потолкала ее в спину.

У Алексея Андреевича Крупени всю ночь болела печень. Он принял целых пять таблеток – не помогло. Он лежал и думал, какое было бы счастье страдать бессонницей и чтобы ничего у тебя не болело. Просто лежать и думать, думать! Ни тебе звонков, ни визитеров, только ты со своими мыслями. Так ли уж часто мы бываем с ними наедине?

Но он хотел спать. Он бы уснул сейчас суток на трое, если б не проклятая боль... Не подавишь ты ее никаким усилием воли... А мысли, которые приходят вместе с болью, отнюдь не героические, а если честно, то не всегда и мужские, а слабые, беззащитные приходят мысли. Не то что страх смерти. Потому что нелепо бояться неизбежного. Жил и умер. Формула, в которой поправок не предвидится. Противно то, что о его болезни знают, что смерть еще когда, а печенью его играют, она уже в пасьянсе. Как карта. Когда боли не было, Крупения не позволял себе об этом думать. Он говорил – «не смей!»,

и грустные мысли уползали. Он даже знал как. На брюхе. Как уползает от пристающего Пашки их кот. Уползает назад, не поднимаясь на лапы, – больно надо утруждать их. Так и мысли – отползают, не утруждая себя уйти насовсем. Нет, они тут, они рядом, но приказ «не сметь!» знают. Дрессированные у Крупени были мысли. Вот когда болело – тут уж они вели себя нахально. Они не ползли, а ходили, и при этом на задних лапах. Опять же, как их кот, когда, бахваясь перед восхищенными гостями, он демонстрировал им свое белоснежно-пушистое брюхо, по которому небрежно, наискосок шла рыжина. «Галстук набок, – говорил Пашка. – Подгулявший интеллигент». Когда-то Крупеня даже хотел написать повесть о коте. Он был очень увлечен этой идеей, почему-то не сомневался, что это будет интересно, но как человек очень занятой и потому не имеющий права работать впустую, предварительно пришел обговорить это дело в издательстве. Просто утрясти тему. Знакомый редактор сразу двумя ладонями закрыл лицо. Крупеня не понял жеста, тем более что сквозь раздвинутые пальцы на него глядели грустные редакторы глаза.

– Ты чего? – спросил Крупеня.

– Неужели не понятно, что я тебя оплакиваю! – застонал редактор.

– Не надо, – сказал Крупеня. – Я не люблю сырости. Редактор шустро вскочил из-за стола и ринулся к ящичку, что стоял на шкафу.

– Это все – коты! – дурным голосом заорал он. – И кошки. Говорящие, думающие, сострадающие, презирающие. Коты-герои. Коты-шпионы. Твой – кто?

– Не ори, – сказал Крупеня. – Мой – просто кот. Но я все понял.

– Ты сидишь на золотом сундуке, – не унимался редактор. – Ты можешь все! Ты можешь написать повесть о комсомольцах на стройке, в школе, в селе! Мы ее у тебя оторвем с руками и ногами. Это надо – вот так! – И

редактор ребром ладони примял подбородок. Это было убедительно. – Договор прямо сразу, ты мне только на пальцах объясни, про что будет повесть...

– Не будет повести, – сказал Крупеня. – Не суетись.

– Грубиян! – закричал редактор. – Нет тебе другого наименования.

– Ладно, – засмеялся Крупеня. – Кто с тобой спорит?

– Но не надо про кота, – захныкал редактор. – Я тебя умоляю – не надо! Мне эти звери – вот! – И он снова ребром ладони провел по подбородку, и снова это выглядело вполне убедительно.

... Крупеня застонал. Болело, болело, болело... Ведь в чем была штука? Сейчас, когда всем было ясно, что ему из редакции надо уходить, вызрела и выкристаллизовалась формулировка: Крупеня отстал от времени и от коллектива не только в творческом, но и в интеллектуальном отношении. Это было обидно. Но, как человек честный с собой до конца, Крупеня понимал, что в этом есть правда. Только если быть абсолютно справедливым – не он отстал, а его перегнали. Это же разные вещи! А говорили именно «отстал». Даже не говорили, подразумевали. А вслух убеждали: разве можно вам, с вашей печенью, вариться в этом котле! Вам нужна спокойная работа в каком-нибудь тихом журнале... Что он, печень не возьмет с собой в тихий журнал? Это все пасьянс, который раскладывает Вовочка. Ах, Вовочка, Вовочка! Железный человек с детской кличкой. Его так прозвала много лет тому назад уборщица их редакции. Она приходила к концу рабочего дня, маленькая, изящная старушка в шелковой косынке на закрученных тряпочками волосах. Литдамы и литдевицы стали убеждать ее в преимуществах бигуди.

– Вы что, милые?! – возмутилась Таисия Ивановна. – Железо в голову? Извините, я по старинке.

Она почему-то обиделась и пожаловалась Крупене – он тогда заведовал отделом.

– Я культурный человек, – сказала она. – Я больше их читала. Они понятия не имеют, кто такой Шеллер-Михайлов. Я не признаю железные бигуди. И не только их. Капроновые чулки тоже. Эту микронапористую обувь. Я не признаю столовые, самообслуживания. Я никогда не носила никаких платочков на улице. У меня три шляпы – три! – летняя, осенняя и зимняя. У меня всегда открыты уши, никто теперь не знает, что уши украшают женщину, если они маленькие и у них изящная мочка. Раньше умели ценить детали. Пальцы. Мочку. Ямку на щеке. Родинку. Вы не можете это знать, вы и родились уже при современной власти. Вам нужен вес. Большая тяжелая женщина. Чем больше, тем лучше.

Крупеня хохотал. У него от смеха уже тогда побаливало в боку.

Эта Таисия Ивановна из всех выделила Володю Царева. Он тогда только пришел после университета и работал в отделе у Крупени.

– У вас роскошная фамилия, – говорила Таисия, протирая его стол, – царская.

– Не то что у некоторых, – улыбался Крупеня.

– Да! – говорила Таисия. – У вас плебейская фамилия.

– У меня украинская фамилия, – оправдывался Крупеня.

– Это одно и то же, – отмахивалась Таисия. – Одно и то же, уверяю вас!

Они очень смеялись с Володей. Таисия не понимала, чему смеется Крупеня, Володю же она понимала во всем. Она ставила ему в стакан фиалки, подснежники, в кармане фартука приносила тщательно завернутые конфеты.

– Вы не удивляйтесь, – говорила она Крупене. – Он мне близок. Близок по духу. От него хорошо пахнет. Вы думаете, это пустяк? От мужчины должно пахнуть мужчиной. Это трудно объяснить. Но это не имеет никакого отношения к табаку или дешевому одеколону.

– Ладно, я его понюхаю, – пообещал Крупеня. Таисия-то и стала называть Володю Царева Вовочкой.

Когда ему звонили, а она брала трубку, она никогда не говорила, что Царева нет. Она шла из комнаты в комнату – искала. «Вовочка не у вас?», «Вовочка не заходил?» Она пришла провожать его на вокзал, когда он уезжал на три года за границу. Пришла в осенней шляпе, нарумяненная, с букетом цветов.

– Это ничего, что пока – Африка. – Все засмеялись. – Главное, вы сдвинули с места свою ладю.

Вовочка поцеловал ей руку. Когда он вернулся, Таисия уже не работала, но она пришла к нему специально, на этот раз в зимней шляпке и с букетиком астр. И снова он ей поцеловал руку.

– Вас любит Бог, – сказала она ему. – Вы будете большим человеком.

Старая Таисия как в воду глядела. Царев стал главным редактором. Но остался Вовочкой. Крупеня думал, что Царева будет это шокировать, но – ошибся. Вовочке нравился контраст между кличкой и должностью. Вовочка – а решительный и принципиальный, Вовочка – а смелый, Вовочка – а нетерпимый к врагам. И был в этой кличке оттенок демократической нежности. В основном же Вовочка был последовательным. Сначала Крупене, как одному из его заместителей, дали курировать менее важные отделы. Потом, так уж сложилось, и эти отделы забрали – печень! печень! береги себя! – и оставили ему круг хозяйственных вопросов: командировки, фотоаппараты, квартиры. Дальнейшая забота о его печени выводила его прямо на пенсию. Теперь он стоял перед последней дверью. Сотрудники знали это и не шли к нему по серьезным поводам. Не все, конечно, Олег приходил. И Священная Корова, и кое-кто еще. Но их становилось все меньше. Действовал закон последней двери. Неумолимый закон. Жесткий закон. Обидный. Как-то он услышал, как о нем говорил в трубку Во-

вочка: «Алексей – мировой мужик... Но темноватый...» Почему-то самое обидное скрывалось именно в суффиксе. Был бы уж просто темный. А то – темный, но с некоторым отблеском образованности. Это имел в виду Вовочка? Или что другое?

Крупеня остро ощущал поверхностность своих знаний. Формально, конечно, у него, как и у всех, – высшее. Но ведь высшее – заочное. Не видимое простым глазом. Серьезное самообразование стоит больше, но его тоже не было. Когда его Пашка вырос и пошел учиться в университет, Крупеня, радуясь за сына, казнил, что столько времени провел на бестолковых совещаниях, что десятки человеко-часов просидел в истуканной позе члена президиума, что написал кучу заметок, переделки с готовыми шаблонными абзацами, что так и не написал ничего другого. Послушался истерика, бьющего себя по подбородку. Время, как вода, ушло в песок. Чего он боялся, когда отказывался от кино, от книги, от театра, а покорно плелся на вручение знамени какому-нибудь коммунальному тресту? Зачем он там был? И мотались бешеные стрелки времени, пока он служил этому чудищу – бюрократическому ритуалу. О, если б вернуть это время! Черт с ним, с Кафкой, которого он так и не смог понять. Просто отдать это время живому журналистскому делу. Как Олег. Как Священная Корова. Как эта новенькая в их редакции, Ася Михайлова. Был бы он просто хорошим журналистом, а не зам главного, черта с два выпихивали бы его теперь из редакции. Он бы ушел сам от этого пахнущего мужчиной Вовочки. И пусть бы болела печень. Но тогда бы ждали, когда он выздоровеет, потому что было бы нужно его перо. Сейчас его не ждут. И он сам по дури, по наивности выбрал этот путь. Нет, нет, он не думал о карьере. Это неправда! Он думал, что все это имеет значение – заседания, президиумы, конференции. Его сожрала форма без содержания. И выхолостила. Вконец! До больной печенки. Он

хотел объяснить это сыну. Предостеречь его от опасности. Но для Пашки это не было опасностью. Он просто не понимал отца, когда тот объяснял ему, почему не успел прочесть Писарева. Почему не осилил «Братьев Карамазовых». Не понял Кафку? Что не понял, объясни! Хорошо, пусть не понял. Но ты его почувствовал? Почувствовал, как ему страшно, как его сжимает? Нельзя быть гуманистом, не впитав всей боли, которую нам оставляет литература. И для коммуниста это важнее, чем для кого другого...

– Я по части ведения боя крепче, – отшучивался Крупеня.

– Я это понимаю, – отвечал Пашка. – Я ценю это у вашего поколения, но это разве все?

Крупеня знал, что не все. Знал и другое – заполнить пробелы уже не удастся. И надо доживать жизнь без Писарева и Достоевского. С одним умением воевать. Только бахвалиться этим нечего. Хотя это, пожалуй, единственное, что ему зачтется, когда положат его в конференц-зале заострившимся носом кверху. Что бы там ни говорили, а ордена и медали на подушечке у него будут настоящие, добытые кровью. А остальное – дым. Жаль, черт возьми, жаль, что он не написал повести о коте. Как великолепно он отползал на брюхе, как он сохранял свою белоснежную индивидуальность. Как брезгливо отходил он от ящика с песком, так до конца и не привыкнув, не примирившись с тем, что у него, красавца, могут быть такие вульгарные потребности. И тут на него, Крупеню, действовала форма – картотека «животной» литературы. Почему он тогда не спросил, много ли в картотеке было собак, слонов, коров? Интересно бы посмотреть...

К утру он задремал, а когда проснулся, дома уже никого не было. Он попил чаю, постоял у окна кухни – напротив строили новый дом, и ему нравилось на это смотреть, подавил бок – пока не болело, и стал соби-

раться на работу. Не смей! Все в порядке. Надо закончить сегодня эту историю с «телегой» на Олега (ишь ты, как в лад). Поговорить с Асей. Чего-то она сразу засуетилась. Позвонить Василию. Это черт знает что! Сын ушел из дома, а этот принципиально не реагирует. Это аномалия. Так не бывает. Еще что? Да! Опять сдохли рыбы в редакционных аквариумах. Надо убрать из холла эти аквариумы. Вовочкино нововведение. Хватит экспериментов. И еще его приглашали сегодня на заседание секции публицистов. Благодарю покорно! Заседайте без меня! Хватит! Бок не болел. Не смей! Не смей вспоминать о боли! Дрессированные мысли отползали на брюхе.

Соседка по гостиничному номеру Зоя собирала чемодан. Ася еще лежала и наблюдала за Зонными хлопотами. Чемодан был большой, мягкий, на молнии. Зоя побросала в него свертки, сверточки, пакеты, и теперь чемодан не закрывался. Тогда она высыпала все на пол и снова начала бросать, уже сердясь, но молния и на этот раз не хотела стягивать раздувшееся чемоданное чрево.

– У меня есть пустая сумка, – сказала Ася. – Возьми. Зоя метнулась в прихожую.

– Я вам потом вышлю!

– Ради Бога! – Ася махнула рукой. – И не думай.

Уже через пять минут и чемодан и сумка стояли рядом, и Зоя, вздохнув, села прямо на пол. Лицо у нее стало облегченным и спокойным.

– Кого-то к вам вместо меня подселят? – сказала она.

– Мне все равно, – ответила Ася. – Мы с тобой ведь почти не встречались.

– Вы всегда приходили поздно!

– И буду! – засмеялась Ася. – Куда мне торопиться. Ты мне лучше скажи – ты довольна, что побывала в Москве? Видела что-нибудь интересное?

– Много. Нас водили. И новый цирк видела, и новый МХАТ, и Шмыгу. И в церкви была.

– Тоже водили?

– Тоже. Показывали картины.

– Понравилось?

– Как вам сказать? Красиво. Но от этой красоты мне лично становится грустно.

– Это хорошо...

– Хорошо? Нет, это как раз плохо. Человек должен быть добрым, энергичным...

– А иногда – грустным.

– Почему?! – возмутилась Зоя. – Почему?

– Для разнообразия. Ну, представь, что все вокруг тебя всегда бодрые и энергичные...

– А я других вокруг себя и не держу. Нос повесил – катись.

– Ишь ты... Мы когда с тобой встретились, ты сказала: «Меня зовут Зоя. В честь Зои Космодемьянской». Зачем ты так говоришь?

– Потому что имя у меня странное. Сейчас никого так не называют. Я была одна и в классе, и в лагере. И вообще я ни разу не встречала ни одной Зои. А с одним парнем раз познакомилась, он спрашивает: «Зоя? Это что за имя? Может, Зая?»

– Он шутил.

– Ну, да! Он действительно не знал. И никогда не слышал про Зою Космодемьянскую.

– Он не русский?

– Коля Сидоров? Просто не слышал!

– Не может быть!

– Еще как может! Я ему о ней рассказала.

– Вот он этого и хотел. Чтобы ты рассказала.

– Да нет же! Удивился. Говорит, про «Молодую гвардию» знаю, про Матросова знаю, а про Зою не слышал.

– Странно!

– Как хотите считайте.

– У тебя есть дружок?

– Навалом!

– Я про единственного.

– Между прочим, – Зоя в упор посмотрела на Асю, – я уже жила с мужчиной.

Ася покраснела. «Тьфу ты, черт! – подумала она. – Зачем она так? И чего она ждет от меня?»

– Ты считаешь, что об этом надо объявлять по радио?

– Вы так спросили меня про парня, будто я в шестом классе.

– Извини, – сказала Ася. – Это меня не касается. – И в душе возмутилась. Почему не касается? Девочка совсем! Вожатая. И так обнаженно, откровенно: жила с мужчиной. – Об этом, Зоя, не сообщают встречным и поперечным.

– Вы ведь тоже первую ночь не пришли ночевать. А у вас есть муж, между прочим!

– Господи! Да я же была у подруги.

– Тайна?! – ехидно сказала Зоя. – Просто все вы взрослые, когда сами что делаете – вам можно, а нам ничего не прощаете.

– Кто тебя не простил?

– Я в свои дела вмешиваться не даю. – Зоя решительно встала. – Мне пора. Вам, точно, сумка не понадобится?

– Точно.

– Спасибо. – Зоя улыбнулась. – Я люблю добрых людей. Я сама добрая. У вас есть французская пудра?

– Нет, – сказала Ася.

– Тогда я вам оставлю одну коробку. Я пять штук купила.

Ася не успела отказаться, как она уже раскрыла молнию, и свертки снова вывалились из чемодана на пол. Потом рванула один, и оттуда высыпались коробочки. Матовые томные женщины с картинки устави-

лись в пять разных точек гостиничного номера.

– Возьмите! – Зоя протянула Асе коробочку.

– Спасибо! – сказала Ася. – Но это ты зря.

– Почему зря?! – строго сказала Зоя. – За ними, знаете, какая давка была. Один парень взял двадцать штук.

– Спекулянт, наверное...

– Я тоже так подумала. Хотя, может, и жене впрок, лет на пять... Есть же заботливые! – Она снова затолкала все в чемодан. – Ну, я тронулась. Будете в Ростовской области – заезжайте. Сядете вечером в поезд, утром в Сальске.

– Спасибо, – ответила Ася. – Может, когда и занесет судьба.

Когда Зоя ушла, Ася стала собираться. Вчера она вернулась поздно, а в номере – пир. И Зоя вызывающим жестом приглашает – присаживайтесь.

...На столе вино, водка, колбаса, яблоки. Несколько девчонок. Вид у всех усталый: до одурения бегали по магазинам, «скупались». И теперь хвастали друг перед дружкой кофтами, колготками, шампунями, лаком для ногтей, сумками, ресницами, мохером, сыром «Виола», туалетной бумагой, набором соломок для коктейля, деревянными бусами, импортными трусиками, босоножками. Убегали к себе, приносили свертки, примеряли, перепродавали, менялись, сокрушались, радовались, ссорились. В номере было душно, как в бане. И пахло мылом.

– Барахольщицы, – незлобно сказала Ася. – Другим что-нибудь оставили?

То да се... Что почем... Какая была очередь... Рассказывали охотно, с юмором. Как пристроились к продавщицам, возвращавшимся с обеда, и первыми вошли в магазин, как дважды оборачивались в очереди, потому что давали «пару только в одни руки, а мне – хоть застрелись – надо три пары». Как научились за это время по виду определять, к кому из продавцов можно «под-

сыпаться», к кому нет.

– Им тоже жить надо. Молодые! И то хочется, и другое, а мне рубль ничего не стоит переплатить.

Ася подумала: у нее вот так не получается. Ей стыдно переплачивать. Она просто провалилась бы сквозь землю, предлагая за чулки лишний рубль. Не умеет – и все тут. И уже понимает, что не доблесть это. Большинство-то ведь умеют. У такого способа торговли появились даже свои теоретики. Дефицит, наценка за услугу – как определенная форма обслуживания.

А Зоя напялила розовую кофточку с ромашкой на левой стороне груди – последний писк моды, – подбоchenилась и высказалась:

– Все-таки в Москве кое-что можно купить... Я раз в очереди постою, померзну, зато потом буду в тепле и красоте. Это вы тут в любой момент можете что-то купить, а мне этот семинар Бог послал. И никто сейчас ради Третьяковки сюда не едет. Купи репродукции и смотри. А кофточку надо иметь живую.

Ася увидела: девчонкам высказывание не понравилось. Одна, маленькая, простуженная («За голубым мохером стояла»), так и сказала:

– Ты из нас хабалок не делай. При чем тут Третьяковка? Я, например, два раза туда ходила. И в третий раз пойду. – А потом Асе, печально: – Времени мало. Поручений столько надавали.

И будто перевернули пластинку. Стали жаловаться, сколько не успели, не сумели увидеть. Как приходилось выбирать, куда ехать, в «Пассаж» или Останкинский музей. Думаете, просто?

– Это вам тут хорошо, на месте. Сегодня – «Пассаж», завтра – музей. А если есть только сегодня, тогда что?

– Приедешь с пустыми руками – засмеют. Поручения не исполнишь – в другой раз не пошлют.

– А потом – возвращаешься и думаешь: дура я, дура. Что я в Москве видела?

Девчонки поскущнели, растравили себя. Ася стала утешать: не переживайте, еще приедете, и не раз. Молодые. Все впереди.

– Жить бы здесь, – сказала простуженная.

Выяснилось, эту тему между собой прокатывали. Кто-то даже сбежал с семинара – выписать адреса организаций, где принимают иногородних.

– Всюду черная работа, – сказала Зоя. – Что я – чокнутая, на стройку идти или в дворники?

– Плевки подметать – это идею иметь надо!

Ася встрепенулась. Кто там говорит об идее? Какая идея имеется в виду?

Все оказалось просто. Речь шла о Любе Полехиной, которая играла в фильме «Дочки-матери».

– Но путь через черную работу – это путь или не путь? – допытывалась Ася.

– Если точно знать, чего добиваешься... а – Если гарантия...

– Ради кино, конечно, можно и помучиться...

Но вдохновляющей сверхидеи, как у Любы Полехиной, ни у кого из присутствующих не оказалось.

Ночью, когда Зоя уже спала, Ася записала весь разговор. Многолетняя привычка, выработанная еще с тех времен, когда газета казалась ступенькой к чему-то большему. Факультетские иллюзии, что итогом жизни должна быть книга. Теперь, честно говоря, она в этом не уверена. Но блокноты тем не менее остались – как привычка. Кончается год, и «выжимки» из них она переписывает в общую тетрадь. Интересные получают странички. Рядом в блокноте появились записи о герое и убийце – одноклассниках, чем-то даже похожих парнишках. Один кинулся спасать машину, другой порешил отца. Биографии у обоих в самом общем, как под копирку – школа, армия, ранняя женитьба. Мамы обе еще молодые, где-то около сорока. Транзисторы, телевизоры, мечты о мотоцикле...

Если хочешь что-то объяснить другим, прежде объясни себе. В этих общих тетрадах Ася много лет сдает экзамен на право объяснять. Иногда там три, четыре варианта объяснений, а экзамена у себя она так и не принимает.

Вот и сейчас.

Девочки... Пьют водку, курят. Когда на шее пионерский галстук, это зрелище шокирует особенно. А без галстука? Это взбрыкнула во мне дурная педагогика: «А еще октябренок!», «А еще пионер», «Комсомольский значок нацепил...». Это похоже на магазинную перебранку: – «А еще в шляпе», «А еще в очках». Аксессуары есть только аксессуары. И ничего они не прибавляют и не убавляют. Дело не в том, что в галстуках... Дело не в том, что они пили – они ведь, бегаячи по магазинам, замерзли, бедняжки. Дело в заурядности факта: пьют, потому что «принято». Умеют. А вот вопрос, что главнее – тряпки или музеи, – еще не решен. Наша проклятая бесконечная нехватка! Будь у нас эти тряпки, ведь не было бы вопроса! (Безнравственность – как результат бесхозяйственности?) Были бы у них другие интересы? Наверное. К чему фантазировать, если нет у них ясности в вопросе «вещного» и «духовного»? Что же просигналят они пионерским горном? Где выбросили кофточки? Люба Полехина – пример в споре Полехина и Ломоносов? Один пешком из Архангельска, другая – через черную работу. Обалдеть можно от такой параллели.

Один раз и я зашла в ГУМ и сразу же вышла. Ненавижу эту толпу, алчную, распаренную, все хватающую. Люди не узнают себя в зеркалах. Они и на самом деле не похожи на тех, какими были, когда вышли из дома. Толпа, именуемая очередью, лепит из тысячи индивидуальных одно-единое лицо. А когда ты потерял свое лицо, когда ты – это не ты, разве важно, как ты начинаешь выглядеть, как двигаться, как вести себя, как говорить? Ненавижу толпу? Но она ведь из этих девчонок! Но я на

самом деле ненавижу. Там, в толпе, у меня не хватает никаких сил для объективности. Тут, под лампой, я смотрю на нее иначе. Даже понимаю. Какая же реакция во мне более точная? На какую можно положиться? Маня истолкований... Недоверие к непосредственному чувству. Мне кажется, или мы все этим грешим? Надо понаблюдать.

И сейчас, собираясь на работу, Ася продолжала думать о девчонках. В голове бродили отрывочные мысли из какой-то будущей, еще не написанной статьи.

«Запуталась, – подумала она. – Наплету такое, что со мной и разговаривать больше не станут. Мысль должна быть ясной. Но где ее взять, ясную мысль? Такая каша. „Я уже жила с мужчиной“! Произнесла как „я уже большая“! Если бы я у нее спросила, ну и как, она бы ответила четко и ясно».

С Зои мысль перекинулась на девочек из отдела – Калю и Олю. Длинноногие, красивые девчонки – сразу после университета. Каля считалась дарованием. Печаталась с восьмого класса. Лихая интервьюершица. О ней говорили, что она слегка ранена фрейдизмом, но что с возрастом это пройдет и тогда она подыметесь до уровня Священной Коровы, а может, в манере письма и превзойдет ее. Корова лягала ее нещадно, она не любила тех, кто наступал ей на пятки. Оля была без дарования. Отец у нее – известный писатель, и этого ей пока в жизни хватает. Она была дока по части тряпок, париков, перспективных моделей, по части писательских и киношных скандалов, и это было в ней главное. Сегодня она уже знала то, что будет только послезавтра. В сущности, это ведь тоже годится для газеты не меньше, чем умение складно написать.

Ася была обеим девицам ни к чему. Это было ясно с первой минуты. Невосприятие это носило отвлеченный характер, потому что никак их не ущемила, на ее место никого из девиц не прочили, просто в аквариуме с цен-

ными породами золотых рыбок появилось существо беспородное и к тому же извлеченное из какого-то дальнего и забытого водоема. Рыбное сравнение пришло к Асе еще вчера, когда в аквариумах в редакции сдохли последние рыбки. С Калей была истерика. Ася бегала за нашатырем. Калю уложили на стол – дивана в комнате у них нет, – и она лежала, похожая на русалку, открыв до предела ноги в ажурнейших колготках, волосы свисали до пола, а Оля расстегивала широченный кожаный пояс на юбке. Асе тоже было жалко рыб, а Калю жалко не было. Ее истерика показалась ей нелепой, театральной, а поза на столе – непристойной. Но ее послали за водой, и она пошла, уже этим самым участвуя в любительском спектакле под названием «Сдохли рыбы». Потом вызвали редакционную машину и Калю отправили домой. Конечно, с Олей для оказания первой помощи. Оля, шмыгая носом – а может, и в самом деле взволновалась? – сказала Асе, что выведет Калю через другой вход, а не туда, где аквариумы. Это было верхом проникновения в душевные глубины подруги. И они уехали. В конце дня Оля сообщила по телефону, что Калю поела. Со своей стороны, она попросила Асю сделать так, чтобы аквариумы к завтрашнему дню из холла убрали.

– Девочки просят убрать аквариумы, – сказала Ася Крупене. – Там все рыбы сдохли.

– Здравствуйте! – протянул ей руку Крупеня. – Вот я наконец и услышал ваш голос. Сидите – молчите. Ну, думаю, ка-ак выдаст она нам что-то великое! Шучу, шучу!.. Но не совсем... Потолкуем?

– Давайте завтра, – сказала Ася. – Прямо с утра. От меня сейчас толку мало, я весь день отвечала на письма.

– Ну, давайте завтра, – согласился Крупеня. – Принесите свои соображения по плану. И вообще расскажите, какое у вас впечатление от нынешней вашей жизни.

– Хорошо! – Ася поднялась.

– А аквариумы уберем. Калерия закатила истерику?

Ася молча кивнула, потому что обсуждать с заместителем главного свое отношение к этой истерике она не хотела. А злое отношение не прошло: целый день она одна отвечала на звонки приятельниц Кали и Оли, и от бесконечных этих разговоров ответы на письма получались не самые умные. Самое же главное – гора писем не уменьшалась, а даже росла, потому что ежедневная почта приносила значительно большее число, чем-то, что уходило из отдела. Ася чувствовала, что попала в воронку, что ее крутит и засасывает, рождая в ней отвратительное ощущение паники. А тут еще предстоящая беседа с Крупеней. Зачем она? Все говорят, что он вот-вот уйдет. Эту послезавтрашнюю новость, как всегда, сообщила Оля. Она даже знала, кто придет на его место. Потрясный парень, рост 190, когда-то учился в ГИТИСе. «Двигается, как барс»

Ася пыталась представить себе, как двигаются барсы, но не сумела, забыла, как они выглядят.

Сейчас, пудрясь подарком Зои, она думала о том, как бы побыстрее провести разговор с Крупеней. И еще она думала, что Каля и Оля будут сегодня весь день обсуждать рыбью трагедию, превратят комнату в пресс-клуб и ей еще раз дадут понять, из какого затхлого водоема она происходит.

Крупеня был бледен, в глазах была боль.

– Пришли? – Он кивнул на стул. – Садитесь.

Он зачем-то открыл ящик стола, будто что-то искал. Опять было худо. Надо было бы отправить Асю назад и самому уехать в поликлинику, но сделать этого он не мог. Надо было еще закончить с «телегой» на Олега. А междугородний разговор был заказан на двенадцать часов.

– Ну как? – спросил он Асю. – Скучаете по дому?

– Естественно, – пожимая плечами, ответила Ася.

– Как устроились? Номер удобный?

– Они все одинаковые. Спасибо. Нормально.

– Я знаю гостиничную жизнь. Мне целый год пришлось переезжать из одной в другую. Все проклял. Не нужна мне была ни Москва, ни работа. Готов был уехать в любую дыру, но с постоянной крышей. А я мужик. Мне это проще.

– Да нет, ничего! – повторила Ася. – Я не очень избалована.

– Не в избалованности дело. В ощущении временности, неустойчивости. Впрочем, это ведь не обязательно у всех одинаково... Вы чем сейчас занимаетесь?

– Письма, письма, письма...

– Черт с ними! – скривившись от боли, сказал Крупеня. – Вы меня интересуете сейчас больше, чем отдел.

– Спасибо! – сказала Ася.

– На здоровье! – ответил Крупеня. – Вы ведь понимаете – ничего газетчику не засчитывается в актив, кроме его статей, корреспонденции, очерков и прочего. Это идет по высокой золотой стоимости. Остального никто и не вспомнит. Не каких достиг должностей, а что написал.

– Вы о чем? – неожиданно для самой себя спросила Ася.

– О себе. Неважная у меня получилась картина. Если бы кто знал!

– Бросьте! – искренне сказала Ася. – Я помню ваши статьи.

– Не выдумывайте, Михайлова, – насмешливо сказал Крупеня. – Их нельзя помнить...

– Нет, подождите... Я тогда еще училась... Вы писали о той семье, где погиб мальчик... Пьяный шофер... Мы разбирали эту статью на семинаре...

– У вас на редкость хорошая память. Спасибо. Значит, договорились? Я жду вас с темой для командировки.

Крупеню совсем скрутило. Пусть скорей уходит.

Ася заметила это и поднялась. Она видела, как он прижался боком к выдвинутому ящику стола. Хотелось сказать ему что-то подбадривающее. Но ничего не приходило в голову. И, неловко потоптавшись, она ушла, сердясь на себя за то, что нет у нее никогда слова на языке. Здесь так легко все говорят, а она – бессловесная тугодумка, тупоумка.

В их комнате было оживленно. Каля и Оля принимали многочисленных редакционных гостей. Шел обычный треп. В углу пыхтела кофеварка. Ася пробралась к своему столу.

...Наивно через Шекспира пытаться высказать свое мнение о сегодняшнем мире. Чепуха! И вообще сейчас эпоха китча. Царства подделок. Настоящее – претит. Оно непристойно в своем постоянном напоминании – я настоящее! Кому это надо? Бахвальство голой мышцы перед пиджаком...

– Ах, Каля! Ты прелесть. Все разобрала. Никогда больше не пойду в театр. Действительно, идешь, радуешься, а оказывается, это всего-навсего голая мышца бахвалится.

...Да еще перед тобой, перед пиджаком...

– Театр сдох. Душит смех, когда на сцене пылает будто бы мартеновская печь. И перед этой будто бы печью будто бы живые люди. А интеллигентный, умниц а а ктер плюет по-ямщицки на ладони, чтоб пошуровать в этой будто бы драматургии...

– Это поиск. Это ощупь... Он всегда идет через будто бы... И я не знаю, что лучше: поплеывающий будто бы сталевар или сразу пять Пушкиных в будто бы кибитке.

– Тоже смех! Хотя эпоха Пушкина уже подлежит абстрагированию... Было давно, и неизвестно, правда ли. Но не трожь то, что болит сегодня. Если не знаешь как.

– А я и не трожу. То есть не трогаю... Я вообще...

Так... Ася! Подымите нос, а то мы подумаем, что мы вам мешаем... Что Крупеня, не говорил вам в тет-а-тете, когда уйдет?

– И что человек выжидает? Всем все ясно...

– Олечка, что тебе ясно?

– А то, что Барс уже был на беседе. Правда, смущает его актерское прошлое. Что он искал за кулисами?

– Действительно, что? Умный не пойдет в артисты?.. Умный в гору не пойдет. Он умный, он знает...

– Куда же умному идти? Куда? – А ты не знаешь?

– Я серьезно!

– Это в эпоху китча? Или как это, Каля, называется?

– Мы все-таки Асе мешаем. Ася, пошлите нас к черту!

Не стесняйтесь, тут одни бездельники.

– Между прочим, бездельники – очень нужные люди.

Они, именно они создают атмосферу труда.

– Ого!

– Уверяю тебя! Они устанавливают необходимую разницу температур, чем обостряют мысль... Ася, вы согласны? Мы трепемся, вы корпите, в результате возникает праведный гнев, а на нем, как на почве...

– Ни хрена не вырастет. Гнев – это пустыня. Это зыбучие пески. Это когда ничего, никого, нигде...

– Не согласен. Гнев – это чернозем. Все революции родились из гнева...

– Таковую революцию перешибают соплей... Если она из гнева...

– Именно эту и не убить. Убивают ту, что сконструировали в своих шизофренических головах далекие от жизни теоретики. Там, где голый расчет и никакого настроя... Только гнев продуктивен. Гнев плюс Ленин...

– А! Так у тебя уже появился плюс! С плюсом я согласен... А где Ася? Ушла? Это что, демонстрация?

– Да ну вас! Человек ушел сдать материал на машинку.

- Как она вообще?
- Не понимаю этой манеры тащить в Москву периферию. Зачем? Отвечать на письма?
- Но кто-то должен это делать?
- Она ничего себе, только до ужаса провинциальна...
- Это ругательство?
- Почему? Это почти научная терминология.
- Ну что? Разбежались? Каля, забыл тебе сказать, эта помада тебе очень, очень идет...
- Номер семь...
- Я так и думал... Семь – прекрасно. Как число.
- Семьсот лучше.
- Кстати, Оля! Выручишь?
- Сколько?
- Господи! Хотя бы красненькую!
- У меня пятерка.
- Хуже, но тоже красиво... Спасибо, дорогая! Дай Бог здоровья твоему папе. Все бедняга пишет и пишет?..
- Не хами! Отберу пятерку.
- Что ты, Олечка, что ты! Передай папе, что, если какого-нибудь критика надо побить, я за три рубля сделаю это очень профессионально.
- Передам. Но он удивится, почему так дешево – три рубля?
- Эго ведь у меня проходит по разряду сантехнических работ.
- А ежели надо побить коллегу за плагиат?
- Это как ремонт и перестилка паркета. Дороже. Не каждый способен оплатить.
- Все! Хватит! Расходитесь!
- Последняя загадка. Висит груша – нельзя скушать...
- Отвали.
- Ну что это, что?
- Знаем, знаем... Лампочка накаливания. С детства усвоили.

– Дураки! Это – тетя Груша повесилась... Все! Ушел! Привет Асе. Скажите ей, что она мне нравится. Особенно глаза. В них что-то первобытно овчинное... Каля, не надо в меня ничего бросать. Меня уже нет!

Оля открыла окно. Накурили!

– Ей надо помочь. Давай сбегает поедим и заберем у нее часть писем..

– А когда я буду писать свой материал?

– Ладно, ты пиши. А я сегодня, пока не разгребу эту конюшню, не уйду.

– Ее невозможно разгрести...

– Я хочу это сделать для нее. В сущности, она не лишена достоинств.

– Может быть... Но какое нам, собственно, дело до этого?

Светкин врачебный участок – три четырнадцатизэтажные башни и четыре барака. Это в одной стороне. А через овражек – целая бывшая деревенька с церквушкой, баней, летучим базарчиком. Пройдешь деревеньку, и снова Москва. Снова башни. И в одной из них – сестра Мариша. Но Светка ее не лечит. Там другой участок. И вообще другой район. Башен Светка не любит. Похожие друг на друга, с мрачными коридорами, с грязными лифтами. Дома совсем молодые, и эту запущенность и мрачность Светка не может людям простить. Все ведь из коммуналки. Знать и правила очередности, и законы общей площади, но «ни одна сволочь» (зачем же так грубо, дочка, сокрушается Полина) не выйдет с веником на площадку. Ходила в ЖЭК, устроила молодому начальнику («Хлюст и хлыщ») скандал, он долго тряс головою, пытаясь, видимо, разместить Светкину информацию в нужных мозговых ячейках. Но информация не вошла. И тогда он разразился бранью и заявил, что не его это дело – мести коридоры, а если она такая умная, пусть сагитирует кого-нибудь работать за эти деньги.

Бараки снесут не сегодня-завтра. Уже многие уехали. Те, что остались, приглядываются к башням. Это их будущее. Выясняют ее, врача, мнение, на каком этаже лучше – в самом верху или самом низу. Первый, конечно, ужасно, но и последний...

Светка любит ходить по деревеньке. От чего здесь застрахован – это от однообразия. В каждом дворе что-то свое. И все-таки все ждут не дождутся: когда дом снесут? Когда снесут? Ходит Светка по своему участку, раздраженная, и славы ей это не прибавляет. Есть у нее на участке один старик. Астматик, гипертоник, желудочник, в общем, есть ему отчего умереть. Но делать это он не собирается, живет разумно, весело, без неврастения. Светка пару раз помогла ему выкарабкаться. С тех пор у них «отношения».

– Я хочу знать, – это после всего, когда Светка уже выписывает рецепты, – вы принципиально не улыбаетесь пациентам?

– Отнюдь, – ответила Светка. – Мне просто не хочется.

– Но ведь это же патология! Здоровая, молодая, красивая женщина – и ей не хочется улыбаться. Я уже не касаюсь профессиональной стороны – по ней, Светланочка Петровна, вы просто обязаны улыбаться.

– Если от этого будет зависеть ваша жизнь, я не закрою рта. Но ваша жизнь и жизнь других зависят от другого. Моя улыбка тут ни при чем.

– Она нужна, милый доктор, для настроения.

– О черт! – Светка трет виски. – Наверное, вы правы. Я буду улыбаться.

– О вас говорят: высокий профессионализм минус душа.

– Это вы сами придумали. Я знаю, что обо мне говорят.

– Ну и что?

– Что я вредная! Нечуткая.

– Светочка, улыбайтесь. Вам не хватает только этого.

– Мне не хватает сестер для помощи на дому. Еще одного врача для такого большого участка. Машины для оперативности. Чистоты в подъездах и во дворах. Не хватает глаз, рук, если хотите, знаний... По-вашему, это все можно заменить улыбкой?

– Вы умница, доктор. Всего перечисленного у вас и не будет в ближайшее время. А вы потеряете индивидуальность. Станете Рассерженной Барышней, Не Желющей Мириться. Пишется с большой буквы.

– Вы, я вижу, совсем выздоровели. Больше я к вам не приду. Придете ко мне сами.

– А вы мне улыбнетесь?

– Улыбнусь, если уговорите свою внучку вымыть лифт. Горячей водой – это десять минут работы.

– Боюсь, я останусь без улыбки. Вы себе представляете, как можно заставить пятнадцатилетнюю девицу в клешеных брюках мыть лифт?

– Пусть снимет брюки...

– Над ней же будут смеяться... Моя дочь этого не допустит.

– Ну, ладно. Я пошла.

– Я поговорю с женщинами с первого этажа. Может, сговорю кого-нибудь...

– Попробуйте. Скиньтесь, наконец, по полтиннику, заплатите.

– Да, да... Конечно. Надо сложиться. Хотя я не представляю себе, кто будет ходить, собирать эти деньги... Вы думаете, это так просто, доктор?

– Колоссальные трудности! Индустриализация. Хлеб по карточкам.

– Я серьезно... – Я тоже... До свидания...

Светке было тошно. Улыбайтесь! Все жаждут безмозглой доброты. Все. Массовая проповедь бодрой улыбки. Зачем? Она, доктор, может научно засвидетель-

ствовать, что беспочвенная радость так же плохо отражается на нервной системе, как и беспочвенная тревога. Человеку хорошо только тогда, когда он не находится в состоянии лукавства с самим собой. Доброта – это ведь не убаюкивание. Спи, детка, спи. А что такое доброта? Девица в расклешенных брюках, моющая лифт? Она добра? Или она просто дура? А собственно, почему над ней стали бы смеяться?

– Доктор! Доктор!

Светлана повернулась к бараку. Она уже по голосу узнала – это зовет ее Лиза Ключева. Множественный перелом голени. Поэтому не переезжает отсюда. Ей уже дали квартиру на десятом этаже, а лифт еще не пущен. Светлана ездила туда – это на другом конце Москвы. Тамошний начальник ЖЭКа очень хорошо ее понял, так хорошо, что бросил в приемной очередь и повел ее к дому, где получила квартиру Лиза Ключева. Дом был красивый, белый, как океанский лайнер.

– Дом на четыреста квартир, – говорил начальник. – Знаете, сколько въехали? Пятнадцать семей. Все хотят друг друга перехитрить. Как я могу пустить лифт в пустом доме? Детвора начнет кататься. Обдерут весь пластик. Дом красавец, но ведь он не дышит... Понимаете, в нем нет человеческого тепла... Он стареет от этого больше, чем от эксплуатации. А что я могу сделать? Собирать квартиросъемщиков по всей Москве? Приезжайте, дорогие новоселы! Я купил пятьдесят метров красного сатина. Я заказал транспаранты для каждого подъезда отдельно. Посмотрите, мы даже не повторились ни разу. Тут «с новосельем». Там «добро пожаловать». Опять же «счастья в новой квартире». Я сочувствую вашей переломанной. Но не напрасно она сидит в своем безэтажном бараке. Я ей лифт не гарантирую в ближайший месяц.

– А вы рискните – пустите лифт. Может, ничего и не случится. Тут и ребят-то не видно.

– Я не привык рисковать, доктор. Я из счетных работников. Я знаю, что почем. Да и потом – все равно не приедут. Каждый мечтает приехать последним.

– Смысл?

– О! Большой! Приезжайте как-нибудь еще. Я вам объясню человеческую натуру, как я ее понимаю, а сейчас я пойду, вы видели – в приемной полно нервных людей.

– Простите, а где вы живете сами?

– Сейчас, доктор, вы будете смеяться, но я тоже из этого дома. Но пока я живу на улице Маши Порываевой. Уже не улица – одни строительные руины.

– Все ясно...

– Я очень боюсь, что вы ничего не поняли. Мне так хочется вам все объяснить... Например, что такое улица, на которой ты родился... Или булочная, где ты сорок лет берешь хлеб... Или парикмахер, который брил тебя двадцать второго июня сорок первого года. Утром. Еще до радио.

– Могу это понять...

– Я приручаю себя к этому дому. Я смотрю на него и говорю: какой он красивый. Лебедь! Я говорю: какое счастье жить в таком красивом доме! Это я так себя воспитываю. Потому что мне жалко улицу Маши Порываевой. Вы можете представить себе дурака, которому ободранное вчера дороже разодетого завтра? Я – такой дурак. И мне стыдно, что я такой...

Светлана не любила путаться в себе. Сбил ее с толку этот разговор. Совсем недавно она злилась на тех, кого не мог дожидаться, когда «его снесут». Теперь получалось: не очень-то этого люди и ждут. Отец, мечтая вернуться в Москву, говорил: «Там родные могилы, матушка, батюшка... (Так вот именно, нелепо – матушка, батюшка). Там улицы, камни, которые тебя видели молодым. Ты, доченька, этого еще не поймешь... А у прошлого великая сила. Она тянет к себе не менее сильно, чем

будущее». – «Тебя выперли из Москвы, выперли, – кричала Светлана. – Там есть камни, есть! Ими в тебя кидали... В тебя и в твою жену...» – «Ах ты, Боже мой! – беспомощно отвечал отец. – При чем тут это? Это было время такое. В конце концов, я его пережил. И мне было гораздо легче, чем другим».

Она так до конца и не знала, не могла понять: что *это* в человеке? Сила ли в том, что он умеет прощать, умеет забывать, умеет стать выше обид и унижений и готов вернуться на улицу молодости, потому что она – улица молодости, даже если молодость была тяжелой? Или все это слабость? Но тогда надо иначе, надо безжалостно рвать пуповину, и пусть, к черту, летят могилы, камни, бараки, надо рвать все нити и уплывать в будущее на белых, чистейших океанских лайнерах. И вдруг ее пронзили боль, страх. У нее еще нет могил. Бабушка? Аккуратненький крестик на зеленом холмике. А рядом другой холмик, придавленный белой плитой с фотографией смеющейся женщины в берете. Маришина и Семенова родная мама. Ее мама, Полина, у этой могилы робеет, даже ростом становится ниже и все норовит куда-нибудь уйти, благо есть к кому, все могилы ей тут знакомы. И каждый раз отец притягивает ее к себе, и они так и стоят, обнявшись, а женщина на камне улыбается им. Больше тридцати лет она смеется одинаково приветливо всем, кто смотрит на нее через ограду. Надо быть просто ненормальным, чтобы связывать себя равнодушием мертвых, равнодушием прошлого.

Лиза Клюева открывала дверь длинной палкой с загнутым на конце гвоздем. Костыли стояли рядом, но она становилась на них в самом крайнем случае. Они ей натирали подмышки.

– Знаете новость? – закричала она, едва Светлана переступила порог. – На моего дурака Славку свалилась сосулька и перебила ему ключицу. Это ж надо – какой

проклятый год! У меня нога, у него ключица. А я радуюсь! Ведь могло шарахнуть по голове!

– Господи, где же это его?

– Разве он скажет? Пришли товарищи, сказали – в больнице. Не сообразил даже записку матери написать. Ума не хватило.

– В какой он больнице?

– В нашей, районной. Первая хирургия.

– Как же теперь вы?

– Смех один! Воды у меня осталась литровая банка. Это на все про все.

– У вас есть кто-нибудь?

– У меня сестра. У нее семья. Сама по сменам работает.

– А нельзя вас к ней?

– Мы с ее мужем враги. Я его на дух не переношу.

– Кто в бараке еще живет?

– Старики Лямкины. Но они и себе не помощники. Полведра воды вдвоем носят. Я зачем вас позвала? Вы меня обратно в больницу не вернете? И чего я рвалась оттуда? Из-за Славки. Думала, хоть и на костылях, а суп какой-нибудь сварю, опять же наблюдение...

– Это сложно, Клюева. В хирургии с местами плохо. Сами знаете.

– Я согласна в коридоре.

– Пойду позвоню. У вас есть двушки? Дайте мне на всякий случай. Где у вас ведро? Я вам принесу воды.

– Вот за это спасибо. Только если вы мне больницу отхлопочете, зачем мне вода?

– На всякий случай. Я не обещаю вам больницу.

– А ежели нет, – закричала Клюева (так уж у нее получалось – чуть понервничав, она переходила на крик и уверяла всех, что это у нее просто голос громкий), – тогда вы мне воду каждый день носить будете?! Ведра, что ли, мне хватит, пока у Славки ключица зарастет?

Светлана сразу же дозвонилась. И было хорошо

слышно. И позвали к телефону главного врача. И он сразу же вызвал хирурга. И они говорили прямо при снятой трубке, говорили спокойно и сочувственно («А если поставить кровать возле ординаторской?» – «Там сквозняк круглые сутки. И кровать не встанет. Только раскладушка. А у нее нога. Ей на раскладушке нельзя». – «А если кого-нибудь передвинуть?» – «Кого? Мне проще взять ее домой». – «Это не выход. А если подвинуть холодильник? Сюда, ближе к окну... И на том пространстве...» – «На том пространстве уже лежит одна. Привезли с улицы. Утром двигали холодильник. Уже после обхода». – «Значит, никак?» – «Надо, чтоб кто-то из родни взял ее. Она ведь уже вполне... На костылях... Здоровая женщина...» – «Вы слышите меня, Светлана Петровна?»

Светлана попросила машину. Пообещали через два часа плюс-минус десять минут. Позванивая в кармане не пригодившимися двушками, Света вернулась к Клюевой, поставила пустое ведро в сенцах и вошла в комнату.

– Ведро пустое, значит, договорились? – обрадовалась Клюева.

– Поедете ко мне, – сказала Светлана. – Соберите в чемодан самое ценное, чтоб здесь не оставлять. Через два часа будет машина.

Клюева ошарашенно смотрела на Светлану.

– Куда это, интересно, к вам? – зловеще протянула она.

– Домой, естественно. Собирайтесь. А я пойду схожу к сестре. Она здесь недалеко живет. Будьте, пожалуйста, готовы.

Клюева что-то кричала ей вслед, но Светлана не слышала. И к Марише ей идти было незачем. Просто надо было куда-то идти. Не сидеть же после работы два часа с глазу на глаз с этой громкоголосой женщиной? И вообще надо было двигаться, чтоб снять с себя оцепенение от неожиданного поступка, который ей казался

уже нелепым, наивным.

Вообще ничто в жизни не доставляло Светлане столько хлопот, как собственный характер. Хотя, с другой стороны, характер этот был благоприобретенный, воспитанный ею самой. Как если бы она усыновила отпетого хулигана, а он, отпетый, плевать хотел на ее благородство и вел бы себя независимо, нагло, шумно, ел бы с ножа, не мыл рук, как дикое чудовище в интеллигентном доме. Интеллигентный дом – это Светлана с ее деликатной наследственностью. От папы: «Не бранись», «Люди славные, их только надо понять». От мамы: «Мне плохо, а я постирушку затею», «Главное для женщины, чтоб было о ком заботиться». С такой наследственностью хорошо жить бы в девятнадцатом веке или в будущем. В этом мире ее отца называли Петей-Христом. Она узнала это случайно, когда ей было двенадцать лет. Построили в поселке большой дом. Им очень нужна была квартира. Их домишко осел, протекал, мать латала его своими руками, но ведь есть пределы и для человеческих рук. Надо было пойти и поклянчить квартиру. Именно поклянчить или потребовать. Ни того, ни другого отец не смог. А потом Светлана услышала, как женщины говорили ее матери: «Завшахтой ждал, что ваш Петя-Христос придет и его лично попросит. Он бы дал». – «Еще чего», – сказала мать.

И тогда Светлана начала думать. Родители и не подозревали, под каким рентгеном жили. Подпирали склонившуюся стену горбылем, а она представляла себе завшахтой в виде то ли раджи, то ли шаха – в тюбетейке и с пиалой на растопыренных пальцах, а отца – на коленях. Он кланяется, а очки падают на пол. В очках, оказывается, неудобно кланяться. Лучше ставить горбыль. Но ведь это же черт знает что! Ведь отец – инженер, воевал, его все уважают, почему же он должен просить то, что ему положено? Надо требовать, стучать кулаком.

И снова представлялось, что завшахтой – уже не

раджа, не шах, а человек, заваленный бумагами, телефонами, и папа, ростом до потолка, кричит так, что лопаются лампочки и опять же падают с носа очки. Что бы ни делал папа, очки падали. И тогда он их беспомощно и жалобно ищет, потому что зрение у папы – минус шесть.

Потом она подросла и узнала, что папа давно мог вернуться в Москву, но у него не хватило характера написать много разных бумажек. «Господи, – сказала мать. – Вместе нам везде хорошо». И папа поцеловал ей руку, мыльную, распаренную от постирушки.

Что же такое характер? Почему говорят: у человека нет характера, если он просто хороший человек? Значит, характер – это нечто воинственное, вооруженное, то, что держит очки на носу во всех жизненных обстоятельствах? Так? Характер – панцирь, в который запрятана нежная человечья суть? Или характер – это орудие труда, как кирка, как лопата, как карандаш или циркуль? Оно есть, орудие, и ты при деле. Его нет – и ты нуль? Но разве папа нуль? Вот если бы к папиной доброте и уму что-то еще... Рогатину?... К примеру... Был бы это папа? Но ведь он воевал... Грудь у него пусть не в самых больших, но в орденах и медалях... Значит, мог он, когда надо было, с рогатиной?

– Ты все путаешь, девочка, – сказал папа. – Это была война.

– Не путаю, – ответила Светка. – Я просто хочу тебя понять.

Папа жалобно заморгал. Что сделала тогда Светка?

Она поцеловала его. И все. И этим все было сказано.

Но как жить ей, Светлане? Как Мариша? Но ведь у той есть оружие – красота. Красавицы идут своим путем, обреченные на успех и любовь. Во всяком случае, семнадцатилетней Светке, когда она окончательно взяла себе в приемыши отпетый характер, так казалось.

Как брат Сеня? Ну что Сеня... Он тоже вооружился колючей иронией, и она испортила ему жизнь. Превра-

тился в нечто чадающее. Больше недели Светлана его не может вынести. Жалеет родителей: каково им изо дня в день вкушать эту настоящую на кипяченой воде ироническую желчь? Но им только горько, а Светлане еще и противно.

И она сказала: и для себя, и для других я нужна сильная. Если я хочу чего-то стоять и действительно кому-то помочь как врач. Я не имею права ждать, пока что-то совершится помимо меня. Я должна свершить то, что могу. И она впустила в себя вот этот самый настырный, вредный, деятельный характер, она подчинялась его дикому нраву даже тогда, когда ей самой было от этого хуже.

Вот и в этой истории с Ключевой.

«А что я могла еще сделать? Приходить носить ей воду, продукты? Или оставить Ключеву на немощных Лямкиных?

Или пойти к мужу ключевской сестры и попросить его полюбить Ключеву как родную хотя бы на время срастания ключицы у ее сына? Или продолжать канючить, пока главный и завхирургией не согласятся подвесить коечку над входом в отделение, чтобы оттуда Ключева могла приветствовать бодрым оптимистическим „ура“ всех новых больных?»

Мариша только что пришла из своего института. Она обняла Светлану и поершила ее примятые шапкой волосы.

– Как хорошо, что ты пришла! Сейчас будем обедать.

– Дай мне лучше чаю.

– Ты чем-то расстроена?

Светка стала рассказывать. Мариша бесшумно двигалась по кухне, без звука ставила на стол чашки, и Светка, хоть и была возбуждена всем случившимся, как-то особенно остро чувствовала эту Маришину деликатность, ее заботу – не помешать ей, не перебить, а, выслушав, тут же подвинуть ей чашку чая, уже с сахаром,

размешанным без звука. Это всегда ее удивляло в Марише. Ну всплесни ты руками, ну загреми ты посудой, ну вскрикни от удивления ее, Светкиной, глупостью.

– Пей, – тихо сказала Мариша. – И переключи скорость. Уже подъезжаем...

– Куда?! – по-клюевски заорала Светка. – Куда подъезжаем?

– Куда надо! – засмеялась Мариша. – Что с тобой? Кричишь как резаная. Все ты сделала правильно. Нечего терзаться. Только я предлагаю еще лучший вариант. Привози ее ко мне. Насте будет веселей, а меня все равно целый день нет дома. Честное слово! Ты сама подумай.

– Знала бы, я бы к тебе не пришла.

– Почему?

– Не знаю. Скажу честно. Теперь я кажусь себе дурой. Но, если я привезу ее тебе, я буду считать себя сволочью. Что лучше – быть дурой или сволочью?

– Знаешь, киса, оба хуже. Но ты, конечно, заварила кашу. Ты хоть позвонила домой?

– Мне это даже в голову не пришло. Они или поймут меня, или нет. Никакие объяснения тут не помогут.

– А ты позвони от меня.

– Что я скажу?

– Что ты сказала мне?

– Это не выглядело по-идиотски?

– Идиотски выглядит всякий мало-мальски благородный поступок.

– Я боюсь этих слов – великодушный, благородный! Совсем не это... Я бы с удовольствием плюнула на эту Клеюву, если бы нашла хоть какой-то выход...

– Позвони, Светуля! Вот так все и скажи. Не было выхода. Хотя выход есть. Я...

– Хорошо. Я позвоню. Ты – не выход. Я должна выручать Клеюву сама. Это мой врачебный участок.

И снова с телефоном повезло. Соединилось с первого

раза. И подошла не соседка, постоянно торчащая у телефона, а Светланина свекровь. И та сказала деликатно, так же, как Мариша наливает чай в чашки, что какой может быть разговор, если человеку надо помочь. Пусть приезжает, они подождут их с обедом...

– Ну вот и хорошо, – сказала Мариша. – Только ты, когда твоя Ключева будет давать тебе деньги на хлеб, сахар – я не знаю, на что еще! – бери. Не делай больших глаз, Светка, бери обязательно. Ей будет от этого легче, Ключевой. Понимаешь?

– Откуда ты все знаешь? – засмеялась Светка. – Ты эту Ключеву в глаза не видела.

– Не важно. Но ты это запомни. Я тебя знаю, начнешь возмущаться, что человек тебе деньги предлагает.

– Это еще неизвестно, – ответила Светка. – Ключева – хороша штучка. У меня вся надежда на Неонилу Александровну.

– У тебя золотая свекровь. Кстати, у меня такая же. Слушай, а что, если я попрошу тебя об одной малости?

– Ну?

– Мне звонила Ася. Она едет в командировку на север. У меня есть чудные теплые валенки. Ей без них не обойтись. Занеси их ей завтра на работу. Это ведь рядом, а то она закрутилась и, боюсь, не найдет времени за ними заехать.

– Давай.

– Это прекрасно! Я в них еще суну платок, Аська совершенно неразумная дурочка...

– Как она там?

– Страдает комплексами. Ей кажется, что она темная и ничего не знает... Редакционные девицы там перед ней выпендриваются... Боже! Какой защищенной я чувствую себя в моем институте!

– Это личное твое свойство и умение.

– Находить защищенное место? Ты меня судишь, киса? Зря!

– Ради Бога! Я тобой восхищаюсь, как и все.

– Не надо ни осуждать, ни восхищаться. Каждому свое. Но только самому сильному – журналистика.

– Я так не считаю. Трое суток шагать, не спать... Это еще такая малость по нынешнему времени.

– Шагать и не спать? Безусловно! Но разве я об этом? Это разговор долгий. В другой раз. И подбодри как-нибудь Асю... Вот валенки.

– Я этого не умею.

– Ну, тогда поцелуй ее. И скажи ей, как врач, чтоб валенки надевала обязательно. Ну, пока, киса! Звони. Расскажешь, как там твоя Ключева с ее множественным переломом голени.

– Никто этого не говорит, но ведь некоторый наследственный идиотизм у меня имеется? А? Честно?

Олег видел: из подъезда Мариши выскочила Светлана с большим свертком в руках. Она пошла в сторону от остановки, и остановить ее было трудно – надо было бежать. Но если бы он ее задержал и взял у нее валенки, наверняка предназначенные Асе, тогда его приезд к Марише был бы оправдан: Асе не в чем ехать, а ему после разговора с Крупеней все равно надо мозги проветрить, вот он и приехал сюда за валенками. А с другой стороны, Светка уже спустилась в овражек, ее не догнать, а Маришин дом – рядом, занавеска у нее на окне подоткнулась как-то смешно, по-девчоночьи, веселая такая занавеска, в мячиках.

Маришу он встретил на площадке. Набросив на плечи Настину курточку, она шла с белым пластмассовым мусорным ведром. Олег забрал у нее ведро и помчался вниз, на бегу читая на этажах приляпанный к мусоропроводу листок: «Не пользоваться! Засор». Странное было у него ощущение, когда вспомнилось, что ни разу за все двенадцать лет супружества он не выносил мусорного ведра. Было ли у них дома ведро? Ну, конечно,

было. И сейчас есть. Стоит в кухне под раковиной. Может, оно всегда было пустое? Да нет. Иногда даже рядом стояла и алюминиевая миска с очистками. Тогда он говорил: «Тася! Ведро...» И Тася отвечала: «Ой! Совсем закрутилась...» И бежала выносить. И не считал он это чем-то особенным, как не считал особенным и все вообще домашние женские работы. Он очень хорошо помнил мать, когда она приносила с базара мешок картошки. Несла, как мужик, согнувшись под тяжестью. А потом сбрасывала ношу с плеч и сразу же начинала возиться по дому. Приносила из сарая уголь, ходила за водой. Несла две большие цибарки на коромысле с фанерными кружочками сверху, чтобы не расплескивалось, и одну цибарочку маленькую в руке. Варила корм свиньям, а потом, подхватив выварку за ручки двумя тряпками, несла перед собой, отворачивая голову от душногопряного пара. В громадных резиновых сапогах хлюпала в свинячьей жиже и при этом причитала: «Ах вы мои хорошие! Ах вы мои милые!» Это – свиньям. Вот это и была домашняя работа. С чем ее может сравнить московская женщина? И Тася это всегда понимала. Не было у них никаких проблем по поводу не вынесенного ведра. Считалось – пустяки это, а не работа, говорить даже стыдно. А сейчас он, как маленький, вырвал у Мариши это кукольное ведерко. Не задержался, не задумался, вырвал и помчался вниз. Он занимался у Мариши и еще более несуразным делом – крутил в стиральной машине белье. Ей позвонили, и она сказала ему: последи. И он засучил рукава и встал возле машины. Она говорила по телефону, а он вытаскивал из валика сплюснутое Маришино и Настино бельишко. Увидела бы его в этот момент мать. Она ведь до сих пор носит и воду и уголь. Свиней вот не держит. Не для кого. А топить всегда надо. И без воды человеку нельзя. Мать бы ужаснулась даже не потому, что Мариша – чужая женщина, а просто потому, что он возле белья, возле корыта. Хотя, конеч-

но, корыта никакого не было. Беленький тазик с цветочком на донышке. Мать в таком варила варенье. Для этого он и существовал, для одного раза в году. А остальное время стоял на полке для украшения, белый тазик и тоже с цветочком внутри на донышке. Почему-то мать называла его китайским. Или он действительно был китайским?

– Спасибо, – сказала Мариша Олегу. – Ты хочешь есть? У меня только что была Светка, но есть отказалась, а я ей все подогрела. Как Тася, дети?

Олег рассказал, что в Тасином классе «свинка», что, как это ни странно, многие ребяташки ею не болели, а тут новые программы, и Тася боится идти дальше, чтоб больные не отстали, но ведь с теми, кто ходит в школу, обязательно надо идти дальше, иначе им просто скучно сидеть на уроках.

О «свинке» Тася рассказала ему вчера вечером. Он ее слушал вполуха. Потому что до этого была ветрянка. А еще до этого первый класс никак не мог научиться писать букву «Ф», а еще до этого... Да мало ли что было до этого!.. Но вот он сейчас рассказывает Марише, и оказывается, на самом деле существует ситуация: идти по программе дальше или ждать заболевших? Но ведь он не за тем пришел, чтобы обсуждать с Маришей «свинку» в первом классе «Б». А зачем он, собственно, сюда пришел?

– Я за валенками, – хрипло сказал он, краснея от лжи. – Аська едет завтра в командировку. Вообще-то правильно. Ей надо писать. Это хорошо, что Крупеня ее погнал. В конце концов, только хорошим материалом можно у нас утвердиться...

– Валенки я отдала Светке. Она Асе занесет. Я же не знала, что ты зайдешь...

– И я не знал. Так случилось. Мне надо было уйти из редакции.

– Что-нибудь стряслось?

– Я не люблю, когда мне лечат мозги по процедурным вопросам. Все, мол, правильно по существу, а по форме...

– Расскажи мне все. – Мариша положила теплую-претеплую руку на его сжатый кулак, и Олегу расхотелось разговаривать. Ну что за чепуха все эти «телеги», звонки, процедурные неприятности? Что ему за дело до хлопот, которые взвалил на себя Крупеня (ну и не взваливал бы!), что ему за дело до всех по отдельности и вместе взятых тоже, если рядом сидит Мариша, если он в комнате с подоткнутой занавеской с мячиками и ради этой чужой женщины, чужой комнаты, чужой занавески готов быть и самым лучшим, и самым ужасным – как ему прикажут. Приказывай, Мариша! И я буду таскать и кукольные ведерки, и мешки с картошкой, буду хлюпать по любой жиже и буду стирать твоё бельишко, буду молчать и буду орать, буду всем, всяким, твоим... Только скажи, Мариша! А то, что у меня жена и двое детей, так разве кто-то в этом виноват? Все это не в счет, Мариша, если ты скажешь одно слово. Я за ним пришел. За словом. Не за валенками. Ася мне друг, но не стал бы я ради нее ехать за валенками, не стал бы. – Ну, не хочешь – не надо, – сказала Мариша. – Не говори. Идем, я тебя покормлю. Хотя и тут я не настаиваю. Тебя ведь Тася ждет... Обидится еще на меня... А я ее люблю, она у тебя настоящая. Как мама наша – Полина... Ах, я балда! От нее ведь письмо, а я забыла сказать Светке... Надо будет позвонить...

Мариша чего-то захлопотала, приставила письмо к телефонному аппарату, одернула занавеску в мячиках, включила свет, потом засмеялась и сказала:

– Ты иди, Олечка, иди! Мы ведь уже десять лет тому назад обо всем договорились... Все по-прежнему, милый, все по-прежнему... Ну есть же на свете неизменяемые истины? Вот это такая... Ты подумаешь и согласишься. Ну, ты идешь? Я буду звонить Светке. Письмо

ей надо прочесть обязательно.

И она выставила его. Олег не сел в лифт, шел вниз пешком и читал на этажах, «засор», «засор», «засор». Слово потеряло смысл, стало чужим, непонятным, нелепым. Что такое засор? Что? Нет такого слова в русском языке. Нет! И вообще ничего нет. Ни хорошего, ни плохого. Есть желание выпить. Самое доступное утешение, самая легкая радость.

А впереди уже маячила стекляшка кафе. Черт с ним, что оно диетическое. Диетики тоже пьют. Иначе какое может быть выполнение плана на свекольных котлетках? А без прибыли работникам кафе – хана. Может быть, здесь даже подают свеклу той самой сволочи, председателя колхоза? Хорошо, что я ее терпеть не могу!

ПИСЬМО ПОЛИНЫ МАРИШЕ

Здравствуйте, дорогие Мариша и Настенька!

Вот уже сколько времени я из Москвы, а все вечерами соберемся, и я рассказываю, рассказываю... Папка наш, правда, стал тонкослезый, чуть что – плачет. Это меня беспокоит, он ведь в горе-то никогда не плакал, чего же в радости-то? Я про твоё новоселье, Мариша, про то, как тебя все любят и уважают, а у него уже глаза мокрые. И маму вашу вспоминает, говорит, что ты в нее. Все покупки и подарки пришлись по сердцу. Но это я уже писала Светланочке. Так я рада, так рада, что вы в одгюм городе. Друзья, конечно, хорошо, а родная сестра – совсем другое дело. Я на это Сене напираю, но он, Мариша, сердится. Не хотела тебе про это писать, да папка засобирился в Москву, на дочек посмотреть, так я хочу тебя предупредить, что ему я ни про что не рассказывала – ни про твой фиктивный брак, ни про этого парня, что тебе квартиру менял. Боюсь, он расстроится. Ты не обижайся, мы люди старые, мы, может, что и не так

понимаем. А Сене я тихонько рассказала – и, наверное, зря. Хочет тебе написать письмо. Ты на него не обижайся, если что. Они ведь с папкой очень принципиальные, в жизни это плохо. Не надо так уж на своем стоять, надо понимать и другого. Я так скажу, если за хорошее дело возьмется плохой человек, он его обязательно испортит, а если, наоборот, хороший возьмется за что-нибудь не очень хорошее, то, может, сумеет его исправить. Я это так понимаю и надеюсь, что оттого, что ты приехала в Москву, пусть даже так, будет и сестре, и другим людям польза. Я на это упирала Сене, но он очень упрямый. Но ты на него не обижайся, если он письмо тебе пришлет плохое. А может, он и передумает, все-таки он тебя любит. А когда любишь, понимаешь человека лучше. Я очень надеюсь, что ты свою жизнь устроишь. Только не торопись. Раз уже поторопилась. Но я тебя не сужу. Я сама такая. Я теперь все вспоминаю, как первый мой муж Василий мимо меня проехал. И как это хорошо, дочка, что я встретила вас с папкой! Ну зачем мне этот индюк! Ты нам пиши. И подробней о работе. Папка интересуется, а я ему толком ничего не могла объяснить. Пришли Сене пластинку Нейгауза, там, где он играет Рахманинова. Это он сейчас вошел, увидел, что я пишу, и сказал. Если я неправильно написала фамилию, ты не обижайся. Я постеснялась у Сени переспросить. А вот тебя я не стесняюсь. Это, наверное, плохо, но мы же родные. Пиши про Асю. Как она там без мужа, без дочки? Я бы не смогла. Привет Тасе и Олегу. Забыла его фамилию. Целуем вас крепко.

Настенька! Напиши письмо дедушке. Он так по тебе скучает. Твой рисунок мы завели в рамку и повесили возле буфета. Все приходят, спрашивают. А дедушка тобой гордится. Целую тебя, внученька.

Остаюсь всегда ваша
бабушка и Полина

Ночью к Крупене приезжала «скорая». Хотели увезти, но он дал слово, что на следующий день, к вечеру, придет сам, а сейчас пусть как-нибудь снимут боль, нет никаких сил, но, в общем, ничего страшного, бывало и хуже. Главное ему – не сорвать очень ответственное мероприятие утром. Ему бы поспать.

– Ты, оказывается, отец, мастер морочить людям голову, – говорил Пашка. – Врачиха решила, что у тебя завтра по меньшей мере встреча с каким-нибудь президентом. А ведь на самом деле какая-нибудь примитивная летучка?

– С Фордом, с Фордом у меня встреча, – улыбался Крупеня, с восторгом прислушиваясь, как утихает после уколов боль. Как мало человеку надо!

Потом он прогнал жену и Пашку и лежал, спокойный, умиротворенный, почти счастливый. Он знал, что скоро уснет, и ему было жаль, что во сне пропадет безболезненное время. Ведь сейчас как следует бы обо всем подумать. Без нервов, спокойно. Вообще он убежден, что его печенка обладает удивительным свойством – отзываться на неприятности раньше, чем он сам. Она обидчивая, его печенка. Она легкоранимая. Ведь этот чертов приступ тоже не случаен. Все ведь было нормально. А как он ему сказал? «Я никогда не буду на вашем месте. Исключена такая судьба!» Вот тогда и заныло в боку. Крупеня ответил: «А ты не зарекайся. Ты еще молодой. Назначат, и будешь вкалывать...» И Олег засмеялся. Он смеется, закинув назад голову, от этого его смех всегда кажется высокомерным. А может, это показалось печенке, она много чего видит раньше, чем нужно.

– Да вы что? – смеялся Олег. – Что я, горем убитый? В голову раненный, чтобы за столом сидеть?

– А я раненый? Я убитый? – уже вслух обиделся Крупеня.

– Каждому свое. Мне – мое, вам – ваше.

– Богу – Богово, – продолжал Крупеня. – А в общем, ты прав. Но вернемся к нашим бумагам...

Олег вспыхнул. Он сказал, что не намерен оправдываться. Правильно. Он сказал там всем, что он о них думает. Пообещал людям, что защитит их в Москве. Об этом у него и материал. Да, он знал, что у председателя брат в облисполкоме. Но, простите, с этим тоже надо считаться? Ах, не надо! Тогда в чем дело? В свекле? Исправно работающая сволочь – это все-таки сволочь, которая исправно работает. И не больше. Поэтому давайте отделим мух от котлет. А если его не будут держать за фалды, то он пойдет выше. И сделает материал для «Правды», или «Известий», или «Комсомолки». Там любят «бомбы».

– Ты в командировке пил? – спросил Крупеня.

– Меня ребята из колхоза провожали. Мы выпили в буфете.

– Ну зачем же с ребятами? – сморщился Крупеня.

– Потому что один я пью только в состоянии крайнего отчаяния. А у меня не было никакого отчаяния. Я был убежден, как и сейчас, что у меня дело правое. И ребята мне помогли разобраться... В чем криминал?

– Ну не первый же ты год... Везешь такую «бомбу» – не дрыгайся.

Это было отступлением от самого себя. Раньше он говорил так: «Никаких шишей в кармане. Наши люди заслужили знать, зачем мы к ним приезжаем и с чем уезжаем». А теперь – не дрыгайся. И Олег его не понял: что он такое сделал? Выпил с хорошими ребятами? С каких это пор мы стали бояться «телег»?

– Они были, есть и будут! – но это сказал уже Вовочка. – Важно, когда жалоба пришла, – уточнял он. – Если до материала – грош нам цена. Скандал до дела – что может быть хуже? Мы еще ничего не успели сказать, а нам уже заткнули рот. Нет, если ты идешь на такую дичь, как этот председатель, веди себя «шито-крыто», а

потом спокойно говори все, но только на полосе. И пусть потом орут, пишут, жалуются. Мы выстрелили первыми!..

– Не знаю, – сказал Крупеня. – Я, например, не смог бы таиться. Зачем нам всякие подходы, ежели оттуда пришел крик о помощи?

– А мы ничего не сумели сделать, – как-то очень жестко сказал Вовочка. – Надо было ехать вроде за высоким урожаем свеклы, и пусть бы тамошний председатель ждал первополосного хвалебного очерка, а мы бы его шарахнули на второй полосе...

– Ну и шарахнем! – сказал Крупеня. – Материал готов. А на «телеги» нечего обращать внимание.

– Оставь его себе на память, твой материал. Не шарахнем, Алеша. Я же сказал тебе: нам заткнули рот. Там уже все хорошо. Уже председателю сделали дружеские ататашки. Уже у него предынфарктное состояние, а без него не будет урожая кормовых. Ты понял, чего стоит дурацкое поведение Олега? Людям надо объяснять, как вести себя в командировке...

Последнюю фразу он сказал, уже крутя телефонный диск. Разговор был окончен. «Людям надо объяснять, как вести себя в командировке...» Они с Олегом сидели тогда полтора часа. Думали, как разговорить людей, чтоб они не боялись сообщить правду. А надо было? «Везешь „бомбу“ – не дрыгайся»?

Вот и в этом ты отстал, Алексей Крупеня, темноватый ты человек. Надо уходить. Не надо ни на кого обижаться. Просто другое время – другие люди. Вот если бы он был рядовым газетчиком, если бы он не выпустил из рук пера, если бы не засосала, не замотала его текучка. Если бы, если бы... Вот у Вовочки вышла книжка очерков и статей. Остренькая, даже с лихостью. Скоро выйдет другая. А ведь у него забот не меньше. Значит, дело не в должности?.. В таланте? Но у Олега – талант, а книги нет. К Священной Короле однажды яви-

лась крошечная такая дама из издательства. Священная Корова ее изничтожила. Вместе с издательством. Чтоб она, Корова, которую знает и любит весь Союз, собирала в книжку написанное для газеты? Еще чего! Вы разве не стыдитесь, дорогая моя, несовершенства своей вчерашней работы? Не стыдитесь? Значит, вы, голубушка, психически больной человек!

Нет, просто они с Вовочкой – разные люди.

Другой человек – Царев – крутил диск, и у него дрожали пальцы. Вот уже несколько месяцев – стоит по-нервничать, и начинают дрожать. У отца дрожит еще и веко. Совсем плохо. Пальцы можно спрятать в карман. А веко? Ах, да... Теперь пристойно носить дымчатые очки. Надо будет купить.

Или Крупеня все-таки глуп, или он намеренно его заводит. Даже на его, царевских глазах газета за последних двадцать лет несколько раз меняла лицо. Сначала была какая-то всхлипывающая дамская журналистика. Ему повезло, она коснулась его чуть. Он был за границей. И вернулся, когда уже мужчины диктовали свой стиль, свой подход. Или это само время, наглотавшись восторженных слез, взалкало цифири? Не той, что «две с половиной нормы», а той, которая объясняет, почему две. И нужно ли две, может, лучше и правильной полторы? Начались алгебра и геометрия. Изящную словесность вытеснили социология и экономика. И все это на жизни одного журналистского поколения. Хочешь оставаться у дела, поворачивайся. Не можешь не словословить впустую – иди в писатели, в общественные деятели. Иди, не задерживайся, пока газета в новом своем облике не сломала тебе с хрустом шею. Вот и сейчас очередной вираж. Еще неизвестно, куда он выведет, но уже ясно, какие ему – времени – нужны люди. Мастера высшего пилотажа по части политеса. Как это у Брехта?

Ни единой мысли не тратьте на то, чего
Нельзя изменить!
Ни единого усилия на то, чего
Нельзя улучшить!
Над тем, чего нельзя спасти, не проливайте
Ни единой слезы!

А знает ли Крупеня, кто такой Брехт? Знать-то знает, а вот не читал наверняка. И он ему при случае скажет эти слова – о целеустремленности, о шпилевой законченности всякого дела. Правда, у Брехта ниже есть и другие строки, но для Крупени он возьмет именно эти. Остальные для другого этапа. Может, и для другого человека. Надо уметь быть над... Надо всем. Как птице. Чтоб иметь обзор, необходимый для познания и маневра. И в этом своем сверхположении, сверхпонимании оставаться неуязвимым. Для камней, выстрелов. Сверх и над... Эго больше чем проникновенное шептание, которое дает сиюминутную радость понимания человека и обстоятельств. Это больше чем счеты, логарифмическая линейка и знания – что почем. Это, по сути, истинная власть над умами. И если ты умный и дальнзоркий, если не обратишь во зло дарованное тебе положение высоко летящей птицы, ты же можешь сделать неизмеримо больше для своего героя. Черт возьми, для своего же народа в целом. Как вдолбить это Крупене? Для него ведь по-прежнему и теперь уже навсегда самый могучий двигатель – дружно поднятые руки. Демократ! И гордится этим, и не хочет через это переступить. Хорошо! Пусть руки! Собственно, это даже необходимо, но не всегда же, не во всем. Ах, как нужен ему сейчас понимающий его коллектив. Сильный и неуязвимый. Неуязвимый и сильный... Вот и пальцы перестали дрожать. Значит, он прав. Он скажет об этом на очередной летучке. «Сверхзадача», – написал он на листке календаря. И поставил вопрос. Сверхлюди? Нет,

сверхлюди – это плохо. Одним неудачным словом можно убить правильную идею. Без этого слова надо обойтись. Не будем травить собак. Представилось, как палят в него Олег и Корова за этих самых «сверхлюдей». А Крупеня радуется. Он взял черный фломастер и густо зачеркнул «сверхлюдей». Написал – «Птица. Сверхзадача». Птица – понятно? Понятно!

Крупеня думал, что он скажет завтра, нет, уже сегодня, сыну Василия. Это ради него он отбивался от больницы. В одиннадцать у них встреча, про которую Василий сказал, что она его абсолютно не интересует.

...Они познакомились в сорок четвертом. В госпитале.

Крупеня, тогда молодой, активный, уже выздоравливающий, взял шефство над угрюмым, неразговорчивым человеком. Выглядело так: Василий потерял кого-то в войну и теперь одинок. Или – ему изменила жена, пока он был на фронте. Других несчастий Крупеня в тот период не знал. Не считать же несчастьем ранение в голову, если глаза видят и уши слышат? Значит, что-то другое. Но Василий не раскалывался. В разговоры не вступал, и, если бы не активность и настырность Крупени, так бы ничем это знакомство и не кончилось. Но Алексей все-таки сумел стать для Василия необходимым: доставал папиросы, поменялся с ним койками – Василию хотелось ближе к окну, приносил газеты, а главное, утихомиривал народ в палате, если становилось очень шумно. Выздоровливая, Василий шума не выносил. Расставались нежно. Обменялись адресами: «Если будем живы-здоровы». А потом, конечно, потеряли друг друга и встретились через много лет в метро. «Выходите на Белорусской?» – «Да». – «Вася, ты?» Крупеня обрадовался, как родному. Он тогда жил в гостинице, квартиру все обещали. Москва давила своей суетой. Больше всего он уставал от бесконечного людского

потока, который пробегал, протекал, проплывал мимо, задевая его равнодушно и незаинтересованно. Странно было стоять одновременно стиснутым и одиноким, дышать в затылок женщине и не думать о том, молода ли она, хороша ли. Встречать человеческий взгляд и не испытывать желания улыбнуться. Вначале он улыбался, стеснялся стоять спиной к девушкам, но это было нелепо, потому что никто этого не замечал, а если замечали, удивлялись, отводили глаза. Он чувствовал себя чужим, потерянным и поэтому так обрадовался Василию. Тот пригласил его к себе домой, познакомил со своей строгой, худой женой, химиком. Потом Крупеня получил квартиру, пригласил их. Так и повелось – раз, два в год они обязательно встречаются, и уж во всяком случае 24 февраля. Сначала этот день возник случайно, потом ему придали смысл. День Советской Армии, а армия их сдружила. У Василия двое детей. Дочь – ровесница Пашки. Сын – старше. Нормальные дети. Женька красивый – ни в мать, ни в отца. Поступать в институт ездил в Кузбасс, к Василиевым старикам, а потом его перевели в Москву. Но именно после Кузбасса у Василия с сыном начались конфликты. А может, просто пришла такая пора. У Крупени с Пашкой тоже не всегда гладко, и ни у кого гладко не бывает, но, конечно, представить себе, что Пашка может уйти из дома, невозможно.

Вчера Крупеня позвонил Василию, спросил о Женьке. Тот зарычал в трубку, сказал, что знать его не желает. Тогда Крупеня позвонил Женьке – телефон дала его сестра – и пригласил зайти. Женька засмеялся в трубку тоненько и насмешливо, но прийти обещал. Завтра он ему скажет... Что скажет, Крупеня еще не решил. Но, что бы ни сказал, Женька прищурит красивый, в длиннющих ресницах, карий цыганский глаз и, по-московски растягивая слова, скажет: «Что вы, дядя Леша! Я ведь сам все понимаю...»

В редакцию Светлана пошла пешком. На работу ей к двенадцати, успеет, а когда еще удастся пройтись по морозцу пешочком – не на визиты и не спеша. Игорь хотел за ней увязаться – не пустила. У него пачка непроверенных сочинений. Взгреют его за это. И правы будут.

Она несколько раз ходила к нему на уроки – в вечерней школе это просто. Сидела, обалдевшая оттого, как он рассказывает. Потом ругалась:

– Ты их дезориентируешь! Создается впечатление, что, не будь литературы, ничего бы на свете не было...

– И не было бы, – спокойно ответил он.

– А ты уверен, что твоим паровозникам надо так забивать мозги? Надо учить просто, как меня, например, учили. Толстой – гениальный писатель, но плохой философ, Горький – буревестник, Маяковский – глашатай, Есенин – певец березок и перелесков, а в общем, все они – продукты времени. Кому надо, тот сам копнет глубже, и ему будет приятно, что он умнее своего учителя. А кому не надо, те ограничатся этими четкими сведениями...

– Не сведениями, а формулировками, – уточнил Игорь.

– Чудно! Хватит и этого. Сообщить сведения лучше, чем беречь людям душу. Они умирают у тебя на руках от жалости к Чернышевскому, а потом возникает противоречие между этим их состоянием и суровой действительностью, что в последнем счете приводит к неврастении. Я тебе это как врач говорю.

– Тебе не понравился мой урок?

«А еще принято считать, – подумалось Светлане, – что мужчины логичнее женщин».

– Я сидела, развесив уши, я даже стала вдруг думать: может, все-таки Вера Павловна не такая уж клиническая идиотка, как я раньше считала?

– У тебя был очень плохой учитель литературы!

– Прекрасный! Она терпеть не могла свой предмет, ее просто тошнило от писательских имен, но сочинения она проверяла в срок, и писали мы их не хуже других. Во всяком случае, я на приемных экзаменах получила «пять», а у нее выше четверки не поднималась.

– Пятерку тебе поставили за красивые глаза!

– Ну да! Кто их видел – мои глаза? Абсолютно анонимная, честная пятерка!

Светлана считает, что Игорю надо кончать аспирантуру. Он ленится, а потом будет поздно. Его место на кафедре филфака, среди слушателей, которые его понимают. «Тебе нужна упругая аудитория, чтобы ты чувствовал сопротивление, – убеждала она его. – Только тогда ты узнаешь и поймешь истинную цену своих знаний. А сейчас ты наполняешь бездонный сосуд». – «Я так не думаю», – ответил он почему-то печально.

Игорь старше ее на три года. Но Светлане иногда кажется, что она старше его лет на десять. Мало того, она чувствует себя старше и свекрови. Вот, например, вчера. Она вошла – на столе праздничная скатерть, пахнет пирогами. Неонила Александровна в костюмчике, у горла – камей, Виктор Михайлович в галстуке. Они ждали ее и Клюеву. Ну зачем этот парад? Кому он нужен? Даже если бы Клюева приехала...

...Она встретила Светлану на костылях, висела на них, красная, разъяренная. Скорей всего, встала на них сразу, как только Светлана ушла. Никакого собранного чемодана в комнате не было.

– Вы еще не собрались? – спросила Светлана.

– Это чего ж ради я должна собираться?! – заорала Клюева. – Вы что же, думаете, я такая несчастная, что мне у чужих людей будет лучше? Да я еще, слава Богу, не калека. – Смешное заявление, если болтаешься на костылях. – У меня две квартиры – и эта, и новая, и друзья у меня есть, я их просто утруждать не хочу. А что вы себе придумали? Да я у чужих людей сроду не жила, и

понятия я такого не имею – есть чужой хлеб да спать на чужой простыне. Я больницу просила. И все. Нет ее – и не надо. Хотя могли бы и дать. Вы просто молодая и не авторитетная, вас слушать не стали. А ваши мне подачки, Светлана Петровна, оскорбительны. Никогда я такого от вас не ожидала. И объяснить это можно только вашей молодостью. Чтоб самостоятельный человек, у которого тридцать два года стажа да две квартиры, перся неизвестно куда только потому, что у него временно ножки не ходят? Может, вы, конечно, это и по доброте, так знайте: доброта бывает обидная. Вы хотели доказать, что я никому не нужна, а ошиблись... Я вам на одиночество не жаловалась...

– Ладно, – ответила Светлана. – Можно было и короче. Я сейчас принесу вам воды. – И тут Ключева выбросила вперед костыли и непонятным образом оказалась возле ведра в сенцах раньше двуногой Светланы. Светлана поняла: спорить с ней бесполезно.

– Не волнуйтесь, – ехидно сказала Ключева. – Есть кому принести. Не в пустыне живем. Не в безлюдье.

А тут подкатила машина, и в квартиру вошла медсестра. Посмотрела на вцепившуюся в ведро Ключеву, на Светлану с валенками в руках и все поняла. Взяла ее под руку и увела. Потом они зашли к старикам Лямкиным, взяли у них эмалированную кастрюлю на десять литров и принесли Ключевой воды. Она уже сидела на стуле и, сморщившись, поглаживала подмышки, все-таки, видимо, долго висела на костылях. Увидев кастрюлю, она фыркнула и отвернулась.

– Сдуру еще выльет, – сказала Светлана.

– Не выльет, – успокоила медсестра. – Вам куда? Давайте мы вас подвезем.

А дома пахло пирогами, и на шее у Неонилы Александровны красовалась камейка. С Ключевой их ждали к обеду.

Вечером – у Игоря было всего два урока – отправи-

лись гулять.

– Я всегда это знал, – говорил Игорь. – Дарить легче, чем принимать подарки. Я всегда чувствую себя прескверно, когда получаю что-то ни за что. Например, за то, что я на год стал старше. Или за то, что меня кто-то любит... Может, это оттого, что я побаиваюсь – вдруг не сумею расплатиться?..

– Подарок – не долг.

– Не знаю... Он не долг в житейском смысле: взял – верни. Но он больше долга.

– А я люблю получать подарки и никогда не испытывала от этого никаких неудобств.

– Прекрасно! Но я ведь о себе. И так как я обыкновенный человек, значит, могу допустить, что мои ощущения не уникальны, что есть и другие, думающие не так, как ты.

– Это ты о Ключевой?

– И о ней. Ты удивительная, я тебя очень люблю, но человеческий род тебе не кажется разнообразным. Да? Ты думаешь, что все немного похожи на тебя?

– Безусловно. Слегка похожи...

– Все очень, очень разные, Светочка. Это признается даже теоретически. А на практике действует одна мерка, эдакий гостовский уровень. По нему ты и повела бы к себе Ключеву. Нормальный гостовский порыв. А твоя больная оказалась выше этой мерки или ниже. Это не важно. Мерка – хороший стандарт только при неживом материале...

– Потому что неживой материал не умеет орать дурным голосом?

– Слава Богу, если у человека есть возможность заорать, когда его подравнивают под шнурочек.

– Но ведь подравнивают, балда ты такая, ради него же! Твоего разлюбезного человека!

– Ты берешь на себя смелость утверждать, что знаешь, что ему надо? Человеку?

– А между прочим, твои родители меня поняли. Мама надела камею, а папа галстук...

– А я делал начинку для пирога. Мы все тебя поняли. Остается только понять Ключеву. – Могу познакомить.

– Понять, чтобы не обижаться на нее. И это нужно тебе, а не мне.

– Очень надо! Видел бы ты, как она висела на костылях. Неловко, больно, но внушительно.

– Так тебе и надо!

– Ты не волнуйся! Больше я таких глупостей не на творю.

– Поживем – увидим! – сказал Игорь. – Пойдешь завтра ко мне на урок? У меня Островский. И я собираюсь сделать одну штуку – защищать Кабаниху. И знаешь от кого? От Катерины. Ты не представляешь себе, как любопытно при этом выстраивается материал.

– Бедные паровозники! Совсем ты им вывихнешь мозги. Но для себя Светлана решила: пойдет. Как это ему удастся защитит злобную могучую Кабаниху? Успеть бы только. Надо ведь в магазин для Ключевой заскочить, когда будет ходить по вызовам. Отнесет все это медсестра, но ведь еще проблема – деньги. Сколько их у Ключевой, чтобы она могла их сразу отдать? Иначе ведь не возьмет продукты. А сейчас вот валенки для Аси надо занести...

В редакционный лифт Светка вошла с красивым парнем. Он щурил на нее глаза, улыбался. Типичный современный пижон. Кожан ниже колен. Какая-то хитрая шапчонка. Локоны до плеч. Пропустил ее вперед, придержал дверцу, улыбнулся на прощание – все по высшему разряду. Светлана тоже улыбнулась пижону и пошла по коридору, неся перед собой валенки, с мыслью, что не все в ее женской доле потеряно.

Аси не было, она где-то там оформляла командировку. Две стильные девицы в ее комнате дымили и вели светскую беседу. Светлана положила валенки на

стол и решила, что надо ждать не больше пятнадцати минут, чтобы, не торопясь, добраться до работы. Ей хотелось сегодня не торопиться.

– ...У нее такое модильянистое, асимметричное лицо. Но этим оно и интересно, – сообщила подруге одна из девиц.

– Просто уродина, – сказала другая. – Он женился на ней потому, что она дочь министра. А дочь министра вполне может позволить себе иметь асимметричное лицо. И даже три ноги.

– Может быть...

– В ее уродстве нет ничего интересного. Просто кривоватое лицо, да еще плохого цвета.

– Говорю тебе – таких писал Модильяни.

– Я ему сочувствую. Кстати, у нас соседка продает сапоги на платформе, английские. Белый верх и черная платформа. Она просит сто двадцать. И даже мой щедрый родитель возроптал.

– Ничего, найдутся люди, у которых есть лишние сто двадцать. Вы валенки Асе принесли?

Светлана вздрогнула.

– Да, Асе, – ответила она.

– Вы ее приятельница?

– Я сестра ее подруги. – Светлана не терпела слова «приятельница». Отвратительное слово, обозначающее телефонную нежность и трамвайное равнодушие.

– Сестра легендарной красавицы Мариши?

– Почему легендарной?

– Потому что о ней у нас ходят легенды. Но тут вбежала, запыхавшись, Ася.

– Ой, миленькая, спасибо! Ну пойдем, посидим на дорожку. Девочки, я в холле, если будут звонить...

Провалившись в глубоких креслах, они некоторое время молчали. Светлана прикидывала – какие легенды могут ходить о Марише? Ася думала о командировке.

– Слушай, – тихо спросила Светлана, – какие легенды

здесь ходят о Марише?

– Легенды? О Марише? – Ася подняла брови. – Не понимаю. С чего ты взяла?

– Твои девицы, когда я им сказала, что я сестра Мариши, назвали ее легендарной.

– Я их боюсь, – печально сказала Ася. – Я с ними чувствую себя тяжелой, неуклюжей. У меня мозги поворачиваются медленно, как жернова. У меня мало слов. Я мало видела.

– Чего ты не видела? Сахарных сапог на черной платформе? – возмутилась Светлана.

– Ну, в смысле тряпок я вообще не заслуживаю уважения. Но вообще эти девчонки очень информированы. Этого у них не отнимешь...

– Слушай, ты когда едешь?

– Поезд в половине первого ночи...

– А как у тебя вечер? Хочешь, пойдем на урок к Игорю? Он собирается защищать Кабаниху от Катерины!

– Что?!

– Да, да! И мне надо, чтоб кто-нибудь это послушал, кроме меня и его паровозников. Потому что он либо совсем заврался, либо гений.

– Слушай, а написать об этом можно будет? Если это окажется интересно...

– Ой, нет! Я ведь не для этого. Меня его уроки потрясают. Но убеждена, что школе это не нужно.

– Где мы встретимся? – спросила Ася.

– Я за тобой зайду. Хочешь?

– Нет. Давай адрес. Я приду прямо в школу.

Вечером Асю по телефону разыскал Федя Марчик. Она уже хотела уходить, а тут звонок.

– Старушка! Привет тебе из родных краев. Как живешь-можешь? Как адаптируешься?

Вот уж с кем, с кем, а с Федей говорить не было никакого желания.

– Извини, – сказала Ася. – Я одной ногой в командировке, и у меня ни минуты... Поезд...

– Понимаю, понимаю. – Федя голосом передал свое полное и безусловное понимание. – Запиши мой номер и, как только вернешься, звякни. Я тут на пару недель. Надо бы повидаться, покалякать. Заметано?

Ася черкнула номер на календаре, понимая, что никогда не позвонит. Хотя Федя из тех, кто сам позвонит. Но это будет потом, а сейчас – вот уж о ком с легкой душой можно перестать думать.

Но поистине – не думай об обезьяне. Нарочно вышла, чтоб прогуляться, зайти в один двор, куда много, много лет не заходила. А теперь как пойдешь – с Федей в сердце? Она топталась на улице, пытаясь сбросить это наваждение – Федин рокочущий баритон, который материализовал его облик. Вот он весь рядом: замшево-плешивый, с мягкими подушечками губ, которые он щедро приклеивает всем – женщинам, мужчинам, детям, собакам, кошкам, изображая из себя эдакого душку, любящего все сущее.

Замигало такси, Ася нырнула в кабину и назвал а а дрес. Во дворе Суворовского бульвара было темно, да ей и не так важно было видеть. Важно было прийти. Она знала на памятнике Гоголя все детали и теперь угадывала их в темноте, радуясь, что все помнит. А потом пошла от Гоголя к Пушкину. Шла и удивлялась этому своему пути, который был для нее неправильным. В свое время она ходила от Пушкина – к Гоголю. Вот ведь дуручка! Ведь упорствовала. И никогда за все время не изменила раз и навсегда затверженной дороге от площади Пушкина, по Тверскому, Суворовскому и во двор. Ездить можно как угодно, а вот идти – только от Пушкина к Гоголю. Это было ритуалом, каноном, чем угодно, а теперь, через годы, взяла и повернула от Гоголя влево, и не разверзлись небеса, и Пушкин приближался, без обиды приема ее, идущую с другой стороны.

Знал бы Федя, что все из-за него! Человека надо сбить с толку, чтобы он был готов к чему-то, для себя непривычному.

Асе стало спокойно впервые за много часов взъерошенного состояния. А все это письмо, по которому она едет. Попытка самоубийства... Девушка – вожатая в школе. Вспомнилась Зоя, с которой свела ее судьба в гостиничном номере. Ведь глупо, глупо! Сколько в стране вожатых! Но от арифметики было еще хуже. Вот только теперь полегчало. Прошлась и почувствовала: туда надо приехать сильной и уверенной.

Все будет нормально. Она разберется. В конце концов, та жива, а пока человек жив, еще ничего не поздно. Чего она так всполошилась, спрашивается?

Сейчас она пойдет на урок, где будут защищать Кабаниху от Катерины. Что бы сказал на это Островский? Сходить, что ли, к Малому театру и спросить? Сегодня у нее такой день – ее приводят в смятение живые, а утешают памятники. Смешно это или грустно?

Крупеня разглядывал Евгения, ловя себя на мысли, что тот ему нравится и что суровый мужской разговор может не получиться. И пытался вызвать в себе раздражение против Василиева сына, который сейчас, изящно согнувшись в коленях, причесывался перед стеклом книжного шкафа. Чертов хлопец! Откуда в нем эта порода? Василий – мужик мужиком, и это не в осуждение ему, и он, Крупеня, такой же. Его химичка – умная женщина, но, извините, вобла, вся из большого количества мелкой кости. А родили красавца, причем мысль о постороннем вмешательстве и в голову не придет. Надя не только умная и некрасивая, она еще и ханжа. При ней анекдота не расскажешь – не поймет и обидится.

– Ну, вот я сел, – сказал Женя.

– Слушай, – сказал Крупеня, – на тебе все модное. На какие гроши?

– Дядя Леша! Прошу вас, хоть вы не впадайте в этот тон следователя. Я не ворую, не сутенерствую, не играю на бегах, у меня нет знакомых иностранцев, я не спекулирую иконами, картинами и не продаю по мелочи государственные тайны.

– Заткнись! – крикнул Крупеня. – Ты чего передо мной ваньку валяешь? Я тебя спросил, не что ты не делаешь, а что ты делаешь, чтобы покупать такие шмотки? У меня таких нет, а, согласись, у меня ставка приличная.

– Но негде купить? Так? А у меня есть где... Вот и вся разница. Я проношу свой кожан пять лет. Изменится мода – я его подрежу, износится – я сделаю из него куртку. И пять лет я спокоен. Вы купите занюханное пальто, страшное с первого же одевания, а через год оно будет как тряпка...

– Фи! Женя! – брезгливо сморщился Крупеня. – Какой бабий расчет! Есть мне время об этом думать?

– Не замечая этого, вы думаете об этом постоянно. У нас дома каждый вечер разговор был то о кофтах, то о юбках, то о плащах. А я решаю эту проблему капитально и надолго. Извините, дядя Леша, у спекулянтов.

– А откуда ты их знаешь?

– А откуда их знают ваши сотрудники? По коридору у вас бродит сплошь спекулятивная одежда. Поговорите с народом, может, вас и познакомят с кем-нибудь.

– Ишь ты! Умный научил дурака!

– Дядя Леша! Давайте честно – я защищался. Не я ведь спросил, откуда у вас эта роскошная шариковая ручка. В продаже таких не было.

– Мне подарили. Что ж, по-твоему, я ее выискивал у спекулянтов?

– Вам повезло. А если я с детства мечтал о такой ручке, где я ее могу взять, как не у спекулянтов?

– О такой мы с тобой ерунде, Женька, толкуем, что я начинаю жалеть, почему я из-за тебя не лег в больницу.

Думал: сядем мы с тобой, поговорим, и ты мне расскажешь, что тебе родители плохого сделали, что ты к ним полтора года не ходишь... А мы с тобой черт-те о чем...

– Опять же не я начал, – тихо сказал Женя.

– Ну я, я! – зашумел Крупеня. – Я барахольщик, увидел твои шмотки и затрясся...

– Успокойтесь.

У Евгения лицо стало внимательным, значит, заметил, как проснулась и напомнила о себе проклятая печенка. Теперь уж она отыграется за то, что на столько часов ее выключили из игры.

– Успокойтесь. Скажите, это волнует вас или моих родителей?

– А как ты думаешь?

– Я думаю – вас. Видите ли, дядя Леша, я считал и считаю, что моим гораздо лучше оттого, что я ушел.

– Я с этим не спорю. Но почему ты не желаешь хотя бы навестить их?

– Потому что приходится каждый раз перед ними оправдываться. Ну почему? Почему? Мне устраивают допросы, отец убежден, что я валютчик. Мать уверена, что я распутник, потому, видите ли, что меня видят с разными девушками.

– Тебе это так и говорили?

– Отец – открытым текстом. Ты, говорит, валютчик! Тебя расстреляют, и правильно сделают. А мать просто смотрит на меня полными слез глазами. Смешно и грустно.

– Но ведь они мучаются!

– Естественно! Ведь сын гибнет в пучине разврата! Но ведь я не могу им сочувствовать. Просто лучше не видаться. А вы знаете, ведь у отца прежде была другая жена. Еще до войны. Она его бросила. У нас дома об этом ни слова. Запретная тема. А когда я жил у деда с бабкой, ну, знаете, когда поступал там в институт, они мне рассказали. Они до сих пор потрясены – как она

смела? Необразованная, простая, не квалифицированная конторщица, а вот взяла и ушла. От образованного, умного, богатого! Так вот я ее понимаю.

– А ты, оказывается, сопливый романтик, – печально сказал Крупеня, прижимаясь боком к выдвинутому ящику.

– Дядя Леша, пусть я сопливый. Но я тогда, в Кузбассе, много думал о первой жене отца.

– Думать тебе больше не о чем.

– Возможно. Не спорю. Но я так понимал ее, так понимал! Понимал ее, что ушла...

– И тебе ничуть не было жалко отца? Он долго горевал из-за этого. Почти всю войну. Я когда с ним познакомился, думал, что у него кто-то погиб... А потом он мне сказал, что был женат всего несколько месяцев... До войны. Я не думал, что у нас об этом пойдет разговор. Двое сходятся и расходятся – это ведь всегда темный лес, и я не люблю это обсуждать. Но если о твоём отце... Что, если его просто пожелать?

– Что вы от меня хотите, дядя Леша?

– Я хочу, чтоб ты пришел ко мне в гости двадцать четвертого февраля. Говорю сразу – будут твои. Встретитесь за столом на нейтральной территории.

– Я приду на эту, такую симпатичную мне территорию. А Пашка?

– Обеспечу.

Евгений улыбался, прищурив глаз: что, мол, с тебя возьмешь, бедного печеночника, если ты решил играть роль миротворца? И Крупеня махнул рукой: иди. А когда за Евгением закрылась дверь, вспомнил, что, пока они разговаривали, никто ему не звонил и никто не приходил. А была планерка. Теперь-то она кончилась... И могли бы, хоть для приличия, выяснить, тут он или нет. Живой ли. От жалобных мыслей стало противно и стыдно. Он решил, что надо наконец ложиться в больницу, сразу же позвонил Вовочке и сказал о своем ре-

шении. Тот начальственно заохал и попросил не нервничать.

И Крупеня, ни с кем не простившись и постанывая от боли, вызвал машину и уехал домой.

Трагедия, в сущности, оказалась почти комедией. Эссенция, которую выпила Люба Шестопалова, была простым уксусом, да еще и с подсолнечным маслом. Скуповатая Любина мать имела привычку сливать остатки с селедочницы обратно в бутылку. И крик Любава подняла не потому, что было больно, а потому, что ради крика-то все и делалось. Вот она выпьет, швырнет бутылочку во что-нибудь стеклянное – швырнула в хозяйственную полочку, на которой стояли вымытые банки, – швырнет, значит, бутылочку и ЗАОРЕТ. Ася внимательно слушала, а Любава спокойно рассказывала, как она орала, как прибежала из сараюхи мать и как у матери поотрывались на халате пуговицы от бега – халат узкий, в нем только стоять можно, а она рванула, как Брумель, и в три прыжка уже была в избе. Увидела стекло на полу и то, как Любава опускалась рядом с ним на пол, широко раскинув руки, и обомлела. Любава так и говорила:

– Мне руки хотелось раскинуть пошире, чтоб было страшнее.

– А почему так страшной? – спросила Ася.

Любава пожала плечами, поежилась, и под ней скрипнули пружины. Она лежала на высокой перине и на трех взбитых подушках. Белье было белое как кипень, вываренное и высушенное по-домашнему. Казалось, от него пахнет морозом, хотя в комнате было тепло, а Асе жарко, она ведь так и не успела снять с себя три теплые кофты – торопилась к этому смешному несчастью.

– Скажи, – спросила она, – ты хоть на минутку, хоть на мгновение подумала тогда о маме?

Любава засмеялась и ответила странно:

– Я думала, что у меня все получится как надо. А Маркс говорил – победителей не судят.

– Никогда этого Маркс не говорил, – сказала Ася.

– Нет, говорил! – Любава приподнялась на подушках и устроилась поудобней. – Говорил, говорил, я знаю точно. Я просто не думала, что он такой твердокаменный.

– Сергей Петрович?

– А кто же еще?

– Я с ним еще не говорила.

– Теперь уже не надо. Теперь он мне не нужен.

– А мне – придется. Ему много еще предстоит разговоров из-за тебя. Не жалко?

– Абсолютно. Так ему и надо.

– Не понимаю. То ты из-за него хочешь умереть, значит, он тебе небезразличен, а то тебе на него наплевать.

– Мне на него наплевать, если ему на меня наплевать...

– А если б он к тебе пришел тогда, ты думаешь, не было бы у него разных неприятных разговоров?

– Я бы всем сказала, что выпила по ошибке. Думала, мол, что огуречный рассол. У нас он всегда есть, я его люблю без ничего пить, просто так...

Абсолютная, почти невозможная откровенность! Что это – предел цинизма или просто глупость? Ася оглядела комнату. Все блестит, ни пылиночки. Этажерка с книгами. Какими? Надо встать и посмотреть. На стеке дорогой ковер. И пышная постель, на которой лежать, наверное, очень приятно.

– Ты где жила, когда поступала в институт?

– В общежитии. – И мордочка сразу же – и недоуменная, и чуть брезгливая.

Ну еще бы! Ася представила себе плоские общежитские коечки. Там летом никакой, даже кинооткрыточной индивидуальности. Казенно-деловой стиль, сукон-

ные одеяла, мутные стаканы, длинные веревки от штор. Сами шторы в закутке у коменданта лежат. Абитуриенты обойдутся и без них. Одеяла пересчитываются каждый вечер. Стаканы тоже.

- Ты на чем срезалась?
- Первый год на сочинении. Второй – на истории...
- А другие из вашей школы?
- Кто поступал, а кто на работу в городе устраивался!
- А ты на работу не хотела?
- На черную? Еще чего!
- Почему обязательно черную?
- А какая может быть работа без образования?
- Всякая. Ты думаешь, у инженера в цехе очень белая работа? А можно в галантерейном магазине продавать галстуки, ленты. Разве это черная работа?
- Ну вот еще!

Асе подумалось: не надо здесь зря сидеть. Любава ей понятна до донышка. «Банка разбилась всего одна, мне хотелось, чтоб было больше... Много, много битого стекла, как после бомбежки». – «Господи, да где ж видела бомбежку?» – «В фильме „Летят журавли“. Помните, он ее несет по битому стеклу и у нее висят руки...»

Когда Ася уезжала в командировку, она в коридоре встретила Священную Корову. «Видела я таких истеричек, – сказала та. – Это – не тема. Пусть ими занимаются психиатры. Сейчас психов много. Провинциальная экзальтация. Я бы это письмо выкинула, к чертовой матери... Оно с соплями».

Битое стекло и раскинутые руки. Корова как в воду смотрела. Экзальтация. По сути. А сверху огуречный рассол откровенности.

Вошла мать. Три нижние пуговицы на халате так и не пришиты, а ведь прошло уже десять дней. А Любава лежит и, судя по всему, вставать пока не собирается. Мать подала ей молоко. Любава пила мелкими глотка-

ми, и при каждом ее глотке у матери вздрагивал подбородок.

– Все будет хорошо, – сказала Ася. – Отдыхай. Я к тебе еще зайду.

Она вышла во двор. На веревках бились синеватые простыни. Мать не успела пришить пуговицы к своему халату, и вообще он был не очень-то свежий, но, когда подавала молоко дочери, на руке у нее висела тряпка – никогда Ася не видела таких чистых хозяйственных тряпок. А на этажерке стояли «Белая береза», «Два капитана» и «Саламина» Ро-куэлла Кента. Остальные книжки оказались учебниками.

Сейчас Ася шла на почту – она остановилась там в маленькой задней комнатке. До нее здесь жила учительница, потом она вышла замуж, переехала в свой дом. А комнатка осталась – даже не комнатка, просто выгородка, в одной половинке жила Катя-телефонистка, а в другой поселили Асю. Она успела только бросить чемоданчик и побежала к Любаве, а сейчас снимет лишние кофты и пойдет в школу.

Катя, некрасивая широкоплечая девушка, с пористым лицом, работала здесь уже больше десяти лет, соседки в выгородке менялись уже раз двадцать. Были агрономши, учительницы, завклубом, была даже одна актриса кукольного театра, неизвестно зачем приехавшая однажды в деревню. Были вожатые, бухгалтеры, врачи. Была одна вантюристка, которая представилась директором трикотажной фабрики. Собирала деньги и снимала мерки на вязаные платья. Ее прямо отсюда и взяла милиция. От нее остались журналы мод. Катя дает их местным портнихам на время и под честное слово. Журналы эти она считает своими.

Когда Катини соседки уезжают, она испытывает сложное чувство: она хуже их и в то же время – лучше. Если просто, то им, конечно, есть куда уезжать (модельерша не в счет), и они уезжают. А Кате некуда. Она у се-

бя на свете одна. Значит, она хуже? Если же смотреть по-другому, по-умному, то она из деревни не бежит, трудится, где поставлена, значит, она, безусловно, лучше. Бывает обидно, когда соседки выходят замуж тут же. Тогда система рушится и Кате не за что бывает зацепиться. Ася приехала именно в такой момент.

Катя сквозь неприкрытую дверь смотрела, как переодевается Ася. Ничего особенного. Комбинация вискозная, без кружев, подмышки небритые. Кукольная актриса брила подмышки; она объяснила Кате, что культурная женщина обязательно должна это делать. С тех пор небритые подмышки вызывали у Кати брезгливое возмущение. Вообще Ася ей не понравилась. Уже потому, что приехала к этой ненормальной Любаве. Письмо в редакцию писали две девчонки, подружки Любавы. Катя им сказала: «Не пишите. Ведь не умерла же...» Но они все-таки написали. А чтоб было убедительней, писали так, будто Любава при смерти. И вот на тебе – тут же явился корреспондент! Из района не дозовешься, если по делу нужен, а ведь не письмом зовешь – голосом, криком кричишь по телефону, мол, приезжайте, наш бригадир по пьяной лавочке устроил гонки на тракторах, кто быстрее дотюкает до переезда. Так там, в редакции, спрашивают: «Ну и кто первым пришел? Митька? Ай да Митька! Передавай ему привет. Пошлем на всесоюзные... Пусть сохраняет форму...»

А тут эта мосластая примчалась. И не из района. Из Москвы...

Ася переоделась, вышла из выгородки, улыбнулась Кате и, помахав рукой, ушла. Катя повторила этот жест. Она смотрела вслед Асе, как та смешно ставит валенки: раз вовнутрь, а раз в стороны, – кто так ходит? – и с уважением подумала о своих следах, которые оставляет рано утром. Ровные, симметричные. И подмышки у нее бритые...

Ася пришла в школу на перемене, взбаламутила всю

учительскую. Сергей Петрович оказался молодым парнем с очень близорукими глазами – очки толстые, и линзы отсвечивают сразу несколькими цветами. «Можно мне прийти к вам на урок?» – спросила Ася. Он разрешил, видимо, от растерянности, не зная, можно ли не пустить. Пока учителя расхватывали журналы, пособия, карты, Ася думала, что Сергей Петрович не только не похож на сердцееда, а просто-напросто плюгавенький и не очень чистоплотный парень, из тех, кого девушки обходят до самого крайнего случая, пока уж совсем не приспичит замуж.

Это тот сорт мужчин, которые сразу же тянут девушек в загс. Они еще вчера только поцеловались, а завтра у них уже младенец, и они, с запотевшими очками, шмыгая носом, таскают бутылочки то с молоком, то с мочой, из магазина, из лаборатории. У них нет юности, нет соловьев, нет луны. Детство – а потом сразу семейная жизнь. Мама – а потом сразу жена. Многие из них даже не подозревают о некоем промежуточном периоде, а может, они сразу примиряются с мыслью, что это не для них? Примиряется же человек с мыслью, что он никогда не прыгнет с парашютом, не переплывет океан на папирусном судне, не напишет поэму, не споет арию Ленского. И не надо! Ася шла за Сергеем, смотрела на его мятый пиджачок, на брюки, вправленные в валенки, на клетчатый воротник рубашки. Какой нелепый парень! И это из-за него пытались отравиться селедочными остатками?! Из-за него разбили поллитровую банку и широко раскидывали руки, падая на пол?!

Она села на последнюю парту, почувствовала, как поднимается в классе тревога, как это всегда бывает, когда на урок приходит кто-то чужой. Хотелось сказать: «Не бойтесь меня. Я ничего не контролирую...» Но ведь не скажешь, а страницы уже нервно шелестят, и спины пригнулись к партам, и кто-то сигналил: «Только не меня спрашивайте, только не меня...»

А Сергей Петрович, в классе такой же неприкаянный, как и в учительской, растерянно водит пальцем по списку, ищет, кого бы спросить, а глаза сквозь толстые линзы так же шарят по лицам. Испуганный, жалкий парень...

Ася плохо слушала и плохо слышала. Она думала о другом. Если уехать завтра рано утром, то к вечеру она будет в Ленинграде и сможет побыть там целый день... Соблазнительно! В любом случае хорошо бы завтра утром быть уже в райцентре, уехав туда какой-нибудь самой ранней машиной. Надо будет напоследок всем тут сказать, что ничего она писать не будет, поговорит с этим Сергеем и еще раз с Любовью... О чем, она еще не знает. Нелепая история вызывает нелепые мысли.

Вот Сергей подошел к задней парте, стоит рядом. Почему он в валенках? В школе тепло, и ведь он мужчина все-таки... Какой ни на есть... Сергей постоял и отошел, закрыл журнал и сказал, что тема урока «Образ Кабанихи». Ася чуть не подскочила. Как это она не сообразила, что и тут сейчас проходят Островского. Два дня назад она была на уроке у Игоря. Вот о чем надо написать – о нем и о его паровозниках, как их называет Светка. И послушать, что говорит Сергей Петрович.

Но слушать его было скучно. Он бубнил что-то о темном царстве, а класс явно не слушал его. Теперь, когда опрос окончился, можно было разглядывать Асю. Подумаешь, Кабаниха! Когда это было! А тут живой корреспондент приехал к их учителю. Что с ним теперь будет?

Они остались после урока, Сергей примостился на одной из парт, выставив в проход валенки.

– Я ее не понимаю, – сказал он резко, рассекая воздух широкой ладонью. – Я ей ничего не обещал. Вообще она мне не нравилась. Три раза были в кино – и все. А когда она предложила пожениться, я ей сказал, что это смешно.

– Сама предложила? Ни с того, ни с сего?

– Вот именно! Ни с того, ни с сего...

О чем тут было еще говорить? Ася начала об уроке, о том, что неинтересно ребятам слушать сейчас об Островском. Вот в одной московской вечерней школе один молодой учитель решил изменить, как он сказал, освещение темы. «Я просто переносу лампу, – сказал он. – А теперь, будьте добры, посмотрите внимательно – сколько лет Кабанихе? Ведь немного! Ну, где-то между сорока и пятьюдесятью... И уже старость, а она еще и не жила. А эта фальшивая, лживая женщина – невестка (такой ведь ей представляется Катерина), ничего не хочет упустить, все ей надо, всего бы попробовать...»

Сергей пожал плечами.

– Вы знаете, как его слушали! – продолжала Ася. – И выступали. Ведь взрослые люди, женатые, захлопотанные.

Сергей молчал. Асе стало неловко. В конце концов, у него сейчас свои неприятности, а она ему про Катерину.

– Вы не хотите сходить к Любе?

– Зачем?! – возмутился он. – Не хочу я к ней идти! Ведь я же ничего ей не обещал!

– Чтобы как-то наладить отношения. Она выйдет скоро на работу...

– Дотерплю до конца года и уеду, – сказал он жестко. – Тут порядочки такие: в кино сходишь – женись... А я не собираюсь... У меня свои планы...

– Какие, если не секрет?

– Послал в издательство сборник стихов, – сказал он. – Жду ответа.

– Почитайте!

Он обрадованно вскочил и встал возле доски. И, заложив ладонь за борт пиджака и отставив локоть, громко акцентируя ударения, начал декламировать. Ася опустила голову, чувствуя, как жгучий румянец покрывает лицо, шею, как от неловкости возникает против-

ная вязкость во рту и ломит виски.

«И дурен собой, и неумен, и стихи ужасные... Что она в нем нашла? Холеная, отмытая до блеска девчонка, поенная сливками... И сама себя предлагала...»

Он кончил читать.

– Скажу вам честно, – сказала Ася, – мне не понравилось. Может, зря вы это затеяли? Со стихами?

– А кто из поэтов вам нравится? – грубо спросил Сергей.

– Тредиаковский, – ответила Ася. – Какое значение имеет кто? Не будем дискутировать с вами о вкусах. Но если вы свое будущее связываете с поэзией, мне кажется, вы ошибаетесь.

– И я бы не ошибся, если б женился и остался здесь навечно, так, что ли?

«О! Да он злой!»

Ася удивленно на него посмотрела.

– Зачем вы так? Я ничего подобного не думала...

– А мне плевать, – сказал он. – Я пойду своим путем. Даже если вы меня распишете в газете, что я такой-сякой... И я вам докажу...

– Да не будет вас никто расписывать. Вас если уж расписывать, так за плохой урок, за то, что вы, молодой еще человек, оделись, как ночной сторож, и пришли в класс, не заботясь о том, что подумают о вас ваши ученики.

– А это уж мое личное дело! – отрезал Сергей. – Вид... И насчет урока еще можем поспорить. Я, во всяком случае, штучки с перенесением ламп считаю ненужными.

– Договорились! – сказала Ася.

– Значит, не будете писать? – спросил он снова.

– Не о чем, – ответила Ася.

– Вот именно! – твердо сказал Сергей Петрович. – Вот именно!

В поезде Ася записала:

Для бухгалтерии – глупая, бесполезная поездка. Лежит телка, которой хотелось замуж, решила припугнуть парня – с виду он пугливый. А парень оказался крепким, его не только уксусом, его битым стеклом не прошибешь. Вот и все. Куда-то это потом можно будет вставить, но не всерьез же анализировать, как Любава травилась подсолнечным маслом?

Последний разговор с Любавой был у Аси уже за столом. Пили чай с пирогами, говорили о городе, о стаже, который у Любавы будет, даже о фильме «Летят журавли». Правда, Любава мало что из него помнила – только стекло и как у Вероники висят руки. Тогда же Ася пыталась выяснить, что все-таки могло нравиться Любаве в Сергее. Заговорила о стихах, спросила, читал ли ей Сергей свои стихи, Любава сказала, что читал, но ей не понравилось, все про какой-то обоз и про коней, она ему так и сказала, не обманывать же. А он ответил, что кони – это, по его замыслу, люди. Любава говорила об этом с иронией, что Асю совсем успокоило.

– Мне тоже не понравились его стихи, – сказала она Любаве. – Жаль, что он придает им такое значение.

Любава промолчала. И это Асе понравилось – не ринулась поносить неудавшегося жениха. Рука у Любавы крепкая, теплая. Расстались на том, что от глупостей никто не застрахован, но и переживать их долго еще глупее. Было? Было. И забудем. Мать догнала Асю во дворе, сунула на дорогу сверток с пирожками, жалобно спросила:

– Не сделает она больше ничего такого?

– Ну, что вы! – сказала Ася. – Успокойтесь. Это бывает в жизни только раз.

– А то, может, мне сходить к учителю? Попросить?

– Да он и не стоит ее! – возмутилась Ася.

– А я и не знаю, кто теперь чего стоит. Теперь не поймешь, – тихо сказала мать.

Уходя из выгородки, поговорила Ася и с Катей. Та рассказала, как отговаривала девчонку писать письмо. «Ведь не умерла же, не умерла», – повторяла Катя. «И слава Богу!» – сказала Ася и увидела, что Катя как будто с этим не совсем согласна. Не то что она желала смерти Любаве, нет! Но то, что та не довела дела до конца, Катю, как натуру цельную, не устраивало. «Если человек за что берется...» Ася подумала, что если есть такое абсурдное понятие, как безнадежная надежность, то это сама Катя.

И еще перед самым отъездом, ожидая у правления машину, она встретила Сергея. То есть не встретила – сам пришел. В тулупе, в надвинутой на лоб ушанке.

– Я еще раз хочу выяснить, будет материал в газете или нет? – сказал он раздраженно.

– Чего вы боитесь? – удивилась Ася.

– Я не боюсь! – возмутился он. – Но я должен знать, как себя вести.

– А как вы можете себя вести? – спросила Ася. – Работайте спокойно!

– Вот именно! – сказал он. И ушел, даже не попрощавшись. Действительно, не поймешь, кто чего стоит. Ему бы обрадоваться, что видная, балованная девчонка глаз на него положила, ведь наверняка у него ничего такого никогда не было... И тут же Ася решила, что это вот дело темное. Ничего она о нем толком не знает, кроме того, что он некрасив, неопрятен, пишет плохие стихи и дает плохие уроки. «Немало, немало, – спорила она сама с собой. – Что там еще остается, в запасе? Доброта? (Не похоже!) Ум? (Неясно!) Мужские доблести? (Так ведь ничего же у них не было! Он ей читал стихи про обоз, где кони, в сущности, люди.) Эх, дура ты, дура, – подумала о себе Ася. – Ну что ты людей меряешь на свой аршин...» И вообще права Священная Корова – письмо оказалось нестоящее. Она ведь говорила: смотри, это вернее всего – экзальтация. А это – не тема.

«Норма – не норма. Гостиничная Зоя и Любава. Любава травилась, а Зоя нет. Норма не травится! Норме нужны розовая кофточка и мужчина; не нужны черная работа и Третьяковка. Но Любаве тоже нужен муж и не нужна черная работа. Кофточки, перина, ковры у нее уже есть. Третьяковка? На полке Рокуэлл Кент. Итак, между Зоей и Любой нет принципиальной разницы. Обе нормы? Или обе не?.. Кто знает?»

Ася отложила блокнот, прогнала мысли. Все! Все! Она походит по Ленинграду, благо будет время. В Москве в «Детском мире» ни до чего не дотолпишься. А Ленка просит брючный костюм, и чтоб штаны с растрюбами. Где-то видела. Писала и про импортные джинсы с нахальной припиской: «Но этого тебе, мамуля, не суметь». Интересно, сама она будет такое уметь? И вообще – что она такое будет, ее Ленка? (Господи, спаси ее от белокровия, от менингита, от несчастного случая... Пусть все будет хорошо!) Так она повторяет всегда, когда думает о Ленке. Они говорили как-то с Маришей. Она увидела, как та, провожая Настю, тоже что-то шептала ей вслед.

– Колдуешь? – спросила Ася.

– Колдую, – ответила Мариша.

– Потому что один ребенок...

– Не знаю, – сказала Мариша. – Я бы колдовала, даже если б было и десять.

– У тебя бы не было времени, – сказала Ася. – Я тоже колдую. Спасая от хвороб и несчастий.

– Как же без этого? – Мариша пожала плечами. – Я даже верю в это. В материнское заветие.

Ася не знала, верит она или нет. Ведь если верить по-настоящему, то надо спасать не только от белокровия (от которого, кстати, не спасешься), а и от того, чтоб не выросла дочка дрянью, не стала бы чьим-то горем, не была бы дурой с опущенными руками, не стала тряпкой и не была бы безнадёжной надёжностью, как Катя.

Не писала бы плохих стихов. Но ведь она никаких не пишет... Тьфу! Чего она пристала к ребенку? Пусть будет счастливая. Это главное. И спаси ее, Господи, от белокровия, менингита, от несчастного случая. Ася засмеялась и уснула. До Ленинграда было еще четыре часа. Начинало светать.

Любава босиком кралась в сени, стараясь ничего не задеть. В темноте лицо у нее было решительным и сосредоточенным.

Мариша пришла с работы, прочла записку от Насти. Та писала, что поела, выучила уроки и ушла в Дом пионеров. Мариша машинально сосчитала ошибки, вздохнула. Вздох получился громкий, надсадный, какой-то бабий. Даже саму себя слышать противно. Что это в ней так выиграло – усталость, возраст или огорчение по поводу дочкиной безграмотности? День был как день. Ее работа лишена разнообразия и неожиданностей. Работа для интеллигентной умной женщины, которая понимает, что разнообразие и любые неожиданности старят и повышают давление. Кто ей сказал эту чушь?

Когда-то думалось: буду в Москве на тихой работе – только бы кормила! Буду ходить в театры, буду встречаться с друзьями, буду регулярно ходить к косметичке, буду время от времени – только для удовольствия! – писать в газету. У нее ведь всегда все получалось. Вот и это у нее получилось, как по нотам. Работа кормит. Она – одна из их института! – была на «Анне Карениной» с Плисецкой. Видела эту неистовую женщину. Теперь у нее билеты на «Федора Иоанновича». Ей все завидуют. У нее прелестная косметичка, которая делит своих клиентов на «небарынь» и «барынь». «Барынь» она любит. Как художница любит натуру, краски. «Небарынь» она уважает, потому что ими держится наша советская земля. Сама она, косметичка, – «небарыня». А Мариша – это же надо! – «барыня».

Время от времени у Мариши гости. Приходит Вовочка Царев, иногда со своей некрасивой женой, приходит поесть и выпить по-домашнему Священная Корова с коробом столичных новостей.

– Тебе нужен мужик, – говорит она. Мариша не спорит. Но знает, что тоскует она не по мужику, а смертельно завидует и Корове, и Олегу, и Асе, и Светке, у которых не тихая работа – дело их жизни. Нарекли ведь они себя когда-то шестидесятниками. Кто-то даже клятву писал по типу врачебной: «Мы – лекари общественных недугов...» Забыть бы все это – было бы легче... Мариша примеряет эту клятву на своих однокурсников. Хочешь не хочешь, а многие из них – хорошие лекари... Многие похуже, но это естественно. А она, красивая, способная, она – у входа. Стоит без дела «Кто это стоит в дверях, как в раме? Гончарова? Волконская?» – «Это наша красавица Мариша». – «Почему же она у входа?» – «А где ей быть еще?»

Мариша идет на кухню и пьет ледяную воду. Надо заварить валерьяновый корень.

Сегодня она утрясла отношения со своим фиктивным мужем. Он обещал быстро развестись, он знает как. Пусть теперь приезжает отец, у нее все будет в порядке. Таким, как он, действительно не надо знать, что почем. Не поймет, расстроится и начнет искать причину в себе. Ничего не найдет, а ведь истерзается ища! И не скажешь ему, что не удалась жизнь, потому что не удалась работа. Он спросит: почему, как? Что она ответит: «У меня не было таланта»? Неправда, потому что в каждом деле тысячи бесталанных. Они ткут свою пряжу добротной, крепко. А таланты для узоров. Ей говорят: «У тебя талант жить». Имеются в виду тряпки, билеты на Плисецкую, лицо, как у «барыни»-дамы. И никогда никто не слышал, как она вздыхает, когда одна дома. Это и есть талант? Скрывать, как ей плохо?

Когда раздался звонок, она не поднялась, а сидела и

думала, что для Насти еще рано, а никого другого она видеть не хочет и что единственный человек, перед которым не надо «делать лицо», это Олег. Он, и только он пусть видит и неудачницу, и реву, он поймет и пожалеет. Но главное – поймет, что у нее есть причина быть в темноте, и не будет доказывать, что все пустяки. К несчастью, Олег прийти не может. А значит, кому-то сейчас неожиданно предстоит увидеть ее, печальную и опухшую. Пусть. Мариша решительно открыла дверь. На пороге стоял Олег. Она заплакала, засмеялась и бросилась ему на грудь.

С улицы звала Настя. Мариша босиком потопала к балкону, выглянула. Настя сообщала, что пришла из Дома пионеров и будет гулять на горке. Мариша махнула рукой. Гуляй! Всего секунда, а ноги застыли, она сунула их под подушку, а Олег укрыл сверху еще платком.

– Никогда больше так не бегай, – сказал он.

– Нет, буду, – засмеялась Мариша. – Буду! Назло тебе, чтобы ты тревожился обо мне!

И тут же осеклась, потому что увидела, что он действительно будет тревожиться, что уж кто-кто, а он, Олег, всегда, всю жизнь будет относиться серьезно ко всему, что бы с ней ни случилось. И так было всегда, еще много лет назад, когда они познакомились. Ну могла ли она тогда подумать, что будет время, когда ей счастьем покажется открыть дверь и увидеть его на пороге. И даже дело не в том, что у него – жена и двое детей. Об этом не думалось. Нет, просто Олег – это был для нее до предела суженный горизонт. Как длинный коридор с одним окном. А хотелось необыкновенного. Она сказала тогда Олегу: «Не надо! Я очень жадная... Мне тебя мало, значит, это не любовь...» И уехала. Казалось ей – взлетела. В большой город, где университет, красивая река, много цветов, много умных людей. И он – милый, без памяти влюбленный мальчик. Он тогда играл на рояле и водил

ее в филармонию. Деликатностью и интеллигентностью похожий на самого образцового мужчину, какого Мариша знала, – на ее отца. Но папа пил только сухое вино, и то не всякое. А этот, как очень скоро выяснилось, пил все. Стыдливо, виновато, переливая водку, портвейн, вермут, любую гадость в детские бутылочки и растыкивая их по дому. Одна стояла за книгами на полке, другая в уборной, замаскированная под соляную кислоту, третья – в кофейнике, четвертая за диваном, в кармане плаща, в шляпной коробке да мало ли где... Лишь бы протянуть в любом месте руку, найти и высосать жадно, торопливо. А потом, прикрывшись газетой, сказать, стараясь не выдать себя голосом, что-нибудь вроде: «Эти хунвейбины, Манечка, совсем распоясались!..»

Необозримые горизонты... Он прекрасный инженер с почти готовой диссертацией, но в трудовой книжке, за пять лет двенадцать записей. «Уходи от него, – сказали ей его родители. – Он уже не человек. Он погубит тебя и ребенка. Уезжай! Мы будем помогать тебе всегда, потому что это мы перед тобой и Настенькой виноваты. И прости нас!»

– ...Мне надо уходить, – сказал Олег. – Я ведь перед командировкой.

– Куда? – почему-то испугалась Мариша.

– На Север... И оденься, чтобы я ушел не тревожась. Мариша набросила на плечи кофточку. Прижалась к нему, боясь, что он уйдет и ей станет так же плохо, как было до него.

– Я скоро вернусь, – сказал он. – И не бегай без меня босиком.

Она стояла у окна и смотрела, как он идет по двору, увидела, как он, разыскав среди детворы Настю, завязал ей шарф – вечно он у нее болтается, щелкнул ее по носу и ушел. Чужой муж и единственный ее человек. Гнала от себя, гнала, гнала, чтоб не расстраиваться, нечего

привыкать к хорошему, у нее теперь нет необозримых горизонтов. А сегодня вот не выдержала. Вцепилась в него мертвой хваткой, и сразу стало хорошо и покойно. А о Тасе она подумает завтра. Сегодня не будет. Зазвонил телефон. И она ему обрадовалась – действительно, ей просто некогда сегодня думать о Тасе. В трубке хрипло дышала Священная Корова.

– Твой возлюбленный все еще у тебя?! – прокричала она.

– Ты о ком? – спросила Мариша. Корова захохотала.

– У тебя их что, много? Меня интересует этот идиот Олег. Нам ведь ехать вместе, а его носят где-то черти.

– Он ушел, – сказала Мариша, – заходил попрощаться.

– Ну и что ты на все это скажешь?

– На что на это, Анжелика? – Мариша назвала Корову ее настоящим именем, и это было верхом растерянности и верхом бестактности. Редакционная машинистка, родив в трудном двадцать седьмом дочь, дала ей имя, которое не могло не принести брошенной заезжим корреспондентом женщине счастья хотя бы на будущее. Это имя казалось ей символом прекрасного. Конечно, оно было не русское и не современное, но это не имело значения. Мать умерла в сорок втором, а имя стало крепостом, потому что было дано человеку, совершенно для него неподходящему. Всю жизнь Корова воевала со своим именем, как с личным врагом, требовала, чтоб ее называли Аней, с горем пополам добилась этого, воюя со всеми, кто пытался называть ее соответственно документам. А потом стала Священной Коровой. И гордилась этим. И успокоилась. Будто нашла наконец подходящую для своих мозолей удобную обувь.

– Я тебе дам – Анжелика! – заорала Корова. – Ты у меня будешь меняться на Шпицберген! И эту кретинку с собой прихватишь – Аську.

– Ее-то зачем? – спросила Мариша.

– Да ты что?! – Корова закатилась от гнева. – Твой воздыхатель тебе что, не рассказал? Что же он у тебя делал?

– Что случилось, Анька, ради Бога, я ничего не понимаю. Что с Асей?

– Ха-ха! Вот это да! Ничего не знаешь? Она выбыла из места командировки, а девица, к которой она ездила, – на крюк! Меня посылают спасать реноме редакции, а этот Иисусик Олег увязался со мной спасать Аську, хотя, ей-богу, я бы ее сама, собственными руками выгнала из газеты. Соплячка несчастная!

– Да ты разберись вначале! Может, Ася не имеет к этому никакого отношения!

– Это никому не интересно. Важен факт. А он вопиет. И Вовочка вопиет с ним. Корреспондент нашей газеты не должен оставлять после себя трупы. Это не гигиенично. После нас должны быть благодать и просветление. Усекла?

– Ты разберись, ненормальная! – кричала Мариша. – Слава Богу, что с тобой едет Олег.

– Ей ничего не поможет. Вовочка в гневе страшен.

– Я ему позвоню.

– Не будь душой.

– А ты будь доброй, Анька! – кричала Мариша. – Не топи Аську.

– Надо мне ее топить! Я спасаю мундир.

– Думай об Аське...

– Вы ненормальные с Олегом. Почему я должна за нее думать? Что это за жизненная миссия – думать за других?

– Не за нее... О ней...

– Один черт! Ей для чего голова дадена? Не знаешь? То-то. – И Корова бросила трубку.

Светлана провожала подругу. Она прогнала с нижнего места в купе здорового дядьку, уложила в багажник

чемодан и многочисленные авоськи, стащила с верхней полки матрац и постелила постель. Подруга охала в коридоре.

– Я бы так не смогла. Ты такая решительная. А наверху действительно неудобно. Я ведь без брюк.

– Не дрейфь, – ответила Светлана. – А брюки купи. Чтоб соответствовать времени.

Они поцеловались, и Светлана ушла, не дожидаясь, когда поезд тронется; было поздно. Она бежала по платформе, пряча лицо от ветра, и догнала Асю уже в туннеле. Ася шла медленно, и Светлана чуть не сшибла ее с ног.

– Вот это да! – сказала она. – Уже вернулась?

– Больше того, – сказала Ася. – Успела даже Ленинград повидать. Возвращаюсь такая вся размягченная.

– Вижу. Плетешься, как на терренкуре.

– Не была, не знаю, – засмеялась Ася.

– Поехали к нам. Все расскажешь и поешь. Есть основания полагать, что ты голодна.

– Нет, нет, – запротестовала Ася. – Я в гостиницу.

– Поедешь туда завтра утром. – И Светлана уже вела Асю в нужный туннель, и уже сунула ей теплый пятак на метро, и они уже ехали, и Ася радовалась Светкиному натиску, потому что в гостиницу ехать действительно не хотелось.

– Была мысль купить что-нибудь Ленке. А пошла в Эрмитаж и за каких-нибудь четыре часа прожила все равно как четыре жизни. Слушай, какие освобожденные от чепухи лица у мадонн! Понимаешь? От чепухи, которой мы изводим себя. Ты помнишь «Мадонну Литту»?

– Поговоришь с Игорем. Он тебя поймет. Он вообще Леонардо да Винчи считает пришельцем. Есть у него такая бредовая теория. Он как-то не так писал, как все. Или что-то в этом духе. А что касается мадонн, то для этого нужно сесть в самый ранний трамвай и посмотреть, как везут младенцев в ясли.

– Верно. Эти, в трамвае, тоже мадонны.

– Только им этого никто не говорил.

– И плохо.

– И хорошо. Ты скажешь – и выбьешь у нее почву из под ног. Она точно знает, что она баба, ломовая лошадь, что ей надо этого младенца минимум до венца или до армии дотянуть, а сегодня надо мужу набить морду, что пришел пьяный, и на мастера пожаловаться в местком, и надо сегодня в райисполком сходить, потому что им обещали квартиру еще в прошлом году и не дали. Ну чего она стоит, если от этой, как ты говоришь, чепухи возьмет и освободится?

– Знаешь, я думаю, у *тех* женщин тоже все было. И квартиры были плохие, и дети болели. Не в этом дело. Надо сохранять в себе бесценность. Себя сохранять.

– Я тебе как врач говорю. Чтобы сохранить себя, очень часто приходится жертвовать красотой. И лучше все знать до самой страшной правды, чем рассчитывать, что мир спасет красота. Мир может спасти только знание.

– Всеобщее среднее?

– Для начала. А потом – то, что поднимает лучших над уровнем среднеобразованного болвана. Вот тогда им можно показывать и Литту, и Бенуа, и Сикстинскую... Не будет умиления от священного восторга, а будет понимание и умом, и сердцем. Но это будет не скоро, это говорю тебе я. И хватит. Приехали. Сейчас будет чай, а потом спать, спать...

Ее посадили у теплой кафельной стенки – зимой в старом доме подтапливали печь. Дали мягкие «заячьи» тапочки. Хрустнула на столе белоснежная скатерть, зазвенели чашки из тонкого фарфора, и пришло ощущение сотни раз воспетого московского гостеприимства...

– А я позвоню Марише, пусть она умрет от зависти, что мы чаевничаем, – сказала Светлана и вышла в коридор, Ася вышла за ней, и пока Светлана по дороге к те-

лефону выключала на кухне чайник, Ася разглядывала вытянутые по стенке стерильные столы старой московской коммуналки, лампочку под потолком без единой пылинки, начищенные ручки газовой плиты и пять магнитных мыльниц над старенькой, потресканной, но белоснежной раковиной. Вошла соседка, в халатике и шлепанцах. Поздоровалась с Асей и сказала, пока Светлана набирала номер:

– Откуда у людей деньги? Каждый день у них кто-нибудь ночует. Всегда кто-то чужой обедает. Кого-то встречают на такси. Вы не обижайтесь, я не про вас, я вас в глаза никогда не видела, но ведь доходы у них средние, а всегда гости. Жизнь ведь дорогая. – И она покачала головой, глядя на Асю круглыми желтыми двухкопеечными глазами.

– Мариша! – кричала Светлана. – Спишь? А мы сейчас чай будем пить. С Асей! Завидуешь?.. Куда? Ты сошла с ума. Ты посмотри на часы, сестричка. – Потом Светлана замолчала, и лицо у нее стало строгое, и Ася вдруг поняла, что-то случилось, и бросилась к телефону, но трубка уже легла на рычаг, а Светлана снимала с вешалки шубу. – Надо ехать, – сказала она Асе. – Почему-то надо ехать к Марише. Мы возьмем такси. Возле нас это не проблема. Рядом гостиница.

Вышел Игорь, родители. Но Светка качала головой и повторяла, что надо ехать, и все. Потом даже прикрикнула: что это за манера ночью выяснять отношения? А Ася думала об одном: вчера перед Эрмитажем она звонила Аркадию. Все было хорошо. Что могло случиться за день? И поняла; все что угодно. Все могло случиться за день, за час, за секунду. Все несчастья случаются мгновенно. И тут же раздался звонок. Светка схватила трубку. И, чеканя каждое слово, проговорила громко: у Аськи дома все в порядке.

Свалилась тяжесть. Господи, зачем же тогда такая суета, если дома все в порядке? Мариша как почувство-

вала, позвонила. Она всегда все чувствует, это у нее такой дар... Но все-таки что случилось? Почему надо ехать? Они выходили, Ася, Светка и Игорь, а в глазах соседки светился все тот же желтый монетный вопрос: опять такси?

– А чайник-то зря вскипятили, – услышала Ася уже за дверью ее скрипучий голос. – Можно, я налью себе чашечку?

«Что-то со мной случилось, – думала Ася. – Со мной? Но ведь со мной ничего не случилось!»

Олег и Корова разместились в той же выгородке, в которой жила Ася. Олег хотел жить отдельно, но Корова возмутилась.

– Нам надо быть вместе, – сказала она. – Мужчину и женщину связывают или определенные отношения или никаких. У нас никаких. И ты, насколько мне известно, не сексуальный маньяк, поэтому сохранишь спокойствие, если увидишь мою голую ногу...

– Сохраню, – засмеялся Олег.

– Смех был оскорбительный, – заметила Корова, – но черт с тобой. Я с Маришкой не соперничаю, у меня есть чувство юмора.

– Брось, – сказал Олег. – Не язви без надобности.

– Это можно, – согласилась Корова, – хотя, если мы с тобой сегодня чего-нибудь на ночь не выпьем, нам завтра будет трудно. Не надо было так торопиться, чтоб успеть на похороны...

– А я что говорил? – Олег начал злиться. – Почему мы не дождались Аську? Что за необходимость была мчаться без всякой информации?

– Знаешь, в чем твоя слабость? – спросила Корова, стаскивая с себя чулки вместе с поясом и облегченно оплывая. – Господи, как хорошо и легко! Так вот, милый мой, ты по сути своей человек из народа. Тебе понятны боль и забота маленького человека, и ты в упор не ви-

дишь страданий начальников...

– Мели, Емеля...

– Вовочка – тоже человек, и его можно понять, у него сейчас начнутся неприятности... Вот почему мы здесь.

Катя принесла им чайник. Он раскаленно всхрипывал, обдавая Катины руки паром, а она и не видела, и не чувствовала. Все вспоминала, как он к ней ворвался, этот при-дурочный учитель. Господи, а тряся-то как, умоляя звонить, звонить, звонить! Потому что ведь он «ни сном, ни духом», корреспонденту, что уехал, ведь все было ясно, так что, теперь снова приедут и он снова должен будет отвечать за всякую психопатку?.. Повесилась-таки, кретинка! Но он-то, он при чем тут? Он даже кричал это – при чем тут?! – каким-то визгливым, бабьим голосом, и Кате было вначале противно, а потом стало жалко, так жалко-противно, что она стала звонить этой самой несимпатичной Асе в редакцию. Любаве уже ничем не помочь, а этот учитель хоть и никудышный, но все-таки живой. И с той самой минуты, как Катя сумела за тридцать минут пробиться сквозь непогоду и расстояние и связаться с редакцией, с той самой минуты, как она четко и телеграфно передала все «прямо Москве», с той самой минуты она ощущала себя центральным персонажем всей этой истории, а потому вошла в выгородку без стука и чайник поставила по собственной инициативе, и у Любавиной бабушки взяла пятнадцать штук поминальных, что на завтра, пирожков для этих корреспондентов, которых она решила направлять и вести, а не отпускать на самотек, как ту, несимпатичную ей Асю. Приехала, туда-сюда – и уехала. Катя чувствовала в себе большую, неведомую ей раньше силу. Почему-то казалось, уверенно казалось, что теперь она скоро отсюда уедет. И мысленно она уже прощалась с этой выгороженной на почте квартиркой, куда другие приезжали и уезжали бесследно (модельерша не в счет) и где она одна сумела прожить незряш-

ную, значительную жизнь. Доказательство тому покойница Любава и эти двое, что решили жить вместе, но это не страшно, сразу видно, что они не мужчина и женщина, а товарищи по работе. Ничего такого не будет. Разве иначе она согласилась бы?

– Садитесь с нами, – сказал Олег, доставая бутылку «старки» и роскошнейшую коробку конфет, которая продавалась в буфете их редколлегии. Корова фыркнула. Водка – это понятно. Но конфеты? Олег никогда принципиально не заходил в этот начальственный буфет. Корова принципиально заходила, считая себя вправе пользоваться всем, что есть в редакции. Она не знала, что конфеты были куплены для Мариши, но он тогда забыл их вытащить, вот и привез сюда, к восторгу этой придурочной Кати, которая держится с ними, как полковничья жена с солдатами мужа на параде – покровительственно и любовно.

Корова с присущей ей прямоотой и неделикатностью хотела ей это сказать, но вдруг увидела лицо Олега и осеклась. Он протягивал Кате коробку, а потом старательно, строго по ее указанию накапывал ей в граненый стакан водку...

– Ах, хватит? Простите, ради Бога... Ну, это ничего... Всего две капли лишние... Не пейте, не надо... Выпьете? Ну и прекрасно... Это же «старка»... Можно сказать, лекарство...

Каков артист! Ну и черт с ним, пусть ублажает эту полковницу с парада, у нее свой, жесткий стиль работы, и в нем ее сила.

Она в командировке хирург, она вскрывает, потом зашивает, но попробуйте найти швы! А Олег – ощупью, интеллигентно будет пробираться в душу этой бронированной Кати, вместо того чтобы сказать ей просто: „Слушайте, девушка, у вас что, не было в тот момент других дел, как звонить в Москву? Или вас Любава перед смертью просила просигнализировать? С чего такая

суета, будто наш товарищ Ася лично ее на крючок закинула?! И пейте вы, ради Бога, сразу. Это водка. Это вино пьют глоточками, и то не всякое, вы все на свете перепутали, моя милая“. Глупо. Конечно, это было бы глупо. Сейчас так нельзя. Значит, пусть ведет эту партию Олег...

– Чай у вас, Катя, чудесный!

„Мог бы так не врать. Заварке по меньшей мере три дня“ – Пирожки сами пекли?

– Пирожки поминальные, – с достоинством отвечала Катя. – Там такие готовят поминки. Свинью зарезали только из-за ножек для холодца. Так у них мясо было...

– Праздник устраивают! – мрачно процедила Корова. – Первое мая...

– Все-таки единственная дочь, – терпеливо пояснила Катя. – Для нее было все.

– Да, – сказал Олег, – горе...

– Добилась своего, – продолжала Катя. – Чего хотела, того добилась.

Корова хмыкнула. Катя посмотрела в ее сторону. Старая уже женщина, лет пятьдесят, не меньше, а сидит хмыкает. Чего, спрашивается? Ладно. Катя им все объяснит. Все. Как надо...

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЮБАВЫ В ПОНИМАНИИ КАТИ-ТЕЛЕФОНИСТКИ

...У нее все было с детства. У Любавы. Я сюда приехала, а она как раз в первый класс пошла. Ну, сейчас все детей хорошо одевают, в магазине купить можно. А этой все шили на заказ. Формочка из шерсти по семнадцать рублей, вся плиссированная, фартук из шелкового полотна, а портфель ей материн брат из Германии прислал – он там тогда служил, это сейчас он в Сибири работает железнодорожником. Приезжает в гости каж-

дый год. Бесплатно. За шубкой цигейковой для Любавы ездили в Москву. Она в пятый ходила. Мать ее рассказывала, что стояла в очереди семь часов. Полный рабочий день.

Я вам скажу про телеграммы. Вот если что надо, они шлют телеграммы родственникам и, конечно, с ними перевод. Ну, вначале просили по мелочи – колготки, кофточки. А потом – гипюр, но только белый. Это к выпуску. Шерсть только мохеровую. Теперь кримплен. Пальто из этой, как его... Ну, обувь шьют, она такая кашлатенькая... Замша, будь она неладна. А совсем недавно они железнодорожнику своему отбили телеграмму – просили сапоги на фундаменте.

– Платформе, – поправила Корова.

– Да, платформе. Ну, высокая такая подошва. Опять же – деньги сразу. Я так думаю, что они людей ставили в безвыходное положение: деньги пришли, хочешь не хочешь – покупай. А перевод всегда был с прибросом. Если туфли, к примеру, французские стоят пятьдесят рублей, то посылали семьдесят. Им это ничего не стоит. Отец механик, он любую машину соберет, хозяйство хожее. Они и на базар вывозили то мясо, то сало, то грибы соленые. Не всегда, а время от времени. В охотку. Так что деньги у них есть. Когда Любава поехала поступать первый раз в институт, они тут расшибались... Снарядили ее как только можно. Платьев, туфель... Она через неделю вернулась. Не очень переживали, не парень, в армию не заберут. Вот она целый год дурью маялась. И все одна, одна – ни с кем. Вроде чего зазнаваться? Ничем других не лучше. Ну, есть возможность не работать – не работай, никто не осуждает, у нас каждый год девки посиживают. Но как-то все стараются вместе. А эта молчком и одна. Ну, ладно, год, как день, прошел. Снова едет. И снова возвращается. Люди их учили: надо ехать с деньгами. Вы, может, этого не знаете, в Москве этого, наверно, нет, а у нас тут сплошь и

рядом – поступить можно за деньги. Но они дураки. Им бы сразу с ней ехать и по горячим следам заплатить кому надо, а они мотнулись уже после. Как я понимаю, никто их там слушать не стал, в общем, с деньгами и вернулись. Я их понимаю: первому попавшемуся ведь не дашь? Один жуликом окажется, а другой в милицию потянет. Это дело такое. Найти бы им человека, который берет, и все было бы в порядке. Они не нашли. По лицу ведь не прочтешь. Тогда Любава пошла в школу жожа-той, больше для смеха, чем для дела. Я тоже так считаю, что это за работа – с барабаном ходить? А она с ним почему-то весь август, считай, ходила. Повесила через плечо и ходит. Некоторые говорили: «Вон идет дура с барабаном». Я ее спросила: «Чего ты с ним ходишь?» – «Модно, – отвечает, – модно теперь так».

А в конце августа приехал по назначению Сергей Петрович. И сразу заскандалил – пятый класс не возьму, даже уеду, если настаивать будете. Ну, тут Любава вылезла – давайте, говорит, его мне, за пятый класс я чего-то помню. Ну и все вроде путем. А потом они стали ходить в кино вместе. И она опять с барабаном. Все уже привыкли. Мать объясняет: «Дети теперь все хулиганы. Инвентарь нельзя оставить – или скрадут, или про-ткнут. Приходится носить с собой. Трубу она в ящик стола заперла, а барабан не влезает». А потом пошел слух – будто женятся. Тут учитель пришел на почту бандероль отправлять, стихи в тетрадках. Я думала, ну, три рубля поставит в стоимости, ну, это самое большое за бумагу. Вижу, пишет – сто рублей: тысяча старыми! Я говорю: «Деньгами разбрасываетесь перед свадьбой». Как он позеленеет! Поверите, я никогда больше такого нечеловеческого цвета не видела. «Вы, – говорит, – языком своим не мелите зря... А работайте. И запакуйте все как следует, чтоб не порвалось». Я поняла, что жениться он не думает, что у него другое в жизни направление. А тут пришла и Любава ко мне на почту, как всегда, посы-

дает деньги. На этот раз в Одессу, какой-то родне через вот этого самого брата-железнодорожника. И что, вы думаете, просит? Парик! У самой волосы, как хорошая грива. И не сеченные, и не перхотные. Я ей говорю: «Ты сдурела! Зачем он тебе?» Она отвечает: «Чтоб страшной было». Ну, в общем, деньги не считаны, в этом причина. Она ведь школьную зарплату получать не ходила. Ей бухгалтерша домой ее приносила, не себе ж брать? А та в школе крутится, а за деньгами – у них бухгалтерша с завхозом с торца сидят, обойти школу надо – не зайдет. Потом она, вы знаете, травилась. По-нарочному. Я говорила девочкам: «Не посылайте вы письмо. Учитель тут ни при чем. Он жениться не собирался». Послали. Приезжала от вас тут девушка. Посидела у них, в школу сходила. Уехала. В общем, и делать больше нечего. Человек живой. Лежала она просто так, чего не полежать, если можно? Я вот ни разу не ходила по бюллетеню. У меня даже манеры такой нет. Да и на кого я все оставляю? Если болеешь, в соседней комнате телефон все равно звонит. Значит, вставай и иди. Так лучше совсем не ложиться. Попаришься, чаю с малиной или медом попьешь, пенициллин глотнешь, и все. Сердце поколет – так меня научили: траву заварю и вместо воды. А если живот, я грелку никогда не положу, это опасно, кислым молоком спасаюсь. Пью его, пью и пью. И тоже пенициллин. А она лежала, сколько хотела. Никто ее и не тревожил. А она и повесилась. Я так понимаю: нельзя человеку давать сразу все. Надо постепенно, чтоб оставался интерес. Ведь люди произошли из животных. А разве хорошую собаку досыта кормят? Так, лишь бы не сдохла. Тогда в ней сохраняется собачий характер. И человек должен знать, что у него все еще впереди – и парик, и сапоги на фундаменте, и замши разные. И будут они ему идти постепенно, как награждение за какие-то его успехи. Школу кончила – часы. Я, к примеру. В институт поступила – новое пальто. Замуж выходишь

– ковер. А у нее все было сразу. Ничего ей уже не хотелось.

– Замуж, – сказала Корова.

– Ой, нет! – вздохнула Катя. – Этот замуж ей, как ба-
рабан. Ей-богу! Она пришла на почту, а я ей говорю:
«Твой кавалер стихи послал в Москву. В сто рублей бан-
дероль оценил». А она смеется: «Мало, – говорит. – Ма-
ло, Катя! Лошади нынче дорогие...» – «Какие лошади?
Или это ты про него так грубо?» – «Ну, что ты, – снова
смеется. – Лошади красивые. Зачем их обижать». Я то-
гда так: «Ну а если он такой некрасивый, хуже лошади,
чего ты за него замуж хочешь?» А она мне тот же ответ:
«Чтоб страшней было».

– А что, Катя, – спросил Олег, – какого-нибудь парня
у нее раньше не было?

– Откуда?! – со злостью ответила Катя. – У нас их
сроду нету. После школы – в армию, а назад не возвра-
щаются. А которые приезжают, те уже с привесом. У нас
не парни, у нас пионеры. И то их мало. Одни девки рож-
даются. Правда, говорят, это хорошо. К миру.

– Ну, может, был у нее кто-то в школе...

– Нет, нет, – замахала руками Катя. – У них в классе
всего было три парня. И все в очках.

– Это еще не криминал, – проворчала Корова.

Катя растерянно поморгала. Ее сбили с толку. А мо-
жет, просто кончилось действие накапанной в стакан
«Старки»? Но ей почему-то стало до слез обидно... Ни-
когда никто из-за нее сюда не приезжал. И вообще
жизнь идет, едет, летит мимо. С чего это она решила,
что теперь что-то изменится? Ну вот она им все расска-
зала, объяснила главное: нельзя человеку давать много
и сразу, надо постепенно, порциями... А они о ней самой
ничего не спросили, потому что она – живая. Мертвый
им интересней. И газеты так пишут. Вот если ты погиб-
нешь, или тебя застрелят, или ты сам повесишься – о
тебе напишут, всем сразу станет интересно, как ты жил.

А так, будь ты хоть какой – это не считая артистов и космонавтов, – никому ты не нужен.

– Ну а вам, Катя, как здесь живется? – спросил Олег и стал ей снова накапывать «Старку». Катя резко оттолкнула бутылку, а стакан накрыла ладонью. Ишь, сообразил, спрашивает! Интересно стало! Только с нее хватит, поговорили. Она поднялась, большая, нескладная, презрительно посмотрела на Корову – сидит, улыбается. И старая, и некрасивая, и одета неизвестно во что, а туда же, москвичка. И там все разные. Кто по театрам да по магазинам, а кто, как сивка-бурка, по командировкам. Кому все, а кому по капле.

– Живется, – протянула Катя. – Как люди, так и мы. Вешаться не собираемся.

– Вы же разумная девушка, – сказал Олег. – Вы хорошо нам все рассказали. Спасибо вам большое. Вы нам очень помогли.

– А где барабан? – спросила вдруг Корова. Катя видела, что Олег указательным пальцем постучал по столу. – Да ну тебя! – Корова зашевелилась в подушках, кровать закрипела – старая потому что, кто сюда новую поставит – и сердито закричала Олегу: – Не стучи! Стукач нашелся. Я хочу посмотреть этот барабан.

– Обыкновенный пионерский. А вокруг круглые плашечки. Чтоб звенеть.

– Я так и знала, – сказала Корова. – Бубен это.

– Ну и что? – Олег все стучал по столу пальцем. – Барабан, бубен.

– Бубен – это у цыган, – вдруг вспомнила Катя.

– Черт знает что за кровать! – сказала Корова, слезая. – Не для любви – для страданий. Казенная или ваша? – спросила она Катю.

– Ничья, – ответила Катя.

Корова плеснула в стакан «Старки», залпом выпила и заела конфетой из красивой коробки.

– Катя! – сказала она. – Где у вас уборная, или, как

теперь говорят интеллигентные люди, туалет? Пресс-конференция окончена. Гонг!

Василий Акимович собирался в больницу к Крупене. Он недоумевал и, пожалуй, даже сердился. Чего это Крупеня решил мирить его с сыном? Лично он не страдал и не страдает оттого, что Женька ушел. Вольному воля! Даже спокойней дома, потому что не заткнешь же уши, чтобы не слышать, какие он говорит глупости, так что ж слушать и молчать?! А Крупеня лезет со своим разбирательством.

В душе Василий Акимович был убежден: и у Крупени с Пашкой не так все просто. Просто теперь ни у кого не бывает. Он слышал Пашкины заявления о деньгах: «Деньги – это свобода». Это же надо такое сморозить! Поставить два таких слова рядом. А Алексей смеется. «А ведь точно!» – «Что точно?» Деньги – это деньги, это зарплата, а свобода – это осознанная необходимость. Вот что это. В общем, он скажет Крупене: «Леша! Ты разберись на отведенном тебе жизнью участке. Ведь у тебя, я знаю, тоже не все, как говорится, о'кей. Ну вот хотя бы по службе...» И тут на Василия Акимовича накапывало.

Он уже несколько лет болезненно чувствовал приближение роковых шестидесяти и уже тайно и страстно ненавидел всех этих сопливых сорокалетних, у которых ни опыта, ни ума, ни совести, один возраст. Один ему такой кричал: «Сколько можно ходить у вас в мальчишках! Тридцать три года – пора расцвета, меня уже гнать пора за ненадобностью, а вот у вас никаких о себе сомнений?»

Василий Акимович так ему и сказал: никаких сомнений о себе у нас нет. А на душе потом долго было беспокойно, мутно.

Крупеня ждал его в холле. Широкий халат весь на нем почему-то дергался, а нос торчал вперед, желтый и

воинственный.

– Ну, ты молодец! – кричал Крупеня, прыгая от возбуждения внутри халата. – Здорово, что пришел. Ты такой румяный, черт, просто как горнолыжник.

– Про тебя я этого не скажу, – проворчал Василий Акимович.

– И не надо, – засмеялся Крупеня, – у нас всюду зеркала. Черт-те что! В самых неожиданных местах идешь, а тебе навстречу страшилище с печатью смерти на лице. Думаешь: вот бедняга, ничего ему почти на этом свете не осталось. Улыбнешься ему подбадривающе, а он тебе в ответ оскалится, тут только сообразишь, что это ты сам и есть.

– Ты писатель, – сказал Василий Акимович. – Трепаться горазд. Тебя ломом не добьешь.

– Ломом! – возмутился Крупеня. – Тоже мне оружие. Конечно, не добьешь. И не связывайся.

– А начальник к тебе твой приходит? – наливался соответствующим настроением Василий Акимович.

– Звонит. И мне. И прямо в ординаторскую. Создает вокруг меня суету и озабоченность. В общем, он, конечно, молодец. – Крупеня засмеялся. – А все-таки пацан. Ей-богу, пацан! Сообщил мне, не удержался, как я накололся с одной командировкой... Не проинструктировал человека, отправляя в путь, и от моего, крупенинского головотяпства, дескать, случилось ЧП. Он думал, я от этого сообщения залягу тут надолго переждать грозу, а я решил отсюда бечь... Может, даже сегодня рвану когти...

– А ты бы полежал все-таки, – проворчал Василий Акимович. – Человек на бюллетене – фигура неприкосновенная.

Крупеня прямо зашелся в хохоте.

– Фигура, – всхлипывал он, – неприкосновенная... Ну, ты скажешь... Прямо на шестнадцатую полосу, в «Рога и копыта».

Обидным был этот смех для Василия Акимовича, очень обидным. Что он сказал смешного? Что?

– Знаешь, – закричал он на Крупеню, – хватит! Ты все знаешь, ты самый умный. А я так не считаю.

– Ну, прости, прости. – Крупеня вдруг от смеха перешел к нежности, даже сделал попытку обнять Василия Акимовича, что было уж совсем лишним, совсем некстати и так вскормило гнев Василия Акимовича, что он, забыв, где находится, на очень высокой ноте все выдал сразу:

– Ты жизни не знаешь. Вот что я тебе скажу. Вы, писатели (Василий Акимович принципиально никогда не называл Крупеню журналистом. Писатель, и все тут), все такие. И не спорь! Потому что если бы ты жизнь знал, то не вмешивался бы в наши отношения с Евгением. Ты рассуждаешь: Васька – дурак. С сыном поладить не смог. А кто бы смог? Ты просто не знаешь, что между нами и ними – пропасть. И Пашка твой – я шел к тебе и думал об этом – такой же. Деньги – это свобода, понимаешь? А у нас с тобой денег не было в молодости, так что, мы рабы были? А?

– А ты не брешь, – сказал Крупеня. – Это у меня денег не было, потому что без бати рос, а у тебя с деньгами всегда было все в порядке. Ты ж, Вася, маменькин и папенькин сынок. Или нет?

Василий Акимович поерзал. Эта манера Крупени – выдвигать в споре неожиданные аргументы! Конечно, он не бедствовал. Но ведь и не шиковал!

– Я никогда не шиковал, – ухватился он за слово. – Я жил, как все, мне лишних штанов никогда не надо было.

– Ну и доблесть! – засмеялся Крупеня. – Счет идет по-большому. По штанам. Брось, Вася! А мне хотелось иметь в молодости белые штаны. И часы хотелось иметь. Я тебе больше скажу. Мне и домик за городом хочется. Ну, стреляй меня за это, мещанина проклятого. Но у меня, увы, нет денег. И знаю: таких, чтоб купить,

никогда и не будет. А жаль... Ей-богу, жаль...

– Своруй! – пробурчал Василий Акимович.

– Во! – обрадовался Крупеня. – Слово сказано! Вот тут-то и начинаются мои расхождения с мечтой. Воровать, Вася, не могу. И что еще смешнее – не хочу. Да чего это мы про деньги? А? Деньги – это свобода. Пашка говорил? Есть сермяга, есть! А Женька у тебя хороший.

– Только без совести, – сказал Василий Акимович.

– А что такое, Вася, совесть? – спросил Крупеня. – Сформулируй!

– Формулировать! – возмутился Василий Акимович. – Я тебе не писатель, чтоб этим заниматься. А вот что ее нету, вижу.

– Ничего ты не видишь, – грустно сказал Крупеня. – Это же не штаны.

– Ты не морочь голову! – закричал Василий Акимович. – Что ж я, по-твоему, человека с совестью от человека без совести не отличу? Тем более сына?

– Ну, Вася, Вася, – успокаивал его Крупеня, – а что бы тебе не взять за основу, что совесть, она, как правило, у всех, и у тебя миссии делить людей на тех, что с совестью и что без нее, нету. Не уполномочивал тебя Господь Бог на это.

– А я в Бога не верю, – распалялся Василий Акимович. – Я имею право выражать свое мнение? Имею!

– Ладно, – сказал Крупеня. – Ладно. Замнем для ясности.

– Никто ничего не делает. Всем на все наплевать. Зато много знают, высказываются. Ты думаешь – мы им люди? Я и ты? Они же только и ждут, когда мы с тобой сдохнем. И разве только дети? А твой главный разве этого не ждет?

Крупеню скрутило. Он пригнулся к коленям и от этого казался совсем больным и маленьким. Василий Акимович испугался – зря он эту тему задел, дурак он, конечно. Он почувствовал, как поднимаются в нем жа-

лость и нежность к старому другу Лешке Крупене, и потому был потрясен, когда скрюченный Крупеня сказал ему:

– А не пошел бы ты, Вася Акимович, к такой-то маме! Ёж твою двадцать! Что ты каркаешь? Жить надо самому по совести, а не чужие совести считать. В этом все дело, дурак ты старый! Я сейчас в редакцию поеду, вот что я решил!

И Крупеня мотнулся куда-то в глубину коридора, а Василий Акимович почувствовал великую несправедливость существующего мира. Это теперь такая манера – плевать в душу. Шел к нему, как человек, как друг, а его же – к такой-то маме!

Крупеня вернулся в распахнутом халате, и Василий Акимович увидел сто раз подтянутую и закрученную резинку и все равно спадающие пижамные штаны. Герой!

– Ну вот, – сказал Крупеня. – Я ухожу. Поймаешь такси? И не надо больше бухтеть мне про количество совести у других. Надо жить так, чтоб дерьма после тебя не оставалось. И вины. И чтоб горем ты ничьим не был. Да что это я? Ты ведь, Вася, хороший мужик. Только чокнутый. Но скажу тебе по секрету – я чокнутый тоже. А з а а пельсины спасибо. Видеть я их не могу. Мне бы кусочек тихоокеанской селедочки с разваристой картошкой. Так поймаешь такси?

И тут Василий Акимович заплакал. Он потом совершенно не мог понять, как это так слезы появились независимо от него. Из него, а независимо. Это же неправильно, что организм тебе вроде и не подчиняется, а существует сам по себе и ни с того, ни с сего может даже плакать, то есть совершать вообще несуразный ни с чем поступок, потому что Василий Акимович не помнил, когда он плакал в последний раз. Если это и было, то только до революции или вскоре после нее. В дальнейшем обозримом прошлом слез у себя он не помнил. Он

даже не заплакал, когда Полина прислала ему разводной лист. Он тогда весь набух от боли, у него даже волосы болели, вот никому этого не скажешь, а болели, нельзя было причесаться, каждый волос был, как нерв. Но ведь не плакал он!

И тогда он понял, что это плачет его старость, потому что других объяснений не было, ведь не примешь же всерьез этот разговор о тихоокеанской селедке, которую хочется Крупене, а есть ее ему нельзя.

– Ты брось, – сказал ему Крупеня. – Мы с тобой еще – во мужики!

Василий Акимович всхлипнул и рукавом вытер нос.

– Я сейчас... Такси... – И он поднялся, потому что вдруг почувствовал непреодолимое желание остаться одному. На минуту даже показалось, что это он в больнице, а Крупеня пришел его проведать, но тот встал и снова показал перекрученную на запавшем животе резинку, и Василий Акимович с удивлением сообразил, что ему уходить из больницы, а Крупене можно и оставаться. Такая была на этот раз раскладка...

Они сидели в учительской за длинным столом, покрытым красной, заляпанной чернилами, стертой на углах плюшевой скатертью, и перед ними лежал бубен. Они пришли в школу, потому что ночью здесь тихо. Они даже отправили домой сторожиху-истопницу, пусть идет отдыхать. И теперь на коленях у Олега лежали громадные брезентовые рукавицы, а у шкафа с журналами стояла длинная кривоватая кочерга. Им сегодня разговаривать, им и топить печи, чтобы завтра в школе было тепло.

– Зачем ты принесла бубен? – спросил Олег.

– Так, – ответила Корова.

– Кинется мать, начнет искать...

– Не бойся. Мать убеждена, что бубен – просто инвентарь, который Любава спасала от баловников пио-

неров...

– Вероятно, так оно и было. Ты не увлекайся символикой. Я знал одну девицу, у которой над кроватью висел череп, а спала она на черной простыне. Но за этим ничего не было.

– Не надо меня учить, – ответила Корова. – Я тебе таких историй расскажу миллион.

Они замолчали. Они не торопили друг друга, зная, что молчание – тоже дело, каждому из них есть о чем подумать. С самого утра они сегодня разделились. Каждый пошел своей дорогой. Олег побывал в сельсовете, потом в мастерских, потом ходил к Сергею Петровичу вместе с дядькой Любавы, ездил на кладбище, смотрел, готова ли могила. А Корова пошла к ним домой. Народу было полно, но все равно остаться незамеченной оказалось трудно, тогда она уселась в кухне вместе с той частью родни, которая, несмотря на горе и слезы, была занята хозяйственными работами. Они и плакали, и причитали, но и за картошкой следили, и фарш вертели, и мужиков, что могилу рыли, кормили, и оркестр поили – приехал из района замерзший. В общем, для кого-то жизнь останавливается, а для остальных – идет, и это можно почувствовать особенно здесь, где все рядом, все вместе и где за стенкой одну поят валерьянкой, а другого лечат водкой – от насморка. Трубач простужен, но все-таки приехал, потому что хорошие деньги, а он дочери в Иванове кооперативную квартиру строит. Много чего узнала Корова, сидя на табуретке и выполняя мелкие поручения – истолочь в ступке перец, нарезать крутые яички, принести из сенцев воду. В сенцах она и увидела бубен. Он лежал на лавке, и на нем была чья-то шапка.

Несколько раз в кухню выходила мать, и Корова видела, что никакое горе не могло заставить ее отступить от главного в ее жизни направления – у Любавы все должно было быть лучшим. И похороны тоже. И она

ткнула пальцем в резиново застывший холодец! И посчитала оркестр. Как и обещали – было пятеро, и даже на Корову посмотрела, как той показалось, удовлетворенно: человек из Москвы. Приходила к ней в кухню и Катя, спрашивала, не нужно ли чего. Корова даже растерялась. Ей? Нужно? А потом вдруг поняла, что она после покойницы здесь сегодня второе лицо. Действительно, слишком скоропалительно прислали их из редакции. Надо было дожидаться Асю.

Кстати, об Асе говорили тут хорошо. Правда, она быстро уехала, ее мало кто видел, но, в общем, вела она себя здесь правильно. А как, собственно, она могла себя вести? Устроить колхозное собрание с осуждением нехорошего поступка, порочащего имя и прочее?.. Так ведь бывало в свое время. Но это когда... Да и Аська совсем не такая. Корова ведь знала ее еще по университету. Она уже работала, а Ася приходила к ним на практику. Когда это было? В прошлую эпоху. Еще и Вовочка салагой был тогда. Крупене в рот заглядывал. А теперь Вовочка норовит дать Крупене под зад своим модным ботинком. Это называется эволюция. Но ведь в чем-то Вовочка, может быть, и прав. Крупеня ушел в производственную текучку сначала случайно, незаметно, а потом – с головой. Целый день будто в деле, но без дела. Без главного дела. Сколько раз ей, Корове, предлагали Чин... «Учи, – говорят, – других, передавай опыт». И так порой бывало соблазнительно осесть в кабинете и вправлять мозги уже современным салагам. Но у нее хиатило ума не поддаться. Потому что она, в сущности, не очень хороший человек. Она эгоистка. Ей своя, личная судьба дороже. А ее судьба – это материал в газете. Такой, чтоб все ахнули. Но именно здесь, в эти дни Коровы вдруг подумала, что про здешнее происшествие она писать не будет. И хоть уже ясно: Асю никто ни в чем не обвиняет, а значит, и газету тоже, и можно не ходить по инстанциям, чтоб спасти мундир (за этим-то

ведь и ехали!), но писать она все равно не будет. Она просто приехала на чужие похороны за государственный счет. В конце концов, про это тоже следует иногда подумать. Человек приходит и уходит... Зачем приходит? Зачем пришла, например, она? Чтобы стать первой среди женщин Газетчицей с большой буквы? Это много или мало? Во всяком случае, это всегда ничего не стоит, когда сидишь над чистым листом бумаги. И сохрани тебя Господь в этот момент от мысли о том, что ты когда-то уже об этом писал и тебе это совсем просто. Подумаешь так и неминуемо напишешь муру. Каждый раз это как родить. Правда, она никогда не рожала. Но знает это не хуже тех, кто рожал. Она пять раз писала о родах. Значит, она родила пятерых. Она трижды писала о самоубийстве. И сейчас это она лежит там, в соседней комнате. Она! И только она кое-что знает, зачем пришла и зачем эта девчонка ушла. Вот так-то, граждане сопровождающие.

– ...Такой бы жить да жить!

– ...Ей бы и птичье молоко достали!..

– ...У ее родителей деньги и на квартиру, и на гарнитур были собраны...

– ...Положили во всем новом, ни разу не надеванном...

– ...А все из-за такого, что ни кожи, ни рожи... Да с ним на одном гектаре по нужде не сядешь...

Корова чистила чеснок и с нежностью думала о бубне. Она была сейчас Любавой, и это была ее четвертая смерть...

– ...За Аськой нет вины, – сказал Олег, прерывая молчание. – Она могла здесь остаться еще на любой срок, но ведь и Любава могла подождать.

– Угу! – пробормотала Корова. – Ты пошуруй в печке, а то заморозим пионеров и школьников.

Олег взял рукавицы, кочергу и вышел. Корова тихонько постучала по бубну, звука не было, бубенчики не

пошевелились. Она вздрогнула и поежилась. Этого еще не хватало – простыть. А немудрено, кладбище у них здесь не близко. Представила сейчас дом Любавы, полный людей, закусывающих и пьющих с удовольствием после мороза и от мысли: «Все-таки я живу – лучше, чем – я умер», – это там сейчас ощущает каждый. Сегодня будут пить, а потом остервенело любить, чтобы убедиться еще и еще раз в этой простой, как вот эта школьная чернильница, мысли.

Пришел Олег, удовлетворенный тем, что хорошо исполнил гуманную истопническую миссию. Сел, уставился на нее.

– Не ешь меня глазами, – сказала Корова. – Нету у Аськи вины, нету!

– Могла бы ответить сразу, – облегченно вздохнул Олег, – а то сидит, пыжится. Я думал, ты там черт знает что раскопала.

– Я знаю одно, – сказала Корова, – я бы на ее месте тоже повесилась. Это говорю тебе я, у которой пределом желаний было, чтобы кто-нибудь когда-нибудь сварил для меня суп. И поднес мне его в тарелке и сказал: «Ешь, Анжелика!» Тут сгодилось бы даже мое идиотское имя. Ты заметил? Ее все называли Любавой – не Любой, не Любкой, не Любочкой даже, Любашей или как там еще можно, а Любавой...

– У нее никогда никого не было. Ни одного парня... Этого стихоплета я не считаю.

– Его тоже не было.

– Ее детвора любила. Знаешь, за что? Она хорошо передразнивала.

– Она рисовала. У нее на этажерке Рокуэлл Кент стоял. И все ее рисунки – на его лад. Там вся деревня в лицах. А! Черт! Забыла спрятать! Вдруг спяну начнут разглядывать...

– Да брось! Они не тем заняты. А что говорят вообще?

– Хотели бы сказать – с жиру! Но с жиру бесятся, а не умирают. Поэтому больше молчат. Жалеют. Особенно старики. А подруги хорошо выли. В два голоса...

– И все-таки? – спросил Олег.

– Я же тебе сказала. Я на ее месте поступила бы так же...

– Я могу рассказать все, как было, – сказала Ася, умоляюще складывая руки.

– Не надо, – отрезал Вовочка. – Честное слово, не надо. Я же верю в вашу личную непричастность. Просто вам фатально не повезло.

– Не повезло, – печально повторила Ася, Посмотрела на свои умоляющие руки и опустила их. – Вот приедет оттуда Олег, и вы убедитесь...

– Я убедился...

Так вот о каком его голосе говорят, что он похож на голос военного радио.

– Не надо неясности. Дело в том, что вы нам не подходите. Я очень сожалею, но, может, это даже хорошо, что мы оба узнали об этом так скоро. – Он встал, а Ася продолжала сидеть, хотя это было глупо. На диване, у окна, сидел парень, похожий на большую кошку. На нем был мягкий пушистый свитер, а под ним, наверное, очень сильное и гибкое тело. Он смотрел на Асю сочувственно и насмешливо, и это казалось ей отвратительным, мешало сосредоточиться и сказать что-то очень сейчас для нее важное. Да, вот оно!

– Пошлите меня еще в командировку. Мне очень было бы нужно в Сальск – для моей темы.

– Ася! Ася! Мы же с вами взрослые люди.

Да, конечно, взрослые. Что это она как на экзамене: еще один вопрос, профессор! Ведь никогда она так не поступала, а тут сидит с этими своими жалкими, просящими руками. Встать! И Ася встала. Ну вот, теперь все в порядке. Она пошла к двери, стараясь держать позво-

ночник строго и прямо, как в медицинском корсете. Вовочка помахал ей рукой, а большая кошка улыбнулась с дивана. Дверь мягко вошла в поролоновые пазы. В приемной секретарша, равнодушно скользнув по ней взглядом, сказала:

– Сегодня суббота, бухгалтерия не работает. Расчет получите в понедельник.

И Ася пошла по длинному коридору. Хорошо, что сегодня суббота. Почти нет людей. Не надо отвечать на вопросы. Впрочем, какие вопросы? Кто ее успел за это время узнать? Кому она интересна? Это Мариша могла не спать ночь, а утром перекрестить ее и утешить. И посоветовать: „Иди и не волнуйся. Приедет Олег, и все встанет на свои места. И не спорь ты, если Вовочка будет шуметь... Пусть... Это он за зарплату“.

Никто не шумел. Вы нам не подходите – и все. Стерильно и четко, как в хирургии. Да! Как это она не сообщила, что это за большая кошка в мягком свитере. Это ведь Барс. Значит, и Крупеня тоже „не подходит“? Она почти машинально толкнула его дверь – заперто. Табличку, правда, еще не сменили. Хорошо, что у нее еще не было и таблички. Типография не истратила на нее ни капли краски, ни грамма цинка, ни клочка бумаги. Она открыла дверь своей комнаты. В кресле, расстегнув шубку из лисьих хвостиков, сидела Каля. Длинные волосы струились по солнечному меху, длинные ноги в затянутых сапогах красиво лежали на стуле, стоящем рядом.

– Привет! – сказала Каля. – Боже мой, на кого ты похожа! Ты совершенно неэкономно расходует эмоции.

– Зачем ты здесь? – спросила Ася. – Сегодня ведь суббота.

– Меня вызвал Вовочка. Чтобы я приняла у тебя письма.

Ася подошла к столу.

– Хорошо.

– Я возьму сама, плюнь ты на это, – махнула рукой Каля.

– Тебя же вызвали. – И Ася стала выдвигать ящики, словно пытаюсь что-то найти.

– Не повезло тебе, – сказала Каля. – Но ты не делай из этого трагедии. Я понимаю, все рвутся в Москву, и никто не понимает, что тут еще надо суметь выжить...

„При чем тут Москва? – думала Ася. – Просто – не повезло“.

– Ты бы все равно не смогла у нас работать. Я поняла это сразу. Люди делятся на тех, кто пропускает жизнь через сердце и через мозг и кто ее не пропускает, а отражает. Впрочем, это азбука... И вряд ли это тебе сейчас нужно...

Ася молчала. Была какая-то неправильность во всей нынешней ситуации. Причем неправильность не в существе, а в форме. Начиная хотя бы с того, что сегодня суббота, бухгалтерия закрыта и она обречена ждать до понедельника. Неправильность была и в том, как сидела в кресле Каля. Теперь, когда Ася тоже села, ноги Кали не казались положенными красиво, наоборот, они будто покинули умную голову Кали, и ее желтую шубку, и ее струящиеся волосы. Они были сами по себе – красивые ноги на стуле.

«Не надо смотреть», – подумала Ася, она повернула голову и уперлась взглядом в номер телефона, наспех нацарапанный на листке календаря. Федя! 142-15-37. И рука легла на трубку, и покорно закружился диск.

– Асена! (Глупое какое образование от ее имени.) Асена! Я тебя жду к себе сейчас. Ко мне добираться – пара пустяков, – заклокотал Федин баритон, и Асе подумалось, что с Федей ей легко будет поговорить о том, что случилось. А потом она сразу же уедет к мужу и дочери, слава Богу, у нее есть к кому уехать. И все будет, как раньше. В сущности, это было не так уж плохо. И права работать у нее никто не отнимал и не отнимет.

Значит, и потерь нет... Ах, Москва... Вот Мариша говорила: «У меня бы развился комплекс неполноценности, если бы я не переехала». У Аси не разовьется. Она этого не допустит.

– Слушай, – спросила она Калю, – ты что-то мне только что говорила? Про мозг, про сердце?

– Я? – удивилась Каля. – А! Я уже забыла. Так, чепуха! Мои жизненные наблюдения все равно тебе не годятся.

– Почему?

– Мы с тобой не контактим. Верно?

– Раз ты считаешь... Впрочем, я тоже так считаю.

– Вот именно. Слабость вашего поколения в том, что вы все паятели. От слова «паять»... И еще ладители. От «ладить»... Зачем? Когда все и так ясно.

– Слабости своего поколения ты знаешь так же хорошо? – Подозреваю.

– Может, это тебе надо было бы ехать в эту командировку?..

– Правильно! Я бы объяснила этой девице на пальцах, что нет ничего на свете, из-за чего стоит переводить кровь на воду. Есть у человека всего-то жизни двадцать с лишним тысяч дней и здоровье, которого должно хватить на более-менее разумную жизнь...

– А сама бухнулась в обморок, когда сдохли рыбы. И ушел на это целый день из двадцати тысяч.

– Это была истерика. Я до этого не спала две ночи...

– Я так и подумала, что это не из-за рыб...

– Вот-вот. Тебе облегчает уход мой цинизм?

– А тебе это нужно – кому-то что-то облегчать?..

Каля выпустила вверх струю дыма и застыла с оттопыренными перламутровыми губами. Дым ткнулся в низкий потолок и, потеряв форму, рассеялся.

– Я много говорю, потому что не знаю, что сказать. Какая-то глупая история... До философии – чужой дом горит, а мне приятно – я еще не доросла... Поэтому мне противно...

– Будешь считать письма?

– Нет, – ответила Каля. – Ты бы считала, а я – не буду. В комнату заглянула секретарша.

– Царев спрашивает: все ли в порядке? – спросила она Калю. Та выпустила еще одну дымовую завесу.

– Как в аптеке, – заверила она секретаршу.

Ася заторопилась, побросала в сумочку блокноты, шариковую ручку – пусть ничего от нее не останется, завернула в старую газету туфли.

– Я побежала, – сказала она.

Каля сидела все так же нелепо – сразу на кресле и стуле. Она не пошевелилась, только помахала сигаретой, что должно было, видимо, означать – беги и до свидания. А может, это и не значило ничего, как ничего не значила та рыбная истерика. Оказывается, тогда она просто не спала две ночи. Каля для нее – terra incognito. Дитя, рожденное уже после войны. «Глупости, – подумала Ася. – Между нами не война. Другое. Но я об этом подумаю потом». Она сбежала по лестнице, забыв, что есть лифт, на улице подняла от ветра воротник, увидела такси, кинулась было к нему, но сразу же отскочила в сторону. Из машины выходил Крупеня. Даже издали было видно, что он злой, решительный и совсем больной.

Ася подумала: а там эта кошка. У них тоже произойдет передача дел? Ну что ж, теперь ей известно, как это бывает. Барс в три своих шага пройдет кабинет Крупеня из угла в угол, выглянет в окошко – ага, гастроном! – насмешливо посмотрит на кучу бумаги, которую выложит ему желтоносый Крупеня, и скажет: «О'кей, все, как в аптеке». Уже подымаясь на лифте к Феде, подумала: – «Занимаюсь каким-то мазохизмом. Ну и пусть... Мне не вынести сейчас Маришиного понимания и сочувствия. Мне просто надо выпить».

Федя за руки втащил ее через порог.

– Не озирайся – никого. У меня с моими квартиран-

тами железная договоренность. Когда я приезжаю, они сматываются. Неудобно – пусть ищут другую квартиру, а я дома хочу быть как дома. Без никого. – Он усадил Асю в кресло. – Говори правду. Есть хочешь? У тебя голодный вид...

– Дашь выпить водки? – спросила Ася.

Федя взметнулся чуть ли не раньше, чем она выговорила. И уже бежал из кухни, неся в руках черную пугающую бутылку виски.

– Это сгодится? – озабоченно спросил он. – Но если не воспринимаешь, я мигом принесу родимую. Гастроном внизу.

– Воспринимаю, – ответила Ася. – Все равно.

– Нет, – сказал Федя, – не все равно. Если от тоски – только водяра. Национальному состоянию души – национальная горькая.

– У меня не тоска, Федя. – Ася выхлебала половину фужера и теперь смотрела на Федю сквозь его верхнюю часть. – Меня выперли.

– Уже?! – с такой непосредственностью вскрикнул Федя, что Ася даже засмеялась. А Федя уже спохватился, устыдился импульсивного вскрика, принялся доливать ей виски, обнял за плечи, мягкими пальцами ласкал ее короткие стриженные волосы. Ася постриглась перед самой командировкой. Длинные патлы мешали. И сейчас Федя держал в широкой ладони ее стриженный затылок, и эта чужая – Федина! – рук а а бсолютно непромерно создавала у нее ощущение защищенности и покоя. Так поддерживая, он и выслушал ее. – Сволочизм, – сказал он тихо. – Рядовой сволочизм. Никто никому не нужен. Это, мать, огни большого города. Ты думаешь, восемь миллионов – только цифирь, а это, подруга моя, качественно новый стиль жизни. Это не то что у нас: сделаешь человеку каку и обязательно не раз с ним встретишься нос к косу. И как знать? Может, тебе станет даже стыдно. Здесь не встретишься! Во как! Ты

думала, Федя – дурак, что уехал, сбежал, смылся... А я просто добрый, незлобивый человек, Асена... Я хочу, чтоб я – никого и меня никто... Не употреблял... А тут обязательно впутаться в склоку. Кто-то кому-то кишки потрошит, глядишь, а ты уже корытце держишь...

– Ну, знаешь! – возмутилась Ася. – О корытце ты не по адресу.

– Я тебе рисую схему! – засуетился Федя. – Схему! Схему выживания, если ты не академик, не народный артист. Если ты обычная средняя личность, как я, как ты, как все мы...

И то, что Федя уподобил ее себе, и ощущение самоуверенной силы, что еще так недавно исходило от Вовочки, вдруг обернулись в ней гневом. Никогда никто не смел, не мог вот так с ней запросто разговаривать о потрошении кишок с корытцем в руках. Да с ней ли это происходит? Как же так могло случиться, что в течение нескольких часов из тебя, пусть не очень сильной, но нормальной женщины, из взрослого неглупого человека, сделали куклу и сейчас вкладывают в ее кукольную голову не что-нибудь, а схему выживания?! Вы-жи-ва-ни-я! Нет, надо кончать этот разговор, надо вернуть его в то русло, где она еще живет, еще рассуждает, еще человек. Поэтому она твердо сказала:

– Я на самом деле проглядела девчонку. Это настоящая вина, Федя!

– Ты тут ни при чем!

– Я должна была что-то почувствовать. Должна была!

– Давай отделим мух от котлет, – сказал Федя. – Ты ей ничего такого не говорила? Что, мол, в наше время стыдно замыкаться в своем жалком мирке? Знаешь, ведь от этого иногда тоже хочется повеситься... Будто в наше время человеку, как индивидууму, не может быть небо с овчинку. Не говорила? – Хорошо... Материалом в газете не пугала?

– Я, по-твоему, произвожу впечатление идиотки?

– Нет. Я просто мыслю... Вычисляю степень твоей возможной вины. Итак, криминала нет... Не вижу...

– Но...

– Твоя совесть меня не интересует. Она никого не интересует. Поэтому надо вычислить, кто бы мог позвонить Цареву и попросить за тебя.

– Ты с ума сошел! – закричала Ася. Она вскочила и тут только почувствовала, как все поплыло. Сколько же она выпила? Она схватилась за Федино плечо, а он обхватил ее руками и зашептал куда-то в живот:

– Ну, совсем, совсем пьяненькая... Потому что не ела... Федю надо слушать и питаться, когда он предлагает. Федя сейчас уложит Асену в постель и будет думать. Что и кого имеем в числителе? Кого в знаменателе? Хорошая моя, ласточка моя...

Комната постепенно обретала устойчивость. И тут только Ася поняла, что держит ее Федя крепко, значительно крепче, чем полагается, когда поддерживаешь женщину, у которой закружилась голова.

«Только этого мне не хватало, – подумалось ей. – Утешиться Федей».

– Пусти меня, – сказала она. – Прошло. – И развела Федины руки, и вышла из их кольца, и поняла, что ничего в ее состоянии виски не изменило. Наоборот, стало еще хуже.

– Есть пара, тройка мужиков – бодро сказал Федя. – Они могут сделать звонок.

– Поклянись, – тихо сказала Ася, – что не будет никаких мужиков.

Федя встал и отошел к окну. Он стоял к ней спиной, руки в карманах, раскачиваясь с пяток на носки, и говорил куда-то в окно:

– Я тебе вот что скажу... Как хочешь. Лично я даже буду рад, если ты вернешься. Будем встречаться. Ты мне давно нравишься, Асена. Я знаю, что ты ко мне от-

носишься неважно. Но это зря! Ты должна понять, я не такой уж плохой... Я средний. Мир ведь делится на хороших, плохих и средних. Ты, конечно, хорошая. Тебя по пальтецу определить можно. Сколько ему лет? А ты его носишь и не замечаешь. Я уже так не могу. Мне форма нужна. Вид! И все-таки я рад, что ты ко мне пришла. Значит, понимаешь, что я твой друг. И я могу для тебя попробовать что-то сделать...

– Я пойду, Федя, – сказала Ася. – Где мое пальтецо?

– Останься, – не поворачиваясь, предложил Федя. – Останься!

Ася пошла искать пальто. Кстати, действительно, сколько ему лет? Какие потертые у него обшлага! И личка полысела. Федя уже успел прийти в себя и надевал пальто на нее, как какую-нибудь норковую шубу, бережно, нежно подергивая за плечи.

– Я тебя провожу! – сказал он.

– Не надо, Федя, не сердись! Я сама не знаю, зачем я к тебе пришла...

– Асена! – Это прозвучало проникновенно. – Тебя привела интуиция. Интуиция умней тебя...

Спустившись по лестнице и выйдя на улицу, Ася вспомнила о Крупене. Как там у него? Какие там ему говорят слова?

– Ася, – услышала она сверху и обернулась. Это Федя стоял на балконе и махал руками. То ли звал обратно, то ли прощался.

И все время, пока она шла до поворота, он стоял, раздетый, на ветру, с поднятой рукой, Федя – незлобивый человек, Федя – рубаха-парень, друг, Федя, нежелающий-держать-корытце...

Билет на самолет она достала сразу же. И не нужно было даже показывать удостоверение. И автобус от аэровокзала отходил тут же.

И только уже в самолете сообразила, что вещи ее остались в камере хранения гостиницы – не ахти что, но

все нужное, что не позвонила Марише и та сейчас ходит по комнате, что-нибудь передвигает с места на место и ждет. Вспомнив, подумала, что все это ерунда, вещи не пропадут, а Мариша поймет и простит. Главное – почему Царев не счел нужным дожждаться Олега и Корову? В конце концов, уволить ее можно было и через три дня. В этом была какая-то неправильность, которая ее беспокоила. Почему – он – не-по-дож-дал-три-дня? Стюардесса улыбалась заученно беззаботно, на ее отглаженной мини-юбке белела длинная нитка. Все смотрели на эту нитку, а стюардесса, наверное, думала, что смотрят на ее красивые ноги. Это придавало ей уверенности, и улыбка из просто учтивой стала обаятельной. Где-то далеко внизу и далеко позади оставалась Москва. Ася посмотрела на крыло самолета, хрупкое, ненадежное. Разбиться бы... Такое уж я ничтожество, что даже три дня нельзя было из-за меня подождать. Даже до понедельника, пока открылась бы бухгалтерия...

От неожиданности Умар чуть не поехал на красный свет. Еще бы! Царев спросил у него, как здоровье казанской бабушки. «Что будет, – подумал Умар, – что будет?» Откуда было ему знать, что у Царева дрожали пальцы и что этот его вопрос был резким уходом в другую ситуацию, в мир, где нет Аси, Крупени, неприятных звонков и неприятностей без звонков...

– Здорова, – промычал Умар, ожидая подвоха и не видя в неожиданном вопросе лестной для себя близости с хозяином. Больше того, Умар подумал, что вопрос этот не к добру.

Царев же понял, что фокус с бабушкой не удался. Не возникло легкого, освобождающего от насущных забот разговора о столетней старушке, у которой среди внуков есть один профессор, среди правнуков двенадцать инженеров и один директор универмага, а среди праправнуков еще не летавший космонавт. Несостоявший-

ся разговор лишний раз подтвердил теорию: кому велено мурлыкать – пусть не чирикает. Бросок в пустоту от дрожащих пальцев. А надо просто подумать, проанализировать.

...Крупеня примчался чуть ли не в больничном облачении. В общем плохо, что информация об этой истории расходится бесконтрольно. Теперь надо будет отвечать на расспросы, давать объяснения... Надо закрыть все каналы. Официально. Да еще этот прокурор. Какой отвратительный был с ним телефонный разговор. Игра с завязанными глазами. «Ты мне не скажешь, с чем вернулась твоя сотрудница? Какие у нее факты?» Прежде всего он поставил себе единицу за то, что сразу не сообразил: эта история произошла в том районе, где живет его знакомый по санаторию в Кисловодске прокурор. Такие вещи надо соображать автоматически, а на него как затмение нашло. И получилось, что он не знает, где у него в хозяйстве что лежит. Прокурор – зануда. Сидели в санатории за одним столом. Тип из тех, о которых говорят: его испугаться лучше, чем недооценить. Потом тот ему слал открытки. С Новым годом. Днем печати. Глянцевые открытки и глянцевые слова. И звонок был глянцевый, будто по дружбе. Но он помнит его леденящий взгляд из-под прикрытых век. «А суп-то пересоленный... У тебя тоже? Или это мне оказано почтение?» Царев тогда тихо и молча свирепел от этого постоянно «ты», «ты» и от бесконечно передаваемых через его голову замен будто бы пересоленных супов, пересушенных яичниц, жестких бифштексов. Надо же именно в его районе им опростоволоситься.

Выйдут на него Олег и Ченчикова? Должны бы... А если нет? В принципе хорошо бы им позвонить и сказать. Или позвонить в район, попросить, чтоб придержали прокурорских коней. А ведь только-только перед этим прошла летучка. Он никогда раньше не писал своих выступлений, а это записал. О сверхзадаче, об уме-

нии пользоваться хорошим обзором, о недосыгаемости газетчика для кошек, камней, выстрелов (птицы!). Подчеркнул, что это не исключает – «носом, носом» в факт, в истину, а как раз наоборот... О том, что будет искать талантливых людей по всей стране. Пусть ему подсказывают. Привел в пример Асю. Вот, мол, взяли с периферии. Но ведь он говорил и о другом. О том, что не допустит непрофессионализма ни в письме, ни в поведении. Безупречность – вот что важно. Договорился до того, что напишет об этом статью в «Журналист». Это не всем понравится, пусть. Но пусть знают его кредо. С ним не спорили, Корова даже подмигнула ему с места, мол, все правильно. Царев еще раз перебрал все по фразам. Ошибки в теории не было. Периферийная Ася подставила ему ножку. И он поступил последовательно. Никогда, никому, никаким друзьям, никаким знакомым не позволит он использовать себя как должностное лицо. И он не мог позволить это Асе на том основании, что они были на новоселье у Мариши, что она его хорошая знакомая, что она только что приехала. Не мог позволить подставлять ножку, даже ненароком, невольно, по ошибке. Так же, как не позволил Олегу, запятнанному «телегой», выступать с материалом. Не мог позволить, и баста! Все правильно! Вот и пальцы не дрожат, значит, он прав, только последовательность, только принципиальность, только безупречность. Иначе будет, как с Умаром, чуть не поехавшим на красный свет. Умар до сих пор не пришел в себя от потрясения, собрал лоб в морщины, а все оттого, что он, Царев, отступил от правил. И если в такой малости, как отношения с шофером, он не может себе этого позволить, что уж говорить обо всем остальном? Он прав, прав, прав! С Асей надо было расстаться, пусть это и жестоко. Да! Он не будет звонить Ченчиковой и Олегу. Интересно проверить, выйдут ли они на прокурора сами. А он позвонит в райком. Теперь пальцы уже не дрожали.

«Я думаю о чем угодно и не думаю о главном. Я боюсь о нем думать». Ася вжалась в кресло и зажмурила глаза. Любава... Все то время, что они ехали в такси к Марише, как потом она стояла с виноватыми руками перед Вовочкой, как отдавала письма Кале, пила виски у Феди, следила за ниткой на юбке стюардессы, она, как к глубокой, кроващей ране, боялась притронуться к тому, что называлось Любавой.

...Полощутся на ветру до синевы отстиранные простыни – для нее. стакан молока в больших белых холеных руках. Звонящий от возможного ужаса вопрос матери: «Не сделает она больше ничего такого?» Что она ей ответила? Бывает, мол, один раз... Почему один? С чего она взяла, что один? Откуда она придумала такое? Ее все время раздражала Любава. Раздражало ее пышущее, не подорванное ни работой, ни раздумьями здоровье. Раздражала мягкая поскрипывающая постель. Ася подумала тогда, каково ей было в жалком общежитском уюте! Она, Любава, должна была вернуться именно в эту постель... Ах, вот в чем дело... Должна и вернулась... Вот что. Для нее, оказывается, все было предопределено. Какое страшное слово – предопределено. Безысходное, как выжженное поле. Как спиленное дерево. Безысходное, потому что только один исход – это, в сущности, все равно безысходность. Потому что нет выбора, нет радости сомнений и колебаний. Радости вариантов. Страха вариантов. Возможности перемен. Вот и у нее самой, оказывается, была предопределенность. Она уехала, и она возвращается. Ах, как это ужасно... Возвращаться ни с чем... Когда все для тебя предопределено.

Бедная откормленная холеная девочка! С тобой бы посидеть денек, а потом увезти тебя подальше... Как же она, Ася, не поняла этого? Как же она могла подумать, что раскинутые на битом стекле руки – просто жалкое подражание чему-то, потому что ничего своего она

придумать не могла... Даже не подражание, а крик о собственной не получающейся жизни и даже не получившейся смерти! Холеная девчонка сама себя распяла и ухитрилась посмотреть: что из этого получится? И была вышвырнута на исходные рубежи: в укачивающую постель, в белое молоко. И она, Ася, тоже была с теми, кто ее швырнул. А должна была сделать что-то другое... Что? Сознание того, что, что бы она теперь ни писала, в какие бы командировки ни ездила, ничто не восполнит этого однажды не выполненного долга, наполняло ее горем, стыдом и отчаянием. До скелетности обнажилось все написанное до этого. Герои и героини, мальчики и девочки, старики и старухи проходили вереницей, прозрачные, безмолвные, как призраки. И только сейчас в беспощадном горестном свете раскаяния Ася поняла, почему они так бесплотны.

В них тоже все было predetermined. Ею самую... Она подчиняла их теме, заданию, случаю, и они покорно, как в гипнотическом сне, говорили, действовали так, как хотела этого она, великий гипнотизер и жалкий обманщик. Вся ее работа напоминала ей сейчас добротнo сколоченные дома, в которые войти можно, а выйти – нельзя. Потому что кому ты нужен, вышедший из этого дома, уже не человек – призрак, фантом...

В высоком самолетном небе Ася с болью, с кровью, без анестезии отрезала всю свою прошлую работу и, прикрывая руками кровоточащие места, поняла, что теперь надо начинать все сначала. И вопреки всем законам поверила, что на больном в таких случаях, как у нее, вырастет лучшее.

– Я поступила бы так же, – сказала Корова. – Или тогда надо делать резекцию мозга, лоботомию. Послевоенные дети разучились делать усилия. Знаешь почему?

– Тут тысяча и одна причина, – ответил Олег.

– Во, во! – обрадовалась Корова. – Тысяча! Скажи еще

– миллион. Одна причина. Единственная!

– Тогда ты самая умная на земле, – засмеялся Олег. – Такое знаешь!

– Умная, – согласилась Корова. – Умная. Так вот слушай. Они потому не умеют делать усилий, что у них связаны руки. Мы им долдоним, как много им надо. И дано, дано, кто спорит? Все дороги открыты. Ну, открыты, ну и что? Это ведь только возможность, которую еще надо осуществить!

– Никакое это не открытие, – сказал Олег.

– Где, – спросила Корова, – где это написано? Где написано, что мы им связали руки? Нам не нравится, что наши дети у нас на шее сидят, но мы же их не понимаем. Для них холодильник, цветной телевизор и даже машина – то же, что для моей юности, например, белые резиновые «спортсменки» с голубой окантовкой. Просто это два этажа одного и того же дома... Вопрос в другом: почему я в своих «спортсменках» лезла вверх как одержимая, а Любава легла в гроб на своих «платформах». Я, грешница, тоже иногда спрашиваю: чего им нужно, этим щенкам? Это во мне живет и кричит моя когда-тошная голубая каемочка на тапочках. Моя разутая, раздетая молодость. Я бы и своего ребенка, будь он у меня, усадила бы у холодильника и сказала: «Питайся калориями». И рассказывала бы жалобные истории про кукурузные лепешки сорок второго года. Чтоб дитя сознавало. Чтоб у него на всю жизнь оставалось умиление перед холодильником.

– Почему умиление? – сказал Олег. – Какое там, к черту, умиление?

– Умилением мы хотим заменить волю, – упорствовала Корова. – И возникает взрывчатая смесь. Слабый, связанный человек и его подкормленная кинофильмами и телевидением фантазия. Учится человек плохо, потому что хорошо учиться – усилие. Он не может никуда уехать, вырваться, потому что рвать с прошлым –

это тоже усилие. А чего-то хочется, потому что резекция воли сделана, а резекция фантазии – нет. Потом, к тридцати, воля и мозг сговорятся, придут к согласию. И вырастет толстая равнодушная баба или толстый равнодушный мужик. Любаву осенило как-то. Она к этому идиоту потянулась, потому что увидела в нем лошадиную силу. Ей зацепиться хотелось за что-то устойчивое в этом зыбком и однообразном «На! на! на! Ешь, ешь, ешь!». А этот кретин решил, что его женить на себе хотят. Она ему в бубен бьет, а он ей – плохие стихи. И все-таки он единственный в этой деревне, который чего-то добивается. И он ей именно этим и интересен. Пить хочется – из лужи попьешь. Но надо же! Даже такого ей оказалось завоевать не под силу. И вообще все не под силу. А с другой стороны – все вроде бы есть.

Приехала Ася. Покалякала, уехала. Уговаривала жить, восхищалась селом, природой, соленьями, вареньями, мамой, которую надо беречь. Правильно? Правильно. А она, оказывается, рисовала карикатуры на односельчан, и ни один человек этого не знал, она была ядовитая, но попробуй их укуси. В броне ведь! Ну вот и выкристаллизовалось – иначе не могу, а так не хочу. Я бы сделала так же. Я даже считаю, по отношению к себе это честный поступок. Все остальное было бы уже перерождением.

– Но умереть так – тоже ведь нужна воля...

– На один раз наскрести можно! Это билет в один конец.

– Значит, ты обвиняешь Асю? Объективно?

– Брось. Это я постфактум такая умная. Хорошо анализировать законченную историю. А у Аси было начало. Мне сказали, районный прокурор поднял крик. Надо будет к нему зайти, чтоб успокоился.

– Если Аська ориентировала Любаву на праведную жизнь односельчан, это ошибка. Я тут ходил, бродил. Сытое, жадное село. Их бубном не проймешь... Сюда не

возвращаются, если хоть чуть повезет... Аська должна была это понять...

– Приедем, запремся где-нибудь и раскроем все карты. Я лично писать об этом не хочу, но, может быть, втроем родим что-то эпохальное? В конце концов, мы не знаем самого главного: о чем Ася с ней говорила?

– Представляю себе, как она психует. Давай дадим ей телеграмму. Тем более если нам еще заходить к прокурору.

– Ну вот еще! Сентиментальность какая! Не умрет. Пусть понервничает. Надеюсь, наш любезный Вовочка не будет кусаться до нашего приезда.

– Ты его знаешь лучше...

– Ничто, старик, так не меняет человека, как власть. Я все собиралась ему об этом сказать, да случая не было.

На пороге учительской тихо выросла Катя.

– Там все разошлись, – сказала она, оглядываясь и стараясь, видимо, связать в одно: бубен, брезентовые рукавицы и кочергу. – И родители легли. Вы как, придете ночевать?

И тут вдруг Корова звякнула бубном и сказала Кате:

– Слушай, ты можешь до завтрашнего утра собрать свои вещички? Много у тебя барахла?

Катя побледнела, а Олег хотел остановить Корову, но вдруг понял, что это бесполезно.

– Пойду подброшу дровишек, – сказал он, берясь за кочергу. Катя видела, что он не взял рукавиц, и хотела об этом сказать, но не сказала – боялась, что нарушит молчание и окажется, что ей никто ничего не говорил. А у нее ведь что-то спросили?

– Ну, так много у тебя барахла?

– Откуда? – прошептала Катя. – Откуда?

– Ну, так вот. Иди, собирайся, поедешь с нами. Най тебе новое место.

– А как же тут?

– А тебе какое дело?! – заорала Корова. – Пусть у на-

чальства болит голова. Тебе пора ехать отсюда. Засиделась...

– Ехать... – повторила Катя. – А куда?

– Не знаю! – закричала Корова. – Помыкаешься немного, ну, поспишь где-то, на ничейной кровати, зато новых людей увидишь... Может, замуж выйдешь...

– Да ну вас! – засмущалась Катя, а сама уже бежала по улице и уже собиралась, и сердце прыгало в горле, и выяснилось, что всего-то у нее – один чемодан да сумка. Правда, не влезли журналы мод, и Катя вынесла их в комнату почты и разложила там на столе.

– Ты чего срываешь кадры? – спросил у Коровы Олег, вернувшись из коридора. – Разве так можно?

– Нужно, – зашумела Корова, – сидят все на месте, задницу поднять не могут. Ух, эта наша лень и неподвижность. За околицу боимся выйти...

– Ну, ну, – сказал Олег. – А что за околицей?

– Другое село! – заорала Корова. – Новый поворот. Движение! – И она запела громко и фальшиво: «В движение мельник жизнь ведет, в движение...»

Странно прозвучала эта шубертовская песня среди села со свежезасыпанной могилой. Слава Богу, была ночь, и все спали. А кто не спал и услышал бы, все равно бы не поверил, решил, что ему показалось... С поминок, спяну...

Этот понедельник начался для Мариши еще в субботу. В конце концов, Ася вовсе не обязана была вернуться к ней. Она могла и в гостиницу поехать, и к родичам в Мытищи, куда угодно. Наконец, она могла быть у Таси – и это скорей всего. Но звонить Тасе не поднималась рука. Она должна сказать Тасе: «Я его люблю, твоего Олега. Что ты хочешь со мной за это сделать?» Ну, была бы Тася стерва. Обычно, когда рассказывают такие истории, обязательно кто-то – стерва. Какие это благополучные истории. Как в букваре. А может, так и есть на

самом деле? И если возникает треугольник будто бы хороших людей, то все равно кто-то стерва? Кто же? Тася в своих чистеньких, застиранных, заштопанных аккуратной мелкой решеточкой кофточках? Вспомнилось. Однажды ввалились к ним ночью после спектакля только что открывшегося камерного оперного театра. Тася накрыла стол, и на нем было все – это в двенадцать-то ночи! Вы умные, а я вас кормлю, говорила она всем своим видом, и в этом не было унижения.

Она никогда не стеснялась говорить: «Я этого не читала». Не еще не читала. Или – не помню, а просто – не читала. Я этого не знаю. Не ах, да, да, что-то помнится, а просто – не знаю... Нет, позвонить и спросить, не у нее ли Ася, Мариша не могла. Она успокоилась, только когда позвонила Вовочке.

– Привет!

– Ты не знаешь, что с Асей?

– Я ее съел!

– Ну и как, вкусно?

– Марусенька, все в порядке. Она все поняла правильно, мы расстались интеллигентно.

– Она так волновалась!

– Я ее понимаю. Не повезло!

– Вот приедут оттуда, и ты убедишься...

– Я ее ни в чем не обвиняю... Это могло быть с каждым... Просто не повезло...

– Ты умница..

– И ты тоже... Пока? Или ты хочешь меня еще о чем-то спросить?

– Да вот я ее жду, а она не идет...

– Не волнуйся. Придет...

Ася не пришла. Ни в субботу, ни в воскресенье. Мариша позвонила Светке. Светка перевозила Ключеву, в новом доме пустили лифт. Уехали с Игорем с утра. Светка на десять лет моложе Таси. Тридцать девятый и сорок девятый. Они симпатизируют друг другу. Как-то

Светка сказала: «Вся твоя орава не стоит одной Таси. И Олег твой ее не стоит. Ненавижу умников от сохи... Он думает, если его дед землю пахал, так он знает суть...» – «Ничего он так не думает, – засмеялась Мариша. – Хочешь, давай его спросим?» – «Я никогда не задаю вопросов, на которые заведомо отвечают ложью».

Они с Сеней очень беспокоились, какая Светка вырастет. Вернее, не так; они беспокоились, что Светка вырастет скверной. «К этому все предпосылки, – говорил Сеня. – Поздние роды. Любимый общий ребенок. Жизнь без карточек. И бессилие Полины сохранить справедливость для всех детей – перед слепой, бездумной любовью отца к маленькой». Мариша долго думала, что Светку так назвал отец в честь покойной жены, Маришиной матери. Ей даже было обидно за Полину, в конце концов, сколько прекрасных имен есть на свете. Потом узнала, что имя дочери давала сама Полина. Ну Бог с ним, с именем. Это ведь такая случайность – как тебя назовут. Если, конечно, не Анжеликой, Эрой, Эпой или Зюзей. Да и это, в сущности, не трагедия – хоть горшком назови, только в печь не сажай. Светка росла черненькой, и все умилялись: черненькая, а Светлана.

Кажется, в три года Светка подняла брови к высоко подстриженному Полиной кривому чубчику и спросила: «Ну и что из этого? Нашли проблему». Папино выражение, не сама придумала, но сразила наповал какую-то Полинину приятельницу: «Шо це за дытына!» «Дытына» росла и то подтверждала, то опровергала их с Сеней тревоги. Она была и плохой, и хорошей одновременно. Но ведь они с Сеней понимали – это каждый человек такой. Даже дураки бывают и добрыми и злыми, а у умных возможностей больше... И все-таки... Что-то ведь доминирует. В Светке доминировала Светка. Если она была злой, то злой, как могла быть только она... Если доброй – то же самое. «Личностного в ней на десяти-рых», – говорил Сеня. И они удивлялись: откуда? Они

поняли главное: она идет к истине не через раздумья, а через поступки. Пословица: семь раз отмерь – это не про нее! Она семь раз режет. Она единственный человек, которого знает Мариша, действительно не боящийся общественного мнения, вернее, общественного осуждения. «Потому что еще не попадалась как следует на зуб людям», – говорил Сеня. Светка смотрит глазищами – когда не понимает. Именно это ее роднит с Тасей. Не – ах, что-то я не совсем понимаю, а просто – не понимаю. Объяснить? Не надо. Неинтересно. Она чересчур категорична для женщины. Однажды Мариша подсунула ей Моруа: женщин-амазонок не любят. «Моруа – это какой век?» – спросила Светка. «Господи, да он наш современник, он недавно умер». – «Выдумываешь!» – отрезала Светка.

Вечером в воскресенье Марише принесли телеграмму: «Приезжаем вместе. Папа, Полина». Она позвонила Светке, оказалось, они еще не вернулись. В голосе Игоревой мамы уже беспокойство, но она же утешает Маришу: «Вы не волнуйтесь. Это ведь далеко, у самой кольцевой, да и пока сгрузишься... Как хорошо, что ваши родители приезжают вместе. Знаете, Маришенька, в этом возрасте так трудно бывает расставаться...»

А Ася все не звонит. Видно, все у нее нормально, вот она и забыла, что кто-то волнуется. А может, где-то спряталась и готовит свой материал... «Расстались интеллигентно», – сказал Вовочка. Почему *расстались*? Вероятно, Ася только что вышла из его кабинета... Мариша кинулась к телефону, длинные, длинные гудки – чего ради Вовочка будет сидеть в воскресенье вечером дома? Позвонила Тасе.

– Здравствуй, Мариша! – Голос радостный, доверчивый. «Я стерва, я! – решила Мариша. – Она мне рада». Тася даже не знала про то, что Ася вернулась из командировки. Даже о командировке Олега она ничего толком не знала. – Он так торопился, – говорила Тася. –

Пришел поздно, в две минуты собрался... Что? Что? Мариша, ты меня слышишь?

Мариша осторожно положила трубку на рычаг. Зачем она позвонила? Чтоб узнать, что Олег пришел поздно? Разве она этого не знала, разве не закутывал он ей ноги платком, чтоб она не простыла? А Тасе досталось собрать его в командировку. «Вы умные, а я вас кормлю». Было грустно, и был уже понедельник, первый день беспокойной недели. А в следующее воскресенье – 24 февраля. Приедет папа с Полиной. «Господи, прости меня, – подумала Мариша. – Но как они некстати приезжают!»

С той минуты, как Корова пропела про то, что жизнь идет в движении, в нее вселился дьявол. В райцентр она ехала с бесовской улыбкой, постукивая по бубну короткими толстыми пальцами. Там она прежде всего занялась устройством Кати. Работа нашлась ей сразу, но всех смущала внезапность ее появления здесь. В райисполкоме Корова привела в совершенное расстройство инспектора. Логика Коровы – молодому человеку необходимо разнообразие, надо больше и видеть, и слышать, передвигаться, менять сослуживцев – казалась ему не только непонятной, но и крамольной. Но слова исходили от корреспондента из Москвы, а это наводило на мысль, что, может, есть какое-то новое указание, которое до них еще не дошло. Признаться в этом Корове он не мог, позвонить кое-куда и спросить не решался. И поэтому прицепился к фразе Коровы: «Девке и замуж давно пора».

– Если каждый вместо дела будет думать о замужестве!.. – сказал инспектор, убежденный, что уж к чему, к чему, а к этой его правильной мысли не придерешься. Но он не знал, что в Корову вселился бес. И был потрясен циничным заявлением, что еще ни одного ребенка от переговоров по телефону не родилось. «А как он сам?

Имеет жену или пользуется скоросшивателем?» Олегу пришлось его потом успокаивать, объяснять, что никто его не хотел обидеть, просто Катя в самом деле на грани оцепенения, и ей надо сменить обстановку.

Инспектор вздохнул и сказал, что он, конечно, это понимает, его дочери тоже двадцать семь, и она тоже без мужа, злая стала, сыпь по ней пошла. Но где его возьмешь, подходящего человека, если дочь – архитектор с высшим образованием, училась в Москве и ей тут все не пара. А куда ее отпустишь? Она к самостоятельной жизни не приучена, ей мать – сказать стыдно – до сих пор голову моет.

– А в Москве кто ей голову мыл? – спросил Олег.

– Так вот же! – ответил инспектор, и Олегу пришлось самому додумываться, то ли в Москве голова совсем не мылась, то ли мать туда ездила. Но Катю он устроил и даже нашел ей угол у одной веселой бабки, которая варила самогон «на экспорт», то есть в Ленинград, для одного очень народного артиста, который от магазинной водки болел и впадал в меланхолию, а «экспортный» бабкин самогон пил без закуски и чувствовал себя молодым и сильным. Бабку не трогали ввиду деликатности ее миссии, тем более что она делала строго определенное количество – пять литров в месяц – и посторонним людям ни капли не продавала. Катю она приняла радостно, ей почему-то особенно понравилось, что та телефонистка.

К прокурору Корова пошла одна, а Олег пошел в райком партии. Разговор у него получился короткий и спокойный, но Корову ему пришлось ждать почти час. Она вышла красная. Олег спросил, жив ли прокурор. Корова фыркнула.

– Во всяком случае, он теперь знает, где коренится зло, – гордо сказала она. – Оно коренится во мне.

– Так и сказал?

– А как же! Он же честный, как эта водонапорная

башня. И, конечно, говорит все, что думает...

– Будет писать в Москву?

– Нет, – ответила Корова. – Нет! Я ему отрезала руки.

Такая она и ходила, воинственная и энергичная, и потряхивала волосами. На прощание зашли к Кате, та растерялась, обрадовалась и сказала, что уже встретила здесь актрису кукольного театра, которая когда-то к ним приезжала. Очень культурная женщина, сообщила Катя. Что здесь навалом лежит польский женьшеневый крем, а даже в областном центре его днем с огнем не сыщешь... Потом она увела Корову в сторону и прошептала ей, что актриса сказала, будто перед кремом лицо хорошо смазать мочой, тогда никаких пятен и морщин никогда не будет, до самой смерти. Корова постучала коротким пальцем по Катиному лбу и ничего не ответила. Та растерялась и покраснела. Ей было стыдно, и она не знала, что ей теперь делать. Вспомнила морщинистое лицо кукольной актрисы и чуть не заплакала.

Чай пили молча, и только Корова улыбалась чему-то своему, хитро и насмешливо.

Они не разбились. Они сели. Только совсем в другом городе. Аэропорт тускло светился сквозь пургу, и если принято говорить, что огоньки бывают гостеприимными, то это не про такие огоньки и не про этот аэропорт. Здесь в эту ночь сели почти все самолеты, летевшие с востока на запад и с запада на восток. Старенькое зданьице трещало от ветра и тесноты, не хватало не то что кресел – элементарных сантиметров холодного цементного пола, на который можно было бы поставить чемодан и потом – пусть он импортный, пусть на молниях, пусть дорогой – сесть на него. Потому что нет ничего лучше для смертельно уставшего человека, чем возможность сидеть хотя бы на собственном чемодане. У Аси же и чемодана не было. Сумка через плечо с насмешливыми аэрофлотскими символами, и все. Она

толкалась среди отупевшей сонной толпы, и ей казалось, что никогда в жизни она не была в Москве, никогда в жизни не попадет домой и этот холодный, старый развалюха порт и есть ее земля обетованная. И она была рада ей. С той минуты, как она высоко в небе приговорила себя к смертной казни и привела приговор в исполнение, она жила в другом измерении. Поэтому нелепый, жалкий порт был нелепым и жалким для всех, кроме нее. Ей он годился. Подходил по параметрам. В ней тоже все трещало, и она тоже должна была как-то разместить в себе то, что требовалось по-новому уложить. Удастся ли ей уломать прежнее ее начальство – при условии, что ее возьмут на прежнее место – дать ей командировку в Сальск, к Зое с ее пудреницами, с ее признанием: я жила с мужчиной, а потом снова туда, на Север, к матери Любавы? К той странной девушке Кате, что живет за занавеской? Ася представила себе ее прямо некрасивое лицо и то, как она стучит по рычагу телефона тремя пальцами. Тремя. Четыре Катиних пальца на рычаге не помещаются. А может быть, черт с ней, с командировкой?! Надо будет – поедет за свой счет, она не избалована, общий вагон и третья полка вполне сгодятся. «Что я юродствую! – возмутилась Ася. – Дадут мне командировку. Не могут не дать...» И знала – могут. Одна ее поездка в Сальск – и весь командировочный фонд чуть ли не за полгода. И пришел гнев на Царева. «Сволочь! – думалось Асе. – Что я у тебя просила? Что? Командировку! Это ведь ты мог? Мог! По суду бы вернул деньги, если бы что... Но он ведь не из-за денег... Просто я – отработанный материал... Не выполненное задание... Рассыпанный набор...» Почувствовала, как на глаза навернулись слезы. А! Все равно в этой толчее и неустроенности никому до моих слез нет дела. Решат, что опаздываю на похороны или свадьбу. Нет, свадьба исключена. Похороны. Ну и пусть! Вспомнила, как Царев устраивал на Маришиной стене свой подарок

– чеканку. Всех умиляла предусмотрительность – дрель взял с собой, скажите, пожалуйста! В резиновом, для стирки, фартуке, без пиджака, рукава рубашки подтянуты до запоночного бриллиантового упора. Все умилялись! В одной плохой книжке герой о себе говорит: не будем лохматить обиду. Может, плохие книжки и пишутся вот для таких ситуаций, когда начинает в тебе расти что-то мелкое, скверное, чтоб было чем «лохматить обиду»? Какая гадость! Не позволит она себе думать о Цареве что бы то ни было. Он в отрезанной части. Навсегда. Только жаль командировки, очень жаль. Она бы теперь могла написать об этом. Кажется, она знает как... Она бродила в толпе по тесному зданию, пока не почувствовала, что может упасть в любом месте, на любой чужой чемодан или тюк. Господи, сестры!

Прямо под ногами, презрев все и вся, спала на полу молодичка в роскошном павлово-посадском платке. На нее дуло сразу из двух дверей, и Ася кинулась ее поднимать, спасая от пневмонии, радикулита и кучи всяких других болезней, которые еще по-старому продолжают связывать со сквозняком, ветром и холодом. Но молодичка только удобней устроилась, и тогда Ася стала загораживать ее чужими чемоданами.

– Двери хлопают, дует, – сказала она и посмотрела вокруг. Но никто не пошевелился, только крохотная старушка в старинной шляпе с вуалью махнула Асе рукой и показала место в кресле рядом с собой.

– Я маленькая, – сказала она. – А вы без вещей и тоже худенькая.

Им было, конечно, тесно, но зато Ася спрятала старушку от сквозняка. Подумав, она снова потолкала молодичку.

– Бесплезно, – сказала старушка, – она тут третью ночь. Пусть хоть поспит.

Ася достала блокнот.

Тоска по астеническому типу. По обнаженной духовности. Когда откровенная боль – быстрее приходит сочувствие, сопереживание. Гостиничная Зоя отлично одета. Любава откровенно здорова. Дух болен, но этого не видно. (Меня жалеть легче – потертые обшлага? А Калю?) Как просто, когда все на виду. А если не видно, тогда одно объяснение – с жиру бесятся. А ведь не с жиру. Ровесница Любавы, москвичка. Тоже все есть плюс столица. Раздражительна, плаксива, зла. К ней приглашают сексолога. Прогресс, широта взглядов! А она, как и та, просто одинока. Дефицит участия, дружбы, любви. Страдание в момент формирования души естественно. Его не надо лечить. Его надо понимать и сопереживать. Умеем ли мы сопереживать? Сочувствие – инстинктивно, сопереживание – разумно. Зоя сформировалась без сопереживателей. Поэтому так резка. «Вы» и «мы». Она, так сказать, «обошлась без людей». Любава не обошлась. Искала. Даже в жалком училищке. (Я же пошла к Феде!) Слепота родительской любви. Обуть, одеть... На московском уровне – вызвать сексолога. А надо иногда просто вместе поплакать. Мать Любавы знает, как плачут от голода. От холода. Она знает, что такое похоронка. После войны она плакала от усталости (ей было 15, а она работала, как взрослая). Дочери плакать, по ее разумению, не от чего. Она и тыкалась носом в жизнь Любавы, как слепой котенок. Искала, где подоткнуть, что прикрыть. Ей бы такую жизнь! Хоть бы на осьмушку такую! Чего ей надо, рыбоньке? Какого рожна? Я была каплей, переполнившей чашу непонимания.

Ася поежилась – от двери дуло.

Что такое проблема отцов и детей, проблема поколений? Это ведь жизнь и смерть, уход и приход? До сих пор у «старых» и «молодых» жизненный опыт повторялся: всем доставались и война, и голод, и лишения. Сейчас другая полоса. И кто-то первый крикнул: они не такие, потому что не знали горя. Так неужели же вое-

вать, чтобы знали фунт лиха?

Представилась Ленка в огромном платке, крест-накрест на груди, возле печки-буржуйки. А она, Ася, безжалостно, с хрустом рвет и бросает в печное нутро разорванного пополам Гоголя. Почему именно Гоголя? Ведь его она должна была оставить. Начать следовало с других... «Я, кажется, напредставляю себе», – подумалось Асе.

Меня за такую мысль, выскажи я ее вслух, – писала она, – распяли бы без суда и следствия, и правильно сделали бы! Но как втолковать, что воспитание конкретно? Что многое из старого опыта уже не годится? Что при хорошей жизни нашего ребенка требуются иные слова воздействия, чем при плохой. Что, когда всем трудно, не надо объяснять, что такое сострадание. Оно возникает естественно. А когда всем вполне спокойно и не надо делиться куском хлеба, то разве это значит, что вообще не надо делиться? Надо человека в хорошей жизни готовить к несчастью? Отвратительная крамола! Договорилась до осуждения оптимизма! Но я зацеплюсь за это. Его стоит слегка пошатать и поразламывать, оптимизм нашей педагогики, в котором полно радости от «уровня жизни» и так мало радости от «уровня души». Уровень души... Это моя тема. И если я ее не напишу, грош мне цена... Грош цена... Грош цена... Я напишу!!! Ради моей Ленки, которая в свои двенадцать лет вся в иронии, как в броне. В иронии ко всему: к папе, который «приземленный технар», и маме, которая «возвышенный гуманитарий». На ее взгляд, мы ничего не понимаем в этой жизни. То, что мы знаем, она расценивает как незнание. А это значит, что у моей девочки, у моего несмышлениша будет две дороги: Люба-вы или Кати... Или Кали? Что-то будет, что-то будет...

Кто знает? Разве в наших силах преодолеть непреодолимое? Вот хотя бы эту пургу... А это такая малость – пурга в дороге... О ней и не вспомнишь потом. С

человеком случается что угодно, так уж он устроен. Что угодно, где угодно и без предупреждения. Я поводырь? Но ведь молодежь не слепая – зрячая. Тогда кто мы? Компас? Пошлость... Сигнал? Тоненькие позывные к состраданию и пониманию... Дети идут, живут, растут, а мы подаем сигналы, пока живы? Это им поможет? Не знаю...

Ася закрыла блокнот и огляделась. Добрая старушка сидела рядом не одна. Рядом с ней на ящике из-под пива сидел старик с синими-синими глазами. «Сколько им?» – подумала Ася. И не смогла понять, потому что в той старости, что была после шестидесяти, еще не ориентировалась. Могло им быть по семьдесят, могло и по девяносто. У старушки были крохотные ботинки, из них торчали белые шерстяные носки, лицо у старика было будто расчерчено тонким красным пером, словно для демонстрации всей системы капиллярных сосудов. «В таком возрасте отправляться в дорогу, – подумала Ася. – Он же гипертоник».

– Вы куда не прилетели? – спросила она. Вопрос был, конечно, неправильный, старушка заморгала, стараясь понять, а старик посмотрел на Асю сердито. – Вы куда летите? – поправилась Ася.

– А-а, – обрадовалась старушка. – Нам далеко. Мы – в Донбасс... Нас пригласили... Мой муж – ветеран шахтного строительства... Он много выстроил шахт... Одна из них – выдающаяся... Ей будут вручать орден. И нас пригласили...

Ветеран фыркнул. Ему явно не нравилась эта развернутая информации. Он даже отвернулся.

– Мы бы ни за что не решились на такую поездку, – продолжала старушка, игнорируя недовольство мужа, – но мы все равно должны были лететь в Москву к сыну. У него скоро шестидесятилетие. И по дороге решились заехать...

„Господи, сыну уже шестьдесят“, – подумала Ася.

– Да, – поняла старушка. – Мне восемьдесят, а мужу – восемьдесят два.

Ветеран рассвирепел. Ася видела, как помрачнело его лицо и как он посмотрел на жену своими синими глазами с плавающими, как у сиамской кошки, зрачками.

«Злой он, этот дед», – подумала Ася и решила спасти старушку. Надо сделать вид, что ей, Асе, все это очень интересно.

– Никогда не дашь вам ваших лет, – сказала она. Пусть ложь, но ведь из всех возможных самая святая и безобидная. – А где эта самая знаменитая шахта?

Старушка назвала. И на Асю пахнуло жарким Маришиным новосельем, вспомнились закатанные до локтей мягкие руки Полины. Как та подкладывает ей в тарелку горяченького и шепчет:

– Та ты йишь... Ты на них не дывысь... Тоби зараз сыла нужна...

– Господи! – сказала Ася. – Я же знаю это место! Там живет одна удивительная женщина, я ее очень люблю. Там целая история... Она мачеха моей подруги, которая сейчас живет в Москве. Конечно, мачеха – не то слово... Мы все ее зовем Полиной, хоть она нам в матери годится. Может быть, вы ее знаете?

И Ася – ну надо же отплатить благодарностью за подаренное кресло, надо спасти старушку от стариковского гнева – стала рассказывать сама. Как училась в университете, как привозила им Полина и пирожки, и соленые огурчики, и сало. Как собирала у девчонок стиральное, на их взгляд, бельишко и перестирывала по-своему. Как они не узнавали потом своих платьев и кофточек, как водили они Полину в Большой театр, как она вошла в фойе и заплакала. Они растерялись, а она утешала их: «Это я от радости». Ася и не заметила, что рассказывает уже не для них, а для себя. Почему-то вдруг до огромных размеров выросло значение и тех слез Полины, и

того, как они после пили в общежитии чай – Полина, Ася и Мариша – и не могли наговориться.

«Вы так всегда и живите, девочки», – говорила им Полина. «Как?» – спрашивали они.

Эти слова Полины – так и живите, – сказанные тогда после театра, понимались ими, как живите так же вышшенно, так же красиво... И Мариша сказала: «Зашлют куда-нибудь к черту на рога». А Полина сказала: «Ой, девочки, а там люди, наверное, еще лучше».

Ася вдруг почувствовала, что должна позвонить Марише. Обязательно. Что та ее ждет, ходит по комнате, что-нибудь передвигает и трещит пальцами. И пусть она попросит прощения от ее имени у Олега и Коровы. Ну, не могла она их дождаться, никак не могла. И снова захлестнула ее обида, вспомнились желтые волосы Калли, и мягкий свитер Барса, и такси, взметнувшее невытоптаный субботний снег у порога редакции, и остроносый Крупеня, с трудом потянувший к себе тяжелую дверь... Надо позвонить!

– Я пойду позвоню, – сказала она и встретила немигающий, невидящий взгляд старушки. Что это с ней? Она их заговорила? – Простите меня, ради Бога!

А старик закрыл глаза. Дремлет? Ну, конечно. Он дремлет, а она болтает.

– Я позвоню, – повторила она старушке. – Как раз этой Марише.

И встала, и перешагнула через молодичку. Куда идти, ей было известно – видела указатель. Междугородная на втором этаже.

Но с Москвой связи не было. Была, конечно, специальная, но не для всех. Сказали, что часа через два, три... Какая-то авария у них. Позвонить домой? Ася потопталась в нерешительности и раздумала. Толком ничего не скажешь, а Аркадий будет нервничать, ведь никто не знает, когда она вылетит. За окном кружило, и к окошку, где принимали обратно билеты, стояла очередь. И

возле железнодорожного расписания была толпа. Говорили, что умные еще с вечера уехали на вокзал и, наверное, уже едут или приехали, а тут остались те, кому надо быстро. Поди угадай!

Ася спустилась вниз и пошла к старичкам. Сначала она решила, что ошиблась проходом – ни старичков, ни молодички... Нет, все вроде правильно... И увидела, что молодичка сидит в том кресле, где сидели они со старушкой, что она проснулась и теперь, сидя, довольная, разглядывала стоящую, лежащую и кое-как существующую толпу. Мало же человеку надо! А старички исчезли. И пивной ящик тоже исчез. Если учесть, что ни один самолет не улетал и ни один автобус не уходил в город, старички где-то тут. Она их найдет. Вероятно, им повезло, и они нашли более удобное место. И Ася пошла их искать, но их нигде не было. Это было удивительно, здание-то было крохотное, на улице – пурга... не погуляешь... Ася подумала, что, может, таких, очень уж дряхлых могли поместить где-нибудь в служебной части на диванчике, она побывала теперь всюду и знает, что старше их тут никого нет. Когда их самолет сел, в маленькую гостиницу как раз помещали всех, кто с детьми. Там тоже было туго с местами, но, в общем, всех как-то устроили. Может, теперь дошла очередь и до стариков? Восемьдесят лет! Боже, как много! По данным ЮНЕСКО журналисты живут меньше других. Значит, ей не дожить до того момента, когда Ленка уйдет на пенсию. Ленка и пенсия. Арбуз на дереве. Синие зайцы. Квадратный мяч. И не надо доживать до этого времени. Не надо человеку видеть старость своих детей. Это не гуманно. Не надо перекрещивать во времени старость отцов и детей. Так она думала, продолжая бродить по аэропорту уже без всякой надежды найти старичков, но пытаясь найти местечко, где можно было бы хоть прислониться к чему-нибудь.

...Сидеть на пивном ящике вдвоем было неудобно.

Но зато здесь было тепло, в ресторанном тамбуре, куда их впустила уборщица. И пахло апельсинами. Они сидели спина к спине и оба сосали валидол.

...Значит, она все еще там, эта женщина. Удивительно, ее все знают. И она может явиться на это шахтное торжество, она ведь всюду званная. Старик вспомнил, как она его ударила какими-то бумажками, и тяжело задышал. Конечно, Василию повезло, женился на культурной женщине, но все равно он на всю жизнь был травмирован этой изменой. У них в роду – постоянство. Они не уходят от жен и не изменяют мужьям. И Василий такой. Правда, неизвестно, какой будет внук Женька, но, когда он у них два года жил, они старались воспитать его правильно, хотя это было так трудно. Теперь у детей слишком много воли, много прав, много денег. И скажи им, что не хватает строгости, обзовут любыми словами. Он пробовал, знает. Надо же! Эта сучка в Большом театре расплакалась. Когда законного мужа бросала, не плакала. Веселая бегала по городу, только юбка в коленях трещала. А тут, нате вам, слезы оказались близко... Старик ясно представил себе, как она сидит на праздновании в первом ряду и нагло всем улыбается. А этот ее муж, интересно, живой? А может, у нее уже третий? Или четвертый? Такие разве останавливаются...

Старушка слышала, как тяжело дышит старик. Вот ведь как все получилось!.. Кто же думал, что встреча с этой худой, измученной женщиной так обернется? Она помнит так называемую Маришу крохотной толстой девчонкой. Она тогда не удержалась, пошла посмотреть, куда и к кому ушла Полина. Муж не знал об этом, не дай Бог! Он тогда сразу все высказал Полининой матери, и точка. На этом отрезал. А она до самой эвакуации общалась с бывшей сватьей. От нее она и узнал а а дрес. И издали посмотрела – индивидуальный домик на две семьи, крашеная дверь, дворишко неказистый, и дев-

чонка бегают в трусах и панамке. И Полина в выцветшем платье моет веник в бочке с водой. Старуха тогда пожелала ей всю жизнь ходить в этом платье и всю жизнь возиться с вениками.

Значит, эта девчонка теперь выросла. Она о ней совсем забыла. В конце концов, ведь у Васеньки все сложилось очень хорошо. И в семье, и по службе. Она везет ему на шестидесятилетие японский транзистор. Покупали его для Женьки, но потом передумали. Все равно ведь все ему же останется. Родители не вечны. Странно, но, подумав о невечности сына, старушка совсем не думала о себе. Ее беспокоило сейчас, как бы они в ресторанном тамбуре не пропустили посадки на самолет, и она закричала, зашевелилась на ящике, поворачиваясь лицом к мужу.

– Ну что ты елозишь? – сказал он. – Нет от тебя покоя...

– А вдруг самолет улетит без нас? – спросила она тихо. Старик молчал. И она знала, что он не ответит. Он не будет отвечать на ее вопросы ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, потому что считает ее виноватой в том, что разговорилась с той женщиной. Она вздохнула, смирилась. В конце концов, кто-то когда-нибудь выведет их отсюда...

Олег и Корова возвращались в Москву в понедельник днем. Перед самой Москвой они поругались.

– Только идиот может появиться сегодня на работе! – шумела Корова. – Только ты! Но подумал бы хоть обо мне. Ты, порядочный, являешься, а я, прогульщица, дома сижу!

– Надо прийти, – бубнил уже целый час Олег. – Поедем прямо в редакцию, поговорим с Асей, доложимся и объясним все главному.

– Понедельник – плохой день. Явимся завтра утром, чистенькие, выпавшиеся...

- Валяй, – говорил Олег. – Ты – завтра, я – сейчас.
- Но меня вызовут по телефону! – кричала Корова.
- Перегрызи провод.

Где-то в глубине души Корова понимала, что Олег прав, но ей хотелось домой, в ванну, ей хотелось полежать на диване, разглядывая высокий лепной потолок. У нее была удивительная квартира, которой она гордилась. В ней все было не как у всех, потому что создавалась она хитрым способом. Когда-то, еще до войны, сосед уговорил ее мать отдать ему одну из двух комнат. Был он личностью ловкой и хитрой, и в результате каких-то сложных махинаций он-таки сделал, что хотел. Мать получила какие-то деньги, которых очень скоро не стало – деньги у матери никогда не держались, кроме того, пришлось наращивать стену между комнатами с их стороны, потому что сосед жил шумно, и в результате комната стала совсем маленькая и непропорционально высокая. «У меня квартира не в квадратных, а в кубических метрах», – любила говорить Корова. Друзья, приходившие к ней, почтительно замирали перед громадной двустворчатой дверью, а мраморная лестница с чугунными витыми перилами современного человека сражала наповал. И прихожая у Коровы была громадная, и туалет – четыре квадратных метра, и кухня, и все это благолепие старой барской квартиры завершалось нелепой крохотной комнаткой, будто не из того же комплекта. Но Корова именно за эту некомплектность и любила свою квартиру. И любила в нее возвращаться, потому что терпеть не могла гостиничный уют, ничейные кровати, чужие, казенные простыни и полотенца со штампами. Может понять этот вахлак Олег, что ей надо отмокнуть в воде после всех этих страстей-мордастей? Задолдонил одно: ты домой, а я в редакцию. Она даже не простилась с ним, схватила левака и укатила. Олег потоптался возле метро, почему-то ему показалось, что Корова, совершив почетный круг мимо трех вокзалов,

выйдет из машины и скажет: «Черт с тобой, поехали!» Но она не вернулась, и он поехал в редакцию один. Уже в лифте он почувствовал знакомое холодящее волнение, какое бывало у него всегда, если он хоть день не бывал на работе. Первый же человек, встреченный в коридоре, мог принести в клюве какую-нибудь новость или предложение, вроде: «Слушай, а не мотнешься ли ты к лаосским партизанам? Нужен репортажик строк на полтораستا». И тогда, услышав это, он поймет, что он – на месте, дома, вернулся из командировки. Так было и в этот раз.

– Старик! – услышал он. – Бросай все и дуй в Казахстан. Там есть дед, который, извини, сунет палец в землю и скажет, какой будет урожай. Он в гробу видел этих ученых агрономов! Если б мы жили в проклятом мире чистогана, я бы на месте этого деда застраховал палец на миллион... Приверженцы чистой науки вполне могут отрубить ему руки за ведьмизм... Каково слово? Сам придумал!

Ну вот. Он вернулся. Все в порядке. Все о'кей. Спасибо тебе, антинаучный дед. В комнате Аси пыхла кофеварка и шел обычный треп. Ее не было, а спрашивать у этих дымящих девиц, где она, Олег не хотел. Взять хотя бы это распатланное чудовище Калю. Ну не может он с ней разговаривать серьезно, пусть его Бог простит. Это у нее в материале «коровы дремали, как противопожарные машины». Он смеялся, а она говорила, что это образ. А бык-производитель – это же надо такое придумать! – «отдавал зоотехникам свое семя, как выстреливал в космос». «Тоже образ?» – спросил Олег. «Представь себе!» – презрительно сказала Каля. «Нет! Ты представь!..» – заорал на нее Олег. – Быка себе представь». Она ушла, гордо шевеля лопатками. «Я криков слушать не желаю...» Она, конечно, не без способностей, если отвлечься от того, что решительно ничего не знает. И смелая, потому что, не зная, отважно писала и

сравнивала – трактор с пылесосом, колхозного пастуха с римским императором, плоскую черную школьную доску с земным шаром и даже себя почему-то с яблочным червем, которого надкусили. «Молчи, – говорили ему, – молчи. Может, это что-то рождается? В муках. Не бей, не замахивайся».

Олег был убежден: ничего не рождается. Всегонавсего переработанный поток книжной информации. В газете цена ему грош. Девушка в командировки не ездит – вот что главное. Целый день пыхтит у них кофеварка и переминаются чьи-то кости. Как и сейчас.

Кабинет Крупени был открыт. Сам он сидел за столом и что-то писал. Олег вошел без стука.

– Прибыл, – сказал он. – Об чем и докладываю.

Крупеня взметнулся со стула так, что полетели на пол исписанные листки и один упал к ногам Олега. Он поднял его, протянул Крупене, в последнюю секунду увидел на листке свою фамилию.

– Это я в «Правду». По поводу твоей истории. Их твой материал заинтересовал – я его им отдал, а это, так сказать, преамбула, чтоб они были в курсе всей каши в целом.

– Я бы мог сам, – сказал Олег, чувствуя обиду. И пожалел, что сказал, Крупеня смутился, как-то скрючился и развел руками.

– Тебя не было. И сегодня мы тебя не ждали. А хотелось не тянуть.

«Ну и скотина же я», – подумал Олег. И вдруг понял, как важно было для Крупени написать самому эту так называемую преамбулу, которая имела для него какое-то особое значение. И ведь не такой Крупеня человек, чтобы сказать что-то не так и не то...

– Ну и правильно. Только потом покажешь, ладно? – примирительно добавил он.

– Конечно, – сказал Крупеня. – Конечно, покажу. Это же твой материал. Я его только чуть сократил. Ну, как

съездились?

– Нормально, – ответил Олег. – История грустная, но Ася ни в чем не виновата. Просто стечение обстоятельств.

– Чего ж она тогда сбежала?

– Да нет. Этого в двух словах не скажешь. Закормленная, заласканная девчонка...

– Ты меня не понял. Я об Асе.

– Почему уехала? Да нечего там было больше делать. Понимаешь? Девица пила молоко, отлеживалась, капризничала...

Крупеня потер лоб и засмеялся.

– Мы с тобой, как на разных языках! Я об одном, ты о другом. Ася уехала из Москвы. Уволилась! Понимаешь? Сразу, с ходу, едва поговорив с главным. Я с ней на минуту разминулся. Она решила, что ей вроде нельзя оставаться... Подробностей я не знаю.

– Как уехала? – не понял Олег. – А почему нас не дождалась?

– Мне это как раз и не нравится, – задумчиво сказал Крупеня. – Должна была дожждаться. Тут подруга ее сегодня с утра подняла шум, позвонили в аэропорт, говорят, улетела еще в субботу. Не по-людски, а? Как скажешь?

– Ничего не понимаю, – развел руками Олег. – Что же она сказала Вовочке?

– Мне он сказал, что расстались интеллигентно. Что она не сочла возможным после такого ЧП оставаться в редакции. Вовочка, кстати, в отличие от нас с тобой, ее понимает.

– Я примитивный, – забубнил Олег занудливым голосом, как делал всегда, когда чего-то не понимал или с чем-то не соглашался. – Что было раньше – курица или яйцо? Кто первый сказал «мяу»?

– Как говорят остроумные люди, значения не играет. Дунула, понимаешь, из Москвы, как виноватая. Я в тот

день долго искал такси! Приехал, а от нее только мусорная корзина с бумажками.

– Идиотка! – сказал Олег. – Паникерша!

– Будете писать материал?

– Ты меня спрашиваешь? – зло сказал Олег. – Одна баба – слабонервная, другая привыкла после командировки откисать в ванне, а мне – разбираться? Не будет материала. Ни хрена не будет. – И Олег, махнув рукой, вышел. Возле двери стояла Каля.

– Я вас жду, – сказала она, отщелкивая пепел с тонкой сигареты. – Вас интересует Ася? Она улетела еще в субботу. Я звонила в аэропорт.

– Я знаю, – сказал Олег и пошел, потому что знал, был уверен, она больше ничего не скажет, разве что, какой был голос у дежурной по порту.

– Голос у дежурной, – прожурчала в спину ему Каля, – был страшно усталый. Оказывается, этот рейс прибыл на место только сегодня утром. Почти сутки пережидали пургу где-то в дороге. – Она шла следом за Олегом, отставив далеко в сторону руку, в которой тоненько дымилась ее сигарета. – Вы должны знать, – продолжала она, – Асю выперли. Я это знаю, потому что была тогда здесь. Сегодня говорят, что она струсила и сбежала. Наверное, было и это. Но ведь ей ничего не оставалось... Я хотела внести ясность – и все. – Резко повернувшись, Каля ушла, и в длинном темном коридоре долго поблескивала ее обтягивающая кожаная юбка и как-то в стороне дымилась сигарета.

Светлана, окончив обход участка, шла к Марише. Иду-чи мимо барака Клюевой, она установила, что окна в ее кзартире уже разбиты. Разбитое стекло – меньшее, что могут сделать мальчишки. Больше – пожар, который они обязательно устроят, когда выедут старики Лямкины. А пока старики зажигают лампочки во всех пустых квартирах, мол, мы тут еще живем!

Вызовов у нее сегодня было много, как всегда в понедельник. От усталости болят не голова, не ноги, не поясница, а почему-то плечи. Что это? Генетический подарок от какого-нибудь прапрапрадеда, работавшего грузчиком, или прапрапрабабки, носившей на коромысле воду? Или это просто хрупкие женские плечи? Она уже выпил а а нальгин, потому что не любила являться домой с кислым видом. У Мариши она попросит горячего чаю – и все пройдет. Хрупкие плечи – роскошь не по времени. Только бы никого у сестры не было, чтоб она могла почувствовать себя на минутку слабой и расслабиться.

– Ты устала? – спросила Мариша. Ей было известно, что понедельники у Светланы трудные. Но тут в еще не закрытую дверь вошел Олег с мимозой. И Мариша стала сама не своя. Взяв у него цветы, она убежала на кухню, Олег почему-то пошел за ней, а Светка собирала со скатерти ложечкой ягоды и ела их, зная, что некрасиво вот так есть прямо со скатерти, но она продолжала собирать растекающееся варенье, потому что надо же было чем-то заесть эту охапку желтой мимозы?

Когда они вошли в комнату, мимозы у них в руках уже не было, и Светлане было непонятно, оставили ли они цветы на кухне по забывчивости или чтобы думали, будто никакой мимозы и не было? Почему же тогда ты не оставила на кухне свои глаза, Мариша? Таких глаз не показывают людям, такие глаза надо прятать. Может, именно о таких глазах мечтал Боттичелли, но они ему не встретились – просто слегка разминулись во времени. Боттичелли умер бы от огорчения, узнав, что эти глаза смотрят на человека, который ничего не смыслит в красивых глазах. Он мужлан из мужланов, каких только Светка и встречала среди своих больных. А уж до флорентийца, который бы понял Маришу, ему и совсем мало дела... Большие лапы Олега грелись на пузатеньком чайнике, и он наверняка не думал сейчас ни о чьих

глазах.

– Папа и Полина приезжают двадцать четвертого, – сказала Мариша, и Светлана поняла, что, скажи она: «Мариша, я пойду искупаюсь в проруби», та бы ответила: «Плавочки в верхнем ящике, синенькие, в целлофановом пакетики».

– Двадцать четвертое, – задумчиво промолвил Олег, – воскресенье.

– Что вы говорите! – восхитилась Светлана. – Это же надо!

«Вылетай немедленно. Ченчикова». Сдав эту телеграмму и получив квитанцию, Корова почувствовала облегчение. Вчера она сидела в ванне, а телефон в комнате трезвонил как сумасшедший. Потом она сушила волосы над газом, жарила картошку, стригла ногти, делала белковую маску, а он все звонил. Она знала, с этих начальников хватит – позвонят, позвонят и попросту пришлют за ней и машину, и внутренне готовилась к грандиозному скандалу. Но машину не прислали, и звонки в конце концов прекратились. Потом она уже ждала их, а телефон молчал. «Ну вот. Обошлись», – сказала она громко. И было непонятно, чего в этих словах больше – удовлетворения или разочарования. Вечером она не выдержала и позвонила по Асиному телефону сама, но никто не ответил. Не ответил и телефон Олега. И Мариша тоже. «Где они все? – возмутилась Корова. – Ну и черт с ними!» В конце концов, такой освобожденный от всего вечер можно было рассматривать как подарок судьбы и порыться в бумагах. Завтра они соберутся втроем обсуждать всю эту историю, Ася и Олег придут ни с чем, а у нее будут заметки, мысли, выводы. Пусть учатся, пока она жива. Она выдвинула ящики стола, встряхнула все на пол и с наслаждением уселась прямо на кучу блокнотов, тетрадей и просто писанных и печатных страниц.

– Здравствуй, бесценный хлам! – сказала она и до полночи просидела на полу в своей нелепой, похожей на квадратный стакан комнате.

А утром они ждали Вовочку. Она и Олег. Его все не было, заходил Крупеня и вдруг изрек безусловную истину: «Не понимаю. Если ты прав, зачем бежать?» И тогда она спустилась вниз, в почтовое отделение, и дала Асе телеграмму. Но, уже получив квитанцию, подумала: надо было подписаться иначе. Анна, Корова, пусть даже Анжелика. Что это ее повело на официализацию? Просто подумалось, чем строже будет текст, тем скорей Ася приедет. Но еще ведь быстрее – телефон? Нет, телефон может создать видимость, кажимость общения, а на самом деле не будет ничего и еще пуще все запутается. Ася обязана вернуться. И тогда они поговорят с ней людски.

Вовочка пришел в черном костюме. Ткань поблескивала слюдинкой, модная такая, холодная ткань для визитов в большой свет.

– А я вас ждал сегодня к вечеру, – сказал он.

– Где Ася? – спросила Корова. Олег посмотрел на нее недоуменно. Только женщины способны задавать вопросы, на которые заранее знают ответ.

Вовочка изобразил на своем лице крупноплановое удивление.

– Я полагаю, что взяла расчет и уехала.

И тут Корова опять повела себя нелогично, поженски. Она закричала:

– Я не привыкла, чтобы меня считали идиоткой. Зачем я туда ездила? По-твоему, я давно не видела похорон?

– Аня, – сказал Вовочка, сморщившись. – Я тебя умоляю.

И Олег понял, что разговор пошел не туда.

– Ася ни при чем, – вернулся он к сути дела.

– Я знаю, – сказал Вовочка.

– Но приказ ты отдал в субботу, когда еще ничего не знал?! – снова закричала Корова. – Можешь объяснить почему?

– Нет, – ответил Вовочка. И нажал кнопку. И отдал указание возникшей девице приглашать членов редколлегии. Ни Олег, ни Корова ими не являлись. И сие значило: их выставляют за дверь.

Но ему и этого показалось мало.

– Все, – сказал он, как простучал по телетайпу. – Ася нам не подошла. Никак себя не проявила. ЧП не по ее вине, но с ее пусть косвенным, но причастием. Два мина без единого плюса. Арифметика! Конечно, по-человечески жаль, но...

– А по-какому тебе не жаль? – спросила Корова.

В кабинете уже рассаживались люди, пустой это номер – задавать такие вопросы в такой обстановке.

– Если очень интересно, потом, – сказал главный, улыбаясь слюдяной улыбкой. – Честное слово, много шуму из ничего.

– Что? Что? – интересовались вокруг.

– Не стоит разговоров, – ответил Вовочка. – Так что все, товарищи. – И он выразительно на них посмотрел.

В дверях они столкнулись с Крупеней.

– Пустой номер, – сказал Олег. Корова резко повернулась.

– Я дала ей телеграмму, чтоб возвращалась. – Голос ее звучал вызывающе.

– Я предупреждаю, что оплачивать эту дорогу мы не будем. Возьмите ее, Ченчикова, на свой бюджет.

– Проиграли раунд, – сказал Олег уже в коридоре.

– Сдался?

– При чем тут я? Просто, по-моему, ты поторопилась давать телеграмму Асе.

– А я сама уйду, если он ее не восстановит.

– Ну, ну, – сказал Олег. – И уйдешь.

Крупеня был вне игры. На него не обращали внимания, редколлегия шла своим заведенным порядком, и он подумал о Вовочке: «Ну и скотина же!» Но подумалось так, без злости. Но и то, что злости не было, удивляло. Ведь еще недавно он свирепел, если ему не звонили, когда, по его разумению, должны были позвонить. А тут сидит равнодушный, спокойный. Изрисовал листок бумаги снизу доверху, слева направо, а художник он никакой, и все его изыски дальше квадратов, заштрихованных пополам с квадратами незаштрихованными, не пошли. Получилось в итоге приблизительное изображение клетчатого одеяла сиротской расцветки. Он скомкал листок и запустил им в урну. Попал. Видел, Вовочка проследил за движением бумажки, и тогда Крупеня понял, что он все время за ним следит, помнит о нем и не реагирует на его присутствие не по рассеянности и замордованности, а сознательно. Потому что, как там ни говори, темный он, Крупеня, мужик или старый, отставший или размагнитившийся, он – не Ася. И его нельзя так просто слопать. Подавишься. Он вспомнил, как в субботу он вошел в этот кабинет и налетел на парня, такого всего литого, блестящего. И сразу понял, кто это. Тогда он отметил, что в смысле физической полноценности замена резонная. Куда ему тягаться с такими ногами или таким торсом? Крупеня буравил его взглядом где-то на уровне роскошного кадыка, подрагивавшего от самолюбования. Урод он, Крупеня, по сравнению с ним, урод! От мальчика пахло хорошим одеколоном. Конечно, хорошо бы ему, Крупене, просто исчезнуть – с точки зрения этих хлопцев. Подумав так, Крупеня вдруг решил, что никуда он не уйдет. Не доставит он им такого удовольствия. Пусть этот литой мальчик идет в метрдотели или в оперетту – певцом. А он, Крупеня, будет сидеть в своем пропахшем лекарствами кабинете и честно делать свое дело. Еще одно сиротское одеяло полетело в урну. И снова он попал. А ты,

оказывается, снайпер, Крупеня. Ишь как ловко мечешь! Так вот – он будет заниматься своим делом. Почему-то сейчас, на редколлегии, краем уха слушая, как чехвостят редактора сельского отдела за отсутствие толковых материалов, он, Крупеня, понял, что все в жизни можно переиграть. И в пятьдесят можно написать так, что ахнут. Написал же он преамбулу к Олегову материалу, и ему сказали: «Знаешь, братец, тут еще надо подумать, где центр тяжести – в преамбуле или в статье». Значит, может! А эти Вовочкины попытки сделать наглядным уроком и «телегу» на Олега, и Асину историю, и этих разнесчастных сельхозников – ерунда! А он, который понимает, что надо, зарылся в нору со своей печенкой... Над ненаписанным котом плакал. Ну и дурак, что не написал. Никто не виноват, вот вам. Короче, надо начинать сначала. Штаны через голову надевать нельзя, а переиграть судьбу – это можно, если найти в себе силы. И он швырнул третье клетчатое одеяло и снова попал, и засмеялся. А Вовочка в это время запнулся на слове «безупречность», ах ты, мать честная, какое трудное слово!

Испортил Крупеня весь смысл редколлегии своим неуместным и идиотским каким-то, как подумает потом Вовочка, смешком. А Крупене вдруг померещилось нечто совсем уже странное, будто смех, он – главное. А неуместный тем больше.

Роль шутов историками не оценена, и Бог с нею. Важно, что роль была. И у него, Крупени, тоже есть роль точки. И Вовочка стоит рядом, то ли укусит то ли лизаться начнет.

– Много слов, – сказал ему Крупеня. – Надо было сельхозотдел разогнать по командировкам, и вся недолга. Безупречность! Чего ты ее, бедную, поминаешь? Зачем она тебе? Ну, за что ты Асю?

– Не будем о ней, – сказал Царев. – Здесь все ясно. Ты мне лучше объясни, что это за кунштюк с выходом в

«Правду»?

– Кунштюк – это по-немецки «фокус»! – засмеялся Крупеня. – А это не фокус. Надо же было доказать, что материал есть, поскольку есть проблема, а «телега» – доказательство, что мы попали в точку. Что ты, несмышленный? Не знаешь, когда «телеги» пишут?

– Алексей Андреевич! Оставим этот жаргон! Я – не мальчик, и в этом-то вся штука. И отлично понимаю, что, ежели что-то делается за моей спиной, значит...

– Хорошо, что ты это сам сказал, – перебил его Крупеня. – Я в придворных интригах не мастак, но ведь это твоя школа, старик, идти в обход, за спинами. Ну разве нет? Ты за моей спиной всю газетную политику строишь, ты этого красавца – моего будто бы преемника, – небось, пока я был в больнице, совсем в курс ввел. А я, Володя, не умер. Вот ведь как! Так что насчет «за спиной» – это к тебе, старик, возвращается бумеранг. «Ни единой мысли не тратьте на то, чего нельзя изменить! Ни единого усилия на то, чего нельзя улучшить!» – противным голосом забубнил Крупеня. – Запомнил стишки, которыми ты мне мозги лечил. Пошел и почитал. И вижу: Царев из Крупени делает дурака. Там же конец другой, Вовочка! Слушай! – И Крупеня громко, хрипло прокричал:

*Растопчите себялюбивого негодяя,
Хватающего вас за руку,
Когда вы тащите из шурфа своего брата
Веревкой, которая так доступна.*

Царев покраснел и подумал, что Крупене дорого обойдется эта цитата. Если он еще вчера был предельно деликатен и осторожен, то теперь он ему сам развязал руки. Не надо только сейчас подавать виду, что он принял вызов и протрубил войну. Пусть Крупеня потешится цитатой, публикацией Олега материала в «Прав-

де». Теперь, когда он так откровенно хихикает на редколлегиях и швыряется бумажками, он сам себе подписывает приговор. Сейчас он ему намеренно не скажет про звонок прокурора. Пусть не думает, что это для него имело значение. Сейчас, когда с Михайловой все благополучно разрешилось и она уехала, важно показать Крупене, что его система руководства правильна и безукоризненна по сути, независимо ни от каких звонков. А Крупеня все о своем.

– Я в случае с Асей хочу воспользоваться проверенным способом – веревкой, – твердил он.

– Это наше старое, непреодолимое непонимание, – мягко ответил Вовочка, которому все уже было ясно, так почему бы и не поговорить вообще. – Скандал без выступления газеты. Скандал – до того...

– Неизбежно, – сказал Крупеня. – Неизбежно. До, после, но так может быть, мы же в живом деле...

– Острота слова газеты и неуязвимость поведения газетчика. Я буду этого добиваться...

– Брось, – скривился Крупеня. – Что такое неуязвимость? Что? Ты можешь мне объяснить на пальцах?

– Мы не имеем права на ошибку.

– Мы как газета. В целом. Согласен. А людям оставь их ошибки, потому что иначе у нас не будет истины. Пусть лезут в пекло, пусть набивают шишки, пусть постигают жизнь и шкуркой, и сердцем, и мозгом... Тогда они будут чего-то стоить... по отдельности. И все вместе... Ты никого не научил на примере Аси. Ты призвал людей к профессиональной осторожности...

– Это плохо?

– Я не закончил. К той осторожности, когда у тебя завтра все трудные письма уйдут на расследование и ни один не поедет по следу сам...

– Не драматизируй...

– Ты идешь к этому... Оставь, Владимир, людям право на ошибку. Оставь им надежду, что в случае ошибки

им помогут...

– Очень дорого это, Алексей, очень...

– А я не знаю? А что дешевле? Возня с людьми вообще цены не имеет.

– Все имеет цену...

– Пардон, – засмеялся Крупеня, – пардон. На какие рубли будем считать? Новые или старые? Или на доллары? В общем, так, старик. Асю надо вернуть. Наша Корова умница. А если тебе это трудно, оставь деликатное дело мне. Я со всеми объяснюсь, ежели что...

– Я не сделаю этого, – сказал Вовочка.

– А ты сделай. – Крупеня встал. – И еще одно. У меня стол в кабинете трухлявый, я не менял, когда все меняли. Это я к тому, чтобы ты знал, отчего будет бегать озабоченным наш завхоз. У него будет большая деятельность по доставанию мне нового стола. – И Крупеня, швырнув очередное изображение клетчатого одеяла в урну, пошел к двери.

– Постой, – сказал Вовочка. – Постой. Ты ведь...

– Я выписался из больницы. Все нормально. – И он ушел.

В сущности, Цареву не нужна была верстка книги, которую редактировала Мариша. Больше того, захотел он ее получить, курьер бы привез. И читать в ней было нечего, так себе авторы, а значит, и так себе мысли. Но после разговора с Крупеней надо было кому-то выговорить все, что мешало ему в эти дни. Ирина отпадала. Ей рассказывать – что себе самому. Есть, конечно, несколько приятелей, но он все-таки позвонил Марише, наплел про верстку, она обещала, что возьмет ее домой, и вот он едет. Она поняла, что ему надо поговорить. Сказала – что и ей тоже надо. Но вот теперь, когда он едет, он понимает – зря. Конечно, зря!

Ясно представилось, как Мариша встретит его в передней. «Господи, мы все такие слабые, – скажет он ей, –

Бедные мы люди, нет у нас ни когтей, ни клыков, ни толстой кожи, один только мозг, который можно убить крохотным кровавым тромбином». Она поможет ему раздеться, а на слове «тромбик» погладит по шерстяной рубашке там, где, по ее разумению, расположено у него сердце. А вдруг все будет наоборот? Вдруг прямо, без перехода: «Володя, ведь Ася ни в чем не виновата. Зачем ты ее так?!»

Царев тронул за плечо шофера. Сегодня его везет не Умар.

– Останови возле автомата, жди.

Вышел и позвонил Марише.

– Извини. Обстоятельства против нас. – И, закрыв микрофон рукой, чтоб не слышно было уличного шума, добавил: – У меня иностранная делегация. Я потом позвоню.

Вот и все. И не надо ничего объяснять. Объяснения – всегда слабость. Маришино свойство – поворачивать к себе людей самой беззащитной стороной. А может, в этом ее мимикрированная жестокость? Если бы она могла его выслушать не перебивая... ЧТО БЫ ОН ЕЙ ТОГДА СКАЗАЛ?

У каждого человека есть свой неприятный сон. Я, например, подпиливаю дерево, и оно падает на меня. Очаровательный сон для психоаналитиков, которые усмотрят в нем непомерную гордыню, неистовое честолюбие и тайные подкорковые страсти. В детстве я кричал, когда на меня падало это проклятое дерево. Потом привык к этому сну и уже знал, что оно меня не убьет, что я вовремя проснусь. И вот когда я совсем поборол страхи, сон перестал мне сниться. Только иногда я вижу клонящееся дерево, но даже в этот, казалось бы, жуткий момент я уже больше жалею не себя, а его, которое столько времени без толку и безнадежно падает, а я его давно уже не боюсь. Тем не менее что-то, Мариша, связанное с тем сном в основу моего характера легло. На-

пример, о каждом человеке я думаю: по плечу ли тот рубит? Всегда ли знает, что перед ним – осина или дуб? Что из нее получится – сервант или табуретка? Знает ли он, как рубить и где стоять, чтоб не придавило? Я-то все это теперь знаю. Хотя во всей моей родне ни одного лесоруба, ни одного просто лесного жителя не было. У всех моих родных одно дымное пригородное прошлое. И вот, надо же, во сне я постиг секрет, как валить деревья. Никому, никогда – даже Ирине – я этого не говорил. В этой истории есть многозначительность, которую я терпеть не могу. Каждый начнет думать: а что он хотел этим сказать? Да ничего, кроме того, что сказал: я ценю в людях умение преодолевать страх и извлекать из ошибок опыт. И еще ценю умение выбирать деревья по плечу. Вот у тебя, красивой, умной женщины, нет судьбы. Потерялась в журналистике, а чтобы совсем не исчезнуть, выбралась, так сказать, за ее пределы. Пятнадцать пустых лет жизни. Мне тебя жалко, Мариша. Без всякого преуменьшения – это трагедия. А я вот счастливчик. Почти все время делал работу, которую люблю. Минус работа в посольстве. Но ты же знаешь, оттуда я тоже писал. Мне приятно сознавать, что в том качестве, в котором я сейчас функционирую, я профессионально неуязвим. Я не несостоявшийся актер, которого поставили директором театра. Не писатель, которому, чтобы прожить, надо где-то администрировать. Я чего-то стою, потому что чего-то стою. Я к тому, Мариша, что мне в моем деле можно и нужно доверять. Я умный. Я знаю лес, я умею выбрать дерево и знаю, как надо поплевать на ладони перед тем, как сказать: «Эх, ухнем!» Я уважаю себя за это, потому что вокруг меня десятки, сотни не знающих этого. Кстати, это одна из самых больших бед нашего времени. Непрофессиональный врач, непрофессиональный учитель, непрофессиональный юрист. А как можно работать непрофессионально? На мой взгляд, лучше совсем не работать. Меньше вре-

да. Половина учителей моего сына – полнейшие дилетанты. Детский врач, что приходит к дочери, путается в рецептуре. Парикмахер не умеет стричь. Журналист не умеет писать. Но все они работают, черт возьми! Каждый не на своем месте, а ведет себя, как на своем. С правом решающего голоса. Значит, я, когда меня снимут, могу пойти бригадиром лесорубов на основании науки во сне? Или руководителем хора, я ведь пел когда-то, у меня был приличный тенор... И я быстро бы научился держать в руках дирижерскую палочку. Стал бы хорошо смотреться сзади. Со стороны затылка, кстати, у меня пока все в порядке. Лысею со лба, Мариша, и, между прочим, довольно интенсивно.

Так вот, Мариша, я хочу немногого – я хочу, чтобы доверяли моим решениям, моей политике, даже моей интуиции. Плохо, что вот с этим у меня сейчас непорядок. Говорят, люди не замечают, когда начинают становиться червивой грушей. Знаешь, у меня есть зам – Крупеня. Хороший, надежный, но темноватый мужик. Понимаешь, именно мужик-самоучка. Не сочти меня снобом. Но считаю анахронизмом, отставанием от времени, когда в идеологии или в искусстве сидят мужики. Я уважаю мужика при его мужицком ремесле. Когда же это образ мыслей, когда это пресловутое «мы университетов не кончали», я против. Надо было кончать, черт возьми! Лешка не совсем такой. Но больной! И он этого не понимает... Я раньше не замечал, а теперь вдруг увидел: он, кажется, бахвалится этой своей первозданностью. Это уже конец, Мариша. Когда невежество разворачивается в марше, это конец. Но мне не хочется бить его наотмашь. И видишь ли, Мариша, когда я брал себе на плечи – подчеркиваю, с удовольствием и уверенностью весь этот груз, который называется газетой, я ведь брал на себя и право быть, если нужно, жестоким. Как делегату выдается джентльменский набор в виде блокнота, ручки, карандаша и талона на обед, так и ру-

ководителю дается, так сказать, патронташ. А ведь я не из тех, Мариша, кто выбивает десять из десяти. Мне это не нужно. Но ведь приходится! Я не преуменьшаю боль этих символических выстрелов. Раны от них болят, как настоящие. Это тебе говорю я. Ибо в другом измерении, в другой ситуации я тоже бываю безоружным, просматриваюсь насквозь, получаю добротнo отлитые пули. И это естественно. Это жизнь. Но я никогда не опускался и не опускаюсь до мелкой злобности: меня взгрели – взгрею-ка и я. Больше всего в людях ненавижу мелочность. Мелочность. Мелочность в человеческих расчетах и отношениях: если ты – мне, то и я – тебе. Я хочу, чтоб ты меня поняла правильно – я не о том, когда надо платить благодарностью, когда надо отдавать добром. Это вне суда. Я о другом. Ко мне приходят люди и просят меня принять их на работу. Основание? А то, что чей-то папа при случае может ударить по мне из автомата. Это не просьба. Это психологическая атака. В этих случаях я гоню! Понимаешь, гоню! И чьих-то деток, и своих собственных друзей. Хочу быть безупречным. Ася должна была уйти потому что оказалась непрофессиональной по большому счету, который я сейчас предъявляю всем. И себе в первую очередь. Ты знаешь, был момент, еще до Ирины, когда мне хотелось на тебе жениться. Ты не могла это заподозрить, хотя на тебе хотели жениться все. Я думаю, нам обоим повезло. Ты, если говорить высоким стилем, женщина на все времена... Я не такой. И мне подходит женщина именно на наше время. Знаешь, оно какое? Оно острое. Оно обнажающее. В нем, внешне благополучном, много взрывчатки, и мне хочется быть в центре взрыва. Ты бы тянула в безопасность, а Ирина понимает, что живет в беспокойную эпоху. И мы – дети нашего времени. Все, без исключения. Только надо помнить, что нам не нужны ни пенсионеры, ни младенцы. Если все-таки уйдет Крупеня, я возьму на его место настоящего парня. То, что надо! Три

языка, минус рефлексия, минус старые связи, плюс понимание системы. То есть жизни в ее, так сказать, математическом выражении. Систему надо знать, ибо она реальность. И только владея ею, можно чего-то добиться... У меня один инструмент для этого – моя газета. Это прекрасный инструмент! Так могу ли я позволить играть на этом инструменте культей? Даже если она от войны? Нет и нет! И обидно, что надо объяснять людям такие очевидные вещи...

...Вот какой получился монолог! Просто жаль, что Мариша его не слышала, не смотрела на него в этот момент своими теплыми карими глазами.

Царев вздохнул и понял: монолог про себя не выручил. Он был зол как черт на Крупеню, он его ненавидел. И Асю ненавидел. И Олега. И Корову. Чувство было неинтеллигентным. Оно было грубым, потроховым, с таким чувством не за перо берутся – за топор. Крупенины выкормыши. И ведь будут путаться под ногами, будут мешать. Выставят против него гуманистическую идею-ку вытаскивания друзей из шурфов.

Эта мелкая добродетельность, эта детсадовская манера вытирать носы человечеству, как она ему была всегда противна! Человек или стоит чего-то или не стоит ничего. Возня с несчастенькими, с брошенными, с обиженными, с непонятыми – это целая доктрина со своими проповедниками и профессорами. И с сильнейшей демагогией, вооруженной всей сентиментальной литературой прошлого. И именно они будут ему ставить палки в колеса, именно от них можно ждать чего угодно. Пресловутое человеколюбие – сила неуправляемая. И вместо того чтобы действовать, действовать, он будет с ними объясняться, объясняться... Нет, о Крупене надо ставить вопрос завтра же. Здесь все просто. Болезнь и возраст.

– Приехали, – сказал шофер.

Царев смотрел на свой дом. Добротный, старый мос-

ковский дом. В гостиной венецианское окно. Этим окном очень гордилась покойница теща. «У нас венецианское окно, – говорила она всем. – Это так украшает».

Нелепое, в сущности, окно. Любое другое окно к переменам погоды относится спокойно, ну, дождь, ну, снег, ну, пыль. Венецианское – вопиет о своей неумытости и неухоженности. Оно требует, чтобы с ним носились. Кто может себе это позволить? Кто может себе позволить носиться с чем-то отжившим только потому, что у отжившего звучное и благородное наименование? Царев поднял голову. По широкому оконному карнизу гуляли откормленные голуби. Им нравилось ходить в уборную на венецианском окне. Видимо, голуби тоже тонко чувствуют прекрасное...

– Кто у тебя? – Светка рукой отодвинула Маришу и прямо в сапогах – а всегда старательно, чтоб не испортить молнию, снимает их в прихожей – вбежала в комнату.

– Да никого же, – ответила Мариша. – У тебя голодный вид. Я сделаю яичницу с колбасой.

– Не надо. – Светка так и не сняла сапог. – Я понимаю, что это та область, в которую порядочные люди не вмешиваются, но будем считать, что я непорядочная... Она ведь не будет писать в партком, не придет бить тебе морду. Ловко вы устроились, да? Мимоза охапками, ты вся распятая, ну а дальше что?

– Светка! – попросила Мариша. – Это не твое дело. Я не колода, я все понимаю... Не тронь нас...

– Мне один пациент рассказывал историю своей женитьбы. Он был вдовец и был уже давно утешен, когда погиб на каких-то чертовых опытах его племянник-физик. Осталась юная вдова. И она почти тронулась, попросту говоря. Они недавно поженились, безумная любовь и так далее. Он выходил ее, забрал из психиатрички. И женился на ней, чтоб иметь право прописать у се-

бя. А потом она отошла и уже не смогла от него уйти. Сына ему родила. Только осталась суеверной бабой, охраняет себя драгоценными камнями, как ее научила какая-то сумасшедшая. А в остальном – нормальная женщина, если не считать испуга на всю жизнь. Он ее жалеет. Я спросила: а любите? Он сказал, что жалеть – это еще больше. Я возмутилась, а он – смеется.

– Но при чем тут вся эта история?

– Не знаю, – ответила Светка. – Но я, как увидела тогда вас с Олегом, проревела всю ночь. Мы все такие безжалостные. Ножи, а не люди.

– Неправда.

– Ножи, ножи, – твердила Светка. – Я знаю. Это медицинский факт.

– Но я его люблю. И он меня. Этой истории десять лет.

– А я его терпеть не могу, – сказала Светка. – Да ну вас к черту, мне плевать на вас. Мне жалко Тасю. Ну почему, почему хорошим людям на этом свете хуже?

Часто зазвонил телефон. Так звонит междугородная. Мариша схватила трубку.

– Аська, ты?! Да, я знаю про телеграмму... Знаю... Зачем? Ох, Господи, Ася!.. Ты меня спрашиваешь, меня?..

Мариша закрыла трубку рукой, повернула измученное лицо к Светке.

– Я не знаю, что ей сказать, Светуля. Я не знаю, она спрашивает у меня.

– Она не виновата, пусть возвращается, – ответила Светка. – О чем тут еще говорить? Сдуру сбежала.

– Это мы со Светкой говорим, – закричала в трубку Мариша. – Она шлет тебе привет. И говорит, что ты сбежала сдуру... Ася, Ася, я тебя понимаю... Я бы тоже сбежала... Но теперь... Я не знаю, Ася... Тут Светка рвет трубку...

– Ася! Ася! – кричала Светка. – Ты должна вернуться. Ты будешь всю жизнь казниться, если не приедешь!

Кто? Я? Ну, я, знаешь, из тех, кто предпочитает сделать и пожалеть, чем не сделать и всю жизнь казнить! Да! Приезжай!

Василий Акимович встретил Женьку в метро. И тот, как чужому, уступил ему место. И повис на перекладине напротив, хотя толчеи в вагоне не было, мог бы отойти подальше.

– У тебя мешки под глазами, – сказал Женька. – Сходи к врачу, рядом же. – Василий Акимович фыркнул. Забьтисся, негодяй, как же! – Я серьезно, – продолжал Женька. – Раньше у тебя такого не было. Может, это сердце, а может, и почки.

Василий Акимович снова фыркнул. Мешки под глазами увидел. Внимательный.

– Ты бы лучше подстригся, – сказал он сердито. – Волосы, как у женщины.

Женька засмеялся. Значит, не изменился. Ему – дело, а он хаханьки.

– Я позвоню матери, пусть тебя спроводит к доктору. – Это Женька.

– А я тебе говорю – подстригись, дед с бабкой приезжают, увидят тебя такого, могут не перенести.

Женька от удивления даже рот раскрыл.

– Господи Иисусе, – сказал он, – да как им не страшно передвигаться? Зачем ты им разрешил, сам бы в отпуск съездил!

– Ха! – ответил Василий Акимович. – У них, знаешь, какой маршрут? Они сначала в Донбасс на вручение ордена шахте, а потом уж сюда.

Женька даже закачался на перекладине. Ну, старики! Ничего себе путешестве в восемьдесят лет.

Последнее время Василий Акимович все время думал об одном. С той встречи на Сретенке все его мысли были о Полине. И теперь старики, не посоветовавшись с ним, туда отправились. Он не сомневался – они встре-

тятся там с Полиной. Ей-то что, она и подойти может, и расспрашивать начнет. У него-то все, конечно, хорошо, старики так и скажут, но почему-то, представив себе всю эту ситуацию, Василий Акимович усомнился – так ли у него все хорошо? Поезд стал притормаживать, и Василий Акимович пошел к выходу.

– Двадцать четвертого встречаемся. В десять тридцать. Приходи тоже.

– Обязательно, – сказал Женька и крикнул вслед: – Сходи к врачу, слышишь?

Василий Акимович сделал вид, что не слышал. Свой организм он знает хорошо, ничего опасного у него нет. Не то что у Крупени. Хоть тот и уверен, что не рак, гарантии никто не даст. Тем более если больной ведет себя как дурак. Дал, видите ли, расписку и пошел на работу. И бодро так пригласил его к себе на двадцать четвертое. День не простой – тридцать лет знакомства. Действительно тридцать! И не заметили, как годы пролетели. Тридцать лет. Ровно половина жизни... А сколько еще осталось? Если судить по старикам, то все в порядке... Еще два десятка он отбарабанит, ну а если сделать скидку на Москву, на ответственную работу, то – лет десять. В общем, к врачу сходить надо, тут этот прохвост прав. И сердце у него побаливает, не сильно вроде, но все-таки... И снова пришел гнев на Полину. Все – из-за нее. С той минуты, как она в тот день со свертками встала возле его машины, болело у него слева. И боль была странная, какая-то гуляющая. То в самом верху, в плече объявится, то между ребрами побегает, то колом в груди станет. Надя сказала: невроз. А дочь, ну и дал он ей потом, сказала: «Ты, папочка, не волнуйся. Все болезни от нервов, только неприличные от удовольствий». Бить уже нельзя – замужем, а очень хотелось, но он ее словами отхлестал – долго будет помнить. Как это люди научились говорить об этом откровенно? Книжек про это – тьма. Специальные даже выходят. Лаборато-

рии разные открывают. И, говорят, туда очередь. Нет, он не такой. Пусть бы даже у него ни с одной женщиной ничего не получилось, он бы, честное слово, не переживал.

Потому что не для того человек рождается. Он не кошка и не собака. У человека должна быть в жизни цель.

Василий Акимович вышел на улицу. Правильность умозаключений успокоила, отвлекла от мыслей о Женьке, о Полине. Все правильно – цель. Вот и у него в жизни была цель... Василий Акимович пропустил нужный троллейбус, ему хотелось сформулировать цель своей жизни. Она... Она заключалась в строительстве социализма. Но, подумав так, Василий Акимович растерялся. Потому что это, конечно, правильно, но вон сколько людей на остановке, и, в сущности, у всех у них та же цель. Была ли эта общая главная цель какой-то своей частью переложена именно на его плечи? Это надо как-то сформулировать. Но мысли были вязкие, тягучие, они прилипли почему-то к врачам-сексологам и к очередям у их кабинетов. Не что иное, как очумелые. Очень обескураженный этой бессмыслицей, Василий Акимович оттолкнул женщину в синтетической шубе и вошел в троллейбус с передней площадки. Шуба отомстила: тоненько закололо в левом соске. И захотелось пить.

Отдав таксисту пять рублей, Ключева почувствовала удовлетворение. Ей подумалось, что этим непривычным, незапланированным расходом она начала расплату с докторшей. А сейчас она пойдет в редакцию и потребует, чтобы о Светлане Петровне написали заметку. Ей это подсказал начальник ЖЭКа. Он объяснил ей, что молодому специалисту это может быть очень важно – фамилия в печати. Что моральные стимулы (когда похвалили) ценятся подчас выше материальных (когда

заплатили). И такая заметка может докторше помочь, если у нее в жизни есть какие-то трудности. И Клюева поехала. Конечно, можно было кого-нибудь попросить написать, но дом почти пустой, и все чужие, сама она в смысле письма не очень, сын в больнице и правой рукой пока не владеет, в общем, выход один – приехать в газету, рассказать и потребовать. А требовать она умеет, в случае чего – наорет. Жизнь ее научила – криком часто взять можно. Гаркнешь не своим голосом, и послушают. А может, и не придется орать, неизвестно еще. Но на всякий случай Клюева сохраняла в себе воинственное настроение, потому что с той минуты, как докторша с мужем перетащили ее вещички на десятый этаж, она чувствовала себя должницей, а быть в долгу она не любила. Она три копейки отдавала, если за нее в трамвае платили, терпеть не могла тех, кто „до рубля не считал“. Она считала до копейки.

В редакции она потребовала главного редактора, но, в общем, не удивилась, когда ее к нему не пустили, а усадили в красивое кресло в коридоре под каким-то цветком и попросили подождать. Она и ждала, выбросив вперед костыли и ногу, в данном случае было важно, чтоб видели костыли.

Жизнь научила Клюеву многим хитрым приемам, где что надо показать, где что изобразить, где что спрятать. Ей надо, чтоб про докторшу написали заметку, а хорошо еще, и сфотографировали бы. Она девка красивая, получится хорошо. Клюева наблюдала за народом, бегающим по коридору. Все зелень, зелень... Прошел только один старый и толстый, кричал что-то насчет стола, которого ему взять негде. Почему-то это успокоило Клюеву – значит, все тут, как у людей, чего-то не хватает, оттого и ругня. Потом к ней подошла девушка с длинными волосами, в короткой юбке и села напротив, красиво положив ногу на ногу. Натянутый на колене тонкий капрон отсвечивал холодно и нарядно.

– Я вас слушаю, – сказала девушка. Но ни блокнота не открыла, ни ручку не достала. И это Ключеву настояжило, она ведь не разговаривать сюда пришла.

– А вы записывайте, – сказала она.

– Вы говорите, говорите. Я сначала послушаю, – вежливо ответила девушка.

– Нет, вы записывайте, – повысила голос Ключева.

– Позвольте мне самой знать, что мне делать, – строго сказала та, и Ключева поняла, что ничего не добьется, если будет настаивать. Девуца из невозмутимых, у нее ничего не дрогнуло, позвольте, говорит, мне знать – и все!

Ключева стала рассказывать. Она начала издадека. С того, какой был в тот день гололед и как эти проклятые дворники посыпают солью только у себя под носом. А у них есть тротуарчик, который никто своим не признает, и он всегда не посыпанный, на нем она и загудела. И надо же, как неудачно. Ей бы падать лицом вперед, ну, расквасила бы себе нос, а она устоять хотела, зашаталась, а разве устоишь, когда лед как полированный. Ну и упала на бок, а ноги под себя, и кость – в бульон, она ведь высокая, тяжелая. Девуца слушала ее, не мигая, и Ключева стала понимать, что вся эта история про не посыпанный солью тротуар ей не интересна.

– Да я не про себя говорю! – закричала Ключева. – Ничего мне не надо. У меня все есть. Я про докторшу! – Но тут девуцу словно ветром сдуло, выскочила из кресла и кинулась навстречу женщине с аэрофлотской синей сумкой через плечо. У женщины лицо было усталое, и улыбалась она через силу.

– Ася! – закричала девушка. – Ася! Приехала! – Потом повернулась к Ключевой и говорит: – Вы меня извините. – Вежливо так говорит.

– Извиню, – ответила Ключева. – Если недолго. Оставшись одна, она постаралась сформулировать свое требование к газете коротко и убедительно. Потому что

поняла – начала не с того, в конце концов, сколько людей ломают в Москве ноги, кому это интересно слушать? А вот что врач молоко и мясо носил, а потом целый день барахло ее таскал на десятый этаж, это – поищите. Вернется эта невозмутимая девица, Ключева ее спросит: а вам такое когда-нибудь встречалось?

Ася села за свой стол и провела по нему ладонью. Пыль. Она сама всегда ее вытирала, знала, что технички тут недобросовестные. Машинально взяла листок, стала протирать стекло.

– Ну? – спросила она Калю.

– Крупеня требует, чтоб тебя восстановили. Вовочка против.

– Зачем меня вызвали?

– Это самодеятельность Коровы. Стихийный порыв.

– Что они говорят?

– Считают, что ты ни при чем. А обсуждать всю эту теорию без тебя не хотят.

– Я нужна, чтобы пообсуждать?

– Но ты-то зачем приехала?

Если бы можно было это сформулировать! С той самой минуты, как она не нашла в порту своих старичков соседей, Ася потеряла уверенность, что поступила правильно, уехав. Она тогда все возложила на случай. Отправься первым самолет в Москву, она бы сразу вернулась. Но первым улетал самолет домой. Он был самый первый из всех, поднявшихся после пурги. И эту случайность она восприняла как судьбу. Дальше все было уже хуже. Во-первых, Аркадий вопреки всем своим соседским убеждениям сказал, что ее отъезд – просто побег. Что независимо от приказа (как не стыдно испугаться бумажки!) она обязана была дожидаться товарищей. Это, мол, элементарно. Потом начались звонки, которые делились на соболезнующие, злорадные и радостные. Она отдавала себе отчет, что здесь, на работе,

уже сомкнулся строй, заполнилась брешь от ее отъезда. Кого-то повысили, кого-то передвинули. Теперь ей предстоит вламываться в тесное штатное расписание – ее возьмут, ее ценят, но для этого кого-то опять переведут, кого-то понизят. Ах, Ася, Ася, ну кто же думал, что ты вернешься?

А потом пришла телеграмма. Корова подписалась – Ченчикова. Это тоже кольнуло. Но ведь она сбежала, чего же она хочет от людей, которые ездили по ее же делу? Она показала телеграмму мужу.

– Ехать?

– Суетишься, Асек, суетишься, – сказал он. – Теперь уж все взвесь как следует, чтоб снова не пришлось бежать. Я-то из тех, кто упорствует в своих ошибках. Даже если б и уехал по глупости, не вернулся бы. Но ты – не во мне, а я не в тебе. – Это было любимое выражение их дочери, когда она пыталась объяснить возникавшее непонимание между нею и родителями. «Вы не во мне» – и все! И нечего объяснять, все равно не поймут.

Тогда она позвонила Марише, Марише-провидице. Марише – доброй душе. И почувствовала: Мариша мямлит. И оттого, что все вокруг будто сговорились быть нерешительными, она снова решила все предоставить случаю. Если ее завтра же, не ущемляя никого, примут на работу – пусть все горит синим пламенем. Пусть бухгалтерия перешлет ей расчет, а Мариша – вещи из гостиницы. Пусть простит ее гениальная женщина Анжелика Ченчикова, а Олегу и Тасе она напишет письмо. И все. Потому что до остальных ей, в сущности, дела нет.

Случай, случай... Конечно, ее возьмут на работу, что за вопрос, Ася, дорогая! Но надо переждать с недельку. Во-первых, Сиваков снова запил, это после распоследнего предупреждения. Надо решать с ним вопрос, сколько можно оглядываться на его больную жену. Во-вторых, Лосев решил идти на пенсию, но попросил дать доработать до весны, пока не позовут к себе сад и ого-

род. Пошли ему навстречу, он мужик хороший, может, действительно, возле земли легче переживет разлуку с газетой? Так что, Асенька, видишь, как все хорошо складывается, останешься с нами. Мы тут меньше пижоны, а больше работники. Погоди чуток! И Ася купила билет. И снова – случай: всегда очередь, а тут – бери, пожалуйста. И солнце в небе яркое, громадное – лети, Ася, спокойно. И она прилетела, даже на десять минут раньше, чем полагалось, и села на таком солнечном аэродроме, что сосульки вокруг плавилась и сверкали, как весной.

Клюева терпеливо ждала. Стоит тебе сломать ногу – и торопиться станет некуда, стоит сломать руку, и выяснится, что половину дел можно вообще не делать. Вообще жизнь редакции настроила ее на философский лад. Бегаешь, суетится модная, бледная молодежь. И все – с руками, с ногами, с головами, наверное, даже с высшим образованием. Шасть в одну сторону, шасть – в другую, и все одни и те же, одни и те же. Или уж очень похожие? Клюевой хотелось остановить их и рассказать про то, что ежели у человека сломана нога и бежать нечем, то оказывается, что и бежать-то незачем, и это надо бы всякому человеку знать...

Но потом и ей надоело ждать, и она, впрягшись в костыли, пошла по коридору. Куда убежала длинноволосая, она не знала, искать ее по комнатам не считала нужным, и Клюева пошла по единственному известному ей в этом здании маршруту – к кабинету главного редактора. В предбаннике никого не было, обитая темно-вишневым дерматином дверь была полуоткрыта и уже не пугала этим, а приглашала. И Клюева вошла.

Царев размашисто ходил по кабинету. Дверь он приоткрыл, чтобы устроить сквозняк – только что у него побывали рабочие с далекой стройки и накурили. Их сейчас увел фотокор, делать портреты на первую поло-

су, парни, как на подбор, красавцы, герои, но, увы... Подставочку со словами «ЗДЕСЬ НЕ КУРЯТ» он водрузил на два тома словаря синонимов, чтоб было лучше видно, и – не подействовало. Один из них даже пальцем поскреб по букве «я» на таблице, потом достал пачку сигарет и с треском ее распечатал. Теперь проветривай.

Клюевские костыли мягко воткнулись в ковер.

– Жду, жду, – сказала она. – Это что, у вас так полагается? Бросать разговор, недослушав?

Царев с силой надавил пуговичку звонка, укрепленную на нижней стороне стола. И оттого, что с силой, пуговичка ушла в глубину, и в комнате секретаря туго повис пронзительный звук. Неловко было становиться на колени и выковыривать провалившуюся пуговичку при этой нелепой женщине, а на звонок никто не шел. В буфете давали коробочки с клюквой в сахарной пудре, а у секретарши тяжело болела дочь. Клюква в пудре была единственным лакомством, которое она ела охотно. И сейчас мог начаться пожар, землетрясение, могла начаться война, могли прилететь марсиане, юпитериане, венериане, могли вывесить приказ о повышении зарплаты секретарям впятеро, она бы все равно из очереди не вышла. Она сжимала в кулаке деньги на десять коробок клюквы и молила Бога, чтобы они ей достались. Она напирала грудью на впереди стоящих, и сердце у нее билось гораздо сильнее, чем на первом свидании. Только бы достались ей эти десять коробок, только бы достались!

– Я пришла рассказать, – громко сказала Клюева, стараясь перекричать звонок, – о своем докторе. Она комсомолка и очень хороший человек. О ней надо написать в вашей газете.

Царев вынул из стаканчика карандаш и приготовился писать на листке.

– Фамилия? Имя? Место работы?

– Мое? – удивилась Клюева.

– Нет, – раздраженно ответил Вовочка. – Вашего доктора. И ваше тоже. – И он записал и пообещал, что поручит все выяснить...

– А чего тут выяснять?! – возмутилась Ключева. – Таких врачей больше нету. По крайности – я не видела. А я и отца с матерью схоронила, и мужа, и сын у меня в больнице. И сама я – как видите.

Царев кивнул и сказал, что все будет в порядке. Потом он все-таки встал на колени и скрепкой вытащил запавшую кнопку. И сразу стало тихо и хорошо. Они засмеялись.

– Вывели козу, – сказал Царев.

Ключева не знала, о какой козе идет речь, но смысл почувствовала.

– Значит, напишете? – сказала она. И он снова кивнул. Ключева повернулась, чтобы уйти, но решила закрепить так неожиданно легко доставшуюся победу. – Я не побоюсь, – заявила она с вызовом, – и еще раз прийти. Что мне стоит на костылях-то? – Царев сморщился. – Да, да, – повторила Ключева. – Приду. Прямо к вам.

И она ушла и долго шла по коридору, а у самого лифта ее догнала длинноволосая.

– Простите, – сказала она. – Я вас задержала?

– Не переживайте, – важно ответила Ключева. – Уже переговорила.

– С кем? – удивилась девушка.

– С главным вашим редактором. Бывайте здоровы.

И она шагнула в лифт, довольная тем, как все получилось, и смеялась, вспоминая, как главный редактор встал на колени, как он ковырял скрепкой, по-детски высунув язык. «Попадет кому-то», – подумала Ключева.

А Вовочка стремительно шел по коридору. Он шел к Крупене. Надо с ним наконец поговорить откровенно и без экивоков. То, что он вопреки своим правилам придет к нему сам, а не вызовет к себе, должно само по себе означать неотлагательность разговора. А по дороге на-

до отдать в отдел эту бумажку с данными, которые принесла женщина на костылях. Пусть все проверят и выяснят, что это за докторша.

Царев не предполагал, что несет фамилию Маришиной сестры. Если бы он знал, то он бы совсем иначе отправил Ключеву. И не только потому, что не мог допустить на страницы своей газеты родственников хороших знакомых (это не просто дурной тон – должностное преступление), а потому, что сестра Мариши, которую он видел на новоселье, ему активно не понравилась. Тогда он подумал: у такой мягкой, прелестной матери такая резкая дочь. Этакое злущее существо могла бы родить Корова, чтоб себя продолжить. Но Корова, оказывается, тоже была оскорблена высказываниями Маришиной сестры. Это она-то оскорблена – сама непримиримо языкатая. Правда, сестра скоро ушла. Он это тоже заметил. Ушла по-английски. А Полина сразу поскучилась. Хорошо, что пришел Цейтлин и стало ей, о ком заботиться и кого опекать.

Так вот, Царев не подозревал, что героиней для очерка предлагали эту самую диковатую Светлану. Поэтому, идя к Крупене, он по дороге и занес бумажку в отдел. Он раскрыл дверь комнаты и увидел всех сразу – и Корову, и Олега, и Крупеню, и... Асю. Она сидела на кончике стола в расстегнутом пальто, положив локоть на аэрофлотскую сумку. И тут же из-за его спины возникла Каля. Она по-хозяйски взяла у него из рук листок и положила на стол.

– Женщину на костылях бросила я, – сказала она. – Заинтересоваться адресом? – Все молчали, будто самое главное на сегодняшний день было в том – писать или не писать очерк о молодом враче, о котором сообщила некая женщина на костылях.

– Да, узнайте адрес, – ответил Вовочка и вышел.

– Ни мне здрасьте, ни тебе спасибо, – резюмировала Корова.

– Спокойно, – сказал Крупеня, – спокойно.

Ужинать Олег пошел в шашлычную. Знакомая буфетчица дала ему бутылку «Цинандали», отодрав предвзвешенно этикетку. «Цинандали» у нас нет», – сказала она. «Понятно», – ответил Олег. Пить ему не хотелось, но разве откажешься от товара из-под полы? Срабатывает инстинкт, и ты хватаешь, даже если тебе не очень и нужно. Теперь придется пить; хорошо, что в кармане таблетки от головной боли – чем не закуска для умеренно пьющего газетчика? Он сел в угол, спиной к залу. Еще не налив себе вина, Олег почувствовал едучую многоликую тоску. Одна поднималась в нем изнутри, из печени, другая давила в спину тяжелым мужичьим дыханием, а в уши змеей вползали бессмысленные, не перекрываемые никаким шумом слова магнитофонной песни. «Не думай о секундах свысока», – гнусил чей-то заунывный голос. Что сие значит, с тоской думал Олег. Объяснил бы кто-нибудь, что ли? Он налил в бокал холодное вино и выпил. Приятно, ничего не скажешь, но, увы, ни от чего не спасает. И не будет у него легкой радости от кавказского вина, под стать которому мягкие кавказские сапоги, чтоб ходить в них на цыпочках вокруг обряженных в белое, чутьем угадываемых красавиц. А может, совсем не то сделала буфетчица, пытаюсь подольститься к корреспонденту? Может, правильней было бы налить ему в стакан «матушку» за три шестьдесят две, хлобыснуть ее с ходу, и никаких тебе мягких сапог, никаких белых красавиц.

Олег что-то ел, пил, а мысль, от чего бы ни отталкивалась, вела к одному – хорошо бы уехать. Все равно куда, даже чем дальше, тем лучше, но уехать. Потому что выхода из ситуации, в которую он попал, он не видел. Ведь для него было ясно: он, такой-разэтакий, готов оставить Тасю, детей, черта, дьявола ради Мариши. Скажи она ему завтра: приходи насовсем – и он придет. И не

будет у него никаких угрызений, потому что угрызения у него дома, когда он с семьей. Он тогда – и с ними и без них. Он их даже не любит в эти минуты. И все лезет в глаза: Тасин насморк, хронический – заводится она по дому и все шмыгает носом. У старшего – тоже. А младший – рева. День начинается с плача и кончает им. Раньше было просто. Где шуткой, а где строго – и все шло нормально. Хорошая семья, хорошие дети, жена – клад. А сейчас, как в кривом зеркале, вроде все не свое, чужое, несимпатичное.

Мариша купила себе платиновый парик. «Посмотри». Затолкала под него свои шоколадные волосы, щеткой туда-сюда – и нет ее лучше. А Тасе в свое время он сказал: «Чтоб я этих шиньонов-миньонов не видел. Если у меня в руках что-нибудь от тебя отвалится, я за себя не ручаюсь». Тася посмеялась и отдала пучок чьих-то легких, детских волос соседке. А тут летели к черту его казавшиеся непоколебимыми мужские убеждения, стоило на них посмотреть Марише. И должно это было – теоретически – приносить смятение, а приносило радость. И в этой радости он был растворен весь. Без осадка. «Как пули у виска, мгновения, мгновения, мгновения...» Конца нет этой песне, и шашлычная внимает ей торжественно, хмельные головы покачиваются в такт, приобщаясь... К чему?

Так вот. Он хоть завтра уйдет к Марише. И только тогда он способен полюбить своих детей снова. И может, даже крепче, чем прежде. Но вся штука в том, что она никогда не скажет ему – приходи! Она говорит: «Тасе я не могу сделать плохо». Чепуха! Что он, хуже относится к Тасе? Он ее уважает, ценит, он любит ее, как мать своих детей. Но это все из другой книжки. Просто, когда выдвигают такие причины, значит, нет любви, для которой все эти причины – пустяки. Нет любви! Она прибилась к нему, как лодка к берегу, как кошка к теплу. И все. Ничего здесь нет большего. Поэтому и надо

уезжать. На год ли, два, три... Время – целитель. Но ведь Тася скажет: «Мы поедем с тобой, мы без тебя не можем». Значит, надо попроситься туда, где очень холодно или очень жарко. Ну, куда, мол, с ребятами в такой климат? И вдруг сладко заныло сердце: а вдруг за ним поедет Мариша?.. Вдруг скажет: «Я без тебя не могу». Но это из области ненаучной фантастики...

Олег не выпил и половины бутылки. Встал и пошел. Буфетчица заговорщицки подмигнула ему, он ей сделал ручкой, твой, мол, навеки. Он шел в редакцию-Олег любил ее ночью. Она воплощала собой Дело. Нет лишней болтовни, нет лишних людей, есть мобилизованные и призванные. Готовые к тому, что вылетает основной материал со второй полосы, потому что герой очерка от радости, что он попал в герои, запил. Известно это стало уже вечером, и бедный автор дошел до того, что впору вызывать неотложку, а он всем тычет блокноты, вырезки. «Посмотрите – золотой же парень!» А его гонят: иди ты, мол, на фиг со своим золотым, дай сейчас хоть деревянного, но чтоб непьющий. Четыреста строк – как голодная волчья пасть, как провал в стене, как лопнувшие на видном месте штаны. Заткнуть пасть, заделать дыру, зашить зад хоть белыми нитками... А когда все наконец стало на место и уже наступило блаженное расслабление, выясняется, что на готовой полосе, о которой и думать забыли, ошибка в подписи под клише... И снова суета. И вся она по делу, вся она целенаправленна к тому моменту, как машина изрыгнет первые оттиски газет, и тут уж не убавить, не прибавить. Она, эта пахнувшая краской твоя газета, уже живет сама по себе, и ты ей не нужен. Совсем. Олег знал эти минуты отчуждения твоей работы от тебя самого.

Свою первую газету он таскал в кармане месяц, пока она не истерлась. Смешной он тогда был. От той поры осталось, и теперь уже навсегда, волнение, когда в последнюю секунду хочется остановить тяжелые машины,

удержать матрицу, рассыпать набор и все сделать иначе. Лучше! Добротней! Убедительней! Но уплывает бесконечным потоком твой уже навсегда отчужденный от тебя труд. Он вернется к тебе завтра. Чем? Надо ждать. Может, благодарностью, может, обидой, а может, повезет – добрыми переменами. Ведь для того кропаем.

Вовочка и Крупеня пили чай. Между этим чаем и тем утренним визитом, который Корова определила как «ни мне здрасьте, ни тебе спасибо», пролег день, а это совсем не так мало, как кажется. День есть день. Достаточно много, чтобы наделать глупостей или совершить подвиг. Поэтому, не удивившись чайной церемонии, Олег решил – что-то случилось. И это «что-то» усадило их рядом и навело на их лица размягченное добродушие. Ни дать ни взять, двое старых знакомых вкушают чай после банной парилки, испытывая расслабленную нежность друг к другу, а заодно и ко всему человечеству.

А было вот что...

Когда Вовочка утром остался один, без секретарши из-за клюквы в сахаре, а потом шел к Крупене для откровенного разговора и по дороге решил отдать листок с данными о молодом докторе и неожиданно наткнулся на теплую компанию и услышал в спину ироническое замечание Коровы, он понял, что по-мальчишески проигрывает партию. Причем проигрывает слабостью королевской позиции. Он, голый король, стоит на своем маленьком квадратике уже как король для битья. Царев знал: в тонком и изящном механизме руководства может подвести самая пустячная деталька. Даже провалившаяся пуговица звонка. И если механизм забарахлил по мелочам, надо быть идиотом, чтоб вооружаться крупным инструментом. Простейший топорный прием – разогнать эту компанию, отправить Асю подобропоздорову и строго спросить: граждане, а что, собст-

венно, случилось? – тут явно не годился. Уж если идти на конфликт с такими сотрудниками, как Олег и Корова, то надо знать, во имя чего.

Итог, который он имел на сегодняшний час, накладных расходов не окупал. Ася такой цены, на его взгляд, не стоила. А вот уязвление в позиции «Он и Крупеня» – это уже потери. Явные. Оставаться в одной упряжке с человеком, с которым смотришь на мир не в два глаза, а все-таки в четыре, – плохо. А две головы в руководстве – это хуже, чем одна. Это стадо с двумя быками, это два петуха в птичнике. Эмоций больше – толку меньше.

Выход из ситуации был простой: надо было согласиться с возвращением Аси, дать ей еще одну попытку. И пусть Крупеня думает, что он, Царев, поступил так если не под его давлением, то уж по просьбе – точно. Неразумно обострять отношения перед тем ответственным, главным и прощальным разговором, который им предстоял.

В своем предбанничке раздумывавшаяся секретарша складывала в сумку коробки с клюквой. Вид у нее был все еще счастливо отрешенный.

– Вот черт, вот черт, – добродушно бормотала она. – Что за сумки делают? Хозяйственная ведь, не для театра. А что в нее положишь?..

– Пригласите Крупеню, – сказал ей Вовочка. Она кивнула и ушла, не подозревая ни о провалившейся пуговичке звонка, ни о визите Ключевой, ни о том, какие сложные обстоятельства спасли ее от неприятностей.

Когда Крупеня вошел, Вовочка уже написал приказ во изменение. Он протянул его Алексею Андреевичу и сказал:

– Ты позвони в бухгалтерию. Может, они еще тот приказ не запустили, тогда пусть не торопятся. И с Михайловой ты поговори сам. Пусть они все вместе помозгут, что из этой истории может быть полезно для газеты. Говорю сразу – Михайловой теперь будет труднее.

Я в ней не уверен. Но цопытку даю. Хотя и под твоим нажимом, но даю. – Вовочка засмеялся. – Боюсь, Леша, что, уступая тебе, я в этой истории не много для газеты выигрываю... Мне ведь оттуда прокурор звонил. До-тошный мужик, он ведь теперь на нашу редакцию заведет досье.

– Ну и что? – спросил Крупеня. – А ты испугался? Царев побледнел. Зря он про звонок. Не мешало еще, чтоб его обвинили в трусости. Он придумывал фразу, которая должна была объяснить этому недоумку, что почему, раз он элементарных вещей не понимает, но фразы не было. А Крупеня, как назло, цепко держал его глазами и все видел и даже, наоборот, зарозовел, убеждаясь в этой неправильной, обидной идее, что он, Царев, просто трус. Откуда было Вовочке знать, что Крупеня думал сейчас о другом. О том, что Вовочка, конечно, сейчас вывернется, найдет слова и поставит нужные знаки препинания. Но какая же это премерзкая жизнь – все время выкручиваться, а ведь вся его главная сила в этом умении. Нет другой. И ведь когда-нибудь он не найдет нужного слова и нужного хода... Ну, заболит у него что-то, и тогда... Эх, Вовочка! Вовочка! Ужа-чишко ты на сковородке! Вот ты кто...

– Чем же ты все-таки руководишься, возвращая Михайлову? – спросил Крупеня.

– Твоей убежденностью... Я в Михайлову не верю, но допускаю, что прав ты... – Вовочка не допускал этого – он делал Крупеню должником, и тот это понял. Понял он и другое. Задний ход не случаен, и, уступая ему на позиции «Ася», Царев будет наступать в другом месте. И где это место, Крупеня знал тоже. Но и Вовочка не маленький интриган из провинциальной парикмахерской, и поэтому, распорядившись относительно Аси, он сказал с металлической заботливостью:

– Теперь можешь спокойно возвращаться в больницу. Несмотря на твое неделикатное отношение к та-

мошной профессуре, тебя готовы простить и принять.

– Что-то не хочется, – сказал Крупеня. – Погожу...

– Ну, как знаешь, – согласился Вовочка. – Как знаешь... – И он стал звонить, считая разговор оконченным, и Крупеня ушел, испытывая странное ощущение удовлетворенности и стыдную горечь. Он был рад, что все хорошо кончилось с Асей. Но неужели жизнь его будет теперь состоять из таких вот побед? Сторож при бюрократической мясорубке. Этого – казнить, этого – помиловать, этого – казнить, этого – помиловать... Пардон, пардон, а вот этот ведь совсем из другого списка, он ведь во изменение приказа... Все, конечно, не так... Все, конечно, не так... Но почему же тогда ощущение стыда и неловкости? Ах, вот... Вся кутерьма привела к двум строчкам в приказе. А ты, дурак, писал в расписке: «В случае смертельного исхода...» И состарившаяся на десять лет женщина самолетом туда, самолетом обратно... Странная, несоразмерная в пропорциях жизнь... И все-таки он понял сейчас Царева: он – уж.

...Всего этого Олег не знал, потому что просидел много часов на совещании комбайнеров, выпытывая у них в перерыве всю не сказанную с трибуны правду, а потом пил «Цинандали», думал о Марише и о том, что надо уехать.

– Заходи, – сказал Крупеня. – Дать стакан?

– Разве это чай? – махнул рукой Олег. – Так, крашеная кипяченая вода.

– Ну да! – возмутился Вовочка. – Я сам заваривал. Из расчета пол чайной ложки на стакан.

– Предпочитаю две, – ответил Олег.

– Так ты, братец, оказывается, наркоман, – засмеялся Крупеня. – Забвение тебе требуется?..

– Точно! – ответил Олег. – Что бы вам меня действительно куда-нибудь послать годика на два? В какой-нибудь дрейф... На льдину... Или на подлодку...

– А ты не только наркоман, – продолжал веселиться

Крупеня, – ты еще и романтик...

– А в Антарктиду с очередной экспедицией поедешь? – спросил Вовочка. – На полтора года...

– Хоть завтра.

Олег еще не знал, что этот ничего не значащий с виду разговор мог определить его судьбу. Экспедиция в Антарктиду – давняя мечта редакции. Но пока ничего не получалось. На все слезные просительные бумаги было несколько интеллигентных вариантов ответа: число людей ограничено, нужны только специалисты... Рейс связан с определенными специфическими трудностями... И самый оптимистичный – вот будут следующие экспедиции, тогда посмотрим. Олег слышал об этом, поэтому предложение Вовочки воспринял как предложение игры: а в Антарктиду хочешь? А на дно океана? А в космос? Так этот разговор воспринимал и Крупеня. Оба не знали, что вопрос о корреспонденте в антарктическую экспедицию сегодня был решен. Элементарно, одним дружеским звонком. И сделал это оболюбованный Вовочкой перспективный зам. Воистину цены этому человеку не было. Он был вездесущ. Он знал всех и вся. И всюду имел ходы. Он смеялся, как младенец, читая переписку редакции с разными учеными дядями. А потом сказал: «Подвинь мне телефон». И в минуту все устроил. Вовочка рассказал это Крупене и Олегу, почему-то нахмутив брови.

– Это феноменально, – говорил он. – Феноменально! – Нахмуренные брови противоречили и восторгу, звучавшему в голосе, и высокой оценке деяния, но... Но что ни говори, а это и ему, Владимиру Цареву, нокаут, значит, его положение и его связи, извините, ничто? Будь Вовочка только себялюбец, он бы задумался, брать или не брать такого ловкача в одну упряжку. Но он был человек мудрый и понимал – такого именно и надо. Этот не будет мешать ему там, где мешает Крупеня. Ему это просто неинтересно, но он даст газете то, чего Кру-

пеня, даже родившись заново, дать не сумеет. – Такой человек в наше время – клад, – подвел итог Вовочка.

Олег и Крупеня молчали. Олег потому, что реальная возможность уехать потрясла его, и сейчас он думал, как это все будет, и правильно ли это, и не трус ли он просто-напросто, если отбросить всю соблазнительность командировки... Крупеня же думал, что почти все бумаги, которые до сих пор отсылались по инстанциям, писал он. И звонил он туда несчитанное количество раз. И подружился на этом деле с милейшим Антоном Павловичем, потому что как будешь другим, если у тебя такое имя и отчество? И милейший Антон Павлович показал ему бесполезность новых попыток в этом деле. «Не время, не время, не время», – мурлыкал он в трубку. Когда это было? Всего месяц назад...

Крупеня почувствовал себя старым и больным. И тогда Вовочка посчитал возможным снять напряжение... Разулыбался и подарил анекдот:

– Мальчик спрашивает у отца в зоопарке: «Папа, почему у жирафа такая длинная шея?» – «Видишь ли, сынок, – отвечает отец, – у него голова так далеко отстоит от туловища, что без длинной шеи ему просто не обойтись...»

Принесли на подпись готовые полосы.

– Тебе никто этого не скажет. Никто, – резко сказала Светка. – Ты из тех, кому говорят только комплименты. А в этой ситуации все будут сравнивать тебя и Тасю и понимающе разводить руками.

– Светуля! Ради Бога! Я не меньше тебя...

– Да, знаю. Мучаешься, терзаешься... Ты же порядочная. Ты хорошая.

– Сколько иронии!

– Не нужен он тебе. Вот о чем ты не подумала. Отогреешься, отдохнешь и увидишь, что он – человек, с которым тебе не интересно.

– С ним интересно, Светка...

– Да перестань ты цепляться к последнему слову и на него отвечать. Ты пойми главное, что я хочу тебе сказать.

– Я не знала, что ты ханжа.

– Совсем я не ханжа! – закричала Светка. – Если б ты знала, как часто мне хочется прописать людям любовное приключение как лекарство. Сколько дистоников, неврастеников это спасло бы. Как надо сорокалетней женщине плюнуть на немытые тарелки, на неглаженое белье, на неприятности по работе и сбежать на свидание к чужому мужу. Сразу два исцеления. Спасение от двух бессонниц...

– Ну вот и прописывай...

– И буду... Все прекрасно, Мариша, что делает личность здоровой, смелой, уверенной в себе. Что толку от верности, если никому от нее нет радости? Но ведь у тебя другой, противоположный случай. Тебе на минуту стало хорошо, а потом вам всем будет плохо... Очень плохо. Ну как ты этого не понимаешь?

– Будет хоть что вспомнить... И мне, и ему...

– Не паясничай! Ты так не думаешь. Мариша, прости меня! Но если я тебе не скажу, тебе никто не скажет правды.

– Кроме меня самой, Светка. А я себе еще и не то говорю...

– Ну слава Богу. Должна же ты носить в себе противоядие от всеобщего обожания.

И они замолчали. Мариша закрыла глаза. Пусть Светка считает, что только она все понимает. В двадцать пять лет это нормально. Вот даже любовь хочет ввести в арсенал медикаментов. Откуда ей знать, дуручке, что любовь для израненной души в такой же степени бальзам, как и яд. Все сожжено, и уже нет вчерашних, позавчерашних вкусов и представлений, и самым главным, самым важным становится человек, ко-

торый сумел пробиться к тебе сквозь твою собственную немоту, глухоту, неподвижность. Ах, он не комильфо? И слава Богу! Не так воспитан? Еще лучше! Он и не физик, и не лирик? Да как вы не понимаете, люди, что это-то в нем самое интересное!

Светка смотрела на сестру. Та закрыла глаза, сжала губы и стала похожа на отца. У него во сне всегда такое сосредоточенно серьезное лицо. И у Сени тоже. А когда они с открытыми глазами – все разные. У папы глаза добрые и виноватые. У Мариши – как праздник. Она помнит: умерла бабушка, Мариша стояла у фоба, и из ее неприлично сверкающих глаз падали громадные сверкающие слезы. И все на нее смотрели и говорили: «Ах, какая красавица!» А у Сени глаза колючие. Возможно, это из-за очков, но, скорей всего, так оно и есть. Сенья действительно колется. Они с отцом антиподы. «Человеку не хватает доброты и великодушия» – это отец. «Человеку не хватает злости и убежденности» – это Сенья. Мариша вся из папиной доброты и виноватости. А что же у них от мамы, от Полины? Вот этого и не скажешь сразу.

– А Полина бы на меня не стала топтать ногами, – тихо сказала Мариша.

– Я сейчас как раз думала: что у нас от нее? Я вот ее родная дочь, а не знаю...

– Какая там ты родная дочь! – вздохнула Мариша. – Это я ее родная дочь. А ты подкидыш... Ты на улице росла, тебя курица снесла...

– Болтай, болтай... А я знаю, что у меня от нее – решительность... А ты размазня. В папу.

Позвонили в дверь. И обе они подумали об одном – пришел Олег. Светка смотрела строго и понуждающе. Мариша прижала руки к груди и со счастливо-отчаянной улыбкой пошла открывать. За дверью стояла Ася. Они втащили ее в комнату, обрушив на нее искреннюю радость, смешанную с облегчением, что при-

шла именно она. Ася подняла на Светку смеющиеся глаза, от которых мелко разбегались морщины.

– Между прочим, душенька моя, приходила в редакцию некая Ключева, велела рассказать о тебе миру.

– Только посмейте! – закричала Светка.

– Ладно, – махнула рукой Ася. – Это я так...

– Почему же так? – сказала Мариша. – Светка стоит того...

Ася покачала головой – не надо, мол, при ней. Она уже жалела, что так неожиданно брякнула, не ожидала так поздно встретить здесь Светку, а эту бумажку с данными увидела перед самым уходом. Она была небрежно засунута под стекло на Калином столе, и изящной каллиграфией Кали на ней было начертано: выяснить, что за особа...

Особа хлопала глазами. Неужели правда, что Ключева ездила в редакцию? Как она сумела? Она представила себе перекопанный двор нового дома, шатающиеся, проваливающиеся дощечки железнодорожной платформы. Сумасшедшая баба! Хочешь – не хочешь, а надо к ней ехать. Тьфу ты, будь она неладна, эта Ключева.

И Светлана убежала, а Мариша стала кормить Настю, вернувшуюся из Дома пионеров. Девочка поставила перед тарелкой книгу – вот так всегда, – но сегодня Мариша не сердилась, села поближе к Асе.

– Ты только не волнуйся. Все у тебя будет хорошо. Вовочка с какого-то перепугу наломал дров, но, в сущности, он свой парень. Он понял и поправился.

Ася поморщилась.

– Знаешь, он кто? – спросила она. – Фокусник, Мною он сработал, как шариком. Хоп – и в шляпе.

– Брось! – искренне возмутилась Мариша. – Он не такой. Он на самом деле вырабатывает линию поведения, в чем-то ошибается, но я не сомневаюсь, что, в принципе, он порядочен и ему уже неловко из-за всей

этой истории.

– Ах, перестань! – сморщилась Ася. – Как мы его хорошо понимаем! Ведь он у меня даже не спросил, что произошло. Ему не важна суть дела, истина, его волнует одно – как он с этой истиной в паре выглядит. Разве во мне дело? Ведь у него все второстепенно! Газета, люди, драмы – все на втором плане. Подходит или не подходит к носимому им костюму? Вряд ли я сработаюсь с ним... У нас разные точки отсчета.

– Недоразумение, – горячо повторила Мариша. – Недоразумение. Просто тебе не повезло, а ему не хватило сообразительности. Так, Асенька, бывает... Человек – существо слабое, ошибающееся...

– Он не слабый, Мариша. Он способный. Он неглупый. У него бездна достоинств. Только ему на всех наплевать. Он утешается только самим собой. Помнишь, Светка на твоём новоселье говорила: вы самоудовлетворяющиеся. Я тогда даже возмутилась! О чем это она? Мы не такие! А мы такие... Такие в глазах окружающих, потому что впереди пишущей братии – вовочки. И пишем мы – для себя. Читателю со стороны давно это видно. Видно, как наплевать вовочкам на всех и вся – на меня, на тебя, на родителей, на землю, на родину. Извини, это не пафос – это формулировка. Эти блестящие, якобы современные мальчики сами себя вычислили, на весах себя взвесили, они не ходят, как люди, они себя двигают, как в шахматах. Их порядочность – тире подлость, их талант – тире проституция, их работоспособность – не что иное, как жадность. И Вовочка кликал себя шестидесятником, а обернулся дерьмом.

Мариша смотрела на Асю с ужасом.

– Но ведь такого, как ты описала, нельзя звать в дом! С таким нельзя здороваться. А он у меня ест и пьет... И я клянусь тебе, я не вижу в нем ничего страшного.

– Прозрей, – сказала Ася. – Открой сомкнутые негой очи... Постигание правды стоит некоторых неудобств.

Будешь пить чай с рядовым составом.

– Ладно, ладно, – сказала Мариша. – Хватит о нем. Ты скажи, как дома?

– Нормально. Хотя я всех перепугала своим появлением.

– Аркадий обрадовался, да?

– Наоборот. Гнал назад! За долгие годы жизни со мной он, оказывается, все-таки понял главное в нашем деле: надо сначала доказать свою правду, а потом уже хлопать дверью. Меня тогда захлестнули обида и гнев. Я никогда не прощу себе потерянного вида, с которым стояла перед Вовочкой. Ведь ты только пойми!.. Настоящая трагедия – Любава. Все подлинно, все страшно. Понять! Разобраться! Предотвратить повторение! Ломать голову! А он пишет приказ. Нет меня, значит, и нет вопроса, рвутся нити, которыми привязана эта история к редакции. А Олег и Корова санируют поверхность. Блеск!!

– Олег? – тихо переспросила Мариша. – Олег санирует?

– Ах, Боже мой! Ну, конечно, они не такие! Они там копались, разбирались, у них интересные мысли, наблюдения. Они меня защищают. Но ведь я говорю о Вовочке. Для него они только – мероприятие, чтобы предотвратить неприятность. У фокусника сломался ящик с двойным дном. Он зовет мастеров. Надо починить, иначе в нужный момент не вылетит птичка.

– А ты злая, – сказала Мариша. – Вот не знала. Я боюсь быть категоричной. И оставляю Вовочке надежду... Он ведь наш...

– Знаешь, я ехала в Москву под лозунгом: «Наши – самые лучшие. Со знаком качества». Оказалось – фетиш... Я не злая, нет... Я рассердилась, Мариша... Мне надо в командировку ехать, мне надо статью писать... А я все вроде бы свои дела устраиваю... Отвратительно!..

– А что там за письмо о Светке?

– Я им займусь! Мне и Светку твою понять хочется. Парадокс. Я всю жизнь ненавижу проповедь добра с кулаками. Это извращенное оправдание жестокости. И вдруг вижу эту идею, воплощенную в доброй умнице девочке. Или я ошибаюсь?

– Нет. И умница. И добро. И с кулаками. Я думаю так: после меня, не получившейся, должно было в нашей семье появиться что-то путное?

– Мариша! Что за чепуха!

– Я тебе завидую! – призналась Мариша. – И Светке завидую. Мне, Ася, и жить не для кого, и умирать не за что... И не смотри на меня так... Самый решительный поступок, какой я способна сейчас совершить, это увести чужого мужа. И больше – ничего, хоть шаром покати...

– Тебе это ничего не стоит.

– Вот! Вот! – закричала Мариша. – Не стоит! Мне вообще ничего не стоит! Мне все даром! Все на блюдечке! Даже ты так считаешь, даже ты! Вот и пусть так будет – буду брать, раз мне ничего не стоит. И возьму! – Мариша зарыдала и убежала в ванную. Ася подошла к двери, прислонилась лбом, почувствовала, что устала, хочет спать, что выйдет Мариша, и она ей об этом скажет. Но Мариша все всхлипывала, и это было хорошо слышно у двери, несмотря на предусмотрительно пущенную из крана воду.

«Эта командировка – подарок», – думал Олег, выйдя из кабинета Царева, и вдруг понял: врет. Какой он ни бродяга, какой ни путешественник, а вот наступил в его жизни момент, когда самая соблазнительная из соблазнительных командировок не может принести утешения, а заманчивая тема не кажется важнее, чем своя, Олегова жизнь. На минуту подумалось: что это? Первые признаки усталости? Или же старость? «Если первостепенным у журналиста становится личное кровавое

давление, уходи в клерки». Одна из записок Бори Ищенко. Но при чем тут это? У него не старость, не усталость, не давление. У него сердце пополам. Вот у него что. Не везти же с собой в Антарктиду раздвоенность и ждать, какая из половинок скорей отомрет на холоде? А вдруг не отомрет? Отдать половинку пингвинам? Пусть похлопают и проголосуют, как ему быть?

Он позвонил Марише и сказал: «Возникла Антарктида. Может, это провидение? Год разлуки нам всем нужен». – «Мне не нужен, – ответила Мариша. – Я не хочу, чтоб ты уезжал». – «Я приеду быстро, ты даже не заметишь...» – «Этого нельзя не заметить – год». – «Я люблю тебя...» – «А я боюсь слов, Олеша...» – «Мариша, пойми!..» – «Я все поняла: путь ко мне лежит через Антарктиду». – «Ты знаешь другой, короче?» – «Метро...» – «Я сейчас приеду...» – «Сейчас не надо. У меня Ася».

«А что, собственно, Ася? – думал Олег уже дома. – Она знает больше других. От нее скрывать бесполезно. И вообще я ни от кого ничего скрывать не собираюсь... Надо честно... Надо сказать Тасе...»

Тася делала вид, что проверяет тетради. Все последнее время Олег сам не свой. Она не дурочка, она понимает – Мариша! Она о ней давно знает, еще со времен своей первой беременности. Тогда ей доброжелатели донесли. А не донесли бы? Что, у него по глазам нельзя было прочитать все от начала до конца? Она читала, как ему худо и как он страдает. И даже мысль ее тогда посетила, неожиданная, странная для оскорбленной женщины: чем же это Олег не вышел, что ему, умному, красивому, талантливому, от ворот поворот?

Тогда же ей гадала одна цыганка-сербиянка. Сказала: «Будет двое детей, а мужик твой уйдет к чернявой. Но ты не переживай. Найдется и на тебя хороший человек. Военный. И будешь ты жить в богатстве и ездить на машине». У сербиянки были горячие шершавые руки и колющие насмешливые глаза. Деньги она сунула за

пазуху и прибавила: «Жить будешь долго, и дети будут жить долго, и без хлеба никогда сидеть не будешь, и одежда на тебе всегда будет приличная. Умирать будешь с улыбкой».

После этого гадания Тася долго плакала: значит, у них с Олегом не навсегда?

– Тю, дура! – сказала ей мать. – Нашла кого слушать! Эта цыганка чертова всем разводы предсказывает, потому что у самой мужика сроду не было. Она по женской части неполноценная.

А потом все забылось, все прошло. Чем дальше жили, Тем больше она ценила мужа: за то, что не пьет, за то, что детей любит, за то, что не бабник, за то, что себя не жалеет на работе, за то, что у него слово никогда не расходуется с делом, что если он сказал, то сказал; за то, что он жалеет ее первоклашек, брошенных отцами, желваки у него ходят, когда она рассказывает истории некоторых своих учеников.

В последние годы надежность Олега прошла еще одну, ему не известную проверку. Недавно она стала чуть посвободней – подросли дети, вот и появились у нее первые московские подруги. До этого с бюллетенями, с хворобами все было не до того. А тут вроде сутки стали шире – и по телефону поболтать можно, и в магазин просто так зайти, и в гости сбегать.

И стала Тася попадать впросак, принимая за чистую монету длинные и сладкие телефонные разговоры новых подружек:

– Ах, так тебя хочется видеть! Ах, собралась бы! Чтоб нос к носу, пошептаться, поплакаться...

И влезала Тася в сапожки, и ехала через всю Москву, держа за жгутик коробку с тортом, чтобы обрадовать кого-то, чтоб дать возможность – как это? – нос к носу...

Всегда приезжала не вовремя и некстати. Будто и не звал ее никто. Потом поняла: телефонный стиль отношений не подразумевает большего, чем разговор в

трубку. Поговорили, и хватит. Ехать-то зачем? Встретаться? Возвращалась назад потерянная и растерянная, давала себе слово: никогда больше! И снова ехала, потому что опять верила необязательным словам, и опять попадала впросак с этим своим простодушным буквализмом. Ну как же не ценить после этого Олега, который если говорит кому-то по телефону «приезжай», то тут же раздвигает стол, а если занят, если пишет, то так и говорит: «Не могу, работаю, кончу – позвоню... Не сердись...»

Тася никому не признавалась, но от неумения приспособиться, научиться правилам игры страдала. Получалось так, что все ее воспитание, все ее убеждения, все взгляды, все то, что она считала честным и правильным, – все, как тот мост, что выстроили не поперек реки, а вдоль. Хороший мост, но кому он нужен? Пусть бы поплосше, но чтоб перейти было можно... И в этом своем смятении всегда находила одну опору – Олега.

А вот последние месяцы – сплошная мука. Даже сербиянку вспомнила: «Уйдет к чернявой». «Не уйдет, – думала Тася. – У него и ноги не пойдут, и голова о таком не подумает». Но видела – думает голова. Становилось страшно не оттого даже, что уйдет, а оттого, что без Олега – вроде бы невесомость. Где верх, где низ, где право, где лево? Она и заработает, и прокормит ребят, и воспитать их сумеет. Здесь ей будет просто страшно. Сколько лет в Москве, а страшно. Она до сих пор с опаской опускает пятак в метро, ждет, что ее ударит. Она стесняется парикмахерских, где ее причесывают как придется, заранее убежденные, что, как бы ни причесали, она скандалить не будет. Как же ей остаться с глазу на глаз с этим враждебным, непонятным городом? Без Олега, одной?

Тася не видела: Олег давно стоит в дверях, смотрит на нее. Он принес ей в клюве очень красивую фразу: «Я так тебе скажу, Таисия, жить без любви – безнравствен-

но». И, повернись Тася к нему сразу, слова были бы сказаны. Но она его не услышала. Она сидела так неподвижно, так печально окоченев, что Олег испугался: жива ли?

– Тася! – крикнул он и выронил красивую фразу.

– А? – ответила Тася и вскочила и уставилась на него с ужасом: вот сейчас... Что же она ему скажет? Наверно, надо так: «Я желаю тебе счастья, Олег. Обо мне не беспокойся».

– Ты знаешь, – сказал Олег. – Мне предлагают поехать в Антарктиду с экспедицией.

– Ой! – обрадовалась Тася: «Не то, не то!» – Ой, как интересно. Я так рада, так рада!

А сердце билось так, что подумалось: «сейчас умру»

– Это целый год, мать! – сказал Олег.

– Господи! Ну и что? – запричитала Тася. – Справлюсь! – Что значили теперь год, два, три, если она только что приготовилась жить без него всю жизнь! – Ты о нас не думай! Все будет хорошо. Ты же писать будешь?

Олег смотрел, как она кружила по комнате, что-то поправляла, трогала, вся помолодевшая, похорошевшая от этих ненужных, нелепых движений, жена, которую полагалось, требовалось сейчас отрезать от себя безжалостно и начисто, потому что так – нравственно?

– Столько увидишь, столько узнаешь и напишешь книжку, – говорила Тася, и сама удивлялась, как складно говорит. Про книжку даже сообразила... Ведь не о том она сейчас думает. Она думает: Антарктида – это ее счастье, это ее удача. Олег уедет и будет жить воспоминаниями. И какая бы Мариша ни была красивая, чем бы она ни одарила его за это время, о ней и детях он все равно будет вспоминать чаще. Ведь есть же что вспомнить – и хорошего, и веселого. – Книжку напишешь, мальчики радоваться будут, что папка – писатель, – пела отделенная от сердца гортань, принявшая на себя роль собеседника.

«Болезни ребят вспомнит – забеспокоится. Телеграммы будет слать – ждать ответа...»

– Ты здорова, мать? – спросил Олег. – Щеки у тебя красные...

– Когда это я болела? Я просто очень за тебя обрадовалась!

– Я тоже рад! – сказал Олег и вышел покурить на площадку. Странное у него было ощущение, будто самого главного разговора не было и тем не менее – он был. Путь в будущее все-таки лежал через Антарктиду. Короче пути не было.

«Это мое счастье такое, – злилась Корова, – как я дежурю, так в газете одна ахиня. Кто здесь работает? Кого набрали? Не умеют согласовывать подлежащее со сказуемым! Не статьи, а огнетушители – шум и пена». Она черкала и черкала полосы красным карандашом. Это тоже была ее манера. Вопреки указаниям, просьбам, распоряжениям она одна продолжала расправляться с газетой при помощи толстого красного карандаша, отчего газетные полосы, прочитанные ею, казались прошедшими через перестрелку и мелкие уличные бои. Статья на второй полосе была написана писателем, которого Корова уважала. Она оставила ее напоследок и даже карандаш отложила, приготовившись читать. Мягкий, интеллигентный язык успокоил ее. Наконец-то по-русски! Но уже на второй колонке она, как партизан, нарвавшийся на засаду, схватилась за оружие.

– Вот черт! – ругнулась Корова. – Что же это такое? «Есть вещи, за которые не жалко отдать жизнь, а душу жалко». Корова поставила на полях жирный красный вопрос, «Они что, все с ума посходили? Ничего не вычитывают толком? Что это имеет в виду мой дорогой Николай Сергеевич? Что это за дело, за которое можно отдать жизнь без души? Я дура, я не знаю. Пойду спрошу...»

Тяжело дыша, как всегда после долгого сидения, она пошла к Вовочке.

Главный тоже читал в это время писательскую статью.

– Что тебе? – спросил он.

– У тебя в каком месте душа? – осведомилась Корова.

– В пятках, – засмеялся Вовочка. – Когда ты приходишь – в пятках. Я чувствую, что все надо с полосы снимать, что подлежащие и сказуемые...

– ... не согласуются, – перебила Корова. – Ну и черт с ними. Теперь модно не согласовываться. Ты мне скажи лучше, за что жизнь отдать не жалко, а душу жалко?

Вовочка смотрел на нее непонимающе.

– Никому не нужна жизнь, если отдают ее без души. И не дай Бог, ежели кто-то так сделает... Равно как и душа, вылетевшая из только что освежеванного тела, тоже практической ценности не имеет... Николай Сергеевич, видимо, накануне ухода в лучший мир оставляет нам не те заповеди, старик... Тебе что, глаза застило?

– Подожди, – сказал Вовочка. – В контексте все как-то не так. Ты выдержишь...

– Ты меня не путай! – возмутилась Корова. – В контексте все шито-крыто. И это ужасно. Вершина лицемерия, лицедейства или как хочешь это назови. Жизнь к ногам брошу, но душу... Чувствуешь... Жизнь на продажу, а душа во спасение?.. Так вот, не знаю, как тебе, а мне это глубоко противно. Предпочитаю жизнь, и чтоб ею не разбрасывались, и чтоб душа в здоровом теле, а не на божничке, под лампадкой...

– Это что, можно понять и так? – поморщился Вовочка.

– Я все сказала. Вот полосы. Смотри. А Николаю Сергеевичу я сама позвоню.

– Да, позвони, – обрадовался Вовочка, – и пусть он сообразит, как это подправить.

Корова дозвонилась и, оборвав положенный обмен

взаимными комплиментами, сказала писателю, что думала. И о лицемерии тоже. Тот вдруг почему-то испугался и тут же стал предлагать фразы взамен. В общем, через десять минут все было исправлено, и Корова почувствовала опустошение. Она пошла гулять по ночной редакции, тыркаться в закрытые двери, зашла к Крупеня. Тот сидел за новым блестящим столом, и вид у него был несчастный.

– Он тебе не идет, – сказала Корова, постучав по тумбе ногой.

– Вижу, – смутился Крупеня. – А главное, ничего в него не влезает.

– Выбрось все лишнее, к чертовой матери, – посоветовала Корова.

– Также верно, – согласился Крупеня. – А начнешь перебирать – вроде жалко.

– Ты лучше себя пожалей. Желтый весь... Такой стол требует хорошо откормленного, здорового мужика...

– Ты меня не выживай, – грустно сказал Крупеня, – Без тебя знаю.

– Ничего ты не знаешь, – вздохнула Корова. – Тебе бы плюнуть на всех и думать о себе. И о здоровье, и о своих писаниях. А ты добрый... На таких хорошо воду возить. Но я тебе так скажу: если ты уйдешь – я тоже уйду.

– Вот еще новости! – Крупеня даже рассердился.

– Слушай, Лексей, Божий человек, – тихо сказала Корова, – я устала...

– Брось, – махнул Крупеня, – да ты еще...

– Как загнанная лошадь, – продолжала Корова. – Ну, ты сам сообрази... Больше двадцати лет я все время в состоянии полной боевой... А я, между прочим, женщина...

– Кто ж спорит... – Крупеня растерялся. Все что угодно, но вести разговор на тему: женщина ли Корова, этого не мог, это ему никогда не приходило в голову.

Конечно, женщина, но все-таки...

– Знаешь, как у меня иногда болят потроха?.. Жить не хочется... А разве вам это можно сказать? Что вы, мужики, поймете? Какая-нибудь мужская стервь заорет: «А у нее уже климакс!» Хотя у него у самого климакс всю жизнь...

– Выдумываешь, кто бы это на тебя заорал?

– Пусть попробует! – сказала Корова. – Пусть попробует! Я – Священная Корова, меня нельзя трогать...

– Точно! – Крупеня обрадовался, что разговор из трудного переходит в элементарный «коровий».

– Полегчало? – с иронией спросила Корова. – Лягаюсь, кусаюсь, и жалеть меня не надо... Так?

– Ты ведьма, – сказал Крупеня. – Я тебя боюсь. Может, возьмешь отпуск?

– Пошли меня лучше в командировку по безнадежному письму, чтоб мне пришлось землю есть, докапываясь до истины. Я и очухаюсь...

– Бросаете меня, черти, – грустно сказал Крупеня. – Олега потянуло на льдину, тебя – землю есть... Кто ж работать будет? Строчки гнать?

– Найдутся, – вздохнула Корова. – Значит, бежит Олег?.. А я все думала, как он выкрутится?

– Ты о чем? – не понял Крупеня.

– Так... Я пошла, старик. – Корова встала, подвигала затекшими ногами: «Вот черт, всегда к ночи», и, махнув Крупене рукой, вышла.

«Что я могу для нее сделать? Что? – думал Крупеня. – Ведь действительно устала женщина. Десятерых стоит...» И он стал у себя в столе искать «безнадежное» письмо.

За полночь Корова спускалась вниз, чтобы найти редакционную машину, которая отвезет ее домой. Вместе с ней уходил из редакции молодой сотрудник из спортивного отдела. Уже в лифте он сказал, что на ма-

шину не претендует, что за ним приедут, и всякое такое... Корова рассматривала его тонкую, какую-то ломкую фигуру, стараясь сообразить, сколько ему лет. Двадцать или тридцать? Вышли вместе. Возле новеньких «жигулей» в снежки играла молодежь. В девице в распахнутой дубленке Корова узнала Калю.

– Ченчикова! Поедьте с нами! – закричала Каля. «Поеду! – подумала вдруг Корова. – А чего, собственно, не поехать?»

И она втиснулась в машину.

– А Кузю на колени, а Кузю на колени! – закричал кто-то.

И только когда машина тронулась, Корова сообразила: гонкий и ломкий Кузя – от двадцати до тридцати – сидит у нее на коленях. Для удобства он обнял ее за голову и прижал ее нос к своему пиджаку, от которого пахло каким-то неизвестным Корове одеколоном, хорошими сигаретами и типографской краской. «Мост между поколениями проложен», – мрачно подумала она.

Потом они подымались в тесном лифте, Каля задрала дубленку и платье и стала подтягивать колготки. Парень, что вел машину, двумя пальцами оттянул нейлон и понимающе пощупал.

– Франция! – сказал он убежденно. – Скажи, какой я умный.

Корова шлепнула Калю.

– Не стыдно?

Каля отряхнулась, посмотрела на нее с иронией. – Анечка! Не морализируй. Тут этого не поймут. Потом вошли в большую комнату. – Я тут уже была, – громко сказала Корова. – Сто раз.

Хозяин, полнеющий мужчина с добрыми безвольными глазами, удивленно посмотрел на нее.

– Вы меня с кем-то спутали, – сказал он ласково, усаживая Корову в широкое кресло и подвигая к ней столик, на котором стояли вино и яблоки.

– Была, – упорствовала Корова.

– Ну и пусть, – согласился хозяин. – В конце концов, это даже лестно, вы приходите ко мне в дом, и вам кажется, что вы здесь уже были много раз.

– Ничего не лестно, – сказала Корова. – Наоборот. У всех до тошноты одинаково. Будете при свечах танцевать?

– Будем! – закричала Каля. – Но когда вам, Анечка, успело это надоест? Вы часто танцуете при свечах?

– Когда я танцую – свечи гаснут, поэтому прошу молодых людей меня не приглашать, – мрачно сказала Корова.

– Мы можем оставить свет, – предложил хозяин.

– Зачем же так оригинальничать? – снисходительно пробормотала Корова. – Скажут же такое – свет оставлять!

На душе у нее было противно. Зря она сюда пришла. В конце концов, сама же говорит: другое время – другие песни. Ничего она не имеет против свечей или коллекции лис, что стоит на полках, и Христос на стене ей нравится, умный и интеллигентный мужчина, и вино хорошее, не крашенная отравка по минимальной цене, и хозяин вполне ничего, спокойный, вежливый, очистил ей яблоко, вынул серединку, все чудно, если не считать, что яблоко она любит с кожурой и предпочитает выгрызать серединку, раскусывая тугие коричневые зерна. Христос ей знаком еще с детства, возле него чадила лампадка, и бабушка мелко на него крестилась тыщу раз в день... А сейчас возле Христа стоят по росту маленькие бутылочки из-под изысканных вин. Ближе к нему – коньяки, подальше – разные там мадеры... А свечи, на ее взгляд, очень жирные, и те, что уже побывали в употреблении, растеклись и потеряли форму, эдакая расплывчатая коптящая масса.

– Они все очень славные ребята, – сказал хозяин. – Я их люблю.

– Я тоже, – сказала Корова.

– Что же вам так у меня не нравится? – грустно спросил он.

– Все мне нравится. Чего вы ко мне пристали? Налейте лучше...

И она пила и смотрела, как плавают по стенам уродливые тени, как коптят свечи, как некто, видимо, очень знаменитый и очень веселый человек, соблазняет ее с магнитофонной ленты...

Потом Каля села к ней на подлокотник.

– Не брюзжите, Аня, – сказала она. – Вы расстраиваете милейшего хозяина своим видом.

– Я никогда не умела вести себя в обществе, – ответила Корова. – Пусть он меня простит.

– Он простит, он добрый, – сказала Каля.

– Да, да. – Хозяин присел перед Коровой на корточках, держа бокал за длинную сиреневую ножку. – И я хочу с вами выпить за то, чтоб вы на самом деле пришли еще и еще в эту халупу, которая вам показалась знакомой...

– Зачем? – спросила его Корова., – Господи! Да просто так... Посидеть в этом кресле...

Корова зажмурилась, пытаясь вспомнить, ходила ли она куда-нибудь, кроме Мариши, в гости просто так, посидеть, но не могла вспомнить.

– Просто так? – прошептала она. – В этом есть смысл?

– А в чем он есть? – резко спросила Каля.

– Вы такие обе прелестные, – сказал хозяин. – Одна ни в чем не видит смысла, другая ищет его во всем. Это очаровательно. А я – посередине.

Сдвинутые бокалы нежно зазвенели. «Я ищу смысл во всем? Я ищу смысл во всем... Я ищу смысл во всем? Я ищу смысл во всем...» – спрашивала и отвечала Корова. – Может, это не достоинство, а слабость? Ну и черт с вами. Пусть слабость. Но просто так я не могу и не буду...»

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.

Это уже сказано. И многие до нее проделали такой же путь сомнений и поисков. Нечего воображать, что это тебе одной досталось. Но, в общем, хорошо что досталось. Упорное желание «дойти до сути» – товар дефицитный. И дорогой. Не всем достается. Так-то, граждане, танцующие при свечах!

Хозяин протягивал ей еще одно очищенное яблоко.

– Съешьте сами. Я предпочитаю вот так. – И она вкусно впилась в твердый яблочный бок.

– Ради Бога, – сказал хозяин, – ради Бога! Ешьте, как хотите. – И он отошел.

«Ну что я из себя строю?» – подумала Корова. И снова запел некто бархатный и знаменитый, и тени плясали по интеллигентному лицу Христа, который давно постиг смысл всего и поэтому вполне спокойно, философски относился к коньячному соседству.

«Мне бы твое спокойствие, – подумала Корова. – Я вот так не умею...»

Ася отправилась к Ключевой в воскресенье утром. Командировка в Сальск была у нее со вторника, день до отъезда хотелось набить до отказа. Но пока она добралась, пока кружила в хороводе белых одинаковых домов, часы подошли к двенадцати. Стало тревожно: воскресенье – Ключева могла и уйти из дому, и тогда придется возвращаться ни с чем. А тут еще новоселы захватили лифт. Было совершенно очевидно, что в первую очередь будут подыматься вещи: коробка с посудой, ящики из-под пива с обувью, корыто с книгами. И Ася

пошла пешком по бесконечной, еще пахнущей стройкой лестнице.

Дом жил новосельем, но не тем, которое хмельное и застольное, а тем – самым ранним и хозяйственно трезвым, у которого свои особые признаки и радости. Обивались двери коричневым дерматином, вставлялись глазки, выводились к дверям кнопки звонков, привинчивались таблички с фамилиями. Шло обживание на первом круге. У многих дверей лежали чистые мокрые тряпки – значит, здесь уже все в порядке: и звонок, и глазок, и дерматин. Ася дважды передыхала, пока не добралась до нужной квартиры. На дверной ручке висел вырванный из середины тетради двойной листок. «Ничего не надо», – было на нем написано. Если учесть, что ни звонка, ни глазка не было и чистая мокрая тряпка у двери не лежала, записка на дверной ручке звучала вызовом всему этому сверлящему, стучащему, двигающему дому. Ася постучала. «Написано же», – крикнули за дверью, а потом ее открыли, и перед Асей, повиснув на костылях, предстала Ключева с лицом, не выражающим никакого гостеприимства.

– Цельный день сегодня, с шести утра, – сказала Ключева. – Цельный день – шабашник за шабашником!

– Я из газеты, – быстро ответила Ася. – Хочу поговорить с вами о Светлане Петровне.

Брови Ключевой поползли вверх, а потом сурово сомкнулись.

– Черт знает что, – удивилась она. – Я вчера сама приезжала. Поговорить хотела. Так ни у кого времени не нашлось! А в воскресенье ног не жалко в такой конец... – И она махнула рукой. – Входите.

Пока Ася проходила мимо, пока снимала коротенькие сапожки, пока вешала на вешалку пальтишко на «рыбьем меху» и ставила у порога сумку с надписью «Аэрофлот», Ключева вспомнила: именно эта женщина шла вчера по коридору и к ней взметнулась из кресла

длинноволосая, взметнулась так, что кожаная юбка скрипнула, как машина при резком тормозе. А Ася рассматривала квартиру, в которой все было сложено в угол и только кровать стояла правильно, была покрыта белым пикейным одеялом, и на подушках лежала кружевная накидка. И пикейное одеяло, и накидка – все это было из Асиного детства и поэтому умилило ее и насторожило. Умилило потому, что детство же! Это когда было-то? Еще при тех больших, как простыни, сотнях, на которые можно было купить два подержанных учебника для третьего класса. А насторожило, потому что Ася вспомнила мать, ее страсть к пикейным одеялам и кружевным накидкам. И если Ключева такая, то получится ли с ней разговор о Светке?

– Почему же вам все-таки ничего не надо? – начала Ася «от яйца». – Звонок-то надо?

– Потому что у меня сын сейчас в больнице, – ответила Ключева. – И я хочу, чтоб он приложил к дому руки. Что у меня, деньги лишние? Шабашники ходят – такие же пацаны, как и он. Значит, могут? Пусть и он себе делает.

– В общем, правильно, – сказала Ася. – Я, например, звонок сама себе ставила.

– Господи! – возмутилась Ключева. – Да и я все сама могу. И не потому, что костыли, я сижу. Я слово дала – ни рукой. Пусть сам. А так я и печку могу выложить, и трубу вывести как надо. Я наш барак толью три года тому крыла, когда протек. Весь сама, мужики снизу только советы давали. Праздник был, Пасха. Они штаны испачкать боялись. А может, Бога? Вдруг он есть?.. А такой квартирке ума не дать! Пусть сам после больницы придет и повозится.

– Правильно, – согласилась Ася.

– Правильно ли, неправильно, а будет так. – И Ключева постучала костылем – поставила точку.

В соседскую стену с остервенением впивалась дрель.

Ася подумала: этот звук ее преследует. Вспомнила, как Царев вешал чеканку на Маришином новоселье. Все его тогда окружили – ни дать, ни взять великий умелец колокол поднимает на церковь. И все ждут первого звона. И три пальца истово сложены, чтоб успеть при первом же звуке приставить их ко лбу. Когда Вовочка повесил, все захлопали, а Полина мокрой тряпкой вытирала обсыпанный известкой пол, мебель, а с чеканки смотрел на них длинный скошенный глаз грузинки, загадочный глаз, обещающий сразу то ли любовь, то ли смерть. Все говорили – блистательная работа, а главное, что она вне серии, «авторская». Асе чеканка не понравилась. Были в ней какое-то коварство, какая-то жестокость, спрятанная за красотой. И Мариша это поняла, вернее, почувствовала, полыхнуло в ее глазах смятение, но она поцеловала Вовочку. «Чудесно», – сказала она. А грузинка будто хмыкнула под своим легким кисейно-металлическим платком.

– Я хорошо знаю Светлану, – сказала Ася, отгоняя от себя звук дрели и все нахлынувшие с ним воспоминания. – Я тоже ее очень ценю и тоже люблю.

– Я ее не люблю, – вдруг сказала Ключева. – С чего вы взяли?

Ася растерялась. Что это с ней – не с Ключевой, а с ней, с Асей. Что за напасть? Ничего-то она не понимает!..

– Не люблю, – повторила Ключева. – У нас этому слову цены нет. Мать люби, школу люби, начальника люби, всех люби...

– А как, вы считаете, надо? – спросила Ася.

– Так, – непонятно ответила Ключева. – Я докторшу уважаю. При чем тут любовь? Уважаю – разве хуже? Вот Славку, сына, я люблю. А уважать – не уважаю...

– Ну, это вы зря. – Ася говорила мягко, осторожно. Может, Ключева – просто слегка ненормальная баба, как знать, что ее взорвет?

Они уселись в кухне, Ключева с наслаждением опер-

лась о высокую спинку стула. Ася поняла, что она так и не привыкла к своим костылям. Как же она добиралась до редакции? Не доверившись ни письму, ни телефону? А сама – не люблю. Ну, пусть. Видимо, ей слово «любовь» не нравится. Для этого могут быть тысяча и одна причина.

– Я с вами поговорю, потом схожу по ее участку. Просто к вам – я к первой, – сказала Ася.

– На участке сходите к Лямкиным. Они еще в бараке. Они ее тоже уважают. А про большие дома – не скажу. Там людей не знаю. Бегают она туда часто. Видела в окошко, а вот к кому – не скажу.

– Я узнаю в регистратуре, это не проблема. Вы мне лучше о ней расскажите.

– Она меня со своим мужем сюда перевозила. Вдвоем все таскали. У меня, конечно, вещи не громоздкие. Я старье сюда не хотела брать. У меня одни люди для своей дачи все оптом купили. Для дачи – лучше не надо. Вот кровать взяла – я на другой и спать бы не смогла, мне только ее и надо. Остальное – тряпки. Но таскать все равно много. До вечера носили.

Ася подумала: из этой истории не сошьешь никакого материала. В конце концов, у Клюевой должны быть сослуживцы. Наконец, просто знакомые. Если же Клюева – вредная женщина, которой никто не хочет помочь, то Свет-кина ретивость тоже немного стоит. Ну, помогла – и спасибо, что дальше, дальше что?

Клюева, как почувствовала, сказала:

– Думаете, глупая доброта? Или еще хуже: ну и штучка эта Клюева, ее даже перевезти было некому. Было кому. Просто лифт пустили на пробу, на день. Надо было успеть, а позвать я не успела. Так получилось... Вот куплю новую мебель – своих попрошу, подымут.

– Видите ли, – сказала Ася, – Светлана – врач. Мне важно знать, какой она врач. Какой она специалист. Будь она трижды добрая и отзывчивая, если...

– Не знаю, – сказала раздраженно Ключева, – не знаю. Я в хирургии лежала...

Вот и все, подумала Ася. Пропал день. Ничего она мне не скажет, потому что ничего не знает. И лечилась она в хирургии.

– Я посмотрела, – усмехнулась Ключева, – в редакции вашей все зелень, зелень...

– Разве это грех? – ответила Ася. – Это слава Богу. Это хорошо.

– Не знаю, – покачала головой Ключева, – не знаю. Безответственные они все. Взять моего сына... Вся жизнь за него другими продумана. «А чего мне думать? За меня, – говорит, – Совет министров думает! Я, – говорит, – потом соображу». А что потом? Когда потом? Едут в транспорте, трутся друг об дружку. Что те собаки. На это ума хватает. Губы развесят, глаза глупые, руки вольные. Стыдно. Я понимаю – живые, молодые, им хочется. И во все времена так было... Но зачем же в метро? Больше нигде? Мы как жили? Восемь человек на двенадцати метрах. Ужас, а не жизнь. Лежишь с мужем и ждешь – отец с матерью тоже еще не старые... А у этих сейчас квартиры. У Славки моего будет на одного целая комната. А он тоже, наверное, трется где-нибудь, где полуднее... Я их за это не уважаю... Дети они наши, надо будет – все им отдашь, а вот уважения нет... И они нас не уважают. За это же самое – что мы на все для них готовы. Что мы ради них последние штаны снимем. Они возьмут да подумают: ну и дураки. Одни без ума дают, другие без совести берут... У вас дети есть?

– Дочка, – сказала Ася. – Ей двенадцать...

– Хлебнете еще. – Ключева говорила, будто все знала наверняка. – Хлебнете.

– Мы сами в этом виноваты. – Асе уже интересно стало говорить с Ключевой.

– Нет, – сказала Ключева. – Виноватить себя тоже неправильно. Если живешь по своему разумению, по со-

вести, не надо себя винить. Чего с них груз снимать? Думать самому надо. А мы бьем себя в грудь – сами виноваты, сами! В чем я виновата? Мне сорок семь лет, а у меня тридцать два года стажа. В пятьдесят пять будет сорок. Я виноватая? И думать об этом не хочу. И вам не советую.

Ася вспомнила: до синевы выстиранное белье и оторванные пуговицы у матери Любавы. Дочка молоко пьет, а она глотает. Больно, доченька, больно? Кругом виноватая мать. Что тебе сделать, Любава? Какого тебе суконца купить, какие клипсы заказать?..

Полина когда-то штопала Маришины чулки. «Хочешь, я тебе этот черный шов сама нашью? Никто и не заметит...» И глаза виноватые, что нет у красавицы Мариши модных чулок с черной пяткой...

А ее собственные молитвы: «Господи, спаси Ленку – от белокровия, от менингита...» В какой они стороне?

– Давайте чай пить, – предложила Клюева. – Меня Светлана Петровна научила заваривать. Я себе удивляюсь – что я раньше пила? Помои!

Ася встала помочь. Они стояли рядом у белоснежной газовой плиты, одна чиркала спичкой, другая повертывала краник, а в стену назойливо, как в душу, вонзалась дрель... Д-з-з, д-з-з... И где-то в чужой жизни оседала на пол мелкая едущая известковая пудра.

– Может, он там себе зеркало повесит, будет теперь на себя смотреть, – сказала Клюева. – В своем зеркале все красивое. А может, ковер. Небось год в очереди стоял. Считаться ездил. Ну, давайте чай пить... И разговаривать. Так оно будет лучше...

Еще среди недели Василий Акимович позвонил Крупене и сказал, что поскольку в воскресенье приезжают старики, то собраться в честь традиционного двадцать четвертого надо у него, а не у Крупени, как договаривались прежде. Крупеня хотел спросить, а как же Женька,

ведь он его пригласил к себе, но Василий Акимович сказал сам:

– Дети в курсе. Будут.

Крупеня осуждающе покачал головой. Что за вредный? Нет чтоб сказать: сын, или Женька, или Евгений, нет – дети. Хотя это глупо. Дочка живет с ними, значит, не может не знать, что приезжают дед и бабка, а вот Женька как раз мог и не знать. Но знает. Значит, встречались? Или по телефону ему сообщили? Но, как бы там ни было, Женька будет.

Но то, что радовало Алексея Андреевича, очень и очень смущало Василия Акимовича. Как это все пройдет? Старики ведь не знают, что Женька ушел из семьи, ну, хорошо, это можно будет объяснить, а вот скрыть от них то, что они с сыном вообще не встречаются, что он сына знать не хочет, будет трудно. Поэтому с женой договорились так: Женьку надо будет под благовидным предлогом отправить пораньше. То, что он собирается встречать их на вокзале, как раз хорошо. Звонил, спрашивал, какой вагон. Это нормально. А дальше пусть посидит и уходит. Чем он меньше побудет, тем лучше.

На вокзал они приехали с женой загодя, потому что Василий Акимович не любил приходить минута в минуту. Он усадил Надю в зале ожидания, благо теперь зал новый, просторный и всегда есть, где сесть, а сам пошел прогуляться. Ему последнее время все хотелось остаться одному, потому что глупые мысли, кружа и петляя, с упорной закономерностью приводили его к Полине, к тому, что в маленьком городке старики с нею могли встретиться, а значит, мог и разговор быть. Этот разговор в разных вариантах и представлялся теперь Василию Акимовичу. Его тяжеловатое воображение долго и нудно строило одну ситуацию – встретились, поговорили. Другие варианты исключались. И совсем уж не мог он себе представить ту неожиданность, которую насочиняла с ним сама жизнь.

А неожиданность впрочем, какая же это была неожиданность?.. На станции Никитовка билеты продают в донецкий поезд всегда в один и тот же вагон. Поэтому те, кто садится на этой станции, всегда оказываются по вагону соседями. Стариков роскошно принимали на шахте. Пионеры повязали им галстуки, мальчики из ГПШ надели на головы каски, а Герой Социалистического Труда Кузьменко вручил отцу Василия Акимовича шахтерскую лампочку. И сидели они за столом рядом с секретарем горкома, и он лично положил матери Василия Акимовича на тарелочку мясной салат, помидорчик «дамский пальчик» и кусочек белой благородной рыбы. А самое главное, Полины на торжествах не было. И мужа ее тоже. Потом старики даже стали по коридорам ее искать, чтобы окончательно убедиться, и не нашли. В общем, все было очень хорошо. Они ведь не знали, что у Полины на субботу тоже были куплены билеты, а в среду Петя закашлял. И встал вопрос, плюнуть на кашель и идти на праздник – два красивых пригласительных билета стояло на столе – или отнестись к кашлю серьезно и вылечить его, чтоб не стало хуже и не сорвалась поездка в Москву. Ну, какой же тут может быть выбор – дочки или заседание и банкет? Конечно, Петя лег. И Полина ставила ему банки, и парила ноги, и поила малиновым вареньем, а что там было на вечере, даже ни у кого не спросила, не до того... И уже в пятницу все у Пети было хорошо. Кашель прошел, и никаких признаков болезни не осталось. Поэтому в субботу, измерив ему в последний раз температуру, Полина попросила соседа отвезти их в Никитовку. И там все прятала мужа от сквозняков, и на перрон они вышли, когда поезд уже показался за семафором. Только там и увидела Полина Василиевых стариков. Она вначале не вспомнила, кто они. А потом, как поняла, так и ахнула. Тем более увидела, как побагровел старик, а старуха – та вцепилась в нее взглядом и не отпускает, держит, держит... Конечно,

Полина вежливо поклонилась, сказала «здравствуйте». Старики на поклон Полины не ответили. А потом все вошли в вагон и разошлись по своим купе.

И не стоила бы вся эта история разговора, если бы не ждала их в конце пути обязательная встреча. И не просто с глазу на глаз, а при всей родне. Девочки придут встречать, да и Василий не один явится. Поздоровайся старики с Полиной, она бы успокоилась. Но по тому, как на нее смотрели, поняла, что не прощена. И это теперь уж навсегда. Конечно, семь лет мак не родил и голоду не было, но зачем же так на людях показывать?

... Василий Акимович обошел вокзал и вернулся к Наде. А там уже сидел Женька и в кулаке держал совершенно не серьезный, полуживой букетик. Василий Акимович рассердился. Все ведь понимает, что эти цветы без вида зимой – редкость и к тому ж дорогие, не каждый может себе позволить, а он, видите ли, принес.

– Зачем? – спросил он Женьку. – Старикам это надо?

Женя поднял вверх брови – не понимаю, мол. И Василий Акимович махнул рукой – не понимай. Потом они вышли на перрон, прикинули, где может остановиться тринадцатый вагон. А тут уже и поезд поплыл рядом, и тринадцатый остановился, как по заказу, прямо напротив Василия Акимовича.

Полина стояла у выхода и смотрела на него спокойно и насмешливо, потом легко соскочила со ступенек. И тут же ее обхватили две женщины. Они обнимались и целовались прямо у него под носом, он даже слышал запах пухового Полининого платка.

– Ну, слава Богу, приехали, – сказала она молодым голосом, который он до сих пор не мог забыть.

И они ушли. Василий Акимович отвернулся, чтоб не смотреть вслед, но увидел, что Женька смотрит, а Надя замерзла и ждет, когда же выйдут наконец старики и можно будет вернуться в теплый вокзал.

– Отец, – сказал Женька, – мне кажется, это была...

– А мне кажется, – закричал Василий Акимович, – ты забыл, зачем ты сюда пришел!

– Забыл, – засмеялся Женька. – Потрясающая девушка, та, что встречала, но, увы, окольцованная. Не везет нам с тобой, отец, а? – Он продолжал смеяться, а Василий Акимович почувствовал, что он старый, что ему хочется домой, прийти и лечь, лежать и ни о чем не думать.

– Васенька! – раздалось сверху. Мать стояла и протягивала к нему руки.

– Бабуля! – закричал Женька и снял ее со ступенек.

– Васенька, – прошептала мать, – мы ехали в одном вагоне. Василий Акимович махнул рукой, мол, видел.

– Она с нами поздоровалась, – прошептала старушка. А Женька уже целовал деда, тот улыбался, довольный, неловко отставив руку с шахтерской лампочкой.

А те мелькнули еще раз в толпе и пропали. Странно, а запах платка остался – запах тепла, уюта, весны, запах прошлого...

– Ну, вот, Петя, ты и в Москве, – сказала Полина.

– Я здесь с той минуты, как здесь мои дети, – ответил он, прижимая к себе Маришу и Светку.

Такси между тем развозили в разные стороны приезжающих, и голос из репродуктора предупреждал, что оплату следует производить строго по счетчику...

Они в него вцепились, как в последнюю надежду. И Василий Акимович, и Надя, и старики, и Женька. Вера, жена Крупени, удивленно на все это посмотрела и забеспокоилась. Если такое внимание объясняется болезнью ее Алексея, то он сразу это поймет и снова начнет думать, что у него «то». Но потом увидела: болезнь Крупени ни при чем. Им тут всем без него было плохо. Впечатление такое, что собрались малознакомые люди, говорить им не о чем и они ждут не дождутся общего зна-

когого, который разрядит обстановку.

Крупеня прежде всего подошел к старикам, они были главные гости. Шутка сказать – какое путешествие совершили через всю страну. Молодцы, так и надо.

– Десять тысяч километров – пустяки, – пропел Женька и пояснил: – Это из какого-то старого фильма, эпохи бодрого кинематографа.

– Что это за эпоха такая? – насторожился Василий Акимович. – Я такой не знаю.

– Ну как же! – весело сказал Женька. – Все поют хором, ходят строем, все в ногу, все в белом, все грамотные, всем хорошо!

– И что? – начал накаляться Василий Акимович. – Это плохо, по-твоему?

Крупеня замахал руками. Ну, вот. Началось. Будет большая оборона. На баррикадах – Вася.

– Окстись, – засмеялся он. – Была такая эпоха. Была. Чего ж ты от нее отказываешься?

– Я?! – возмутился Василий Акимович. – Отказываюсь? Ты меня не путай. Это ему, видите ли, не нравится, когда все грамотные и поют.

– Я мракобес, – сказал Женька.

– Ты хуже, – кипел Василий Акимович. – Тебе все оплевать, как впереди сплясать.

– В жизни ведь было по-разному, папа! – сказал Женька. – Кому-то не пелось, кто-то чего-то не знал, а кому-то вообще в пору было удавиться.

– Вот и пусть бы давился, – сказал Василий Акимович. – Не жалко.

– Ты не прав, Вася! – засмеялся Крупеня. – Разве тебе самому иногда не хочется повеситься? А ты же убежденный марксист!

Сцепились. Вера облегченно вздохнула – разговор ушел далеко от Алексеевой болезни – и пошла помогать Наде на кухню. Та – в который раз! – протирала парадные ножи и вилки. Все у нее блестело, и Вера подумала,

что такая чистоплотность уже переходит пределы. Стерильные тарелки пачкать не хочется, за крахмальные салфетки в пору братья в перчатках, вообще в кухне так чисто, что даже едой не пахнет. Форточка открыта настежь, и ветер тыркается опять же в белоснежную марлечку и входит в кухню уже не зимним свежим ветерком, а просто воздухом для вентиляции.

Надя терла ножи и говорила:

– Алеша твой – молодец. Как у него много оптимизма! Это такой могучий резерв для восстановления сил. Вот, не дай Бог, прижмет какая-нибудь болезнь Васю, он не справится. У него нет оптимизма, он не сможет бороться с болезнью.

– Да ну его! – махнула рукой Вера. – Какой там оптимизм! Он у меня просто хохол упертый. Ему, конечно, надо было полежать. Но ведь он не может без редакции! Это тоже как болезнь.

– А у Васи болит сердце, я вижу... – все терла ножи Надя. – А он назло мне не пьет таблеток. Чем скорей, говорит, тем лучше. Я, говорит, свои дела на этом свете закончил давно... А ты на стариков посмотри! Такие годы и столько энергии.

Прислушались. Тонко, с хрипотцой раздавался голос Крупени:

– Не знаю, кто, не буду врать, кажется, кто-то из древних говаривал, что возможность умереть, когда захочешь – я подчеркиваю: когда захочешь! – лучшее, что Бог дал человеку в его полной страданиями жизни.

– Договорился! – пробурчал Василий Акимович.

– Действительно! – покачала головой Надя. – Алеша говорит совсем не то.

– Ну, ну, дядя Леша! – подзадоривал Женька. – Развивай крамолу!

– Какая крамола? Какая? – кипел Крупеня. – Я глубоко уважаю человека, личность и оставляю за ним право ставить точку тогда, когда он сам посчитает нужным.

– Тебе дана жизнь, – твердо сказал Василий Акимович, – и ты обязан ее прожить.

– Почему обязан?! – закричал Крупеня. – А если я исчерпал себя? Если нет цели, во имя которой стоит жить, и нет человека, которому ты нужен?

Женщины прибежали из кухни. Вид у обеих был перепуганный. Вера ждала чего угодно, но только не таких разговоров. С чего это он вдруг? У него плохо последнее время в редакции, а отними у него работу... Страшно подумать... Наде же показалось, что Василий спорить не мастак, и не дай Бог последнее слово останется за Крупеней. Слово-то какое! А она еще секунду тому считала его оптимистом. Сплошное упадничество! Спектакль будто специально для Женькиного извращенного ума. Она сердито посмотрела на сына – доволен небось? Женька задумчиво жевал соломку для коктейля. Идиотская манера всегда что-то жевать, теперь по всей квартире будут валяться клочки. Она взяла стакан с солодкой и понесла на кухню. Конкретная эта задача увела ее мысли в сторону. Не было ничего важнее стремления предотвращать беспорядок. Ее жизненная сверхмиссия. То, что ей никогда не изменит.

– Нет, – сказал Женька. – Ты не прав, дядя Леша! Что значит – исчерпал себя? Что значит – нет цели? Мир и личность многообразны. Пришел в тупик в одном – ищи себя в другом. В этом истинная мужественность – искать новые пути, новые силы и в себе и вокруг.

– Ну а ежели нет сил? – упорствовал Крупеня.

– Надо переждать. Залечь. Окопаться. Отдышаться. Переключиться. Мало ли что? На это нужна бездна мужества. Гораздо больше, чем – раз-раз – и в покойники...

– Но это решает человек сам? То ему надо или это? Есть у него такое право решать?

– Так ведь я не о праве, – сказал Женька. – Право, оно, конечно, есть... Но ты сказал, что это лучшее, что дано человеку.

– Не я, – ответил Крупеня. – Какой-то грек. Конечно, лучше – жить! После больницы это особенно ощущаешь. Просто дышать, ходить, хлебать щи, читать газету – очень это все, граждане, вкусно!

– Значит, я прав! – сказал Василий Акимович. – И чего ты на меня накинулся? Раз родился – живи!

И так это у него получилось мрачно и безысходно, что ничего не осталось, как перевести все в шутку. Вера сказала:

– Одна на свете есть уважительная причина печалиться – несчастная любовь. Но вы-то, мужики, давно из этого возраста вышли. А Женечке, я думаю, ничего подобного не грозит.

– Было, было у Васи! – сказал вдруг дед. – Мы ему говорили: брось! Не стоит она!

Надя застучала ножами, приглашая к столу. Просто невозможный устроила стук, ножом о нож, ножом по тарелке, даже ножом по хрустальной рюмочке – только бы замолчали. Нашли тему, нашли, что вспомнить!

А Василий Акимович закаменел в своем кресле. Вдруг сейчас, через столько лет, после этого глупого спора с Алексеем пришло сознание: вел себя тогда как дурак. Надо было приехать и увезти Полину от этого чертова вдовца. Если надо – побить ее, убить его, но не отдать! Драться за нее, как зверь. Какая же он был тряпка! Обиделся. Оскорбился. Не было сейчас мысли, что ничего бы не помогло, что Полину силком не удержишь. Не было этой мысли. Были отчаяние за тогдашнее безволие и сознание, что вся жизнь потом была продолжением этого начавшегося тогда безволия.

Крупеня не знал, о чем думает Василий Акимович, только чувствовал, что тому плохо. Он Женьке указал глазами на отца, дескать, имей в виду и будь внимателен, а тот позвал его мыть руки. В тесной ванной они держали хрустящее полотенце за два конца, и Женька говорил:

– Невероятно! Как в романе! Мы сегодня все на вокзале встретились с папиной первой женой. Видели бы вы его... У него ничего не прошло, ничего... Никогда так о нем не думал. Казалось, он холодный... Не может любить вообще. Но ведь это надо очень исхитриться – быть переполненным и казаться пустым... Просто фантастика!

Крупеня молчал. Согласиться и поддержать мысль о какой-то роковой всеопределяющей любви в жизни Василия он не мог, потому что такой силы за любовью вообще не видел. Но то, что пришло наконец понимание сыном отца, пусть даже на такой странной основе, радовало. Не важно как, главное – понял, пожалел, страдал.

– И не ожидал я именно от вас, дядя Леша, вот такой дискуссии, – вернулся к разговору Женька. – Именно от вашего поколения...

– Что ты знаешь о нашем поколении? – спросил Крупеня. – Что?

– Вы – твердолобые! – засмеялся Женька. – Это не в обиду, это факт!

– Другой бы спорил! – Крупеня аккуратно повесил полотенце. – Пошли, тяпнем по маленькой...

– А вам разве можно?

– Нельзя, сынок, нельзя, но можно. Я еще утром решил – сегодня выпью. Чтобы расширить твое представление о моей особе.

– Не упрощайте, дядя Леша! – засмеялся Женька. – Я про другое.

– Думаешь, я не знаю, про что? Ты ведь про то, что мы – пни замшелые, нас только корчеванием можно взять, а мы живем и водку пьем, хотя, по-вашему, нам полагалось тысячу раз уже сдохнуть от разочарования, от бессилия, от гнева, от безысходности... Конечно, твердолобые! На, пощупай... – И Крупеня выставил вперед голову, и Женька увидел тонкую кожу висков с ра-

диусами морщин, и залысины, обложившие наглухо седой умирающий подлесок в середине... – Гожусь еще? – спросил Крупеня. – То-то! Мне ведь что, сынок, надо? Чтоб вы с Пашкой наконец мужчинами стали и пришли меня сменить. А вам все недосуг. Ты вообще пригляды-ваешься, стоит ли тебе кого-то там сменить, а Пашка мой, пока не овладеет всей культурой человечества, за дело не возьмется, стыдным для себя посчитает. Ну а я терпеливо жду. И ради того, чтоб меня сменили именно такие, как вы, я готов еще хоть сколько быть твердолобым. Вся штука только в том, что меня подпирают те, что считают себя умнее. А я пока не даюсь... Но знай, Женька, если меня скovyрнут и на мое место не твердолобый придет, будет хуже... Мне выпить хочется за то, чтобы вы, лодыри, не мельтешились зря... Надо, хлопцы, впрягаться...

Женька покачал головой.

– Может, и надо, а может, и нет...

– Сукин ты сын, вот ты кто, – ответил ему Крупеня.

А потом порушили, к чертовой матери, Надину стерильность, комкали салфетки, проливали на скатерть вино, посыпали ее пеплом, и Надя уже давно сидела, потрясенная и наголову разбитая всем этим вандализмом. Даже старая женщина, мать Василия Акимовича, и та сложила вместе на фарфоровом блюдечке обглоданное куриное крылышко и селедочные кости. И вытирала руки Женькиной салфеткой, хотя своя лежала перед носом. И Вера, интеллигентная женщина, пила томатный сок из хрустальных рюмок, хотя напротив стоял узкий тонкий стакан специально для сока.

Василий и Алексей сидели в креслах в углу, взгромоздив бутылку водки прямо на телевизор. Так там и пили, и капли из переполненных рюмок падали прямо на паркет.

– ...Как теперь говорят, вращаться в сферах я не большой мастер, – говорил Крупеня. – Но тут я пошел. И

мне так сказали: сиди, работай и не мечи икру. Ты нужен. Вхожу я после этого в лифт, а там Царев. Е-мое... Значит, я по одному этажу, он – по другому. Встретились, как братья. Тогда я подумал: все-таки произошла реакция нейтрализации. Это же лучше, чем если б он один по двум этажам? А?

– ...А я не знаю, зачем жил, – говорил Василий Акимович. – Думаю, я все в жизни делал не так... Второй попытки не будет, вот какая штука...

– ...Ты это брось, – говорил Крупеня, – брось! Я недавно сам было решил: нечего мне на этом свете делать. Зашел к Пашке, а у него книга на этих словах открыта – о смерти. Я, как баба, решил: знамение! Чушь, Вася, чушь! Я пока свою правду не передам достойному – не умру! Меня не добьешь... Вот что я тебе скажу...

– ...Была у меня женщина, – тихо продолжал Василий Акимович. – Ушла. А я тебе скажу – все бы отдал, чтоб не ушла. Двадцать лет жизни, тридцать лет – отдал бы. Женьку – нате! Родителей – пожалуйста. Хочешь, скажу? Все бы отдал...

– ...Твой Женька говорит: вы – твердолобые. Я ему говорю: «Мальчишка!» Я, может, своим твердым лбом сердце свое сохранил в мягкости, в нежности... У некоторых нынешних лоб тоже твердый, только он такой от пробивания дороги к корыту с харчами. А разве мы когда о сладком для себя думали?

– ...Отдал бы, все отдал... Пахнет от нее, знаешь, чем? Теплой чистой избой, где полы помыты и хлеб в печи поспевает... Я простые запахи всю жизнь, Леша, люблю... Простые, деревенские...

И долго они еще говорили, каждый о своем...

Ася засиделась у Ключевой до ночи. А тут пришли соседи. Приглашают «освятить» квартиру и мебель.

– Я люблю, чтоб здоровались друг с другом, чтоб полюдски, по-соседски, – говорил пришедший пожилой

полковник при всех регалиях и в мягких клетчатых тапочках. – У нас без дружбы не будет. Мы не заползем в свои норы, как черви... Прошу к столу всю площадку, нас один мусоропровод обслуживать будет. Споем, спляшем!

Ася видела: Клюева польщена, зарделась. Смотрит на полковника по-женски.

– Да я вот нынче не плясунья....

– Не имеет значения, – широко повел руками полковник и повернулся к Асе. – Прошу.

Ася чуть не ляпнула: я от другого мусоропровода, но вовремя спохватилась, а Клюева ей подмигивала вовсю.

Пришлось идти. Сразу обнаружилось: никто никого не знает. Все друг другу улыбались, никто не понимал, где гости, где хозяева, тем более что полковник оказался не хозяином, а тоже гостем и был послан по квартирам как самый представительный мужчина, хоть и в тапочках. Кто-то принял за хозяйку Асю и стал настоятельно советовать переставить дверь в одной из комнат, как это сделали ниже живущие. Этот некто плечом слегка подвинул сервант «для наглядности» – сервант жалобно стеклянно замяукал. Тут же возникла женщина. «Хозяйка, – подумала Ася, – сейчас она ему устроит». Но это оказалась дочь полковника, которая сказала: «Слышу, посуду вроде бьют, решила – папа. Это у него хобби такое – бить посуду на счастье. Ну, дома ладно, а у чужих-то зачем?»

Все совсем перепуталось. Ася согласилась передвинуть дверь, потом по просьбе дочери полковника нашла на кухне алюминиевую кружку. «Я дам ее папе, и он будет помнить, что он не дома... А если даже ее и бросит, не страшно... Только бы не в окно».

Ася сказала тихонько Клюевой, что будет ждать ее дома. Та закивала. Она была очень довольна. Ее из-за ноги усадили на высокий старинный стул, и оттого, что она оказалась выше всех, она ощущала себя торжест-

венно и празднично. Полковник с алюминиевой кружкой сидел рядом.

Ася вернулась в клюевскую комнату. Новоселье было хорошо слышно и здесь, но оно не раздражало. Наоборот, этот живой человеческий шум давал, как ни странно, ощущение покоя и защищенности. Казалось, это почти счастье: сидеть на острове тишины, когда кругом плещется праздник. И стоит сделать всего шаг – ты в него войдешь, как в свой, и будешь переставлять двери, мыть алюминиевые кружки, быть хозяйкой и быть гостьей. Будешь жить среди людей, которые тебе рады, хоть и видят тебя впервые.

Люди добры и отзывчивы, – написала Ася в своем блокноте. – Я должна это помнить, когда буду рассказывать о Любаве. Я как Галилей, должна повторять, повторять это, как заклинание: «Земля вертится – а люди добры, люди добры – а земля вертится». Но главное не это. Главное, чтоб из любой самой страшной ситуации виделся выход... Он в человеческих контактах. Надо искать человеческие связи, надо в них верить, все остальное – мура... И то, что связи иногда рвутся, это горькая и страшная особенность нашего времени... Чем больше телефонов, тем дальше друг от друга... Это из разговора в метро. Может, обнаженное проявление чувств у молодежи в трамваях, на улице, эдакая любовь на виду – это неосознанный вызов телефонизированному общению? Вот вам! Вот вам! У нас иначе... Если так, я на их стороне. Годится любое проявление контактности, заинтересованности, даже если оно, как у Светки, – агрессивное и с кулаками. Стыдный, безнравственный спор: машины или люди? Профессионализм или человечность? А наобочинах дискуссий – Любавы, Зойки... Из горы современных терминов и понятий, из хлама современных терминов и понятий вытащить старый-старый вопрос, который волновал Достоевского: «А можешь ли ты – молодой – пожелать смерти дряхлому

мандарину, если от одного только пожелания ты, молодой, станешь богатым и счастливым?» Но не проповедь ли это абстрактного гуманизма? Застыдилась доброты самой по себе. Напрасно! Ведь без доброты, заложенной в программу, доброты как необходимого компонента не работает никакая стоящая идея.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Снег ждал, когда город утихомирится. Он низко и серо нависал еще с вечера, роняя нетерпеливые снежинки. И только за полночь, убедившись, что все тихо вокруг, туча раскрыла заслонки. И повалило... Снег делал свое дело методично, не торопясь. И уже через час город был белый и красный, весь в модных нависающих рембрандтовских беретах из нежнейшего снежного пуха.

...Василий Акимович не спал. И, чтоб не беспокоить Надю, ушел посидеть на кухню. Странно это, когда восьмидесятилетние здоровее тех, кому нет еще и шестидесяти. Отец и выпил, и закусил, и мать тоже, а уснули, как младенцы. А он не спит, и так всегда – стоит чуть-чуть пригубить... В кухонном окне он увидел свое отражение. На фоне белого снега в своей пижаме он был похож на тех больных, которые бродили по коридорам в больнице. И ему захотелось плакать, как тогда с Крупеней. «Это все водка, – сказал он себе, накапывая в стакан валерьянку. – Вероятно, с вредными примесями...»

...Крупеня тоже смотрел на снег и думал: надо же, раздумал уходить – и сразу перестала болеть печенка! Вот так пироги! Вспомнил, на одном из консилиумов толстый, одышливый профессор сказал: «Ему надо прежде всего нервы подремонтировать... Он ведь прежде всего неврастеник, а потом уже все остальное...» Крупеня тогда обиделся. Он – неврастеник? А жена сказала: «Леша, а профессор-то прав. Тебе бы сейчас удачу какую-нибудь, радость...» Он остается в редакции!

Большей радости представить себе нельзя. Печенка и та наконец поняла. Надо работать. Просто и ясно. А по выходным в поле, в лес. Дышать, радоваться, жить...

...Вовочка к этому времени только что закончил статью для толстого журнала и тоже любовался снегом. Ему удался последний абзац, в котором мысль была туго завернута спиралью. Он любил этот свой забаррикадированный подтекст и гордился умением писать просто и вместе с тем сложно. В такие минуты профессионального удовлетворения он чувствовал себя неуязвимым и сильным. Полнокровной радости мешал Крупеня, встретившийся давеча в лифте. Ну, ничего! Пусть думает, что победил. Они еще посчитаются!

«...Снег только сейчас пошел, – думала Полина, – а Мариша сегодня весь день в темных очках – говорит, глаза болят от белого... Затемнение устраивает. Знает, что глазами все скажет. А рвалась в Москву. Ну, приехала... Не было счастья и нету... И Светка вся, как струна натянутая. Что с вами, девочки?»

...Тася старательно делала вид, что спит. И в этой старательности было столько детского и беззащитного, что Олег не выдержал: обнял и прижал ее к себе. И Тася облегченно захлебнулась слезами.

...Мариша в эту минуту тоже плакала, зарывшись в подушку.

– ...Ты покажи отцу все, поведи его по городу, – говорила Светка, обнимая Игоря за худые плечи. – Он Москвы не видел с довойны. Пусть порадуется.

...Каля танцевала при свечах. «Смотрите, какой неестественный, театральный снег!» – сказал кто-то рядом.

...Корова залезла на подоконник, просунула в форточку руку и принялась ловить снежинки и слизывать их с ладони... Она только что отстучала конспект для очередной статьи и чувствовала себя опустошенной. «А снег – сладкий, – подумалось ей. – И не холодный. Сладкий, не холодный снег. Если бы такое вставить туда,

Вовочка вычеркнул бы». «Ну, Анна, – сказал бы он, – это не из тебя. А между прочим, почему ты не попробовала себя в литературе?» Много он знает, чего она пробовала, а чего нет... При чем тут литература, когда это самая что ни на есть действительность – снег сладкий и не холодный.

...И Ася смотрела, как падает снег. Город за снежной пеленой казался далеким и проплывающим, как из окна поезда. Она осталась ночевать у Ключевой, среди ночи вскочила с раскладушки, ушла на кухню и, пристроившись здесь же, на подоконнике, стала записывать все, о чем думала и что повидала за сегодняшний день. И только когда Ключева вошла в кухню, неожиданно помолодевшая со сна, в длинной ситцевой рубашке, Ася отвлеклась от своих мыслей и вернулась на землю. Но и земля теперь, как она наконец поняла, стояла спокойно и прочно.

«Это снег, – подумала Ася. – Всего-навсего снег...»

Реалисты и жлобы (Чистый четверг)

Роман

Нагруженный в тайны жизни
Вспоминая путь судьбы
На распутье три дороги
Но какой ж

Мне одна сулит богатства

Забавит и тоску

Забрав только счастье

Оставил пустоту

Другая предлагает

Власть, бабину и тепло

Но взамен любовь и музу

Что-то выбирай агни

Зачем не обзвоня

Милые подарки собери

Но, если агни в душе не злит

За забвением отойди

ВАЛЕНТИН КРАВЧУК

«Какая прелесть – эти хлопчатобумажные рубашки! – подумал Валентин Петрович. – Так в них хорошо, удобно телу». Он встал и с удовольствием развел руки в стороны. До скрипа... «Прелесть, как хорошо!»

Чуткое журналистское ухо отметило – он дважды в одной мысли-абзаце употребил слово «прелесть». «Бабыими словами думаю, – усмехнулся он. – Стоит мужику одеться как следует, и он сразу немножечко баба». Но тут же Валентин Петрович решил, что вот это он себе позволит. Одежду. И не вычеркнет из фразы «прелести». Принципиально. Надо все в жизни отыгрывать. Как в картах Пас, пас, пас, а потом – раз! – и все твое, ты уже в барыше. Чего только не пришлось носить смолоду, а уж про детство и говорить нечего. Каждому уровню обеспеченности соответствовал и уровень мечты. Мальчишкой хотел сапоги по ноге, с узкими голенищами, чтоб нога в них не хлябала. Потом мечтал о белой поблескивающей рубашке. Сапоги ему так и не обломились. А свою первую белоснежную нейлоновую рубашку он купил в Москве на комсомольском съезде, куда был аккредитован. Они тогда в перерыве ринулись в киоск и, забыв о субординации, страстно давили друг друга в очереди. Казалось, что могло быть лучше нейлона: сполоснешь под краном, на плечики – и через пятнадцать минут иди на любую встречу. И никаких тогда не было проблем с непроницаемостью материи, со всеми этими

уже потом пришедшими терминами.

«Молодость, – с нежностью подумал о том времени Валентин Петрович. – Ей все впрок. Даже то, что во вред».

Непостижимое свойство памяти. Он тогда – как хорошо, легко вспомнилось – в новой, привезенной из Москвы рубашке ходил по инстанциям выяснять, с какой это беды выросла вдруг возле булочной очередь за хлебом? Это в шестьдесят первом! Это в их-то богатом крае! Рубашка-новинка производила хорошее впечатление на тех, кому задавал вопросы. Объясняли доходчиво: очередь – дело случайное, нерасторопность доставки. Нехватка фургонов. И без перехода, с интересом: а сколько такая рубашка стоит? Он заводился. При чем тут рубашка? Бабы в очереди стоят перепуганные, завтра разберут мыло, спички, соль... Много ли надо для паники? В ответ качали головой: ну, что, мол, ты так заходишься? У тебя *лично* нет? Так сделаем...

Сейчас Валентин Петрович смеялся, глядя из сегодня на того себя, задиристого. Как он шел на начальников белой нейлоновой грудочкой. Как размахивал перышком. Конечно, все с хлебом наладилось... Сейчас там, на родине, другие проблемы. Замесом погуще. Петушиным наскоком их не взять. Но Боже! Каким красавцем стал его город – с моднящей двухцветной плитой на тротуарах, с многоструйными фонтанами, с сотными гостиницами. И какие девчонки топчут сегодня эту самую плитку? Все как с импортной картинки. Так что, с одной стороны, мяса – нет, масла – нет, рыбы – нет, а с другой, – жизнь откуда-то все берет. Берет, как умеет, как знает. Ее, жизнь, не перехитришь. В гости придешь – стол у всех, как на каком-нибудь приеме. Люди научились хорошо жить, думал Кравчук, в предлагаемых обстоятельствах. И он как журналист считает – слава Богу, что научились. Народ стал моторней, ловчее, оборотистее... Плохо разве? Хорошо! Трудно? Труд-

но! Интересно? Еще как!

Что бы там ни говорили антропологи, биологи, физиологи о стабильности человеческой природы, он, Валентин Кравчук, знает: наш народ за последние двадцать – тридцать лет изменился ого-го! У Валентина на этот счет своя теория, которую он любит развивать в своем кругу.

На трибуну с ней не вылезешь, в статью не вступишь, но как хороша теория! Все в ней объяснимо, все в нее укладывается. Суть ее такова: мы силой загнали в один угол три формации – феодализм, капитализм и социализм – и проживаем их все од-но-вре-мен-но! Вот и все! И каждый из нас в каждый свой момент триедин: он сразу замшелый тупой крестьянин, деловой бизнесмен и вольный социалист-бездельник. Признай это, увидь, пойми, какой зверь в тебе в данную минуту играет, и станет жить легче. Бывает, что играют все. Всеобщий внутренний рев Валентин Петрович называет предынфарктным трехголосьем. Хброшо в этом случае помогает сауна с водочкой и пением. Опять же! Сауна – это претензия бизнесмена. Водочка – она от феодализма. А пение... Песни у нас революционные, военные, блатные, короче, песни социалистов. И феномен Высоцкого, между прочим, в том, что он потрафлял сразу трем головам зверя – и мужику, и разночинцу, и лавочнику.

Так о чем, бишь, он? О той старой хлебной очереди. О том, что взыграло в нем ретивое: зубами ухватился за проблему, что, мол, за безобразие случилось, товарищи?

Ничего, сказали ему. Все в порядке. Кого надо, наказали... Охолонь... И остановись.

Интересно, не брось он тогда это дело, упрись лбом в закрытые ворота, был бы он сейчас здесь, на своем нынешнем месте? И вообще как сложилась бы его судьба?

Ведь как было смолоду?.. Мотался по области, аж земля под ним горела. Этим и выделился. Этим ценился.

Кто, кроме него, мог, вернувшись утром с сева, сдать к обеду репортаж на триста строк, а вечером уже быть на другом конце области в вечерней школе по склочному письму? Почему-то вспомнилось: именно на склочные письма приходилось летать самолетом. Он плохо переносил проклятые «кукурузники». Его на них сильно тошнило. Стыдился этой своей слабости... Скрывал ее.

Все он тогда знал про свой край. Коров в морду узнавал. Тем более что становилось их все меньше и меньше. А какая у них там земля! Как говорится, палку ткни – яблоня вырастет. Он же сплошь и рядом видел и не родящие поля, и гниющую в земле дорогую технику, и пьяных, спящих в борозде трактористов. Какая подымалась в нем злость! Однажды он едва сдержался, чтоб не ударить такого, ослепшего от хмельной тупости парня: «Смотри же, где лежишь, сволочь!» Пошел, нет, побежал к председателю, чтоб выдать ему, выдать... Выдал, а потом и написал... Так сказать, со всем пылом молодости. «Червье» называлась статья. Если бы не Виктор Иванович, вылетел бы из газеты в два счета. Тот ему тогда сказал: «Сынок, это не дело... Не наш путь – шашкой по головам... Ты ищи положительные примеры... Для недостатков есть другие инстанции...»

Три дня в собственной редакции походил он в героях, в борцах за справедливость. Хлопали его по плечу, водили в стекляшку – выпить за правду. Он же сразу понял: дешевое это дело – пьяное сочувствие и коридорная солидарность. В каждой газете найдешь потертого, небритого правдолюбца, у которого перо давно бессильно дрожит в пальцах, а слов в обиходе сто восемьдесят семь... Как-то не поленился, посчитал у одного. Нет, сказал себе, нет! Мне это не годится...

Тогда-то Кравчук и вычислил «свое»: его конек – герой случая. Не тот, что изо дня в день не поднимает головы, а тот, кто на один раз овладевает ситуацией. Живет такой человек и знать про себя ничего не знает. А

тут его в шахте завалило. Или в яме затопило. Поставленный в условия «жить – не жить», человек такое может выдать! Какие фокусы превращений видел Кравчук у людей, с виду никаких. Вот их он и искал. Насчет экстремальных ситуаций в нашей распахобной жизни не напряженно. То там, то сям приходится собственным телом что-нибудь прикрывать. И пока без него, Кравчука, воспевающего *героизм* – с мягким знаком, товарищи! – державе не обойтись.

Валентин Петрович продумал все эти мысли быстро, конспективно, не опуская поднятых до скрипа рук. Хороша рубашка. Живая. Ласкается. Захотелось озорства, и он, хлопнув ладонями над головой, прыжком расставил ноги, гикнул и засмеялся. «Шалишь, мальчишечка?» – «Шалю...»

Прыгая – хлопок над головой, ноги врозь, – Валентин Петрович думал о себе сразу во времени и пространстве. О том, что он в громадном здании, на одиннадцатом этаже, в отдельном кабинете прыгает, как пацан, и галстук в нежную полоску отблескивает в электронных часах над дверью. И в этом всем есть какая-то законченность, гармония его существования на этой земле. «Еще не вечер, – сказал себе Кравчук, – только движемся к гармонии». Но, будучи человеком и прямодушным, и суеверным, сам же себе сказал: «Дальше – поживем, увидим... Сейчас точно. Гармония».

Почему ему так нравились в жизни победители, умельцы, мастаки? Да потому, что именно их он умел расколдовывать и преподносить так, что, не найдя ни одной фактической неточности, человек сам себя сначала не узнавал, не верил, что он *такой*.

– Да ты что, Петрович, со мной сделал? Я ж не людоед...

– Людоед, людоед! – весело кричал Кравчук. – Замечательный, нужный людоед!

В конце концов все всегда были довольны. Потому

что человеку приятно, когда его изображают сильным.

Валентин Петрович бросал человека в яму и показывал всем, как он оттуда выбирается. Его герои всегда были на краю только что покинутой бездны. Они еще едва дышали, стряхивая с себя грязь, у них еще дрожали коленки, в голосе была хрипота, но все они – выбирались!

В этом своем мастерстве он преуспел премного. И знал про это. Но сейчас, прыгая на одиннадцатом этаже издательства, он вдруг понял: вот такого ощущения победителя он никогда не описывал. Это удивило его. Валентин считал себя знатоком человеческого естества и уже давно не подозревал в нем тайны. Он презрительно относился к современной литературе, потому что она, на его взгляд, как раз человека не знала. Она отмечала признаки... Не существо.

Но сейчас Кравчук понял, чего недодал в своих материалах. Ощущения гармонии. Победитель должен испытать гармонию от своего пребывания на земле. «Момент сложившегося пасьянса», – подумал он и отметил: определение надо запомнить на будущее.

Если его сегодня утвердят зарубежным корреспондентом (а его, конечно, утвердят), писать ему придется на новые для него темы. Но это не страшно. Люди везде люди. И бездны всюду бездны. Просто из *тех бездн* он тащить никого не будет. Их дела.

«Черт возьми! – подумал Кравчук. – Жизнь прекрасна. Улюлюкнуть, что ли, с одиннадцатого этажа?» Он представил, как бы ему пришлось объясняться, где надо, если б он улюлюкнул.

«Человеку нужно давать время от времени крикнуть, распустить постромки... Я крикнул от ощущения гармонии и радости», – сказал бы он им.

Его поняли бы. Людям надо говорить максимальную правду. И не надо бояться, что не поймут, осудят. И поймут, и не осудят. Правда – это чисто и конструктив-

но. Ложь – это всегда грязь и разрушение. («Красиво, красиво! – пожурил он себя. – Распелся!») Но хотелось про это думать. Про правду... Разве это не правда, что он, пацан из Богом забытого хутора, стоит тут, и ему хорошо, и завтра будет так же, потому что он взял свою высоту – выше ему не надо, но и ниже тоже – и его с этой высоты уже не сбить. («Тьфу! Тьфу! Тьфу!») И тьфукать нечего, это какая-то просто зараза – суеверие. У всех талисманы, у всех счастливые и несчастливые числа, идиотская манера пометать каждый год зверем... Слабые люди, слабые... Себе такого не позволял. Все это, считал, игры неудачников, а еще так называемых аристократов крови, обивающих редакционные пороги... Двух слов на листке бумаги связать не могут! Николай Зинченко говорит о них категорически «недобитки». Это грубо. Порода, воспитание, образование – это, конечно, немало. Но это, как та земля, на которой расти бы и расти хлебу, а она вполне может остаться неродящей. Работать надо до черных ногтей! Вот правда! Когда он мотался по области и у него от голода беспрерывно урчало в животе, он не думал тогда о возможности работать в Москве. И получил ее на тарелочке с каемочкой. Когда же к нему теперь приходит человек, который в тонкостях знает, чем отличается русский ампир от ампира вообще, а метафора Пастернака от метафоры Блока, ему делается сразу скучно: это треп. Нет, он не против ни ампира, ни – не дай Бог – уважаемых поэтов. Но он знает, его хотят взять задешево. И покупают его не на свои, заработанные деньги, а на цацки культуры. Потому что про ампир и про метафору эти трепачи слыхали с колыбели, это им в ухо влетало, как музыка. Вот они и звучат всю жизнь чужой мелодией, цена которой – грош. У него же – своя. Заработанная и выстраданная. И все своими лапками... Своими извилинами, своим серым веществом...

В эту минуту Кравчуку стало жалко всех неудачни-

ков. «Бедолаги вы, бедолаги», – подумал он о них всех сразу, скопом.

Позвонила Бэла.

«Ты еще не уехал?» – «Жду шофера». – «Ну, ни пу-ха...» – «К черту!»

Она подмигнула ему с портрета на столе. Креолка. Так он о ней подумал, увидев в первый раз. Она принесла статью о каком-то народном театре. Он с трудом продрался сквозь разлюли-малину о Станиславском, всестороннем развитии человека и трудностях с реквизитом для художественной самодеятельности. Хотел выкинуть все в корзину, но вспомнил автора и пригласил на беседу. Прямые блестящие волосы по спине, черные глаза в синей окантовке, большие сочные губы коричневого оттенка. Все – на грани. Еще чуть-чуть – и просто ретушированная кукла с претензиями, но чуть-чуть не перейдено, и получилась креолка. Иллюстрация из затрепанной книжки, кажется, Луи Буссенара, которая каким-то чудом попала в детстве. Волосы Бэлы были как-то особенно вымыты, он откровенно пялился на них, потому что уже давно пялился на женские волосы, свободные, длинные, распущенные. Его волновала эта мода. Ему нравились все женщины, которые могли так их носить. Выросла новая, послевоенная порода, и он завидовал тем мужчинам, у которых было право трогать руками, спутывать и распрямлять эту душистую волну. За собой такого права он не чувствовал. У него еще была Наталья. Вшивая Наталья.

«Сейчас начнутся, – подумал он, – фантомные боли». Когда-то, найдя определение, он решил, что объяснением избавится от настигающего в одночасье укола ли, удара ли... Неожданного, болючего, одномоментного... Наталья – и сразу пытка. Стал уговаривать себя – фантомные ощущения. Не надо их бояться.

Вот сейчас кольнуло так, будто тончайшей иглой нашли в нем центр боли и всадили в него изо всей

силы... Проклятие, подумал. Проклятие... Скорей бы уехать, скорей бы подальше...

– Вшивая.

Началось это в сорок шестом голодном году. Мать отхлопотала ему путевку в первый открывшийся у них после войны пионерский лагерь санаторного типа. Был он тогда слаб после войны и скарлатины, и мать решила, что в санатории его подкормят. Мать на станции видела, как сгружали для лагеря гречневую крупу. Она посадила его на тачку и повезла за семь километров. Мать везла тачку быстро, бойко, закатав выше колен старую сатиновую юбку. Было естественно – видеть мать в оглоблях. И сидеть в тачке было естественно. Они так ездили копать картошку. В поле он ехал как барин, а обратно – пешком, подталкивая тачку с мешками сзади. И других детей также возили матери в поле и обратно. Слабые они тогда были, дети войны и послевоенные. «Все в синюю вену», – говорила бабушка. Он ехал на тачке в лагерь-санаторий, чтобы поесть гречки, и пел песню «Скакал казак через долину...».

Мать стучала по дорожной пыли черными репаными пятками, время от времени поправляя на голове белую хусточку. Когда показался лагерь, он попросил мать остановиться, сказал, что пойдет пешком. Мать повела тачку по дороге, а он свернул в кукурузную гущу по малой нужде. Он весело поливал во все стороны сухую огубину, продолжая петь казачью песню. А когда кончил поливать и петь, увидел стоявшую на коленях девочку. Он так растерялся, что не убежал, а замер и смотрел на нее в упор, разглядывая разложенный на земле белый платочек и зажатый в руке костяной частый гребень. Девчонка вычесывала вшей. Светлые прямые пряди волос падали на ее лицо, и она смотрела на него сквозь них со стыдом и ужасом. Потом он увидел ее в лагере, уже в тугих косичках, она бросила на него быстрый умоляющий взгляд, и он понял: она боится, что

он расскажет, как он ее видел. А ведь он, дурак, боялся другого, как она *его* видела! Он, когда вернулся из кукурузы на дорогу, стал тянуть мать назад, домой, стал кричать и плакать, как маленький, и мать, развернувшись, дала ему как следует по заднице. Надо было увидеть испуганную девчонку, чтобы понять, что *его* позор не шел в сравнение с *ее* позором.

Он знал, как выводились в войну вши в их семье. Мать разбивала градусник и смешивала прыгающе-скользящие комочки ртути с каким-нибудь жиром. Потом этой смесью мазались волосы и покрывались платком на час. Рецепт выведения передавался из дома в дом, соседки и родственницы, повизгивая, бегали во дворе в накрученных чалмах. Ртутная мазь переходила из рук в руки, как сокровище. Он не понимал, почему эта девчонка так испугалась того, что он видел. Делов! Не понимал, но радовался, что она испугалась. Всю жизнь вшивая Наташка смотрела на него умоляюще и просяще.

Он встретил ее через много лет, вернувшись из армии, на танцах в железнодорожном клубе. Сразу обратил внимание. Изященькая, точеная, в пышном дурацком перманенте. Пригласил танцевать и тогда узнал глаза. И почувствовал какую-то враз оробевшую спину и безвольную мягкую руку. Они сбивались, танцуя, а он перед этим видел: танцует она хорошо, ловко. Ему польстили ее робость, ее податливость в его руках. То, что их ноги заплетались, было обещающе. Он неожиданно для себя подумал: именно такая девушка годилась ему не просто для танцев. Вот такая, сдерживающая дыхание, с опущенными ресницами, покорно ждущая его решений, годилась для всей жизни. Он ее угостил в буфете лимонадом и ирисками, проводил домой. У самого крыльца сжал ее лицо ладонями и поцеловал прямо в губы раз, другой, удивляясь тому, как он решительно и по-мужски это делает, и восхищаясь ее слабо-

стью и готовностью подчиниться ему целиком.

– Пойдешь за меня? – спросил он, как спрашивают, можно ли войти, уже переступив порог.

– М-м-м, – ответила она, как немая.

– Ну помычи, – засмеялся он. – Помычи.

Сразу после свадьбы он привез ее к себе домой. Мать, следуя обычаю, обсыпала их пшеницей. Оставшись с ним наедине, Наталья стала вытаскивать из спиралек перманента зерна, а он засмеялся и сказал:

– Вшивая ты моя! Вшивая!

Как она расплакалась! Оказывается, всю свою жизнь она стыдилась той своей детской беды. Она рассказывала, как ей ничего от вшей не помогало – ни ртуть, ни керосин, ни дуст. Как она хотела отрезать косы, а родители не давали, а она отрезала их сама, тупыми ножницами. И куда что делось! Но до сих пор, чуть зачесется, бежит к своей тетке, чтоб «поискала».

С Натальей он прожил девятнадцать лет и четыре месяца.

Нет, сейчас, в «момент гармонии», он не бросит в нее камня. Не скажет, что все было плохо. Куда денешь то счастье, когда родился Мишка? Они тогда все одинаково пахли – молоком, детской чистотой и пудрой «Красная Москва», которую Наталья использовала вместо талька. Он ходил, обсыпанный пудрой, и в редакции острили по этому поводу. Все знали, отчего пудра, но дразнили, придумывали ему женщину. Такая веселая была игра в то, как «Валька Кравчук от нее пришел, а Наташка, не будь душой...». И так далее. На день его рождения поставили на эту тему целый спектакль. «Даму» играл их редакционный художник. Он обсыпался пудрой, подложил под рубашку два теннисных шарика и говорил: «Вальочек! Жизнь коротка, денег нету, а я в страсте». Наталья тоже прибежала на спектакль, смеялась до икоты, но с пудрой стала обращаться осторожно и перед его уходом на работу бежала за ним со щеткой.

«Да брось», – говорил он ей. «Валечка! Чтоб не смеялись...»

Было хорошо с ней, было... Как смешно и трогательно она испугалась, когда начались перебои с хлебом.

– Ой! А у нас нет запасов! Ой! Что же будет? Сплошное «ой».

– Ты что, дура?! – кричал он на нее. – Не понимаешь, что это просто головотяпство? Не устраивай паники. Без хлеба не будем!

– Так и молока нет, – всхлипывала она.

– Да! – кричал он. – И молока! Так, моя дорогая, коров доить же некому! У твоей матери-доярки четверо вас, девок, а кто коров доит? Никто! Все в городе, все при часах и маникюре! Не будет молока!

– Так как же? – робко спрашивала Наталья. – А дети?

– Укороти претензии! Детям найдем. Сам пойду доить...

Она потом очень смешно рассказывала, как он кричал «сам пойду доить».

– В самом же деле! Мы ж все деревенские, в городе осели, так откуда ж чему братья? – разводила руками Наталья. – Все при часах.

Наталья – податливая глина. Лепи из нее, что хочешь. Он любил проверять на ней свои мысли.

– Слушай, – говорил он. – Вот завтра, положим, скажи: твое дело, хочешь – молись, хочешь – не молись. Пошла бы в церковь?

– Да ты что! – пугалась Наталья. – Я ж комсомолка! – А это не препятствие!

– А устав? Там же про религиозные предрассудки...

– Другой устав. Терпимость к любому верованию и так далее.

– Тот же самый комсомол, а устав другой? – дотошно так интересовалась.

– Да чего ты к этому прицепилась? Я тебя спрашиваю: пошла бы в церковь?

– Как же пошла, если комсомолка?..

Она смотрела на него любопытными смеющимися глазами, и он утверждался в своей мысли, что нам никак нельзя назад. Что в избранном пути надо быть последовательным и точным. Иначе будет хуже.

Позвонил шофер. Сказал, что у него забарахлило сцепление. Но ребята подправляют, скоро будет. Не горит? Кравчук посмотрел на часы. Пока не горит. Но все-таки поторопись... Мигом домчу, ответил шофер. Хороший парень. Тоже из их деревни. После армии зацепился в Подмоскovie, а потом Кравчук ему помог с квартирой и пропиской.

– Вася? А кто же будет хлеб с поля возить? – спросил он его, когда тот пришел к нему в первый раз.

– А пусть идет своими ножками, – ответил Вася. – Я свое отвозил...

– Свое – это сколько? – вцепился в него Валентин Петрович. Запружилилась, забила в руках тема.

– Сколько мне съесть, – ответил Вася. – А больше мне не надо!

– Нет, постой, постой! – засмеялся Кравчук. – Что значит тебе? А матери твоей, а супруге?

– И для них отвозил, – ответил Вася. – На своих нарабатал. А теперь с полным правом хочу жить как человек. С ванной и теплым сортиром.

– Минуточку! – кричал Кравчук. – Минуточку! Я даю тебе сортир в деревню...

– Где вы его возьмете? – отвечал Вася. – Это мы уже слышали. Да и не только сортир мне нужен... Не хочу я грязь месить. Я не энтузиаст.

Валентин Петрович написал тогда статью о непродуктивности расчета на энтузиазм. Его пожурили, объяснив, что еще рано принижать энтузиазм, ибо нет ему эквивалентной замены. И надо его, «пока надо», возжигать в сердцах.

– Трудно, – честно сказал Кравчук.

– Ну, ну... – ответили ему. – Ты нарисуй такого Васю в ситуации, когда он вернулся в деревню, хотя мог и не вернуться, когда он месит там грязь, но счастлив этой своей жизнью. Что, разве нет там счастливых?

– Конечно, есть... – Ну вот...

Он помог Васе тут... Он нашел счастливых там... И грязь месят, и баб любят, и детей рожают... Деньги, хрусталь, стенки, все при них... Это объективно, не для рекламы. А кое-где уже и теплые сортиры. Статья называлась: «Ответ шоферу Василию».

– А если я на ваш ответ напишу свой? Напечатаете? – спросил Вася.

– А тебе сказать нечего, – засмеялся Кравчук. – Я тебя побил по всем статьям.

– Мне не нравится, когда решают за человека, где ему жить, – ответил Вася. – У меня ж десять классов. Я могу и сам разобраться.

– А ты не думал, что ты за свои десять классов кое-кому должен?

– Кому?

– Народу, который тебя учил.

– Врете! Меня силой гнали в десятилетку. Нельзя человека силой накормить и потребовать за это оплаты.

– Ты демагог!

– Вытоже.

И оба засмеялись.

Великое это дело – землячество.

Им всегда славились евреи. Их спайка и помощь друг другу были притчей во языцех. Им это ставили, да и ставят в упрек, а что плохого, в сущности? Он лично никогда не был антисемитом. Хватало ума. И как в воду глядел. Его креолка – козырной туз жизни. Николай тогда, правда, свел желваки, но он их сводит и по менее значительным поводам. Николай – это Николай. Если придется когда-нибудь на пенсионном досуге написать

что-нибудь вольное, он напишет о Николае. О том, как этот совершил переход из грязи в князи. И порушил, к чертовой матери, поговорку. Потому что смотреть на Николая на каком-нибудь приеме – одно удовольствие. Откуда что взялось... И этот же Николай, к примеру, на рыбалке. Без мата червяка не насадит, водички не попьет. Голос делается хриплый, глаза мутные, желваки дергаются, будто под током. И несет он всех их по матушке и по бабушке, а рыба к нему прет как замороженная. Он только успевает ей пасть рвать.

Кравчук посмотрел на Бэлу. Он помнит, хорошо помнит, как это выглядело, когда он предъявил ее землякам. Вся его беда с Натальей была у них на виду. Да и как это скроешь? Даже то, что у него появилась другая, когда он еще таскал Наталью по больницам, тоже знали, и понимали, и сочувствовали.

А когда он уже развелся и Бэла переехала к нему, был такой момент, когда он почувствовал: они его выталкивают. Земляки. И стало страшно. На мгновение, но стало... Будто качнуло тебя на мосточке над пропастью. А все ничего. Просто Николай свел желваки.

Нет, землячество – это ракетная сила! И то, что он сейчас ждет, когда этот чертов Васька починит сцепление и он поедет на самое главное в жизни утверждение, так это Виктор. Их старшой. И Николай, конечно, тоже. Вот уже двадцать лет они в одной связке. Голову за такую дружбу отдать мало. Надо будет – отдаст...

Креолка ухмыльнулась ему с портрета. Лапочка ты моя! Испугалась, что я сейчас в припадке сентиментальности сниму свою голову?.. Нет необходимости, детка. Все в полном порядке. Вот видишь, звонок... Сукин сын, пролетариат наконец сделал свою работу.

Но звонил не Вася. Бесстрастный женский голос выразил удовлетворение, что Валентин Петрович на месте, и сказал, что ему *не надо* приезжать на утверждение. Его вопрос сегодня рассматриваться не будет.

– Почему?! – закричал он. И это было неправильно, потому что *туда* кричать не принято.

– Не готовы бумаги, – ответил голос. Трубка запела отбой.

Это была неправда.

Три дня тому назад он лично каждую бумажку общупал глазами и пальцами. Двойным, так сказать, восприятием. Все в них было точно.

– Красиво написано? – спросил потом Виктор по телефону. – То-то... Соответствуй теперь... Наташка не возникает?

– Нет, – соврал Валентин.

– Возникает, – поправил его Виктор. – Не бреши, сынок, по-мелкому. Но границу ей не перебечь, – хохотнул он и тут же посочувствовал: – Жалко бабу. С нашими русскими только так и бывает – они уж если воз везут, то мужичий, а если проваливаются, то в преисподнюю... Ну, ладно. Через три дня тебя утвердят, и собирай чемоданы...

В тот же день – три дня тому! – он счел возможным сказать обо всем своему заместителю. Тайны большой во всем, конечно, не было. Слухи давно ходили. Удивительное это явление – московские слухи! Для человека рядового, обывателя, их появление так же понятно, как циклон и антициклон. Нечто где-то возникает, нечто и движется, и несет, и путает карты хлебобобам, и гадит транспортникам... Одним словом, непредсказуемая мать-стихия.

Вот и слухи... Тоже группируются в клубок и идут будоражить люд. Валентин уже давно знал, что нет тайны в возникновении слуха. Слух – это скрытая и важнейшая часть общественной жизни. Это тот самый клапан, через который выпускается дошедшая до взрывоопасной кондиции потребность в информации. Передал лично дальше какой-то неизвестно как пришедший к тебе слух-сплетню и будто поучаствовал в плебисци-

те... Разрядился... Слухи создаются... Они как будто инъекционно вводятся в отупевшую, инертную человеческую массу, и остается только наблюдать, как гримасой, вскриком, пройдя через их толпу, слух создает ровно столько энергии, чтобы жизнь массы продолжалась при определенной температуре. Человеку, как животному общественному, надо мало... Передать по телефону сплетню, рассказать анекдот... Пых – и все... Заместителем у Валентина Петровича был Борис Шихман. Журнальчик их был неказистый, из полуведомственных, тщетно рвущихся в большой тираж. Писать в нем Кравчуку было все равно что сильному певцу петь в подвале клуба домоуправления. Бьется голос о стенки и к тебе же в горло возвращается спазмом. Поэтому Валентин страницы журнала своим пером трогал едва-едва, так только, для оттеночка, для блеска, а сам был желанным автором в больших газетах. Идеальное существование для журналиста – и редактор, и вольный стрелок.

Борис давно знал про страстное желание своего редактора уехать далеко-далеко... Шихмана это как раз не очень устраивало. Он сработался с Валентином, ему нравилось подолгу оставаться одному в редакции, пока тот ваял очередного героя где-нибудь на тюменских промыслах. Сам Шихман был человек не пишущий, в журналистику прибился из инженеров, но во всяком деле нужны люди разные. Шихман не писал, но хорошо все понимал, а для печати это немаловажно. Более того, понимая, мог сформулировать свое мнение, дать совет, предложить ход. Три дня тому Шихман прямо спросил – кто вместо? Валентин передернул плечами.

– Пока ты... – И добавил: – Не бойсь... Сволочь я заблокирую.

Они поняли друг друга.

Сейчас Валентин нервно набирал и набирал номер. Пусть ему Виктор сам объяснит то, что случилось. Но у

того было занято. Это тоже было неправильно, чтобы сразу все три телефона разговаривали. Валентин почувствовал, что вспотел. Хорошо, конечно, что на нем хлопковая рубашка, не так это мучительно физически, хотя идти теперь в ней куда бы то ни было уже нельзя. Разводы под мышками, на спине... Валентин потел сильно. Инстинктивно он отвернул от себя креолку. Даже с портрета пусть она его таким не видит.

Он услышал, как отворилась первая дверь «предбанника». Так вот, без стука – это мог быть только Шихман. Ах ты, черт! Валентин схватил со стула пиджак, натянул его на одно плечо. Заскрипела дверь, и, улыбаясь своей странноватой улыбкой, которая была у нее в легком подпитии и красила ее необычайно, вошла Наталья. С такой же степенью неожиданности в его кабинете могла материализоваться Индира Ганди или Пречистая Дева Мария.

– Привет, – сказала Наталья слабым, чуть треснутым голосом, который тоже был у нее только в одной стадии и тоже ее красил.

– Кто тебя пустил?! – закричал Валентин.

Все в редакции и на проходной были предупреждены: Наталью ни под каким предлогом к нему и вообще в здание не пускать. Да Наталья, собственно, давно и не делала для этого никаких попыток. Это в первое время, когда она набиралась под завязку, она приходила и буянила возле милиционера, именно возле него, и тогда Валентин даже подумал: может, это не случайно? И робкая, совестливая в трезвости Наталья инстинктивно шла к милиционеру, сама себя страшась? Его тогда все вокруг жалели. Еще бы, сколько лет он терпел эту женщину со всеми признаками полного распада личности. Ходила грязная, красилась грубо, могла начать петь и плясать прямо в вестибюле: «Ты ж мэнэ пидманула, ты ж мэнэ пидвела, ты ж мэнэ, молодого, з ума-розума звэла...» И чечеточкой, чечеточной по мраморному полу

перед громадным зеркалом, будто в паре сама с собой.

Тогда он и приказал – не пускать ее, увозить, если надо...

И вот она стоит перед ним, смотрит чуть исподлобья, чуть улыбаясь, немолодая потрепанная женщина, бывшая любовь, бывшая жена, мать его сына.

В кабинет влетела взъерошенная секретарша, с ужасом глядя то на Наталью, то на редактора.

– Идите, – сказал ей Валентин, потому что что-то в нем больно дрожало и он подумал, что стареет, что нервы ни к черту, что его сбило с ног это недоразумение (что же еще?) с его делом, поэтому и развезло. А Наталья – как раз подходящая добавка. – Садись, – сказал он ей резко. – Раз уж пришла, а не звали.

Наталья хихикнула, но не села.

– Ну так что? – спросил Валентин, больше не предлагая садиться, потому что, когда Наталья хихикнула, ему будто стало легче. У него в кабинете стояла чужая женщина, которую надо быстро выпроводить, а потому и садиться нечего.

– Все хорошо, – сказала Наталья. – Я чего пришла... Понимаешь... Сапоги тут за углом продают. Мои уже совсем... Мне не хватает... А домой ехать – это куда? Я завтра же тебе принесу... У меня отложено...

– Сколько? – спросил Валентин, доставая бумажник. Он знал, что никаких магазинов, кроме булочной, кругом не было, что делает глупость; он знал, что, когда Наталья берет взаймы, это значит – пропито все, взаймы – это пьянка напоследок, следующий этап – вытрезвитель, а то и больница. Когда он еще жил с ней, он просил всех знакомых не давать ей денег ни под каким предлогом... Ни под каким! Ведь бывали такие предложения, перед которыми ни один порядочный человек не устоит... «У соседки мальчик обварился, дайте, пожалуйста, деньги на такси... У них завтра получка, а у меня, как назло... Я обои купила». Обои демонстрирова-

лись... Люди рылись в кошельках, карманах, собирали деньги...

Валентин видел, как загорелись глаза Натальи, когда он спросил, сколько, как она боялась сейчас ошибиться в определении суммы.

– Ты же знаешь, какая теперь дороговизна, – забормотала Наталья. – Дешевле сотни ничего нет, а у меня с собой...

– Показывай, сколько с собой, – сказал Валентин. Наталья покраснела. Вот тоже – совсем пропащая женщина, а краснеть не научилась.

– Сколько, сколько, – затараторила Наталья, – нисколько! Я ж говорю, все дома! Я тут шла... Дают... И очередь божеская... И мой номер есть... Ну, встала и думаю, ты тут недалеко... Что ты, меня не знаешь? Да я и сегодня могу тебе привезти... У меня отложено...

– Не дам я тебе сто рублей, – сказал Валентин. – И пятьдесят не дам... Десять дам, и уходи... И не приходи больше... Я тут последние дни... У меня будет новая работа.

Наталья смотрела, как он раскрывал бумажник, она с ликованием увидела, что у него нет десятков! Плотненько, одна к другой лежали четвертные.

– Черт, нет десятки! – сказал Валентин то, что она уже поняла.

– Да Господи, Валечка! Чего ты боишься? Я и на новое место могу тебе привезти... Ты только адрес скажи...

– Я еду за границу. Работать, – сказал он ей и вдруг почувствовал, понял, осознал, что он никуда и никогда не поедет. Что в стройной крепкой конструкции, которая была его жизнью, произошла поломка и еще только предстоит узнать, где, в каком месте. Может, поломка – вот эта стоящая женщина с жадно ждущими руками?

– Не жисься, зайчик, – хрипло сказала Наталья, – не жисься!

Он не заметил, как его пальцы отделили четыре бу-

мажки, это все «зайчик», его старое домашнее имя, которое он и терпеть не мог, и жить без него не мог тоже. Наталья инстинктивно учуяла это, произносила его изредка, и он слабел от клички, как будто каким-то непостижимым образом в него входила суть названия – беспомощность, обреченность и незащитность. И он прижимался тогда к Наталье, как к более сильной, и она ерошила его волосы, дышала в макушку и лепетала какие-то завораживающие глупости: «Зайчик-побегайчик, водичкой умылся, травки наелся, солнышком погрелся... Шкурка у зайчика пушистая, ушки у зайчика длинные... Умненький зайчик, разумненький... Волку не попадетсЯ...»

Дичь! А он это слушал, и ему иногда даже плакать хотелось от жалости к этой самой заячьей судьбе, которая и его судьба тоже. Наталья мгновенно ухватила деньги и сунула их за лифчик. И не успел Валентин осознать, что он ей все-таки дал сто рублей и она их уже надежно спрятала, как руки Натальи обвили его шею, и он почувствовал забытый горьковатый запах ее тела, у которого было свойство побеждать все другие запахи. Она пахла сама собой, когда она пахла всеми лекарствами сразу, когда от нее разило перегаром мучительного похмелья – все одно, ее главный запах всегда оставался. И он даже думал как-то, что нет ничего сильнее и материальнее нематериального запаха. Оттого и помнишь его дольше всего.

И теперь она висела у него на шее – тяжелая, рыхлая, он просто вынужден был поддержать ее руками и вдохнуть ее всю... И заныло, застонало сердце, и с этим ничего нельзя было поделать, потому что это было сильнее и не брало в расчет никакую разумную логику. Господи ты Боже мой! Неужели никуда ему от нее не деться?

– Спасибо, зайчик, – прошептала Наталья. И быстро, бесшумно исчезла, то ли боясь, что он отнимет деньги,

то ли торопясь к заветному. Или по доброте своей спасала его, нынешнего?

Идиот, сказал себе Валентин, уже брезгливо отряхиваясь. Он это давно заметил: сила Натальи проявляется только на микроскопическом расстоянии, а стоит ей отодвинуться, он начинает ее ненавидеть. А вот Бэла...

Нет! Он не опустится до сравнения своей нынешней жены с этой алкоголичкой. Просто прожитая жизнь – груз, который всегда с тобой. И Наталья, в сущности, всегда с ним, даже если они видятся в последний раз. Мимолетно подумалось: в последний ли? И тут же снова стал набирать номер Виктора. И если пятнадцать минут назад были заняты три телефона, то теперь три телефона были мертвы. Длинные гудки были бесконечно длинными, что не могло быть естественным... И тогда Валентин подумал: что-то случилось. С Виктором что-то случилось. Инфаркт, например, инсульт... И его сейчас повезли, и секретарша и помощники сопровождают его тело... Тьфу ты, черт! Почему тело? Инфаркт – это еще не тело. А вот сопровождение начальника обязательно. Поэтому и нет никого. Виктор любил, чтобы вокруг него все слегка хороводились. Позвонить ему домой? Но Валентин всегда побаивался Фаину Ивановну. Еще с тех пор, когда у нее учился. Фаина Ивановна – учительница убежденная, а потому она оставалась ею всегда. Они давно все на «ты», а она все равно – только Фаина Ивановна. Дома, усаживая гостей за стол на двадцать четыре персоны, она хлопает в ладоши и громко кричит: «Ребятки! Садиться! Всем спокойненько садиться!» И он каждый раз испытывает чувство, что сейчас начнется опрос и он запутается, к чертовой матери, с галогенами и бензолами.

Но и домашний телефон Виктора молчал. Валентин позвонил Николаю.

Тот сразу взял трубку.

– Коля! Привет, – сказал Валентин. – Ты не знаешь,

где у нас Виктор?

– А пошел ты... – закричал Николай.

Трубка была брошена так, что частые гудки просто взорвались в голове Валентина.

«Спокуха, – сказал он себе, – спокуха!» Сжав голову руками, он сел в кресло, пытаясь что-то понять. Но смешно пытаться понять то, чего не знаешь...

С Николаем у него всегда отношения были сложные. Николай – вторая фигура их землячества, правая рука Виктора. Валентин учился в одном классе с женой Николая Татьяной. Был даже в нее влюблен. Но по тем, очень уж далеким временам у него не было никаких шансов на взаимность. Татьяна была очень красивая девочка, а он – раздетый хлопчик. Во всяком случае, он себя так ощущал и прятал от всех латаную-перелатаную задницу. Он тогда в армию рванул, хотя вполне мог в институт поступить, учился хорошо, да и не так это было тогда сложно... Так вот, он в армию рванул из-за штанов. Из-за формы. Его одели, и он сразу себя другим человеком почувствовал, сфотографировался шесть на девять и всем послал фотографии. И Татьяне, конечно... Ему все ответили, кроме нее. А потом, через годы, он узнал, что Николай эту фотку увидел, надпись «Любимой девушке» прочитал и не простил солдату. Такой Николай человек. Он о себе так и говорит: «Знаешь, у меня навсегда... И любовь, и нелюбовь... Я не дерьмо в проруби, чтобы крутиться...»

Конечно, все потом со временем сгладилось, и бывали вместе, и пивали, и жены их дружили – Наталья и Татьяна. И до сих пор Татьяна «пасет» Наталью. Ездит к ней, подкармливает ее, одевает... Он на Татьяну сейчас смотрит и не может понять себя того, который писал ей надпись на фотографии. Николаю он как-то даже на рыбалке это сказал, что-то насчет бесперспективности школьных Любостей, на что Николай отрезал: «Ну, ты по этой части специалист...» И грубо выругался.

Валентин даже на него не обижался. Нельзя от человека требовать не быть самим собой. Николай на рыбалке раз-нагишался. Он становился, в сущности, тем, кем оставался всю жизнь – учетчиком тракторной бригады, серым троечником сельской семилетки, которого жизнь подняла наверх волной, шмякнула о городской берег. А Виктор помог ему встать на этом берегу на ноги. Но на рыбалке всегда вещает возникающий из прошлого учетчик... Только вот каким образом учетчик Зинченко оказался в кабинете у Зинченко современно-го, непонятно. Что-то случилось и у него?

ТАТЬЯНА ГОРЕЦКАЯ

Она не знала, что так может быть... Чтоб все мысли по-думались сразу, а воспоминания встали в ряд, подчиняясь собственной, непостижимой ей логике. Чтоб в квартире запахло почему-то чабрецом, чтоб в ушах зачмокал, захрюкал свинарник и надо всем этим (или под этим?) взвился пронзительный насмешливый голос:

– ... А-ну, становсь!

Варька легко схватила за углы мешок с кормом и сбросила его с весов.

– Становсь! Становсь!

Цокнули металлические подковки «шпилек» о днище, и Татьяна почувствовала: волнуется. Чего, спрашивается? Ну, взвесит ее сейчас на пороссячьих весах Варька, так не в первый же раз? Варька всех взвешивает, страсть у нее такая. Ишь как шурует гирьками – туда-сюда, туда-сюда, чтоб не ошибиться, чтоб не убавить, не прибавить.

– Так я и думала! – закричала Варька на весь свинарник – Шестьдесят пять и двести граммов! У тебя, девка, случаем, не туберкулез? Что ж это с тобой случилось?

Чего Татьяна боялась, так это диагноза. Варька всех

людей делила на две категории – здоровых и больных. Границей были восемьдесят килограммов, ну, семьдесят пять на узкую кость. Все же, что ниже, было признаком полного или частичного нездоровья. А нездоровье называлось раком или туберкулезом.

– Что же с тобой случилось, девка? – еще раз повторила Варька. – Та на черта эта Москва, если с нее такое! Какая девка была!

Татьяна слезла с весов, и коленки у нее противно и даже виновато как-то дрожали. Четыре года тому назад она с девчонками бежала на выпускной вечер, и Варька остановила их и всех до одной взвесила.

«Красавица ты моя! – сказала она тогда Татьяне. – Тебе, девка, если идти, то за министра. Девяносто килограммов!»

Они повизжали тогда вокруг поросячьих весов, мысль о министре, отвергнутая вслух, была тем не менее приятной.

«Так они же все старые!» – небрежно бросила она Варьке. «А ты найди молодого, который до него дойдет! – засмеялась Варька. – Пошуйкай!»

Они бежали тогда в школу, и земля под ними аж гудела. Заключение Варьки смыло недавнее огорчение, связанное с туфлями. Мать купила ей в городе «шпильки» неопикуемой красоты. Она надела их легко, а вот пойти в них не смогла. Тоненький каблучок погружался в землю до самого задника. Татьяна пробовала не налегать на «шпильку», ходить в основном на цыпочках, но еехватило на пять минут. Заломило пальцы на ногах, икру свело.

«Тяжелая ты, – сказала тогда мать. – Это я не сообразила».

Пришлось бежать в сельмаг и купить обыкновенные босоножки, на невысоком распластанном каблуке, и вот в них теперь Татьяна бежала в школу на выпускной вечер с волнующей мыслью о министре.

«Шпильки» дождались своего часа. Она начала их носить в Москве после родов, каблук ее уже выдерживал. Вчера она приехала в гости к матери, вот вышла сегодня пройтись, возле свинарника притормозила. Варька, держа за углы мешок, не сразу признала ее, пялилась, пялилась...

– Господи! Что ж это они с тобой там сделали? – закричала она сокрушенно. – А ну, становись!

...Почему именно *это*? Почему именно это вспомнилось до подробностей, до мелочей? Как подковки цокнули, как пальцы Варьки двигали гирьки, и были они с короткими, обломанными, неровными и нечистыми ногтями, каким сухим, горячим и сильным был ветер и как он забивал юбку между ногами, так что приходилось ее все время выдергивать, а Варька не выдергивала, так и стояла, и ходила с запавшей юбкой, что было некрасиво, но для Варьки естественно. И почему-то тогда на весах вспомнился Татьяне их учитель литературы, который криком объяснял им, что красота есть естественность. А всякая искусственность – не красота, а подделка и фальшь. Бывает же так! Все возникает сразу – и то, и другое, и третье...

Все было вместе – «шпильки», гирьки, вечер, туберкулез, естественность. И сейчас до мельчайшего ощущения все это всплыло. Почему именно *это*?

Татьяна потрогала краны смесителя, подвинтила горячий. Посмотрела на себя в зеркало. Лицо перепуганное. Еще бы! И глаз подергивается. Тик...

Помассировав висок, Татьяна решительно открыла дверь ванной. В кухне звенела посуда. Вроде бы привычный звук до конца привычным не был... «Неужели будет бить посуду?» – подумала она, услышав, как тревожно звякали чашки. Она считала, что это уже давно невозможно. А вот сейчас решила – возвратимо. Все, оказывается, возвратимо.

Николай стоял на табуретке и шарил руками в по-

судном шкафчике. На столе стояла поллитровка.

– У нас есть нормальные граненые стаканы? – хрипло спросил он. Такой голос у него бывал после сильного подпития. Тогда он начинал говорить все тише и тише, а хрипотцы в голосе становилось все больше и больше, и не столько по количеству выпитого, сколько по голосу она определяла, когда его нужно уводить из гостей. Сейчас он был трезвый. Абсолютно.

... Татьяна оказалась дома случайно. Поехала в издательство за бумагой, ей сказали – приходите через часик-полтора, кладовщица зуб пломбирует. Возвращаться в редакцию не было смысла, а дом недалеко. Отпустила шофера, а сама пришла домой, стала придумывать себе дело на неожиданное время и услышала в скважине ключ. Думала, сын пришел, а на пороге стоял Николай.

– Чего так? – спросила она. – Захворал, что ли?

Но уже видела – не захворал. Муж вел себя странно. Первым делом открыл антресоли. Потянулся рукой и спихнул вниз короткие подрезанные чесанки. Этими чесанками она лечила детей от гриппа, когда они были маленькими. Если кто заболел, ходить полагалось непременно в них. Чесанки пахли нафталином, горчицей, ими давно не пользовались, с тех самых пор, как пропало у детей удовольствие ездить в мягких теплых валенках по паркетному полу. Пропало удовольствие – перестали надевать, даже стали возмущаться, если она предлагала: «Походи денек в чесанках!»

Николай взял чесанки и пошел раздеваться. Через десять минут он вышел в чесанках и в длинных сатиновых трусах, до самых колен. Татьяна задала тогда самый идиотский из всех возможных вопросов:

– Ты что, собираешься в кино сниматься?

Чем же другим можно было объяснить наличие вот этих трусов, которых утром на нем еще не было? Все морально устаревшие трусы были аккуратненько ска-

таны в тугие комочки и лежали в шифоньере у задней стенки. Не выброшены они были только потому, что Татьяна сохранила деревенскую привычку ничего не выбрасывать вообще. Мать ее хранила все. Правда, у нее для этого были и сарай, и чердак, и пара сундуков, и летняя кухня, в городе ничего этого не было, но Татьяна достигла совершенства в способности набивать старьем полиэтиленовые пакеты, чемоданы, коробки и находила им место. Поэтому и трусы оставались на полке, в самой глубине, и вот, оказывается, дождались своего часа. Понадобилось среди дня переодеться.

– Тяпнешь со мной, – хрипло предложил Николай.

– Я ж на работе! – возмутилась Татьяна. – За бумагой приехала... Ты чего это вырядился?

Николай засмеялся, зубами сорвал пробку и налил водку в алюминиевую кружку, которая служила Татьяне меркой. Он пил, не сводя глаз с жены, и было в его глазах что-то вызывающее, откровенное, нагловатое...

Так он на нее смотрел двадцать семь лет назад, когда нашел на выпускном вечере в школьном садике, где она забивала в босоножке выперший гвоздь. Широкие разлапистые босоножки, купленные взамен «шпилек», шили на их местной обувной фабричке люди немудрящие. Директором фабрики был безрукий Кузьма Минин. Знатная фамилия определила судьбу бестолкового и глуповатого крестьянина – он всегда пребывал на каких-то мелких руководящих работах. А когда вдруг ни с того ни с сего открыли фабричку и стали ладить на ней обувку местного значения, Кузьма вовремя попался кому-то на глаза, вовремя вставил какое-то нужное слово и был назначен ее директором.

Татьяна вбивала в каблук гвоздь, которым в другое время толковые люди латали бы крышу, теперь же гвоздь, руководимый Кузьмой, держал каблук.

Прибивая гвоздь, Татьяна присела на корточки, задрав сзади на спину шифоновый подол, поза была не

самая выигрышная для тяжеловатой девушки, поэтому она вскочила как ошпаренная, увидев этот взгляд – вызывающий, откровенный и нагловатый. Николай Зинченко курил за кустами жухлой сирени и все видел сразу – гвоздь, каблук, кусок кирпича в руках и открытый для удобства сидения на корточках голубой шелковый зад. Он шагнул к Татьяне, выплюнув далеко в сторону папиросу, и взял в руку босоножку.

– Ну и мастера, – сказал он хрипло, – ну и рационализаторы...

А мимо, аккуратно заправив за пояс рукав бостонского костюма, шел Кузьма. Его сын кончал школу вместе с Татьяной. Леня Минин, по прозвищу Менингит. Кличка пришла к нему от фамилии, Леня был здоров как бык и никогда ничем не болел. Но великая тайна слова произнесенного! Леня, получив в пятом классе кличку, с каждым годом учился все хуже и хуже и вроде как бы слабел головой; и уже новые учителя, а они менялись у них в школе часто, сочувственно спрашивали: «А когда Минин перенес менингит?» Иногда по глупости спрашивали самого Леньку. На что тот в ответ замирал и будто мучительно вспоминал свое тяжелое заболевание. Добрые мудрые педагоги хлопали его по широченному невминаемо-му плечу и подбадривали: «Ничего, Леонид, перерастешь».

Так вот сейчас отец Менингита шел им прямо навстречу, а Николай сжал в руках каблук босоножки.

– Это, Минин, что? – спросил он.

– Отпал, – добродушно ответил Минин. – Так с чего ему держаться? Это ж надо на клею...

– Так ты даже знаешь, на чем это надо? – засмеялся Николай.

– Некоторые делаем правильно, – спокойно сказал Минин. – Приходи завтра, – это уже он бросил Татьяне, – обменяю.

Николай кирпичом кое-как приладил каблук, Татья-

на неуверенно на него встала, он поддерживал ее за руку. Так они и вернулись в зал, где было оглушительно душно, пахло потом, одеколоном «Шипр», модными духами «Белая сирень», портвейном «три семерки» и умирающими от густоты такого воздуха цветами.

Побледнел стоящий у стены Валька Кравчук, дернул галстук-регат, сделанный из каких-то мягких проволочек. Это была единственная – новая его собственная вещь. Все остальное на нем было чужое. Рубашку дал поносить двоюродный брат, брюки – дядька, а пиджак, траченный молью, мать сберегла отцовский. Правда, такая чересполосица в одежде была тогда даже принята, и он не выглядел хуже других. Только вот нафталином от него разило так, что даже комары вокруг него не летали.

Татьяна в другой раз бы, конечно, отметила, как он дернулся, бедный поклонник. Но сейчас ее заворожила чужая рука на собственном сгибе локтя, рука эта как-то неприятно ее беспокоила. Она, еще когда Николай прилаживал каблук, обратила внимание на маленькие, глубоко вдавленные ногти, которые мощно обтекала спелая красноватая мякоть. Это было противно, но противные пальцы старались для нее, и было стыдно их ненавидеть. И она подавила в себе отвращение, тем более выше кисти у Николая все было в порядке – сильные загорелые мужские мышцы, ловкие, сноровистые. А потом она ощутила прикосновение его пальцев с твердыми плоскими подушечками и сказала себе строго: «Нельзя к человеку относиться плохо из-за мелкого физического недостатка. Вот у меня, например, тоже на пальце кривоватый ороговевший ноготь. Так что?»

На следующий день Николай постучал к ним в калитку, когда она едва проснулась после выпускного вечера.

– Бери босоножки, – сказал он ей, – пошли менять.

По дороге он объяснил, что он тоже в этом году по-

лучил аттестат в заочной десятилетке. В райкоме комсомола потребовали документы, его хотят сделать заведующим отделом. Правда, лопухи райкомовцы не знают, что с аттестатом его тут же заберут в обком комсомола. Там уже с ним говорили на эту тему. Помнит она Виктора Ивановича Гуляева?

Кто не помнит Виктора Ивановича? Он у них работал в школе, когда она пришла туда в первый класс. Молодой историк, распластав на груди блестящий немецкий аккордеон, играл им, новобранцам, известную из кинофильма мелодию, а учительница тонким неверным голосом побуждала их:

– Ну, ребятки, ну, все вместе...
Мы с железным конем
Все поля обойдем,
Уберем, и посеем, и вспашем...

Таня слова знала. В ее детстве каждое застолье начиналось этой песней.

– Он теперь в обкоме комсомола, – рассказывал ей Николай про бывшего историка. – В орготделе... Меня зовет... Квартуру обещает... Они дом строят на паях с заводом. Семизэтажный...

У Татьяны почему-то сжалось сердце. Как будто она что-то узнала такое, отчего вся жизнь ее будет зависеть, и теперь ей ни туда, ни сюда. Глупый какой-то секундный страх, и она, чтоб прогнать его, сказала:

– А я поеду в Ленинград поступать... На географический...

– Там климат неважный, – ответил ей Николай. – Я служил под Ленинградом. Все время проклятая сырьость... Я намерзся...

Сказал он это как-то так, что ей стало его жалко. И она, запутавшись в своих ощущениях, ляпнула ни с того ни с сего:

– А скорее всего, я не поступлю... Там, наверно, кон-

курс!

– Зачем же едешь, если не уверена?

Она ведь была уверена, была! Она ведь хорошо училась и географию любила, у них дома была хорошая географическая библиотека. Отец просто помешан был на всяких там пигмеях, островитянах. У него в кабинете во все времена наряду с другими висел портрет Миклухо-Маклая, и отец именно с ним любил разговаривать: «Ну, Миклуха, что мы будем делать с коровами?.. Ясно, понял... Я сам такого мнения...»

Отец учил ее грамоте по глобусу и музыке по песням из довоенных кинофильмов.

То, что она сейчас походя, легко допустила возможность не поступить на географический, было предательством по отношению к покойному отцу.

А Николай в это время уже вел ее по фабричке, где прямо пахло клеем, резиной, где им смотрели вслед соседки и знакомые, не понимая, зачем она тут – Татьяна Го-рецкая, самая красивая выпускница школы, и почему она идет с этим выскочкой Колькой Зинченко, который идет, скулами играет, так и жди, что-нибудь сейчас рявкнет.

Рявкнул:

– Что это возле тебя, Мария, мусору больше всего?

– А у меня работа мусорная, – ответила закройщица Мария, с которой он вместе учился. – Я ведь не с бумажками, как ты, вожусь, а с дерьмом! – И она ткнула прямо в лицо Николаю кусок остро пахнущей клеенки, из которой шилась детская обувь.

Им уже сигналил Кузьма Минин, стоя у своей директорской каморки. Он закрыл за ними дверь, взял в руки коробку с принесенными босоножками, вынул их и бросил в объемистую корзину для мусора. Потом он открыл дверцы широкого, во всю стену, шкафа и стал выбрасывать на стол всякие разные босоножки. Татьян а а ж ахнула. Она понятия не имела, что такие тут шьются.

Аккуратненькие, мягкие, на клею...

– Это на экспорт? – засмеялся Николай. – В центр, – бросил Кузьма. – Выбирай.

– Выбирай, – повторил Николай.

Татьяна робко взяла такие точно по фасону, какие у нее и были, только сделанные как следует.

– А почему остальное качество плохое? – строго, начальнически спросил Николай.

– А то ты не знаешь, – вяло ответил Кузьма. – Товар какой... А шьет кто? У меня ж сапожников нет...

– Ищи! – сказал Николай. – Проявляй инициативу!

– Счас, разбежусь... – засмеялся Кузьма. – Ты, Коля, меня словами не пугай... Втравили вы меня в это дело, себе не рад... И не трогай, Христа ради, Марию... У меня некого сажать на раскрой клеенки... Воняет же, зараза...

Татьяна вышла с Николаем вместе, а дальше их дороги шли в разные стороны – ей налево, ему направо.

– Между прочим, географический есть и у нас, – сказал он тихо.

«... Двадцать семь лет, двадцать семь лет», – думала Татьяна, глядя, как медленно заглатывает Николай водку. Он любил – медленно. Маленькими глотками. Двадцать семь лет – как один день. Зачем? Для чего? Чтоб родить детей? Чтоб жить в Москве? Она не так давно вдруг осознала бессмысленность их жизни вдвоем, призналась себе, что никогда ведь, в сущности, и не любила его. Сейчас же она вдруг осознала: она способна встать и уйти из этой квартиры, от сына, от этого мужика с омерзительными руками, уйти навсегда, и пусть не будет этих двадцати семи лет. Уйдет, и не будет.

– Налей-ка мне, – сказала она Николаю, протягивая ему чашку.

– Молодец! – похвалил Николай. – Имеешь, значит, сочувствие...

– Нет, – ответила Татьяна, – не имею... Что тебе сочувствовать? Тебе этого никогда не требовалось...

– Потребовалось, – сказал он. – Жизнь сделала крен...

ВИКТОР ИВАНОВИЧ

Виктор Иванович гулял с собакой Бартой с половины восьмого до восьми. Он любил это свое собачье время. Любил неспешность, необязательность мыслей, которые к нему приходили, пока Барта присаживалась, или гоняла воробьев, или тянула носом в каком-то ей одной известном направлении. Виктор Иванович проживал эти полчаса полно и счастливо. Он был как бы извлечен на это время из жизни и становился только собачьим хозяином, уже немолодым, в котором пенсионность возраста надежно скрыта хорошим массажем и доброкачественным питанием. А самое главное, прочностью «соцбытсектора». Так любил говорить его покойный приятель. Они с ним одновременно приехали в Москву. С разных концов страны. Так вот, этот приятель каждого спрашивал: «Как у тебя соцбыт?» Они не то что дружили, обедали за одним столом много, много лет. Менялось меню – угадывали болезни друг друга. Шутили по этому поводу. Делились врачами. Сейчас у приятеля черное мраморное надгробие на престижном кладбище, в крохотной нише надгробия лежит пакетик с мягкой тряпочкой. Его, Виктора Ивановича, пакетик, личный. Он, когда приходит на кладбище, протирает камень, теплый красивый камень, который сам выбирал на складе надгробий. Какие он видел там плиты и камни! Не те, конечно, что выставлены для всех, прямо на улице. Те, которые скрыты. Он тогда выбирал камень не глазами – рукой. Этот камень был теплый и, казалось, дышал. Пришлось строго сказать вдове несколько слов. Ей, дуре, грезился почему-то белоснежный памятник. Будь ее воля, она бы ангелов насажала по всему пе-

риметру, херувимов. Вдова была женщина примитивная. Но он своей волей положил на грудь приятеля теплый дышащий черный камень и уже своей дуре сказал: чтоб мне такой же. Фаина, как всякая нелогичная женщина, вместо того чтобы сказать – да, ответила, что умрет раньше. Пришлось как-то при случае – хоронили одного босса – показать камень Николаю Зинченко. «Видишь, Коля? Последи потом за моей...» У Николая побагровели скулы – верный признак понимания задачи, и он кивнул. Какой он толковый и верный мужик, этот Зинченко. Вообще хорошие у него ребята. На Валю Кравчука он не нарадуется. Сегодня его утвердят, и поедет Валечка за рубеж. Сколько ему пришлось за него пободаться, тот и не знает. Но для Виктора Ивановича назначение Кравчука имело принципиальное значение. Надо было, чтоб победили они. Их землячество. Вятичи толкали своего мужика. Хорошего, между прочим. И помоложе Вальки, и языком владеет лучше, и жена одна, а не вторая, ну, это, так сказать, анкетный расклад. Короче, пришлось повозиться...

Барта залаяла на газонокосилку. Умница, собака! Он их тоже терпеть не может. Не принимает его душа этой машины, не принимает. В Айданили он в санатории познакомился с одним газонокосилычиком. Очень интересный человек! До Большой Смерти – так он сам, с большой буквы, называл смерть Сталина – косилычик работал в органах. Ушел сам! Так он ему прокричал, перекрывая трещотку-газонокосилку. Сам! Сам. Он был против! Он сразу был против Хрущева. Ждал от него всякой пакости. Дождлся. Ну что, хорошо сейчас? Хорошо?! Занятный мужик, занятный... Говорит, что все понимал... Сомнительно, чтоб один человек мог что-то понять во всем... Мудрый приятель под черным камнем твердил ему: «Нельзя связывать свое благополучие с благополучием России. Безнадежное дело... Ей чем лучше, тем хуже... И наоборот. Такая страна... Единст-

венное, чего стоит в России добиваться, это чтоб она тебя боялась... Ценить она не может, уважать не может... Такая у нее природа... Чем лучше ты будешь жить, тем убедительней ты будешь для ее народа. Чем выше твой соцбыт, тем больше ты можешь сделать для этого ребенка – народа... Если уж тебе очень будет надо, вытягивай людей поодиночке». Умница покойник.

Время было непростое. Большие перемены, большие глупости. Одним словом, совнархозная эпопея. Метелились бывшие приятели в родном городе, не зная, как себя вести, как жить. Приезжали к нему в Москву – отводили душу, советовались. «Ну, скажи, Иванович, кто ж теперь в области главный? Кто ж заказывает музыку?»

Сам для себя он тогда решил: спокойно. Никаких крайностей. Подальше от борта. Никому не говорил, новаций не принимал. Это ж что за шутки, думал, с двухсотмиллионным населением? Каждый на полградуса качнется, что же будет? Так вот, тот газонокосильщик прокричал ему, перекрывая трещотку, то же самое. Он тогда и удивился, и обрадовался одинаковости их мышления. Один в Москве, другой в Айданили, а заволновались по поводу градуса качания. Нельзя так, нельзя! Надо ж помнить, какой у нас большой корабль. Разве ж можно штурвал вертеть, как мясорубку? И прав ведь оказался, прав! Пришлось потом выпрямлять. Нельзя у нас с плеча, нельзя. «Людей надо жалеть», – сказал он тогда газонокосильщику, но именно на слове «жалеть» тот так потрянул своей машиной, что травяной срез полетел прямо на белую тенниску. Местами зелень так и не отстиралась.

Виктор Иванович тогда хорошо сориентировался. Пустил в ход свое педагогическое образование, на него сделал ставку. Попал в министерство, долгие годы курировал именно педагогические вузы. Любил бывать в них, радовался девичьему гомону, такие молоденькие, такие хорошенькие... Ах ты, Боже мой! Как летит время!

Вроде сам недавно был студентом... В гимнастерочке линялой...

Его любили в институтах. За демократизм. Радушие. Никакого чванства там или зазнайства. Простой, душевный человек. С любой личной просьбой можно обратиться, и не стыдно, что лезешь к большому человеку с мелочью...

Виктор Иванович взял к себе на работу и Николая Зинченко. Очень тот был издерганный в постоянных командировках, бухтел, что бросит, к чертовой матери, Москву. Виктор Иванович сказал: «Успокойся. Посиди спокойно».

Предлагал и Вале Кравчуку место, но тот – руками и ногами. Не неволил. Помог найти то, что тот хотел. Как вырос Валечка за эти годы. Сегодня у него важный день.

Барта завела Виктора Ивановича в самые заросли. Здесь сходились радиальные аллеи, что шли от высоких кирпичных жилых башен. Стоило по ошибке пойти не по своей аллее, зайдешь далеко от своего дома. Поэтому он и не любил сюда приходить. Виктор Иванович стеснялся себе признаться, что не сразу мог угадать, какая дорога ведет к его дому. Строгие одинаковые аллеи путали и смущали его.

Он топтался на заросшей крестовине парка, когда услышал тихий голос:

– Я двадцать минут иду за вами, Виктор Иванович. Боялся, что вы назад повернете... Я сейчас вам скажу одну вещь. Не имею, конечно, права, но скажу. Я уважаю вас, помню, как вы помогли моему сыну с институтом.

– Глупости, – проворчал Виктор Иванович, недовольный тем, что его вынули из безмятежных мыслей, в сущности, ни о чем. Что это понадобилось соседу-собачнику? Почему он за ним шел?

– Виктор Иванович, – сказал тот. – Мы сегодня к вам явимся... Видите ли... Есть мнение... Вернее, решение... Проводить вас на пенсию... Мы, так сказать, недобрые

гонцы... Что делать? Что делать? Я увидел вас с собакой и решил. Скажу! Иначе мне будет неудобно... Такая вот история. Странное дело, человек стоял и говорил в полтора метра от Виктора Ивановича, а он не видел его. Не то чтобы он не видел ничего, нет... Просто голос оказался материальней всего... Тихий голос уничтожил все остальные знаки внешнего мира – облик говорящего, дергающуюся на поводке Барту, оглушительно неужоженную зелень, которая здесь, в тупичке, росла по своим законам, без секатора и газонокосилок.

Существовал тихий голос. Потом он перестал существовать, и некто ушел по одной из ухоженных аллей, ушел торопливо, потому что, когда у Виктора Ивановича включились все остальные центры восприятия, он уже никого не увидел. Можно было, конечно, схватиться за спасительную мысль, что никакого голоса не было, но Виктор Иванович был слишком материалистом, чтобы так вот улизнуть от сказанного, да и слова были слишком похожи на правду.

Он недавно стал чувствовать вокруг себя какое-то кружение. «Что-то зондируют», – сказал он себе.

При случае разговорился с товарищем из другого ведомства, сидели рядом на каком-то заседании.

– А где сейчас спокойно? – вздохнул тот. – Ну, возьми хотя бы газеты... Они ж как автоматчики... Что это – дело? Все у них наотмашь, все у них лихо... И никто им не дает по рукам... Написал тут один про нашу отрасль... Будто мы ее нарочно разваливаем.

Виктор Иванович сочувственно кивал головой, а думал о другом: та отрасль, конечно, всего этого заслужила. Но куда делась мера? Что-то с нами опять делается...

Виктор Иванович потащил за собой упирающуюся Барту. Фаина в холле отчитывала домработницу, тыча ее в плохо протертое стекло в стеллаже. Домработница явно обрадовалась, что пришел хозяин, схватила поводок, повела вытирать Барте ноги. Это дело было серь-

езней стекла в серванте.

– Ты сегодня раньше? – спросила Фаина. – Еще не вскипел чайник.

– Я не буду завтракать, – сказал он. – Мне надо срочно ехать...

– Что за ерунда! – закричала Фаина. – Ты обязан поесть...

– Нет, – сказал он ей мягко и даже коснулся ладонью ее дряблой пористой щеки. – Нет, Фаечка! Нет!

– Что, уже пришла машина? – спросила жена, тронутая неожиданной лаской.

– Да, – соврал Виктор Иванович, – я просто забыл тебе сказать, что у меня сегодня все несколько раньше...

– Чайник вскипел, – закричала домработница.

– Нет, – сказал Виктор Иванович. – Нет!

Фаина стояла в холле, рыхлая, отекающая женщина с розовой, просвечивающей сквозь редкие волосы кожей.

«Жалко ее, – подумал Виктор Иванович. – Она привыкла жить на широкую ногу». Он слегка пожал ей локоть, хотел еще что-то сказать, но зазвонил телефон. Фаина схватила трубку и закудаhtала. Это была подруга.

Жалко, подумал он еще раз, закрывая за собой дверь.

БЭЛА

Бэла ждала звонка мужа. По всем расчетам, ему уже полагалось быть. «Нечего волноваться, вся процедура – чистая формальность», – говорила она себе. Но волновалась. Вдруг кто-то там еще раз споткнется на Наталье? Или захочет споткнуться? Бедный Валечка, сколько он с ней намаялся! Несчастье всей жизни. Она успела это увидеть. Алкоголизм Натальи – грязь, которая и ее

измарала. Когда в ее бывшей семье узнали всю предысторию Валентина, свекровь сказала: «Неужели вы думаете, Бэла, что мы отдадим вам ребенка? Вы соображаете своей головой?»

Она не соображала своей головой. Она была влюблена тогда, нет, не влюблена, она любила, как идиотка, и была ненормально счастлива от непривычных ощущений. Она смотрела на мужа, дочь, свекра, свекровь, на весь их дом, пахнувший чистотой, добропорядочностью, и ей казалось, что все они как бы на экране и она приходит к ним, как на сеанс, а потом выходит в жизнь, и там на нее льет дождь, и там ее сквозит, но зато это все по-настоящему, а дома она на сеансе. Большинство ее подруг и знакомых не выбирали бы. Еще бы! Такая респектабельность, такая многократная прочность существования. Врачи в четвертом поколении. Знание и достаток, передаваемые непосредственно через хромосомы. Они все были несколько разочарованы, когда узнали, что она искусствовед. Красиво звучит, но *не дело*. Правда, в их большой, разветвленной семье такие случаи уже бывали. У какого-то дяди из Самары жена была суфлером в театре, а у кузена из Тбилиси – вообще метательница диска. Так что Бэлу все-таки приняли в чистый, ухоженный дом. Ей выделили место за столом, кольцо для салфетки, бабушка мужа купила ей тапочки с меховым помпоном. И пошло-поехало. Жизнь в правилах, обязанностях, коллективных празднествах. В общем – хорошая жизнь, зачем Бога гневить? Пока не свалился на голову Валентин с его женой-алкоголичкой, которую он скрывал, и сыном, которого всюду таскал с собой.

Она пришла к нему со статьей. В какой-то момент в общем-то делового разговора (делового? Убийственно-го! Он на ее статье живого места не оставил) поймала его взгляд. Восхищенный, тоскливый и усталый одновременно. Удивилась – как это в нем сразу? Восхищение

– в полную меру, и тоска – тоже, и усталость... Возвращалась домой и думала – такие мужчины ей не попадались. Стала перебирать в памяти и не нашла. Нашла слово – одномерные. На три сильные эмоции сразу – бессильные. Привязалось наблюдение. Весь вечер изучала свою семью. Ну какие все лапочки! На работе они – работающие. Дома они – отдыхающие. Муж разгадывает «кроссворд с фрагментами». Это его хобби. Он классный программист. Но никогда дома про это. Дома он кроссвордист или шахматист. Или меломан. И обязательно что-нибудь одно. Окликнула его – он посмотрел ей в глаза, и она увидела в них картинку из кроссворда. Просто как в зеркале. Трагически заломленные руки из какой-то итальянской картины.

Разве мы знаем, что с чего начинается? У нее вот все началось с какого-то смутного сравнения двух мужчин. Одного, совершенно чужого, и другого, совсем своего.

Дальше была дьявольщина. Потому что в сравнении побеждал муж. Не идиотка же она была, чтоб не видеть и ум, и порядочность, и преданность, и все остальное. Господи, да их единицы остались, таких, на которых можно до конца положиться. Но она шла в редакцию, и болтливые женщины ей рассказали. Жена у главного – алкоголичка, он мается с ней уже не один год. Мальчишку таскает всюду за собой, хороший мальчишка. Добрый, воспитанный. Говорили и о подспудном: ему бы жену бросить, никто его за это не осудит, а ему хорошую бы бабу... Чтоб мальчика до ума довела, да и самого Кравчука от грязи отмыла. И в прямом, и в переносном смысле. Он ведь, бедолага, сам стирает. А как они это умеют, мужчины?

Однажды она увидела, как втаскивал Кравчук бесчувственную жену в машину. Увидела ее рваные колготки. Метнулась в сторону, чтоб он не заметил ее. Кому ж хочется, чтоб такое виделось чужими глазами? Но не успела. Он увидел ее. И она не столько глазами, сколько

всем своим существом почувствовала стыд его налившихся щек. Захотелось сказать ему что-то утешающее, какие-то неведомые слова.

Сделала же глупость. Рассказала все дома. Когда начала, свекровь взяла внучку за плечи и, ласково журча, увела в соседнюю комнату.

Вернувшись, сделала Бэле замечание:

– Как можно такое при ребенке?

– Она что, пьяных не видела?! – возмутилась Бэла.

Как одинаково они на нее посмотрели! Ночью муж спросил:

– Этот Кравчук... Он что, очень тебя интересует? – С чего ты взял? – соврала она.

Надо было соврать, чтоб началась прогрессия. На другой день она шагнула Кравчуку навстречу, когда он выходил из редакции.

– Что я могу для вас сделать?

Он смотрел на нее и как бы не понимал. Или не понимал на самом деле? Ответил резко:

– Благодарю... Ничего...

Испытала облегчение. Потому что уже приготовилась ко всему.

А через несколько дней он сам шагнул ей навстречу и предложил поужинать вместе.

Пошло-поехало.

Уже не думала. Уже не анализировала.

Подруга спросила: «Ты идиотка? Какого тебе рожна?» Истерически кричала на нее тетка, слов не выбирала.

«Ребенка мы тебе не отдадим, – сказала свекровь. – Сама подумай».

Она подумала. Чистенькая, ухоженная дочка сидела с ногами в кресле и читала мифы Древней Греции. Это был ее дом. Куда она ее поведет? Когда еще удастся Валечке разменять квартиру... Они были с ним бездомные, у них каждую неделю были разные ключи, кто ка-

кие подкинет... Можно, конечно, устроить большую склоку, затеяв обмен мужниной квартиры. Ведь ей с дочкой тут что-нибудь причитается. Бэла подумала тогда: они меня сейчас ненавидят, но не знают, как могли бы ненавидеть... Ведь этим олухам с традициями даже не пришло в голову, как она могла подвзорвать их тем же обменом. Бэла, живя в этой семье, давно поняла: мысли о пакости, о гнусности человеческого рода в их стены просто не вошли.

Девочку свою она оставила в семье мужа. Встречалась с ней раз в неделю. Промытыми блестящими глазами девочка ее не видела. А может, мать была для нее сеансом? И дочка торопилась в свое кресло, где у нее была настоящая жизнь, в отличие от этой яркой, пряно пахнущей, для нее неестественной женщины? У Бэлы сжималось сердце после этих встреч. И ее желание уехать было прочно связано с этим. Нельзя было не видеться здесь, а *там* можно будет не видеться. И может, она родит своего ребенка, который будет ее видеть? Вот и сын Валентина его не видит... Пришлось его отправить в Ленинград, в военное училище, чтоб не знать, как он не видит...

Это у них общее горе с Валечкой – дети. У них на этом так заквасилась любовь, что разъять их можно только общей смертью. А может, нельзя будет и смертью, если слухи о бессмертии души имеют под собой какое-то основание. Тогда их души...

В абсолютно духовной семье, где читали на трех языках, где чтили симфоническую музыку и живопись русских крепостных, где толковали Евангелие от Луки и от Матфея и принимали как данность непознанность человеческой природы и человеческой души (души!), ей, Бэле, в этой семье о душе не думалось. Семья, к примеру, слушала колокола, а она следила за сверкающей аппаратурой, под колпаком которой плавно, матово кружилась пластинка. Тот дом обладал странным для

нее качеством: он был для нее оглушающе материален. Кольцо для салфетки, тапочки с помпоном; портьеры и рамы для картин – все это было громким, горячим, тяжелым. Первичная материя просто изгалялась здесь над духом, который – где он? Где он? Где он? И сама Бэла была в нем плотная, твердая, как будто и не женщина вовсе. А потом случилось обратное – невероятное. Пошла таскаться по чужим квартирам с чужим мужем, и нате вам – услышала и колокола и помягчела...

Оказывается, любовь...

А ведь могла так и прожить жизнь, не ведая ее. Не первой была бы, между прочим, и не последней... «Будь она проклята! – сказала ей тетка. – Твоя любовь... Если как у тебя, то без нее лучше... Чем тебе была не жизнь? В достатке и уважении... Прямо как в анекдоте... Дерьма захотелось?»

Бэла же копила в себе новые ощущения. Как-то подруга подкинула им с Валентином на воскресенье ключи от химчистки, где была заведующей. Задрипанная такая химчистка в подвале нового дома. Подруга отключила и свет и сигнализацию. Пахло ношеным, пахло бедностью. Бэла прошлась по вешалкам. Три-четыре хорошие вещи с хорошим запахом. Остальные – почти рвань. Сроду этого не знала, а тут накатила на нее жалость. К этим убогеньким пальтишкам, поникшим платьям, затрапезным костюмам. Неизвестно, что пошла бы делать, чтоб одеть всех, как эти три-четыре.

Не призналась в этом Валентину. Он ведь не на такую «глаз положил». Слабая у него уже была. Она должна быть сильной.

И все-таки почему нет звонка?

ВАЛЕНТИН КРАВЧУК

Кравчуку принесли гранки... Художник приволок

для первой обложки портрет одной птичницы – закачаешься, какая красotka. Вопросов нет, надо такую ставить.

– Ее бы крупняком, без птиц, – мечтательно сказал художник. – Жалко место переводить на пернатых, когда такая красotka.

– Только с птицами, – сказал Валентин. – И чем их больше, тем лучше. И назови «Последний день на ферме»...

– Чего? – не понял художник.

– Неужели же ты думаешь, что она после нашей обложки останется там работать? Ее замуж возьмет какой-нибудь генерал... Во всяком случае, я бы на его месте взял...

Художник, довольный, хохотнул.

– Ты бы взял, ты бы взял... Ты бы всех взял... – Я такой, – ответил Валентин.

Если бы только кто мог видеть, как далеко он сейчас находился от слов, им произносимых. Он думал о Николае Зинченко. Он хотел понять, почему тот ответил ему, как учетчик тракторной бригады Заячьего хутора. Именно на этом хуторе был мысленно редактор журнала Валентин Кравчук, на родном, стоящем на отшибе хуторе. Там на него, мальчишку, тоже кричал когда-то, лет тридцать тому назад, Зинченко. Он уходил тогда от него и плакал, размазывая грязными руками слезы.

– И не подходи больше к машине, сучий потрох! Ноги пообломаю...

И еще он говорил какие-то слова, обидные, гадкие, и вокруг все смеялись, потому что смеяться в поле над учениками не считалось делом стыдным... На них оттачивалось слово...

Какое им дело было до того, что недалеко стояли девчонки, а среди них – Татьяна Горецкая, которую тогда, можно сказать, будто впервые увидел Валька Кравчук. И ради нее он взобрался на трактор и крутанул не

туда и не так...

Как давно это было, а как сейчас... А тут еще эта фотография птичницы... И белоперая ферма... И девчонка на портрете, совсем на Татьяну не похожая, но и похожая тоже...

Черт знает что! Что случилось, кто ему скажет?

Вошел Борис Шихман. Сказал, что в приемной сидят двое. Рвутся в кабинет Валентина на том основании, что они из Заячьего хутора. Выгнать?

Это же надо! Хутор, можно сказать, наступал изнутри и снаружи сразу.

... Валентину было четыре года, когда началась война. С субботы на воскресенье отец взял его с собой рыбачить. Они встали рано, до солнца, и пошли с отцом в заветное место. Отец шел впереди, и Валентину запомнились штаны отца, широкие, серые, подвернутые до колен. За подвернутость он, маленький, держался рукой, когда они спускались к речке. От этого отцу было неудобно идти, и он даже крикнул ему: «Да не чипляй ты меня за ногу... Я ж двигаюсь...» До сих пор в ушах голос отца, а в ладонях ощущение брючной ткани. Потом, уже взрослому, почему-то понадобилось узнать, из чего были сшиты отцовские штаны. Выяснилось – диагональ. Мать – он у нее спросил – почему-то разволновалась, что он помнит эти штаны, расплакалась и сама тогда вспомнила удивительное. Будто, когда они с отцом вернулись днем и мать, крича в голос, сказала им про войну, отец вроде бы как и не понял сразу, про что речь, и ответил ей невпопад:

«Валька-то наш, дытына, глянул с пригорка на хутор и говорит: „Папаня! Зайчик лежить... Углядел!“ – „Война, Петя! Война!“ – кричала мать.

„Дытына, а заметил красоту“, – повторяла отцовы слова через двадцать с лишним лет мать, вспомнив эту подробность в разговоре о диагоналевых брюках».

Сам Валентин слов этих своих, конечно, не помнил, и

не знает он, с чего у него замирает сердце, когда с пригорка он видит этого большого зайца с прижатыми ушами – белокипенного зимой и когда цветут абрикосы и серо-зеленого, притрушенного летней пылью. Хутор-заяц. Этим словом он был и заклеямен в свое время, когда исхитрился в войну прожить, считай, без войны. Более того, в достатке. Эта удивительная история его хутора жгла журналистские потроха Валентину Кравчуку. Ах, какой ни на что не похожий можно было сварганить материал! Как-то поделился идеей с Виктором. Тот сказал категорически: «Вот этого не надо... Горецкий – личность смутная, а как ты без него будешь про все рассказывать?» – «Так я о нем и хотел...» – «Не надо, Валек! Да и Николаю будет неприятно... Не трогай то, от чего не будет пользы... А история вашего хутора – она не безвредная, Валек!»

История была такова. Хутор лежал в восьми километрах от центральной усадьбы – станицы Раздольской. Ныне Раздольская – райцентр, с фонтаном возле райкома партии, с городской девятиэтажкой напротив него же. На девятом этаже, к слову говоря, живет сестра Валентина – Галина, главный хирург Раздольского. Лифт ходит только до восьмого этажа, так почему-то получилось у строителей, и два марша к ней надо идти пешком. Племянник Петрушка расписал стены вдоль маршей в стиле Давида Сикейро-са. Другому бы не поздоровилось, но то, что не положено быку, позволено сыну главного хирурга. Пойди найди в городе семью, в которой бы не нашлось самого завалящень-кого хирургического повода. Рисуй, мальчик, стены, как схочешь, все снесем, даже абстракционизм, ради хороших отношений с твоей мамой. Знал, у кого родиться, вольный художник Петрушка.

Восемь километров, что отделяли и до сих пор отделяют – не поддаются географические расстояния волюнтаристскому пересмотру – Заячий хутор и центр –

непростые восемь километров. Лежат они через громадный овраг с обрывистыми откосами, поросшими сплошь колючим репейником. Сейчас через овраг переброшен мост на бетонных сваях. Но года не проходит, чтоб на этом мосту чего-нибудь не случилось. Обязательно кто-то сверзится. Есть на земле такие заклятые места. И никаких перспектив на улучшение ситуации не предвидится. Машин все больше, с водкой тоже перебоев еще не было, так что каждый сажающийся в рейсовый автобус, который регулярно, четыре раза в день, ходит в хутор, всегда мысленно или совершенно откровенно крестится на стоящую невдалеке раздольскую церковь. Но, как говорится, кому на роду написано свалиться в Заячью балку, тот в нее сваливается. Тут никакая церковь не поможет. Поэтому расстояние, хотя и выпрямленное бетонным мостом, субъективно осталось прежним. Если и не трудным, то неприятным.

Места такие называют урочищем. Ни с того ни с сего возникает в общей картине природы отклонение, где все не по правилам, все супротив них. Их хутор лежал за крутой каменистой балкой, весной и осенью залитой водой. Откуда такая балка на ровной, как стол, степи, а вот змеилась, будто натянулась в этом месте земля изо всей силы и от натяжения лопнула. С низкого полета это хорошо было видно. Казалось, прижми края балки, и зубчик в зубчик сойдется она в ровненькую степь. Но не сходилась. Торчали зубчики по разным ее краям, попробуй дотянись.

Так вот, хутор был за балкой. Чтобы добраться до него до войны, надо было спуститься по откосу и таким непростым образом дойти до переброшенного деревянного мосточка, который висел над каменным дном балки, весной и осенью залитым водой. Вместе с людьми эту дорогу могли с трудом проходить лошади и легко козы. Коров же гнали только силой. С других сторон хутор окружала ровная, как стол, степь, на которой

буйно росла всякая трава, до большего тогда еще не додумались. К слову сказать, когда додумались сажать что-то культурное, оно не выросло, зато трава расти перестала. Но это не имеет отношения к делу. Была там еще и речушка. В одном месте одним скоком перепрыгнешь, а в другом хоть караул кричи. Ни моста, ни переправы, ничего!

В августе сорок первого в родной хутор Кравчука вечером со стороны речки пришло мычащее, стонущее, истекающее молоком, измученное слепнями коровье стадо. Его сопровождал мужик со сбитыми босыми ногами, со свалывшейся сивой бороденкой и голой лопаистой спиной. Мужик расправил на остром колене листок, на котором фиолетовым химическим карандашом был начертан ему путь следования. На листке химическая стрелка упиралась прямо в брюхо станции Раздольской и игнорировала существование Заячьего хутора. Председатель сельсовета Степан Горецкий, не взятый в армию из-за открытой формы ТБЦ, смотрел на недоеных коров и плакал. Мужик же пялился на бумажку на колене и удивлялся появлению на его пути неизвестного Богу хутора.

– Я правильно иду? – сипло спросил он Горецкого, рубя рукой воздух по направлению Раздольской. – Мيني туда? Чи я заблукав?

– Туда, туда, – вытирая слезы, отвечал Горецкий. Бабы с подойниками без сигнала и команды бежали к коровам, и в хуторе уже через полчаса остро запахло молоком, скотиной и миром.

– Издалека гонишь? – спросил Горецкий. Мужик кивнул молча, серьезно.

– Вдвоем остались, – сказал он, кивая на парнишку-подпаса, который сел прямо на землю и как сел, так и заснул без всякой последовательности перехода одного в другое. – Двое, курвы, сбежали...

– Куда ж дальше? – сморкаясь от слез, спросил Го-

рецкий.

– По маршруту, – твердо сказал мужик. – Куда ж еще? Переночуем и тронемся, – и тонко, пронзительно, в небо прокричал: – Чтоб не досталась советская корова проклятому фашисту!

– Много сгубилось по дороге? – тихо спросил Горецкий.

– А то... – махнул рукой мужик.

– Ну, ладно, – сказал Степан. – Чего разговаривать на пустой желудок. Помоешься? – предложил он пастуху.

– Не, – ответил тот. – Расслаблюсь... А не имею права.

Мужик и подпасок поели и уснули в сарае, а Горецкий пошел в сельсовет. Он сел за свой колченогий стол и стал разговаривать с Миклухо-Маклаем.

– Такая вот буза, – сказал он великому знатоку пигмеев, смотрящему со стены. – Сам видишь... Он же идет наперерез немцам... Чуешь, где бабахает? А причем коровы, ежели люди – идиоты? Вот то-то... Но он ретивый, он пойдет, у него, видишь, стрелка намалевана... Хорошо бы коровенок оставить, а, Миклуха? Ты б их, мучениц, видел... Он же сгубит это стадо, он же, сукин сын, его не считает... Давай, Миклуха, решай... Мы с тобой, считай, два мужика тут.

Миклуха на портрете вроде бы как улыбнулся.

Горецкий зашел в сарай и взял топор. Внимательно посмотрел, как мертво, спокойно спит ретивый мужик. А парнишка, его подпасок, спит, как температурный, дергается, что-то выкрикивает и вроде бы даже как рыдает. Он прикрыл обоих стеганым ватным одеялом и пошел в балку. К утру мостика, который лежал на дне Заячьего оврага, не было и в помине. Далеко в стороны растаскал Степан чурбаки и доски, это на тот случай, если у мужика есть пистолет и он начнет завтра им размахивать, чтоб поставили мост на место. Никто не слышал, как одышливо, потливо орудовал негодный к войне председатель. Слишком сильным впечатлением

были коровы, да и спалось хутору первый раз с начала войны под утешающее коровье дыхание.

Рано утром Степан сказал мужику:

– Не хотел тебе говорить вчера, только не пройти тебе дальше в Раздольскую. Мостик порушен в стратегических целях.

Стратегические цели придумались ночью. Военные слова были для мужика убедительны.

– Дай мне справку, – сказал тот Горецкому, когда они стояли на обрыве и смотрели на другой его откос. – Дай справку, что моста нету.

– А как же! – ответил Горецкий. – Как же без справки... И он написал на бумажке с фиолетовой печатью:

«Следование коров невозможно по причине отсутствия моста». И подписался. Мужик взял бумажку, посопел и велел дописать: «Стадо принял председатель сельсовета Горецкий».

– Ты можешь остаться, – предложил Горецкий мужику. – Будешь следить, как мы их тут будем сохранять.

– Не, – ответил тот. – Не... Бумага есть, чего оставаться. – И он исчез вместе с подпаском, ушел в ту сторону, откуда пришел. И молчал хутор, замер хутор, никто и не спросил, куда делся мост, а Степан видел, как бабы Левчуковы шли с козой в балку. Он боялся, что не к месту заорут правду сумасшедшие тетki, и тогда не убедить ему ретивого в своей идее. Застрелит на месте. Тем более что был у того пистолет, был! Но тихо, тихо вернулись с козой Левчуки. Стояли, смотрели, как ручкаются Степан с мужиком, как споро по коровьим следам уходит тот, и только потом кинулись к Степану.

– Наши теперь коровы?

– Конечно, государственные, – ответил Степан, – но наши.

Немцы пришли в Раздольскую через два дня. Хлопот им было в этом месте много, выгоняли их оттуда, и не один раз, снова туда возвращались. Хуторяне видели

немцев издали. Стояло немецкое офицерье на обрыве, в бинокль разглядывало хутор. Один раз подходила с треногой, видать, инженерная команда, громко пособачьи переругиваясь, она, видать, спорила об этой балке.

На другой день, как стояло на откосе немецкое офицерье, Степан Горецкий раздал весь скот по домам.

Немцы в хутор пришли всего на три дня и старостой назначили Степана. Он дурачком прикинулся: гут, гут... Правда, паялился на него пришедший с немцами раздольский полицай. Казалось ему, что стоял когда-то Горецкий на районной деревянной трибуне во время демонстрации. И слева подходил к Горецкому, и справа. Полицай жаждал подвига разоблачения. Но что делать? Он был по-своему добросовестный (даже слово такое жалко на него употребить), но, скажем, был он буквоедис-тый. Подвига он жаждал настоящего, а не по ошибке. Решил, что еще придет в хутор, разберется повнимательней, да не выпало ему. Подстрелили его партизаны. Зимой же хутор как ножом отрезало. Правда, в самый лед и мороз каким-то непостижимым образом спустились в балку и поднялись к ним две еврейские семьи. Так и прожили всю войну со всеми. А потом со стороны степи, обхитрив речушку, пришли шахтерские бабы «меняться». Хорошо прибарахлились хуторянки за это время. Попали в их сундуки за коровье масло и мясо невообразимые крепдешинные платья, лисьи горжетки, мягкие прюнелевые туфли на венских каблучках, белые фетровые ботинки, а также тюлевые гардины, бархатные скатерти с кистями, патефоны, кружевные подушечные накидки и нежные фильдеперсовые чулки, чудные для тогдашней сельской бабы.

Очень удачно, выгодно умела меняться мать Вальки Кравчука. Ох, и оборотистая в этом деле оказалась женщина. Все приобретаемое в войну сроду не носилось. Все лежало в высоком сундуке, по-материному –

скрыне.

Когда с войны не пришел муж, она сказала: «Я це чуюла... Таких, как он, убивають зразу... Он же сам муравья не вбьет... А бой – це ж хто кого...»

И тогда все вещи, наменянные в войну, приобрели смысл и цель: они должны были дать возможность детям выучиться. Ишь, как она правильно делала, что не давала девчатам носить дорогие тряпки. Обойдетесь, девки! Есть дело поважнее, чем покрасоваться в чужом на улице.

Потом, когда после войны Степана Горецкого обвинили в раздаче коровьего стада и начались в хуторе смута и склока, и две еврейские семьи написали, может, сто, а может, тысячу писем про то, как их спасали хорошие советские люди и как благодаря Горецкому в хуторе – *всегда!* – были справедливость, порядок и правда, мать Кравчука никаких писем подписывать не стала.

– Неграмотная я! – кричала она на всю улицу. – Неграмотная! Мне сирот кормить надо, а не ваши письма подписывать... Кто их поставить на ноги, если со мной что?

Горецкий всех спас. Он умер на одном из допросов, лишив, таким образом, следствие обвиняемого. Кое-кто, говорят, был этим расстроен, и даже кому-то там – тоже говорят – за то, что Степан умер, попало. И ушло дело само собой в песок. Всех коров, детей и внуков тех, приبلудных, сдали на мясокомбинат, мост – тогда еще деревянный – был для этого восстановлен в один день. Мать Кравчука приспособилась ездить по воскресеньям на базар в город, продавая потихоньку крепдешиновые платья, горжетки и ботики. Отчего и сумела старшая сестра Валентина сразу поступить в университет, а средняя в мединститут, и только он ушел сначала в армию. Хотел иметь форму. Но это было потом, потом, когда уже стоял бетонный мост и они ходили по нему в раздольскую десятилетку. Он и Танька, дочка несчаст-

ного Степана Горецкого. А когда Танька переехала с матерью в Раздольскую, мост Вальке стал казаться длинным-длинным... Автобусы тогда еще не ходили... Мать и сейчас живет в хуторе. Одна как перст. У нее в скрыне осталась выменянная еще в войну у одной инженерши фарфоровая пастушка. Сейчас вернулось время ее подлинной цены, и когда он сказал матери, сколько может стоить такая вот голубоватая фигурка в московской комиссионке, мать заплакала и закричала: – «Пора, значит, воевать... Люди вже подходяще сошли с ума. Этой же кукле цена – литр молока, и ни грамма больше».

Мать его не хочет ехать ни к дочерям, ни к нему. В низко повязанном платке, она по-прежнему стучит по мосту заскорузлыми пятками, неся на базар яички и сало. Стоит в рядах с поджатыми губами, цену просит высокую, но легко поддается на уговор. Деньги лежат у нее в жестяной коробке от московских леденцов, связанные черными круглыми резиночками.

Коробочка стоит за иконой Христа Спасителя.

– На кого вин похож? – спросила как-то мать Валентина. – Не признаешь? На Степку Горецкого, такие ж щеки запавшие и глаз жалковатый.

– Почему жалковатый? – засмеялся Валентин.

– Не по времени, значит, явился чоловик, – сурово ответила мать. – Зараз у всех глаз бесстыжий, хоть тебя возьми, хоть кого... Глаз, а не видит. Понимаешь?

... В кабинет Кравчука вошли двое.

– Здравствуйте, уважаемый Валентин Петрович! Низко кланяется вам колыбель-родина.

«Я не адекватен, – подумал Кравчук. – Я хочу их выгнать, к чертовой матери. Сразу и навсегда. Ишь! Стил какой... Колыбель-родина...»

Четыре одинаковых ботинка, цвета, который называют желто-горячим... Хорошо называют, потому что это уже не цвет, это уже нечто большее, это уже, если хотите, сущность предмета. Сразу все ясно: и какой мас-

тер шил, и какой идиот продавал, и какой дурак купил. Кравчук не подымал глаз от тупоносых, с черными шнурками, на белой микропорке чудовищ. Они же – ботинки – делали свое дело. Они шли. И уже стояли почти рядом, и уже жестко зашелестела бумага, и Кравчук уже не мог не увидеть на своем столе карту, которую тут же вспомнил, хоть и не подозревал, что помнит... Это была карта «проложения прямой дороги к узловой станции». Проекту этому было лет пятьдесят, а может, и больше. «Заболел» им один красный комиссар, инженер по дорогам. Говорят, на этой идее его крепко поправили в свое время, потому что не до болот было, а выгадывание двухсот километров актуальным не считалось. Жили люди, и хай живут. Пришло время бетонный мост им перекинуть, перекинули.

Кравчук по молодости писал об этом проекте, вернее, о его авторе, в рубрике «История нашего края». Материала о самом комиссаре было чуть, зато бумажек вокруг этой самой карты куча мала. Материал он называл «Романтик дорог», вникать в бумаги не стал, потому что было ему это неинтересно. Упор сделал на деталь понравившуюся: в ногу комиссара ранил чуть ли не сам Махно. Факт неточный, но кто это может сейчас проверить? И вот сейчас этот Богом забытый проект лежал на столе у Кравчука и четыре желтых ботинка переминались на зеленом покрытии пола.

– Значитца, – слышал он голос, – считаем, что время ему подоспело, молодежь наша внесла свой расчет, так вы тут суньте дело в руки кому надо, нехорошо, чтоб все загинуло... Оно ж хорошая идея... Смысл в ней государственный...

Оказывается, это необычайно легко было сделать: не подымая глаз выше ботинок, одним движением скатать проект в тугой рулончик.

– Не ко мне, товарищи, не ко мне... Идите к дорожникам, а еще лучше – в облисполком... Я уезжаю, и на-

долго... («Не уезжаешь!» – прокричало что-то внутри.) Уезжаю! – закричал он ботинкам. – Кто вас надоумил идти ко мне? Какое это имеет ко мне отношение?

Глаза все-таки пришлось поднять. Глаза. И он узнал их. Старый мужик – сосед через двор. Молодой – учился тремя классами позже. И пахло от них деревней – яблоками и навозом сразу, и не то стыд, не то просто сентиментальность ощутились вдруг глубоко и остро. Надо было вытолкнуть «ботинки», не говоря ни слова и стараясь больше не подымать глаз, чтоб не ослабиться в этом главном сейчас деле: освободиться от этих хуторян – осушителей болот! Где ж они откопали этот проект? В каком таком архиве? Неважно! Неважно! Неважно! В сущности, он ведь прав. Не его это дело. Не его! А каждый должен заниматься своим.

Это он им сказал напоследок, уже закрывая за ними дверь.

Когда остался один, почувствовал, что сердце вроде бы билось не там, где ему полагается. Оно билось где-то в животе, в потрохах... Такое сбежавшее с места прописки сердце...

ТАТЬЯНА ГОРЕЦКАЯ

«Господи, – думала Татьяна. – Почему?»

Это «почему» не имело ответа. Да и глупо спрашивать, почему она замужем за этим человеком, если замужем двадцать семь лет. Как ни разматывает она клубок назад, до самого того гвоздя в босоножке, ясности нет все равно. Не просто ведь не любила мужа, а всегда, каждую минуту помнила эти его запавшие в мякоть ногти. И каждый раз все в ней сжималось от отвращения. А замуж пошла, детей родила, ни разу ни на одного мужчину не посмотрела как на мужчину. Господи, почему?

Мать ее очень хотела, чтоб она вышла за Зинченко. После смерти отца мать отнесла в милицию все те вещи, которые, как и все на их хуторе, наменяла во время войны. Пришла и сложила на стол участковому.

– Что я с этим буду делать?! – заорал тот.

– Не знаю, не знаю, – сказала мать. – Только пусть власть знает, ничего у меня от тех коров не осталось. Ничего. Можешь прийти и обыскать.

Через несколько дней она возле колодца встрети-лась с женой участкового. Розовое в лилиях маркизето-вое платье из принесенных в милицию обтягивало кру-тобедрую бабу, даже страшно было за материю и за на-тянутые в швах нитки. Лопнут ведь! Ничего не сказала мать, ни словечка. Только засобиравалась насовсем в Раз-дольскую. Там в собственном доме помирала ее тетка, вот к ней и решили переехать. В станице зачастила мать в церковь, влилась в команду чернопла-точниц, чуть верующих, чуть кликуш, а больше испуганных жизнью баб, которые так страстно, так истово о чем-то просили Бога, что это не могло быть хорошо, ибо сквозь религи-озную страсть светилась у матери очень земная, очень лютая, очень спрятанная ненависть. Таня не могла по-нять к кому. Ей, здоровой, красивой девчонке, жилось хорошо, весело. Она участвовала в самодеятельности, пела хорошие песни, занимала призовые места в спорте, история отца не задела ее глубоко, а потом и вовсе рас-творилась в молодости. Мать ее хорошо по тем време-нам одевала, потому что научилась шить. Шестиклинки, юбки-солнце, мысики, рукава-фонарики, талия ниже пояса, талия выше пояса – все мать на ней опробовала, но сокрушалась, что шить на нее, большую и полную, трудно. «Фасон бежит», – объясняла мать. Первой в Раз-дольской мать сшила мини. Увидела его на приехавшей жене Вальки Кравчука Наталье. Тоненькая Наталья прошла по деревенской улице и заколебала привыч-ное представление о женской красоте и весе. Только

Варька со свинофермы упорно доказывала, что бабе вес необходим по причине ее назначения в природе.

– Посади, посади, – кричала она, – маленькую картошку в огороде! Что у тебя вырастет! Ботва! Так и от несочной бабы в природе ничего путевого не произойдет. Туберкулезники!

Мать Татьяны ухватила за Николая Зинченко мертво. Он приехал тогда к ним уже из области, в синем костюме, белой рубашке и галстук в вишневую полоску. Машину черного цвета с шофером оставил посреди улицы.

– Ну, как Ленинград? – спросил Николай Татьяну. – Промерзла?

Она, и правда, промерзла. Все у нее там не получилось. Частная комнатка с узким окном была сырой, хозяйка, худая, много курящая женщина, не разрешала ей почему-то ночью ходить в уборную. Естественная необходимость превратилась в муку. Она, как назло, все время туда хотела. Это стало каким-то пунктиком. Села писать сочинение и тоже захотела. Какой уж там образ Катерины! Что-то там накарябала на тройку. Можно было сдавать дальше, еще оставались шансы получить четверку по устному и пятерку по любимой географии, но ничего не хотелось... Хотелось домой... И она уехала, бросив экзамены, согрелась в душном вагоне, отошла. Молоденький офицер сговаривал ее сойти в Москве. Он чуть не силой тащил ее на вокзале, но она ему сказала: «Да что вы мне – Москва! Москва! Большинство же людей живут не в ней! Так вот я из большинства... Мне она на дух не нужна».

Она переехала в Москву через два года. А до того был Зинченко с черной машиной посреди улицы.

– Выходи за него, дочь, выходи, – горячо шептала мать. – Он сильно в гору пойдет... И с виду он вполне представительный... Плечи у него разворотистые... Глаз сурьез-ный...

Зачем пошла? Почему пошла?

Опустела станица осенью, разъехались, кто учиться, кто в армию, кто куда... Одна она сидела дома, помогала матери наметывать крой. Скучное это было дело. Рвалась у нее нитка, наперсток сидел как-то косо, стук машинки разъедал душу, и думалось, что впереди нет ничего. Валька Кравчук прислал фотографию. Нет, он ей не нравился. Он был ей неприятен так же, как и Зинченко, – своим вниманием, своей влюбленностью. А хитрый Зинченко вроде как понял это. Стал вдруг приезжать реже, потом и совсем исчез.

– Дура ты, дура! – твердила ей мать. – Ну за кого ты тут пойдешь?

Зимой Зинченко приехал снова. Стояла машина, как всегда, посреди улицы, а Николай сказал, как отрезал:

– Мне некогда с тобой хороводы водить. Ты решай – да или нет. Квартира на подходе.

– Да, – сказала она так быстро, что Николай даже опешил.

Потом он ей же будет говорить:

– Ну, ты у меня сдалась без боя. Я приготовился к осаде там или блокаде, а ты ручки вверх и – сдалась! Даже неинтересно стало...

Заметалась во дворе мать, отрубила впопыхах хорошей несущке голову, побежала в сельмаг, стала хватать всего без разума, консервов каких-то, каменного шоколада.

– Уберите банки с глаз, – строго сказал Николай в первый же вечер. – И чтоб никогда... Огурчик, помидорчик соленный... Другое дело... Сало – очень замечательно. А магазин на стол не ставьте...

С тех пор всегда никаких консервов. «Что мы, нищие?» Только домашнее или рыночное. Консервы – это уж полная гостевая неожиданность. Тогда он, морщась, открывает банки, у него это получается плохо, банки ощериваются со стола острыми зубцами краев. О не по-

нравившемся ему человеку он говорит: «Шпрота, а не мужик».

Было за него стыдно. Что ж он так о людях? Но забывала быстро. Может, потому, что сама людей никогда не судила и определений им не давала? «Все у тебя хорошие», – бурчал Николай. «Конечно, не все. Но ведь и мы не ангелы». – «Мы – ангелы, – смеялся Николай. – Ты в первую очередь... Ангел на подводных крыльях». Долго хохотал над идиотской шуткой. Он ведь такой: только свои шутки – у него шутки.

Как-то ночью скоростижно умер сосед по площадке. Затарабанила в дверь его жена, босая, в ночной рубашке, в бигудях; кричала, звала на помощь. Николай сделал, что надо, а Татьяна осталась до утра с соседкой. Металась та по квартире уже без слов, без крика, останиться не могла. Было в этом движении что-то до ужаса бессмысленное, ведь не двадцать минут ее кружило – считай, всю ночь. Татьяна же сидела камнем, с одной, как ей казалось, единственной мыслью – не сделала бы что с собой соседка.

Потом узналось – это была хоть и безусловно важная, но, так сказать, «верхняя» мысль. Билась же под ней мысль главная. Нет, это была не мысль о собственной смерти, хотя и она была тоже, не могла не быть. *«Плохая смерть, – думала тогда Татьяна. – Плохая! Что бы там люди ни говорили... Надо поболеть, чтоб привыкли потихонечку. Как ее кружит, жену-то»...*

Это было страшное кружение... Пробеги из комнаты в комнату... Хлопанье дверьми... Что оно значило? Было ли способом успокоиться или способом утвердиться, что живая? Живая, потому как движется. Татьяна увидела себя со стороны. Неподвижную, застывшую, временами даже немигающую... Даже страшно стало... Показалась сама себе мертвой.

«Глупости! – сказала себе сама. – Придет же такое в голову! Мертвая...»

Но думалось, думалось... Она тогда шла к зеркалу, будто боялась, что однажды не обнаружит своего отражения. Но, слава Богу, обнаруживала. «Как-то я не так живу», – прошептала себе. И женщина в зеркале повторила то же.

Татьяна тогда еще не работала. Фаина Ивановна по этому поводу поджимала губы. Как это не работать в наше время? Не в деньгах дело, в принципе... Ее муж – кандидат наук, заведует отделом, у него оклад приличный, но она имеет свою ставку в школе и чувствует себя полноценным человеком. Николай же – ответорганизатор в комсомоле, самая хлопотная должность, все время в командировке, что ж это за жизнь у Татьяны – при горшке и манной каше? Фаина Ивановна часами воспитывала Татьяну по телефону. Однажды Татьяна не выдержала и неожиданно для самой себя рванула из аппарата гофрированный шнур. Испытала счастье от тишины и так и жила спокойно и умиротворенно без телефона. Вернулся из командировки Николай, взял оторванную трубку, громко засопел и положил обратно, потому как присоединить ее не умел. Вызвать же мастера посчитал для себя стыдным. Так и жили по старинке, пока не понадобился телефон соседу по площадке, который потом умер, и он присобачил трубку. Но Фаина больше не звонила.

Жизнь же Татьяны была в это время очень медленной, почти стоячей. Она одевала Лору, давала ей ведро и совок и шла с ней на ВДНХ. Садилась на лавочку и смотрела на людей. Зачем, думала она, этой узбечке полная авоська мыла «Медок»? Представляла себе карту СССР с розовым сапожком Узбекистана. Мысленно забиралась на пик Ленина и пыталась издалека из-под козырька ладони углядеть Аральское море. Воображаемое море обязательно материализовалось здесь, н а а ллеях выставки, в какого-нибудь реального моряка, который в распертой авоське нес пять коробок с коньяком «Киз-

ляр». «Кизляр – так Кизляр, – лениво мечтала она, – это почти дома».

Если с пика Ленина шагнуть в Аральское море, то еще один шагок и – Каспийское. Встряхнись на каком-нибудь Тюленьем островке и прямо в холодную дельту Терека. Северные ветры приносят туда вечерами запах полыни станицы Раздольской. Что там сейчас делает мама? Строчит на машинке... Ситцевое платье – пять рублей. Штапельное – восемь. Крепдешинное – десять. А вот идет иностранка черт-те в чем. В мешке. Два шва – слева и справа. За такой фасон мама ничего не взяла бы. Что кому подрубить или там обузить – за это мама не берет. Не мелочится.

Иностранцы, как ненормальные, всегда сюсюкают над Лоркой. Хорошенькая девочка, хорошенькая девочка, а главное – смелая. Шныряет в разношерстной толпе, как у себя дома. Не боится людей. Татьяна удивляется этому и втайне этим гордится. Она ведь сама толпы боится. Она, деревенщина, и метро не любит. В метро она не может сообразить, где находится, в какой части карты... Купила специальную схему, пальцем провела по линиям, но подземная карта под живой рукой не ожила...

Дочку растила до одури сонная, заторможенная, не присутствующая в жизни женщина.

Приезжал из командировок Николай, привозил сувениры. Она нюхала их, гладила, даже лизала и продолжала играть в эту сумасшедшую тихую игру с картой. Например, думала, как лучше всего, в три взмаха крыльев, перелететь от янтарной брошки из Прибалтики к оренбургскому платку. Варила борщ, а была далеко, далеко... Летала за помидорами в Молдавию... Оранжевый такой обломок зуба на самом краю карты...

Потом приехала в Москву Наталья, жена Вали Кравчука. Валю она сто лет знала. Бедовый был, бедовым остался. Весь как нерв. А Наталью она по их школе не

помнила, как обычно не помнят старшие ученики младших. В отличие от Татьяны Наталья в институт поступила, в педагогический, на русский и литературу, год там проучилась, родила, перешла на заочный. Она, конечно, приехала в Москву со всеми документами, хотела оформиться в институте... Именно с приездом Натальи Татьяна вроде ожила. Наталья первая задала ей разные вопросы, которых никто ей никогда не задавал. Она спросила, любит ли она мужа. Спросила, что будет с ними дальше, потом. Татьяна была старшей, старший обязан отвечать.

И она обстоятельно, все продумав, отвечала. Что про любовь говорить, если она второго уже носит? Наталья засмеялась. Если не будет войны, то все будет с ними хорошо. Жизнь ведь постоянно улучшается. Татьяна понимала, что ответы ее были глупые, но других она тогда не знала. А Наталья металась. У нее ничего не вышло в Москве с институтом. Группа, в которую она попала, с отвращением ее отторгла. За то, что та примитивно любила Есенина и музыку Пахмутовой, душилась «Красной Москвой» и произносила фрикативное «г». Это на русском-то факультете!

– Наплевать! – сказала Наталья, уходя из института. Как она металась! А у Татьяны был маленький, дел по горло...

Послушает по телефону Натальины крики, сразу не сообразит, что сказать, а все потом думает, думает...

– Тань, скажи, Тань! Я ночь не спала... Валька в командировке, луна в окно жарит, я аж взмокла... В конце концов, мы же бабы? Бабы! Наше дело хозяйское? Хозяйское! Мне Валька говорит: – «Я тебя люблю не за отсутствие, а за его отсутствие». Тань!

И тут вот умер сосед и пришлось сидеть в чужой квартире целую ночь, смотреть на мятущуюся в горе женщину.

Как говорится, все в масть. Все Натальины вопросы

вылезли и ее, Татьянины, глупые ответы тоже. «Что-то не так, – застучало в висках. – Что-то не так».

Поехала к Наталье – уговаривать ее вернуться в институт. Почему-то именно это показалось важным.

Первое, что Наталья предложила, – выпить.

– Давай, – сказала, – за то, что мы подруги и что вместе... И пусть оно, это образование, сгорит!

То, что вся питейная процедура шла у Натальи спорно, ловко, все у нее было под рукой, все мигом возникло, потом только Татьяной осозналось.

Выпили по рюмочке кагора, Татьяна тут же стала его запивать водой и все не могла запить, пила и пила, а Наталья над ней смеялась и была в этот момент такая хорошенькая, такая живая, что Татьяна ей сказала:

– Тебе, Наташка, бы в кино. Такого лица, как у тебя, нету...

– Нету, – ответила Наталья. – Вообще такой, как я, нету... И как ты, нету... Мы все в единственном экземпляре...

Татьяна махнула рукой: окстись! Единственные. Нашла! Как все...

Разговора об институте не вышло.

Потом Татьяна сделала глупость. Решила взять в союзницы Фаину Ивановну. Вспомнила все ее нотации. Та горячо взялась за дело, что она там говорила Наталье, Татьяна точно не знает, но тогда увидела Наталью пьяной по-настоящему. Как той было плохо после этого! Как она мучилась и плакала! Как говорила, что в рот больше не возьмет...

– Это все зараза Файка! – жаловалась она на другой день Татьяне. – Растравила душу! Образование! Образование! Тань! Скажи, Тань! Я ж в нашем институте первая была, а тут я дура душой... Тань! Ты слышишь, Тань!

Валентин Кравчук как-то сказал им обеим, Наталье и Татьяне, что есть в одной симпатичной литературной редакции – у него в ней очерк проходил – место заве-

дующей хозяйством. А какое у литературы хозяйство? Бумага да чернила. При нем на пенсию уходила с этого места очень лихая женщина, он со всеми ее «отпевал». Так она, расчувствовавшись, призналась ему, что на этом месте шутя и играючи детей вырастила и сейчас бы ни за что не ушла, если бы мужа не хватил инсульт.

– Я бы пошла, – сказала вдруг Татьяна, а Наталья засмеялась. Она всегда смеялась, если в чем-то сильно сомневалась.

Вспоминалось... Вспоминалось... Каждый ее приход к Наталье вызывал у той желание непременно угостить. Придавала этому одно значение – Наталья оказывает ей уважение. Любит. И поговорить охота. Татьяна молчунья, а Наталья после рюмочки заводилась. Сколько рассказывала, в основном, про своего Вальку. И куда ездил, и что видел. Татьяна завидовала: ей Николай ничего не рассказывает, а Наташку же остановить нельзя. Потом выяснилось. Ничего ей Кравчук не рассказывал. Все придумывала Наталья.

Как-то она пришла к Татьяне без предупреждения. Николай был на каком-то совещании. Явилась почерневшая, на себя не похожая...

– Выпить есть?

Одна и выпила бутылку, которую потом обнаружил Зинченко. Не поверил, что была Наталья. Пытал идиотскими словами, а она винулась перед ним, как виноватая:

– Что ты себе думаешь, Коля? Что? Ну с кем это я пить могла, с кем? Подумай своей головой!

Сказал жестко, как отрезал:

– Чтоб ноги этой пьяницы в нашем доме не было, я а Татьяна кинулась защищать Наталью, даже расплакалась.

– Все, – сказал Николай. – Я сказал – все!

Ох, и чутье у Натальи! Ничего ей Татьяна об этом не сказала, но она к ним больше – ни ногой. Прибегала в

редакцию, в закуток. Худая, как гончая... Шикала молнией на сумке, доставала бутылку.

– Со свиданьем!

Татьяна все еще не верила: «Наташка ж хорошая. Она ж понимает, что пьянка – последнее для женщины дело. Просто у Наташки такой характер, ей чуток надо завестись... Ребеночка бы ей родить второго...»

Вот с этого и начала при удобном случае. Наталья сидела мрачная. Выслушала и сказала:

– Зачем? Объясни, зачем? Что хорошего в жизни? Ну объясни что?

– Господи! – воскликнула Татьяна. – Да ты что? Детки – это ж такая радость...

– Они ж вырастут, дура! – зло сказала Наталья. – Ты уверена, что им будет хорошо? Что не будет у них горя, когда они проклянут жизнь? И, значит, тебя? Я вот – не уверена!

– Чем тебе плохо, Наташа? Чем?

– Тем! – отвечала Наталья и уходила, хлопнув дверью. И все реже, реже стала приходиться... Позвонит по телефону, пощечет, как птичка, Татьяна подумает: а я Бога гневил, все у нее хорошо. Потом поняла, звонила Наталья, только выпив.

Господи! Сколько она потом думала об этом. Почему именно Наталья, а не она? Или Фаина? Где подстерегла ее беда, в каком таком темном месте? Мучилась от сознания собственной вины, от вопросов, которые обступили, а ответы не пришли. Что такое человек, вот она, например? То, что она сама про себя думает, или то, что думают о ней люди? Конечно, люди! Человек – это то, что о нем думают люди. И нет ему другой цены. Но как же так? Про Наталью все – алкоголичка! Алкоголичка! Разве это в ней главное, разве это не пелена, которая ее покрыла? А что людям до того, что пелена покрыла? Они бегут, торопятся, будут они вникать, что там в тебе внутри!

У них в деревне все про все знают. Ты только рот открыл, чтоб сказать, а уже ответ получай готовый. Жизнь на виду. И суд скорый. И обсмеют, и обплачут сразу. Может, потому Наталья и не забоялась начинать, что думала, будто на людях, а давно была сама по себе? Они тут все сами по себе, и чем теснее за столом в компании, тем больше они сами по себе. И никому ты не нужен в этом муравейнике, никому ты неинтересен... И хоть стоят на улицах весы, нету тут Варьки, которая крикнет: «А ну, становсь!» И взвесит, как рентгеном просветит, и скажет, как в яблочко попадет. И как без этого жить и выжить? Без того, что люди про тебя скажут, без их суда? А она, подруженька Наташка, сидела на своем седьмом одна, без всех...

Лучше, чтоб это было со мной, думала Татьяна. Лучше б со мной. Николай бы побил пару раз...

Вот когда о собственном муже подумалось с благодарностью. Сам пьющий, в женщине он это люто ненавидел. Побил бы, и все. «Господи, что я такое думаю?»

НИКОЛАЙ ЗИНЧЕНКО

Николай Зинченко вдруг успокоился. Правильно он пришел домой. Дома и стены помогают. Нечего было трусы менять. И Татьяна правильно рядом оказалась. Конечно, его проблемы – не бабьего ума дело, но хорошо, что она тут ходит, дышит, задает идиотские вопросы. Он от всего этого крепчает и умнеет. Хотя ей про это, конечно, знать не надо.

Значит, так, что мы имеем на сегодняшний день? Перхотного мужика с папкой. Нехорошо, но и не так уж страшно. Потому что – во-первых, во-вторых и в-третьих – государство претензий к нему иметь не может. Играть с государством в игры – себе дороже. Государство у нас самолюбивое. Оно не любит, когда с ним

одиночки соревнуются. Надо всегда жить не поперек ему, а строго параллельно. Николай понял это еще мальчишкой, когда спал за шкафом в подвальной комнате школы. Там располагалось общежитие техников, которые еще были в школьной смете, и им выделялось жилье при работе. В низкой квадратной комнате стояла большая печь, на которой всегда грелась в цинковых баках вода для мытья полов. Вокруг этой печки они все и гнездились. Он с матерью в выгороженном шкафом углу, тетка Мотя с собакой Кукой спала на положенной на чурбаках двери. Мотя со сна ударяла ногой по шкафу, и он валился на стену, нависая прямо над Николаевой железной кроватью. Историю у них преподавал директор школы по фамилии Брянцев. Он и жил со своей семьей прямо над их комнатой, и они слышали, как двигали по квартире стулья.

Вечером Колька подносил матери в классы ведра с горячей водой. В школьном пустом коридоре прыгала через скакалочку дочка директора. Однажды Колька услышал, как жена директора выговаривала девочке за то, что она скачет там, где ходит *этот* мальчик. «От *этого* мальчишка надо держаться подальше. Он тебе не ровня». Колька услышал эти слова так четко, так ясно, как будто их ему вдунули в уши. А ведь он стоял с ведром далеко от директорской жены, казалось свойство пустого помещения, закон изучаемого по физике резонанса, и девочка со скакалкой, с которой он и словом не обмолвился, навсегда убежала от него в другую сторону.

Ровня-неровня... Почему-то от этих мыслей сосало под ложечкой и все время хотелось пить. И мать сказала: «У тебя, сынок, видать, изжога... Я шас содой разживусь... Сглотнешь...» И она действительно принесла откуда-то щепотку соды на тетрадном листке и подала ему алюминиевый ковшик с водой. На матери были широкая в сборку юбка и длинная вытянутая кофта,

которую мать называла почему-то «баядерка». Эту кофту ей отдала от щедрости жена директора школы. И ему тогда захотелось завывать, но завывала почему-то Кука. И он даже оторопел, так сразу, так точно она вступила, как будто услышала его собственный вой. Пришлось выпить соду и повернуться на бок, лицом к стене.

– Ага! – сказала мать. – Тебе слегчает... Ты колени сожми...

Он лежал под упершимся в стену шкафом, который Мотя в очередной раз пнула ногой. Лежал и думал. Тихонечко по-собачьи выла о чем-то своем Кука... Мать дратвой подшивала шитые валенки. Радио пело веселые арии из оперетт:

Сильва, ты меня не любишь.

Сильва, ты меня погубишь...

Какое равенство, думал он. Какое?

В Москве строили высотные дома. Это тоже сказала радио. Колька представлял тридцать этажей над головой и чувствовал, что задыхается, умирает.

После седьмого класса он пошел работать на МТС. На другой же день директор школы сказал ему, что теперь он не имеет права жить в школе. Пришлось спать прямо на МТС, на диване в кабинете главного механика. Однажды механик пришел раньше обычного и застал его.

– Э, парень, – сказал он, – так дело не пойдет! По чужим углам и диванам. Ты выбивайся! Выбивайся! Молодой, здоровый, ищи, ищи! Проявляй инициативу! Иди по общественной линии, обращай на себя внимание...

Он тогда этого не понял. Он понял это позже, уже в армии. Там вдруг проросли все семена, которые намело в душу. В вожакі Николай пришел не стихийно, не по велению и любви народа, а сознательно. Он спланировал себе жизнь, как другой планирует себе диссертацию. Все шло складно. Он научился выводить в своей

автобиографии нищету дотошно и тщательно, как другой дотошно и тщательно натирает до блеска пуговицы. Все шло в дело. Мать – уборщица, отец погиб. По правде, отца у Зинченко не было. Злые языки говаривали, что был им какой-то шалый учитель. Но мало ли что говорят люди? Крупно писалось в анкете о службе в танковых частях, работе в сельском хозяйстве и др. и пр...

Однажды в обкоме комсомола его схватил за рукав красивый, вроде как знакомый мужчина.

– Ты не из Раздольской, случаем?

– Оттуда, – ответил Николай, узнавая в мужчине учителя истории в их школе. Он у него не учился, а слышал о нем много интересного. Был молодой историк человеком компанейским, любил на уроках отвлекаться на вещи посторонние: на что, к примеру, лучше рыба ловится и какая? Кто знает? И какая погода будет, если курица перья в пыли чешет? То-то, бывало, веселый разговор. Но главное, у него был аккордеон. Малиновый с белым. Он растягивал его наискосок груди, нежно надавливая на податливые белоснежно-черные клавиши.

...Стремим мы полет наших птиц...

Виктор Иванович работал теперь в обкоме комсомола. Он нежно прижал к себе Зинченко.

– Помню тебя отлично! Такой бирючок был вихрастый.

Это было сказано нежно, и Зинченко первый раз в жизни подумал о школе спокойно, легко, без отвращения. Бирючок так бирючок. Виктор Иванович пригласил его к себе домой.

Дверь открыла химичка по прозвищу Крыса, тоже из их школы, у которой Николай поучиться не успел, а вот помнить – помнил. И помнил плохо. Дело тогда было вечером, опять же в школьном коридоре, когда он, как обычно, принес матери горячую воду. Дочка директора

уже была отгорожена от возможного общения с мальчиком из подвала и прыгала где-то в другом месте. Директорша разговаривала с Крысой, и та как-то умильно подхихикивала и всплескивала ручонками ей в лад. Проклятый закон пустого помещения снова сделал свое дело, и Николай услышал:

– Какой неприятный мальчишка из этой котельной... Директорша приходила к ним в котельную с пустым ведром. Она туда не входила, а оставалась в дверях, и кто-нибудь, Николай или его мать, или Мотя, если не лежала на своей двери, кто-то набирал из бака горячую воду. И всегда истошно, зло лаяла Кука.

Крыса тогда после слов директорши повернулась и стала смотреть на Николая с откровенным отвращением.

И вот теперь, через восемь лет, ему открыла дверь эта самая Крыса, и лицо ее излучало такую приветливость и доброжелательность, что Зинченко понял – с ним все в полном порядке и теперь уже навсегда.

– Я помню вас, Коля, помню! – запрыгала вокруг Крыса. – Ах, как я любила вашу школу, так все в ней было по-доброму, так все было семейно! Помните нашего директора? Он устраивал нам пироги с капустой, и мы пели! Ах, как мы пели! Витя играл, а Люба, жена директора – помните? – запевала.

– Мне не давали этого пирога, – мрачновато сказал Зинченко.

– Ну да, ну да, – захихикала Крыса. – Это сейчас годы нас уравнили, а тогда вы были школьником.

– Бирюк он был, – сказал Виктор Иванович.

– А я такой и остался, – ответил Зинченко. – Не пою, не танцую, не играю.

– У нас запоете, затанцуете, заиграете, – уверила его Крыса. – Я вам обещаю.

«Нет уж, – подумал Зинченко, – со мной у тебя это не выйдет».

А Виктор Иванович как понял:

– Не надо ему это. Пусть остается сам собой. Коля, ешь, пей и вообще будь как дома...

Зацепились они крепко. Была какая-то потребность друг в друге, названивали по телефону, дарили друг другу какие-то мелочи. Однажды Виктор сказал:

– Я тебя заберу... Нам с тобой хорошо будет работать. Дом ставим... Жениться бы тебе...

Нужно рассказать о продуктах.

О завернутых в холодную холстину свиных и бараньих ногах, к которым в придачу, как довесок, всегда без счета давались смоленые копытца; о розовом, в ладонь толщиной сале или сале, прорезанном полосками сыроватого сырокопченого мяса; об истекающей внутренним жиром бесформенной печенке, которую клали в таз, обсыпая ледяным крошевом; о литровых банках с черной икрой, накрытых по-домашнему листочками тетради; о длинной гирлянде вяленого рыбца, плавящегося жиром, если посмотреть его на солнце; о курах, только что зарезанных курах, еще в перьях, горячих, наскоро связанных лапами; о желтом, как масло, твороге, сложенном запросто в первую попавшуюся наволочку; о винограде, которым перекладывались бутылки с душистым терпким молодым вином; о помидорах, тугих, спелых, сахаристо сверкающих на изломе; о янтарном меде, вальяжно истекающем в подставленный бидон; о гусяном паштете, который еще не закрутили в банки, а брали лопаточками и утрамбовывали сколько влезет в ту тару, которая оказывалась под рукой и которая еще поместится в машину. «Хватит, хватит!» – кричали и смеялись. И шла какая-то смешная расплата по третьей – после магазинной и рыночной – «цене себестоимости». Копеечная расплата. Смешная расплата... Но ведомость была, все чин чином... Все это делалось откровенно и весело прямо возле правления, куда они подгребали всей районной бригадой. А то на

ферме. Или у председателя колхоза дома, где все «для начальства» лежало во дворе, вповалку, а чье-нибудь дите хворостиной отгоняло от продуктов собак и мух. Бывало и иначе. Продукты набирались в машины постепенно, по мере передвижения от пасеки к маслобойне, от коров к свиньям. «Настоящий харч», «немагазинный». Кого ж им еще угощать, как не тех, кто за него денно и ночью мотается по району и борется за все хорошее против плохого, не щадя живота своего? Ну?

Так же весело разгружались дома, щедро делились с шофером. Потом звали гостей, сослуживцев, все съедали вместе, все вместе выпивали. Из командировки ведь вернулись, наметелились будь здоров. Погоды плохие, столько всего пропало в поле. Надо будет вытащить кого-нибудь на бюро. Врезать! Тут же решали застольем – кого...

– Ребята! Не надо про дела! – взвизгивала Крыса. – Попоем!

И она торжественно, на вытянутых руках выносила из спальни аккордеон. Виктор брал его нежно и всегда, всегда чуть прикасался к нему губами. Вот это его трепетное движение особенно трогало еще не привыкшую к шумной компании Татьяну. Оно волновало в ней детское воспоминание. Так прикасалась к спине дитяти ее бабка-покойница, которую испокон звали на хуторе на первое купание младенца. Приговаривая, пришептывая, плескала бабаня водичку на пеленку, оборачивающую замершего то ли от восторга, то ли от испуга дитя. На ноженьки, на рученьки, на головушку, на пупочек... А в самом конце ритуала она разворачивала ребенка и, положив его животиком на левую руку, то ли целовала ему спинку, то ли просто прикасалась к ней, осеняя одновременно младенца крестным знамением. Потому, когда Виктор Иванович тихонько пригнулся к инструменту и чуть касался его губами, Таня видела именно это.

Странное воспоминание для такого случая, если подумать. Но вольны ли мы в наших мыслях?.. Приходят не к месту, уходят, когда хотят. Татьяна привыкла к этому. Виктор Иванович – не бабка-покойница, но, может, что-то общее в них было? Скажем, трепетность в исполнении миссии... Заиграть так, чтоб песня, которая уже была у каждого из них в горле и только ждала знака, выплеснулась наконец наружу. Высоко! Звонко.

Мы с железным конем
Все поля обойдем...

Виктора Ивановича пригласили в Москву, а он уговорил кого-то там взять и перспективного Зинченко. Мужчины уехали раньше, а женщины ждали московскую квартиру. Крыса опекала беременную Татьяну, рассказывала ей о том, как сама рожала, успокаивала, учила движениям, которые помогут во время родов. Татьяна слушала вежливо, на желание Крысы «дружить» отвечала осторожно, научилась не открывать дверь, если знала точно, что это Крыса прибежала со своего этажа. В конце концов та отсохла. Между женщинами контакта не получилось. Николай знал про это, но значения не придавал. Бабы... Ну их...

ВИКТОР ИВАНОВИЧ

– На дачу, – сказал Виктор Иванович шоферу.

– Не понял, – ответил тоги развернулся так, что Виктор Иванович подумал: шофер все знает. Он знает, что его непременно надо *привезти* на работу, и готов даже не подчиниться ему сейчас. Потому что есть приказ, который выше. Что, в сущности, такое – наши шоферы?

– На дачу, – мягко повторил Виктор Иванович.

– Есть, – ответил тот. И засмеялся. – Уважаю динамический стереотип. Он всегда на страже... Вот я и бук-

са-нул...

Виктор Иванович промолчал. Он думал о том, что будет, когда к нему придут «посланники», а его не окажется на месте. Тоже ведь сломается у них стереотип. У одного за другим. Трах-тара-рах по стереотипу! И надо будет им что-то придумывать, весь конец недели он им попутает.

Почему вдруг понадобилось отправлять его на пенсию? Он видел на просмотре этот фильм... Как его? Ульянова там отправляют на пенсию, и он дуреет на глазах, потому что не знает, как же... И Виктор Иванович не знает, что это такое – жизнь без работы. Куда ж его девать – время? Но не в этом дело... Зачем? Почему? Кому ж это приглянулось его кресло? Кого это выдвигают или понижают? Узнать это – значит, узнать все. Если игра идет сверху вниз, то тут ему не бодаться. А вот если снизу вверх, то можно и перекрыть кислород.

Вот это тот самый случай, когда говорят: чем выше заберешься, тем больнее падаешь. Но он же не сам вверх рвался! Сроду ни на чьи плечи там, а то и голову не становился. Он любил про это говорить сыну. «Я, Игореша, удила не грыз... В мыле сроду не был... Но дело свое всегда делал старательно». Уже десять лет замминистра. Федерацию знает как свои пять пальцев... Новые вузы – это его дело. Ездил и смотрел, и по стенкам кулаком стучал, проверяя крепость зданий. Он всегда был «вникающий» начальник. И Колю Зинченко этому же учил, когда забрал к себе... «Интеллигенция – ранимая природа. С ней надо лаской... Профессура это особенно любит... Не жалея для нее хорошего слова...»

Бычок Зинченко только ухмылялся: ну, ну...

Чудное пошло время. Вот сегодня четверг, Чистый четверг... Через два дня Пасха. Раньше как было? Обязательно воскресник или что-нибудь в пику... А теперь Фаина по телефону кричит: «Как же без кулича?» И яички покрасит, и скажет ему ласково: «Христос вос-

крес, Витя». И он ответит: «Воистину воскрес», – и поцелует ее в кислый утренний рот.

Только бы Савельич был на месте. А, собственно, куда может деться восьмидесятитрехлетний старик с полупарализованными ногами? Сидит на своей каталке на террасе, строгают, лепит. Такое у него хобби. Из суховья, соломы, шишек, из любого подножного отброса делать карикатуры на великих мира сего. От Черчилля и де Голля до Толстого и Муслима Магомаева. Другого материала, считал, вышеназванное человечество не заслуживает. Из коряги-сигары вырастал и разбухал моховой, с виду мягенький Черчилль. Была серия мелких политических деятелей, сделанных Савельичем исключительно из козьего помета. Этого же заслужили у него выдающиеся женщины Фурцева и Зыкина. Савельич всем показывал свою коллекцию, не боялся. Начинать экспозицию с самого себя, любовно сделанного из большой коровьей лепешки, патронных гильз, рыбьего пузыря и странной технической детали – детского граммофона, вставленного в то место, которое теоретически соответствовало задку Савельича.

«Мне бы дожить и посмотреть, чем вся эта заваруха кончится», – говорил он.

Виктор Иванович мог предположить, что скажет ему Савельич.

«Голуба, – закричит он, – все правильно. Машине нужны новые зубы...»

Если он действительно так скажет, то Виктору Ивановичу конец. Это приговор.

Но была смутная, крохотная надежда: вдруг Савельич дернет рычажок и подкатит к своей каталке телефон, и дрожащим кривым пальцем наберет номер и скажет?.. Не важно что... Но скажет...

Бесполезный вроде бы старик был еще крепок связями. Еще сидели в своих креслах его ученики и выученики, еще помнили они его голос, в гневе с фальцетцем,

а потому и отвечали вежливо, и выслушивали терпеливо. Но, главное, знали, что обезноженный старик в три-четыре телефонных звонка мог добраться до кого угодно. И поди знай наверняка, кто его пошлет, а кто и выслушает. Поэтому кланяться, может, и не кланялись, а советоваться – советовались. И, бывало, совет дорогого стоил.

Списанный в тираж старик начинал день с чтения газет. Читал с тремя карандашами – черным, красным и синим. Автоматического фломастера не признавал. Школьные коротенькие цветные карандаши, самого дешевого подбора, всегда были под рукой.

Черным цветом помечал глупости времени – какую-нибудь дискуссию. Красным – что считал отклонением от линии, от первоосновы. Синим – вранье. Потом брал телефон и кричал тем, кого считал виноватым в публикации:

– Ты читал, а, читал?

Кричал долго, не слушая возражений и оправданий, и трубку бросал всегда сам. Не знал, что именно этим жестом волновал людей больше всего. «В силе старик, – говорили в кабинетах и лезли за валидолом, нитроглицерином, но-шпой. – В силе!»

Конечно, были и другие, те, что считали его выжившим из ума придурком, но, честно говоря, их было меньше. И Виктор Иванович к их категории не принадлежал.

Сейчас он думал о том, что в любом случае поездка на дачу – отсрочка.

А может, надо было все принять как есть? Лет десять тому назад он сам участвовал в такой же операции. Тоже день в день накануне шестидесятилетия одного босса. Приехали они туда втроем. Вручили какую-то смехотворную грамоту. Босс так и просидел с отвисшей челюстью, ничего не понимая в происходящем. Виктору Ивановичу тогда это показалось признаком слабоду-

шая: ну, сообрази, дурак, сообрази! Ничего ведь сверхъестественного! Шестьдесят лет все-таки! Время уходить, время... Какие мужики начинают дышать в затылок, тигры!

Никогда! Никогда не примерялась эта ситуация к себе самому. Такими прочными, такими непробиваемыми казались тылы и собственные силы...

Виктор Иванович перебирал последние дни – день за днем. Все было нормально. Он со многими встречался, устраивая дела Валентина. Очень было важно помочь парню. Конечно, не парню уже... В этом состояла сложность. За сорок уже Вале, глубоко за сорок... И Наталья сидела у него в анкете, как моль в кожухе. И нынешняя его баба – Бэла – сидела таким же макаром. Непросто было с Валей, непросто. Но ведь победил он всех! Обошел! Сегодня Валю утверждают и сегодня же...

Черт возьми! В один день... Это что, чистая случайность или четко спланированный ответный удар? Но откуда?

Савельич это может узнать в два счета. Это ему ничего не стоит. А узнает – совет даст. Не первый попавшийся, а такой, что из всей конъюнктуры – единственный. Ах, будь он в должности... Виктор Иванович подумал: что это он о времени вспять думает? Это не дело, не дело... Это деморализует... В конце концов, нет за ним греха. У него орденов пять, а медалей там и грамот – не счесть... Не сам же брал. Давали!

ВАЛЕНТИН КРАВЧУК

Кравчук возвратил сердце на его законное рабочее место. Сидел и круговыми движениями водил по уже измятой хлопковой рубашке.

«Вот когда нейлон лучше», – подумал он.

Увидела бы его сейчас Бэла. Подумал отстраненно,

не как о жене. Вон пялится красавица в деревянной рамочке. Как он сказал – козырной жизни туз? А если покартежному, то кто та, что приходила к нему утром? Наталья? Вшивая Наталья? Шестерка бубен? Или пиковая дама – горе?

«Не думать! – приказал себе. – Не думать».

О них не думать. О Наталье и этих, в ботинках. И он открыл окно, потому что почувствовал, что остался запах и это он его буравит и томит, а ему надо дело делать. И: прежде всего надо попробовать позвонить Виктору на дачу. В конце концов, можно набраться хамства и... подъехать к Савельичу. Но для этого ему нужен будет очень серьезный повод, очень... Валентин закрыл за посетителями дверь на ключ. Сосредоточенно, страстно он стал разрывать на части сувениры, подаренные редакции гостями из разных концов света. Они испокон веку стояли в этом кабинете в стеклянной горке.

Соломка, ракушки, стебли, листья экзотических деревьев, косточки неведомых плодов, акульки плавники, выдранный из прибалтийского шитья бисер – все летело в объемистый пакет. Он распатронил все, что можно было и что не принадлежало ему. Повод – был! Есть, мол, материал, который техничка может выбросить, а плавничок акулий так и просится на чье-то ребро. И он, Валентин, просто не удержался и решил подбросить. Он мимо едет... В один колхоз... Темка запружинила... «Оцените, Савельич, мою любовь к искусству сатиры! Эти перья вам ничью бородку не напоминают?»

Хуторские ходоки в желтогорячих ботинках сидели на мраморном пыльном парапете, ели бутерброды с белесой колбасой и запивали их истекающей пеной теплой фруктовой водой. Рулончик карты лежал рядом, чуть прижатый пузатым портфелем.

Надо было пройти мимо них. Не было другой дороги. «Черт! – ругнулся Кравчук. – Ах ты, черт!»

Лифтом взмыл на свой этаж, на дне нижнего ящика

нашел нелепые квадратные пластмассовые черные очки. Давно носит другие, фирмовые, «хамелеон». Но те дома. А эти тут завалились. По крестьянской привычке не выкинул. Будто знал, что сгодятся они ему не раз.

Перед тем как выйти на улицу, напялил. Мать родная в них сына не узнала бы. Во всяком случае, хотелось так думать: *эти* не сообразят, кто мимо них идет.

Засомневаться в том, что удался камуфляж, пришлось из-за шофера.

Шофер Василий нежно, пальчиком дал сигнал, узнав хозяина. Он приехал позже и стоял не на своем месте, а Валентин Петрович вышел в темных очках и мог сразу его не увидеть за другими машинами.

Нежно, пальчиком позвал: «Я тут. Я в левом ряду... Пятый...»

Валентин сел в машину.

– В Крюково, – сказал он, несколько напрягшись от возможного удивления. Ведь Василий знал, куда ему сегодня *предстояло* ехать. Но не задал шофер никаких ненужных вопросов.

– Хорошо, что я заправился, – сказал он, включая газ и прикидывая, куда лучше вырулить – на Шереметьевскую или на Дмитровское. – Поедем по Дмитровке, – сказал он, потому что справа остановилась «Волга», из нее вышел толстенный мужик и, пока откручивал зверя на капоте, затаранил задницей правый проезд. От чего только не зависит человеческая дорога...

НИКОЛАЙ ЗИНЧЕНКО

– Давай уедем отсюда, к чертовой матери, – вдруг сказал Зинченко Татьяне. – Я ее всегда ненавидел, эту столицу, будь она проклята. И весь этот марафет хрустальный, стенки эти, туфики-муфики... Уедем, а?

– Куда, Коля? – спокойно спросила Татьяна.

– На хутор твой... Купим пятистенку, будем жить, как деды жили... Корову доить, свиней кормить... Как люди... Какая там вишня, а? Наливку поставим... Чтоб с косточкой, как эти сволочи... – Он кивнул на красивую заморскую ликерную бутылку. – Мы, что ли, хуже? Деньги у нас есть... Найдем работенку, чтоб поменее... Почтальоном, например... Или библиотекарем... Это тебе. А я могу и в конюхи... Я хорошо буду за лошадью смотреть, я мыть ее буду... Ты не помнишь, чем лошадей моют?

– Шампунем, – сказала Татьяна.

У Николая сроду не было юмора, а в подпитии он совсем дубел.

– Да ты что? Ну, суки! Ну, дошли! И кобыле сунули химию! Я про раньше... Раньше чем мыли, когда этой заразы сроду никто не знал? Скребок такой был... Я видел... А еще хорошо пастухом... Будешь приходить ко мне в степь, а? Полынь в нос бьет, мы лежим, а бычок корову охаживает... Жи-и-изнь!

– Выпей минералки, Коля! – сказала Татьяна. – Мне уже идти пора.

– Не ходи, – требовал, – не ходи! Что тебе твоя работа, с нее, что ли, живешь? Так, баловство одно...

Он встал, в чесанках, в повисших до колен черных трусах, крепко сбитый, но уже стареющий мужик, подошел к ней близко-близко и положил свои руки ей на плечи. Татьяна вздрогнула.

– Чего дрожись? – спросил он. – Ты моя баба и моя судьба. И дети у нас общие. Плохие, правда, дети, но наши. Не люблю я это... – И он выдернул из ее волос красивую костяную шпильку, которую сам же привез ей из Испании. – Давай без всего... Понимаешь, совсем без всего... – И он рванул на ней бретельку бюстгальтера.

Татьяна вскочила и оттолкнула мужа. Она готова была час, два, три сидеть с ним и слушать всякую ахинею, которую он будет нести. Только не это, не руки его,

не губы, не тело. Она уже почти забыла, какой он, и была благодарна услужливой памяти за то, что забыла. Две белые кровати, разделенные тумбочкой, – такое бесценное приобретение. Повозишься, повозишься в ванной, на кухне, и он уже спит. Она кралась в свою постель впотьмах, она никогда не читала на ночь, боясь светом разбудить его. Бывало, пьяный, он все-таки подымался со своей кровати и шел к ней, бормоча что-то и ругаясь. Но никогда это ничем не кончалось, пьяный он был слаб. Она его укутывала в одеяло и будто обнимала, а на самом деле укачивала его, и он засыпал быстро, каждый раз обещая, что он наведается к ней завтра на свежую голову. «Конечно, – говорила она, – конечно. Спи, Коля, спи!»

Сейчас она поняла – он силен, и ей его не убаюкать. Отвращение, гнев, страх сделали то, что делать она не собиралась.

– Остановись, Коля, – закричала она мужу, когда, схватив ее за руку, он зубами стал рвать на ней блузку. – Остановись! Мне противно... Я тебя не люблю...

Не фигурально, а совершенно на самом деле Зинченко рухнул. Рухнул на пол. Он сидел на полу в позе спортсмена, который только что пробежал дистанцию и теперь вот приходит в себя на обочине гаревой дорожки. Приходит в себя, тяжело дыша и не думая о том, как некрасиво, неэстетично выглядят широко расставленные ноги и как бестолково повисла голова и с каким неприличным звуком выходит из него дыхание.

– Прости меня, Христа ради, – сказала Татьяна. Когда она выходила из кухни, а потом и из квартиры, он все так же сидел на полу, опустив голову прямо к чесанкам. Толстая, пыльная, вся в неровностях, ткань валенок, сделанных еще при царе Горохе, пахла давностью. Не давностью лежания на городских антресолях, а какой-то даже дремучей давностью, которой, может, по правде, и не имела. Ну, сколько лет этим чесанкам? Ну, лет

двадцать, двадцать пять, откуда им иметь псовый запах пригорода, окраины? Таким был первый осознанный им запах в жизни... Не осознанный ребенком запах нищеты, нищеты украинской деревни, по которой монголом прошел голод... Как он потом ненавидел эти воспоминания, как щеткой отмывался, отскребывался от них. Как боялся, если кто-то напоминал ему, откуда он есть и пошел.

Проклятые чесанки! Он сейчас выкинет их в мусоропровод навсегда. И Зинченко, продолжая сидеть на полу, начал их стаскивать. В замочной скважине заворочался ключ.

«Вернулась», – подумал Зинченко. И представил, как он ее сейчас выгонит, Татьяну, хорошо бы, в чем мать родила, выгонит, выгонит навсегда... А потом, потом простит... Потому что нет ему без нее жизни. И к своим стыдным воспоминаниям о нищете он пришел, в сущности, не от чесанок. От того, что она сказала.

Когда он уже выбрался из дерьма, когда он вытащил мать из этой школьной котельной и поселил ее в крохотной отдельной восьмиметровке, хоть и с соседями, но и с удобствами тоже, он тогда *захотел* Татьяну. Не просто как красивую девчонку с добрым характером, нет, как дочь председателя Степана Горецкого. Ударение надо делать на слове «председатель». Не важно, что самого председателя уже не было и в помине, не важно, что вдова Горецкого день и ночь строчила на швейной машинке, чтоб прокормить и одеть дочь, Татьяна все равно была белой костью по сравнению с ним. Наверное, сто лет назад, а может, и двести разбогатевшие купцы брали себе в жены аристократок с тонкими белыми пальцами по таким же соображениям. Пусть они ничего не умели. Не в этом было дело. Они могли вознести этим своим неумением, этой своей хрупкостью, своей слабостью.

И вот через столько лет она сказала: не люблю.

«А я тебя об этом спрашивал? – молча кричал Николай. – Ишь, курва! Старуха старая... Как будто она есть на свете – любовь!»

Любовь – это когда все летит к чертовой матери. Как у Кравчука... Как у Виктора Ивановича... Всю жизнь приходится потом прикрывать грех...

Ах, вот как! Значит, у Татьяны *это*?

Зинченко в секунду стал мокрым от ревнивого пота. «Кто? – думал он. – Кто?»

Дверь открылась, и Зинченко обрадовался – вернулась, сволочь. Он даже приготовился бросить чесанком в Татьяну, но на пороге стоял сын Володька. Зинченко подумал секунду. Грязный, пахнущий нищетой валенок был прицельно пущен в новенькую адидасовскую Володькину куртку.

– Убедительно, – сказал сын. – Весьма...

Он аккуратненько поставил чесанок возле порога и стоял прямо, открыто, будто ждал, что отец снимет второй, правый, и бросит в него, и надо будет поймать его и поставить рядом с первым, левым.

Зинченко, сидя на полу, отчетливо прочитал эти мысли сына, и тоска, наполнившая рот гадостной слюной, накрыла его всего. Он не понимал своих детей, он их не чувствовал, он их не любил. Нечеловеческое это состояние временами его даже интересовало. Почему ему, в сущности, наплевать на дочь, которая вышла замуж, а теперь собирается разводиться? Ходит в мятых марлевых платьях – модно, вдевает в одно ухо сразу две серьги – модно, читает детективы с яркими обложками на английском языке, курит сигареты, волосы носит распущенными до задницы. Это *его* дочь? Старуха бабка, когда приезжает, прячется от внучки, боится ее. Хотя дочь очень вежлива, приветлива с ней, подарила бабушке вязаную шаль с большими дырками. Мать просунула пальцы в дырки, закачала головой – кто ж так вяжет? Это на комод можно постелить или на радиолу, но

носить – дырки?

Зинченко тогда сразу вспомнил, как прыгала в школьном коридоре директорская дочка со скакалкой, а он носил в ведрах воду. Он добился того, что тот самый директор, как последний бобик, сидел у него целый день в приемной. Зинченко сказал себе: «Я выпорю его за все сразу, за всю ту общую школьную жизнь».

Так чего он, в сущности, добился? Не в одном, так в другом месте лопнуло, и мать его стесняется внуков, а они – как бы вежливо ни вели себя – сторонятся бабки. Да что бабки! Они его сторонятся, отца. Он ведь не вепрь какой, чтоб не любить просто так. Он ведь их не любит *за дело*. За то, что они исхитрились вырасти по каким-то своим, неведомым ему правилам. И Татьяна тут шла у них на поводу. Языки-мазыки всякие, музыки-пузыки... Зачем? Он мечтал: дочь будет или врачом, или учительницей. Сын – военным, в крайнем случае – механиком. И хорошо бы через предварительный труд, через армию... Чтоб знали, что почем... Чтоб ценили белый хлеб после черного... Была б его воля... Было б у него время... Время – главное... Он их мало видел, а когда увидел, то чуть не обалдел от возмущения. Дети ссорились из-за ванной! Им, видите ли, каждое утро и каждый вечер она была нужна чуть не по часу.

– Ты – мужик, – сказал он сыну, когда тому было лет пятнадцать, – от тебя должно пахнуть потом, куревом – мужиком, одним словом...

– Ты что? С ума сошел? – ответил сын. Так искренне, так распахнуто. – С ума сошел?

Зинченко устроил тогда скандал Татьяне. Она тоже на него вылупила глаза.

– Да! Да! – орал он на нее. – Человек должен пройти через грязь, вонь и харчки...

– Не должен, – тихо ответила Татьяна. – Ты думай, что говоришь... Что ж они, должны проживать наше с тобой детство? И их дети потом? Зачем же тогда все?

Живи цыганом...

Почему цыганом, он не понял... Но он твердо знал: он хочет, чтоб его дети хлебнули всего того, что хлебнул он, тогда они поймут – и оценят – весь их кафель-мафель, все эти мыла-шампуни. А сразу все это давать нельзя! Его дети – доказательство того, что нельзя. Дочь, Лора, переводит какие-то книжки про художников-модернистов. Кому это надо? Зачем? Сын, идиот, учится на биофаке. Хобби, едрить его за ногу, – орхидеи. Мечтает об орхи-деевой оранжерее, как у какого-то сыщика из книг, которые приносит Лора. Это Зинченко знает из редких общих семейных застолий. Как же зовут этого сыщика, черт его дери! Он толстый такой, на лифте подымается в оранжерею и много жрет. Это тоже информация из застолий. Дети, видите ли, его – сыщика! – обожают! Как же его? Два коротких слова, как айн-цвай. Так вот Володька хочет оранжерею, как у этого айн-цвая. Посмел как-то ему, отцу, высказать свою теорию, что это могло быть выгодно и государству. Зинченко тогда чуть не зашелся от возмущения. Кто размышляет о выгоде государства? Кто? Этот сопляк, который не знает, сколько стоит килограмм хлеба? Ну, сколько?

– Я знаю стоимость штучную. И того, что мне надо... Рижский батон стоит двенадцать копеек.

– Рижский батон! – заорал Зинченко. – А парижского тебе не надо?

– Почему не надо?! Я бы с удовольствием попробовал.

– А ты пробовал! – влезла тогда Татьяна. – Городские булки когда-то назывались франзолями... Я помню... Когда я в Ленинграде поступала, моя квартирная хозяйка ела только франзоли...

– А хлеб из овсюков ты не пробовал? А отходы маслобойни не лизал? А что такое макуха, знаешь?

– Перестань, папа! – сказал Володька. – В конце кон-

цов, я ведь не виноват, что ты в своей жизни что-то пробовал...

– А я был виноват? – совсем распалился Зинченко. – Война же была! Ты что, не знаешь это!

– Знаю. И не только это, – ответил сын и вышел из комнаты. Что он имел в виду?

– Что он имел в виду? – спросил он Татьяну. Та пожала плечами.

Мать Зинченко по происхождению была деревенской, но с пятнадцати лет все возле городов мыкалась. Потому что города самого сразу испугалась. Трубу заводскую увидела, из нее черный дым шел, такой густой, такой вонючий, что ей, дурочке малограмотной, решилось – преисподня. Так и осталась в пригороде: и к земле ближе, но и от города недалеко, откуда привозили неожиданное лакомство – разноцветное «лампасье». Сначала все в няньках работала, а потом как-то пристала к школе. И топила ее, и полы в ней мыла, в общем, за все про все была. Чернорабочей образования. «При образовании» и он у нее родился. Кто-то рассказал матери про Раздольскую, там, мол, жизнь дешевле. Взяла его, мальчика совсем, за руку и то попутками, то пешком добралась до лежащего за Раздольской кирсарая – городка из ящиков, коробок, кизяков, ну, короче, кто из чего мог, тот из того и строил. Их пустила к себе старуха, которая жила тем, что гадала на картах. Кинула она и матери. Он рядом сидел. Он карты тогда впервые увидел. Как же понравились ему и мужчины, и женщины, особенно чернявая такая, в профиль; выяснилось – ведьма. Так вот эта ведьма, говорила старуха, сопровождает мать всю жизнь, и спасения ей от нее не будет. «Планида твоя такая», – говорила старуха, а мать плакала, аж заходилась. Запомнилось слово – планида. Сказала старуха и другое. Скоро всем будет плохо, не тебе одной. А когда всем плохо – легче. «Такова природа». Тоже слово непонятное. Так и связались два слова в одно – планида

и природа. Потом началась война. Очень скоро пришли немцы. Но никогда надолго тут не задерживались. То их выгоняли, то они сами уходили. Каждый немецкий приход запоминался страшным. Увели евреев. Расстреляли семью председателя исполкома. А в последний свой налет решили сжечь кирсарай. Как тогда все перепугались! Дело было зимой. Куда бежать? Где искать спасения? Мечтали об одном: вот бы крылья, чтоб перелететь через балку прямо в Заячий хутор. Чего там только, говорили, нет. Будто там не только всякая еда, но и кино показывают, и будто там объявился святой, который сказал, что все в этой войне погибнут и останется только их хутор. Потому, мол, и коровы туда пригнаны. Будто все бабы хуторские ходят беременные, так как теперь им придется заселять весь земной шар. Будто ногами к ним спускают с самолетов все-все-все-все, потому что это – для светлого будущего. Такая вот дурь... Слава Богу, наши подоспели.

... Зинченко легко вскочил. Чего это он расселся? Снял валенок и поставил его рядом с тем, который уже стоял. Сын смотрел в упор, не понимая, не принимая, отторгая.

– А пошел ты! – прошипел ему Зинченко.

– Самая большая загадка для меня, – сказал Володька, – как живет с тобой мама...

– Она у меня ноги вот эти, – потоптался он разутыми ногами по полу, – целовать будет и прощения просить.

Понял: сейчас для него возвращение Татьяны – самое важное. И чтоб от слов своих – отказалась.

ВИКТОР ИВАНОВИЧ

– А! – сказал Савельич. – Я тебя еще вчера ждал. «Значит, он знал еще вчера», – подумал Виктор Иванович.

– Он тебе кто? – спросил Савельич. – Просто землячок, или дело у вас есть общее?

– Кто? – тупо поинтересовался Виктор Иванович.

– Ну, Кравчук этот... Ты на нем подорвался, Витя... Так выпихивал его за границу, что пришлось поинтересоваться: а зачем? Кандидатура, прямо сказать, плохонькая, а ты железяку торговал, как золото...

– Так что, меня из-за этого, что ли?

– Никогда не бывает из-за чего-нибудь одного... По одному, по два греха есть у каждого...

– У меня нет грехов! – высоким, каким-то не своим голосом выкрикнул Виктор Иванович. – Я всю жизнь верой и правдой...

Савельич слегка сморщился от патетических слов. Его руки мяти пластилин, на придвинутом столике в разбросе лежали ветки, на блюдечке высилась горка сосновых иголок, остро, жестоко торчали отбитые горлышки зеленых бутылок.

«Кого это он будет сооружать? – подумал Виктор Иванович. – Бутылки он еще не использовал... Я, во всяком случае, не видел...»

– Своей дачи у тебя нет, – продолжал Савельич какую-то свою мысль, – а на книжке сколько?

Противно засосало под ложечкой, до мучительной тошноты. Ах ты, Боже мой! Деньги! Всегда ему это не нравилось, всегда! И говорил он Николаю об этом.

«Напоминает взятку», – говорил ему сурово. «Это вы взятки не видели, – смеялся Зинченко. – Вы ж не дама, чтоб вам французские духи дарить... Все ваше министерство ими пропахло... А коньяки вам до смерти все не выпить...»

Смеялись. «Что верно, то правильно», – отвечал Виктор Иванович, бросая конверт в сейф, и сразу требовал решения вопроса «этого человека». «Да решен, решен, – отмахивался Зинченко. – Хороший парень. Между прочим, из армии... Сыпанули на приемных... Если таким не

учиться...» – «Откуда ж у него деньги?» – сердито спрашивал Виктор Иванович. «Отец... Плантадор... Знаете, какой у него оборот? С парника?»

Николай рассказывал. Виктор Иванович только руками разводил: что делается, что делается...

Теперь его о деньгах спрашивает Савельич.

– Четыре с половиной, – ответил Виктор Иванович. И сказал правду, столько было на книжке. В сейфе же не считал.

– Тыщи?

– Ну не миллиона же... – обиделся.

– Люди имеют и миллионы... Кого этим удивишь?.. А четыре тыщи – это кто теперь не имеет? Голый, значит, ты и босый, Витя... А какая у твоей жены шуба?

– Каракулевая, – ответил Виктор Иванович. – Еще до повышения покупал...

– Ну, если не врешь, живи спокойно. Дачу тебе на сколько-то лет оставят, потом, конечно, придется съезжать...

– Но я могу еще работать! – закричал Виктор Иванович.

– Не можешь, Витя! Не можешь!

– Но почему?

– А я не знаю! – хохотнул Савельич. – Я ж маразматик! Что ты меня спрашиваешь?

Значит, конец... Значит, надо возвращаться и принять все как есть...

Нет! Что-то не так... При чем тут Кравчук? Хлопотал он за него, ходил по инстанциям, так все ходят за своих... Валя – хороший журналист, лауреат какой-то там премии, все у него в ажуре... Не то сейчас время, чтоб его из-за женщин могли прищучить... В документах говорено почти открыто: первая – алкоголичка, вторая – разведенная, ну и что? Ничего, им отвечали. Криминала там или нарушения нравственности нет. Женился, развелся, снова женился. Не возбраняется. Сына, между

прочим, себе оставил. Это для облика плюс.

При мысли о сыне у Виктора Ивановича защемило сердце. Всю жизнь щемит... Но Виктор Иванович сам не просится за границу. В гробу он ее видел. Он сроду ни одного иностранного слова произнести как следует не мог. У него язык устроен исключительно для русского произношения. А Кравчук по-английски чирикает, как на своем.

Какая же связь между тем, что его выпихивают на пенсию, и Кравчуком? И этим вопросом о деньгах? Валю сегодня утверждают. Это же надо! В один день – одного вверх, а другого – вниз. Все *те* деньги у него в сейфе. Если только в них дело, он готов их сегодня же сдать государству... Он даже будет счастлив это сделать!

Может, прямо сейчас спросить об этом у Савельича? Ничего себе будет вопросик...

Ничего он не брал! Ничего! Он спалит эти деньги! Он сейчас поедет и спалит. И кто что докажет? И при чем тут Кравчук?

Кравчук – чистое дело. За своих все хлопочут. Не им начато. Уже давно никто этому не удивляется. Удивились бы обратному. И он считает – правильно. Кадры надо растить, и выдвигать, и поддерживать. Святое дело.

Он шел по дороге к своей даче. Савельич его не задержал. Домработник принес в эмалированном тазу когтистые куриные лапы. Савельич прямо взвизгнул от удовольствия, схватил их вместе с отбитыми горлышками и аж задрожал от художнического сладострастия.

– Иди, Витя, иди, – сказал он ему. – У меня тут идеяка одна есть. Ты себе тоже придумай дело. Когда-то ты классно на аккордеоне играл... Вот и играй!

И махнул ему рукой.

Виктор Иванович вошел в прохладную пустую дачу. С тех пор как сын его уехал работать за границу, они с Фаиной практически тут не жили. Приезжали только

время от времени. Жена дачу не любит. «Мне эти воздушы ни к чему, – говорит. – Веришь – не веришь, а у меня от кислорода голова начинает болеть». А он любит дачу. Любит, как поскрипывают на веранде половицы, любит сидеть на крылечке и слушать, как разговаривают птицы. Иногда ему кажется, что он их даже понимает. Тут есть одна ворона. Так она жалуется всему белому свету. Может, на здоровье. Может, на детей. Надоела, видать, всем до смерти. Но каркает, каркает...

Аккордеон у него цел. Все еще тот, немецкий. Последний раз они играли с внучкой. Внучка на скрипке, а дед на аккордеоне. Прибежала невестка с демонстративно заткнутыми ушами и отняла у дочери скрипку. Разве *это* играют на скрипке? Вы же испортите ей руку! Почему этим можно испортить руку?

Нам нет преград
Ни в море, ни на суше...

Виктор Иванович сел на крыльцо. Было тихо. Окончилась жизнь, подумал он.

Хобби, как теперь говорят, нет у него. Нет у него никакой страсти. Или ненависти, как у Савельича.

Старик ушел с работы в середине пятидесятых. Не понимаю. Не принимаю. Возражаю. Так он заявил, на этом его и проводили.

Виктор Иванович испытал тогда легкий шок. Был со стариком знаком, чтит его, тот его тоже отличал из молодых. У него тогда от души вырвалось: «Как же я без вас?»

Савельич закричал на него:

«А я не умер! Понял? Я не умер... Я еще поживу, посмотрю, чем все это кончится...»

Остались, можно сказать, друзьями...

Виктор Иванович сочувствовал Савельичу и уважал себя за это сочувствие. «Старость надо уважать, – говорил всем. – Этого нам всем не миновать».

Скоропостижной ранней смерти Виктор Иванович не признавал. Это, конечно, звучит странно по отношению к такому бесспорному факту, как смерть, но Виктор Иванович считал: так просто не бывает. Значит, сидела в человеке хворь, таилась, а эти эскулапы не туда смотрели... Бумажки свои бюрократические писали... Все невнимательность наша, небрежное отношение к обязанностям. Убери их – и все будет в порядке. Не война ведь. Должна быть старость... Должна. Это нормальная жизнь. От и до...

А все-таки почему Савельич спросил о Кравчуке? Не случайный вопрос, не случайный. Кандидатура Валентина не нравилась многим. Пожилым людям, знающим цену сдержанности, не нравилась его газетная бойкость, среднее поколение – его ровесники – ему просто завидовали, а те, что помладше, не считали правильным то, что бывшая деревенщина им дорогу застит. Время пошло плотненькое. Еще утром тебе просторно, а уже вечером тебя подпирают идущие вослед. С этой точки зрения, Виктору Ивановичу не удивляться бы тому, что с ним произошло. Но... Но он считал, что к нему это отношения иметь не может. Люди делятся на тех, кто бежит, и тех, кто уже добежал. У них разные минуты... Почему он решил, что его минуты длиннее? Виктор Иванович как-то старчески закричал на ступеньках. И услышал это собственное крикание. Что делать? Что делать? Что делать? Поставят его на партучет в домоуправлении. Он знает этих наполненных застоялой венозной кровью отставников. Пишут протоколы, нюхают мусорные баки, в упор разглядывают тебя в лифте, как имеющие на это святое право. Виктор Иванович всегда боялся их инстинктивно. Это при том, что они с ним были низкопоклонны, с его шофером, который из хулиганства заезжал иногда на бордюр, не спорили, а Виктор Иванович однажды видел, как один из общественников, налившись апоплексическим гневом,

отчитывал шофера неотложки, задевшего всего-навсего ветку сирени. Виктор Иванович тогда подумал, что никогда до этого не дойдет – до них. Что он иначе будет стареть. Он тогда же стал думать, как, но оказалось, что в его представлении о старости есть пробелы. Мальчишкой он дедов не помнил. В их шахтерском поселке, где он жил до войны, мужики до старости, как правило, не доживали. Они или гибли, или спивались. Нет, какие-то деды, конечно, существовали. Например, дед на их улице, который имел три пчелиных улика. Сколько помнил его Виктор Иванович, столько помнил с серой сеткой на лице. Сидел старик в кустах малины, повернувшись ко всему миру спиной. Плохой был старик, нелюдим. Ни с кем не желал вступать ни в какие отношения. По профессии бухгалтер. Но была же от него до самой смерти польза – мед покупали только у его старухи. И старуха была молчунья. Нальет баночку, возьмет деньги, не пересчитывая, и «с Богом». Чтобы такого деду поставить на учет и заставить ходить на собрания, выполнять поручения, отвечать за эстетический вид, к примеру, балконов и лоджий? Приходил к ним как-то домой, когда только в Москву приехали, один замшелый активист, пальцем тыкал в бельево веревки на их лоджии. Фаина тогда очень испугалась, все провинциально оправдывалась: и белье сушится у них только ночью, и не какая там рвань, а всегда все красивое и новое, а трусики она – извините за подробности – вешает на нижней веревке. Замшелый кивал головой, не застыдился он этой Фаиной информации. Может, даже написал в блокнот. Трусы, мол, в квартире такой-то сохнут за балконным щитом. Со стороны улицы не видно... Чуть вполне правдивая...

Но должна же быть и сейчас хорошая старость, в которую не стыдно шагнуть... Виктор Иванович встал и пошел по дорожке вокруг дачи. Можно разводить цветы и дарить их, дарить... Выйти с охапкой на станцию и от-

давать людям... За так... Всем... Без разбору... За спасибо... Да и спасибо не надо... Давать и говорить – «с Богом!». Э! Нет! Этих слов ему вовек не произнести! Тут его не собьешь... У него с этим вопросом раз и навсегда все выяснено. Бога нету... Нету, как ни вертись. Придумали его только для страха, а не стало страха... Тут у Виктора Ивановича возникла неясность. Страх ведь все равно был и без Бога. Вот, например, он боится общества отставных военных и чиновников, их активного единодушного кашляющего смеха и их единодушного осуждения за бельевые веревки. Хотя кто ему сейчас посмеет что сказать? А он даже запаха их боится – крепко одеколонного, под которым слышится гниль... Страхов много... Не дай Бог (пожалуйста вам, опять Бог!), что случится с сыном. Устроят ему какую-нибудь провокацию. Он почему еще так за Валю хлопотал, чтоб их в чужой стране было двое. Валя духом покрепче. Все-таки много значит трудное детство, безотцовщина. Кравчук это все прошел – и опорки, и мать-спекулянтку, и армию, в которой от нее спасался, и в этом во всем и сформировался. А у Игоря, сына, совсем другая порода. Ничего он в жизни трудного или просто плохого не видел. Дитя витамина, аспирина и дистиллированной воды. Девочка у них есть. Внученька Даша. Что вот с ней будет, подумать страшно. Виктор Иванович, когда сын приезжал в отпуск, пошел с Дашенькой погулять. Ну а на улице ребенку захотелось пописать. Так малышке в обычной уличной уборной плохо стало. Шум начался, ее вынесли оттуда чуть не в обмороке, он тогда чуть не умер от страха. Нынешние городские дети многие такие. А за рубежом у них вообще на каждого по сортиру. Хорошо это, конечно, неплохо... Но и неправильно тоже. Куда понесла его мысль? А! Вот к чему... Боится он за Игоря, чтоб провокаций там каких-нибудь не было... Он предложил Фаине: давай оставим внучку у себя. Пусть живет в отечественных условиях. Фаина – ни в какую. У

нее свой страх. Не дай Бог (опять Бог!), что случится. Она отвечать не хочет. Каждый пусть растит своего ребенка... Они же сами растили Игоря.

Слабый у него сын, слабый. И духом, и телом... И еще неизвестно, как будет, когда Виктор Иванович станет пенсионером. Вполне может Игорек вернуться на родину. Придется Дашеньке привыкать к общественным туалетам. И правильно это будет, правильно! Студенткой станет, в колхоз поедет картошку копать, ей там что, индивидуальный клозет построят? Будет как миленькая сидеть над «очком», а то еще в кустах в большой компании.

Эх, Петруша, Петруша, может, ты бы меня сейчас утешил?

ТАТЬЯНА ГОРЕЦКАЯ

Когда Татьяна выходила из квартиры, Зинченко все еще сидел на полу. Показалось ей или на самом деле он дернулся, когда она нажала на защелку замка? Она чуть замерла, ожидая, что за этим последует. Но Зинченко сидел мертво. Боже, как у нее заболело сердце вот за такого, брошенного, пьяного, в сатиновых трусах, с черными ободками у ногтей. Откуда у него они время от времени берутся, если он, кроме бумажек, ни к чему не прикасается? А вот берутся. И ногтей-то у него нет, вросли в мякоть, а вот ободок нет-нет и появляется. Она даже щетку ему специальную купила. Он старательно, до красноты, трет ею пальцы.

Машина уже ждала ее.

Татьяна достала из сумки накладные. – Поезжай, пожалуйста, сам, – сказала она шоферу Косте. – У меня тут одно дело возникло.

В другой раз Костя ни за что не согласился бы. Стал бы доказывать, что это не его дело – получать бумагу и

скрепки со склада. Но сейчас он безоговорочно все взял и на Татьяну посмотрел с сочувствием и пониманием: имеет право женщина иметь свои дела... У всех ведь людей свои дела главные.

Поэтому пусть красивая баба Татьяна идет делать *свои* дела. Очень, конечно, интересно, что это за дела. Женский пол Костю давно интересуется, и не только, как он любит говорить, в конкретном смысле, а, так сказать, философски. «Познаешь тайну женщины – познаешь все», – это он заливал в гараже, перед очередной своей байкой, травить которые был мастер. «Я ж умный! Я на машине сколько лет езжу, подвожу советскую женщину по ее надобностям... Я все про нее, горемыку, знаю... Как? По пальцам... Они у нее от пудовых сумок аж синие... Других баб я не вожу. С ногами до ушей и в дублах я не беру. Это – другая порода. Меня те, кому за сорок, интересуют... Они порченные... Словами разными, которыми их кормили после войны вместо хлеба... Я сам такой... Война кончилась, мне пять лет было... Мать меня обнимает и причитает: «Ну, теперь ты поешь у меня, маленький! Теперь все денежки будут для жизни, а не для войны...» – Я так это запомнил! И стал ждать... И пошли голодные годы один за другим... Нет, потом я, конечно, наелся... Но очереди видеть не могу... А они все стоят, заразы, и стоят... То за тем, то за другим... Ну что мы за народ такой, что штанов себе же нашить не можем? Потому что мы все – трепачи. Другого объяснения нету... Ну, я, во всяком случае, не знаю... Кто у нас работает, так это бабы... Но может она все? Не может, у нее и так глаза из орбит... Я к чему это? Как наш брат мужик пожалеет женщину, так у нас появятся без очереди штаны и все про все. Такой я вывожу квадратный корень из нашей действительности. Поэтому я первый начинаю женщину жалеть. Я ее вожу, куда она просит, за плату по минимуму. И когда женщина говорит – у меня свои дела, я говорю ей: пожалуйста! Понимаю!

Поддерживаю! Оказываю содействие».

– Может, все-таки подброшу? – великодушно предложил Костя.

– Далеко, – сказала Татьяна. – В Бескудниково. – И вдруг решила: – А, ладно! Отвези! Мне очень, очень надо повидать одного человека.

Ухмыльнулся Костя.

– Да ну тебя! – печально сказала Татьяна. – Подругу!

Уже пятнадцать лет Татьяна работала в редакции заведующей хозяйством, и пятнадцать лет благодарность за пустяки она получала в увеличенном объеме. Это из-за Николая. Первое время сотрудники вообще пялились на нее – *зачем она здесь?* Зачем жене такого чина эти девяносто рублей, если на ней сплошной валютный импорт? Блажь? Или жадность? Она с трудом приучала их к себе. Она очень старалась. Однажды, когда три дня не выходила на работу уборщица, она приехала в редакцию в шесть утра и босиком вымыла, вычистила все сама, боясь только одного, чтоб ее не увидели в таком виде. Не то чтобы она стеснялась, она, крестьянская девочка, не стыдилась и не гребовала, как у них в Заячьем говорили, черной работы. Она смущалась возможной реакции сотрудников, этого их идиотского удивления, что она – жена такого-то! – полы моет. Она стеснялась и возможной умиленности, в которой было бы что-то и низкое, и оскорбительное, и жалкое одновременно.)

Постепенно они привыкли, что жена Зинченко скромна, не говорлива, чистоплотна, добросовестна, тщательна. К ней в закуток приходили пить чай. Это были какие-то родительско-исповедальные чаи, в других комнатах чаи были другие – резкие, откровенно гневные. Когда она заходила невзначай, обязательно чей-то голос повисал в мертвой тишине, а чей-то начинал совсем другое. При ней все-таки не говорили, что думали. И тогда она шла в туалет и плакала, потому что

ей было интересно то, другое, и было обидно, что они ее все равно не принимают за свою, хоть разбейся она от старания. Права была Наталья, права.

Но со временем она смирилась с этим. А когда смирилась, они все стали доверчивей. И иногда она долго стояла в дверях и слушала разговоры о литературе и искусстве, в которых, по их словам, властвует чиновник, хам и дурак, и она тихо уходила, боясь услышать собственную фамилию. Одно время она пыталась разобраться в том, чего не понимала, с Николаем. Спрашивала: а вот этот театр, он действительно очень хороший? Муж смотрел на нее тяжелым взглядом и отвечал всегда одно и то же:

«Не надо, а? Дома про это не надо. Я их всех – всех! – заставил бы землю пахать. Подонков!»

Как бывает в жизни.

Кто ж знал, что придется ему работать по этой части. Но так получилось. Когда Виктор Иванович совсем окреп в Москве, у Николая как раз к тому времени созрела идея уехать из Москвы навсегда. Намотался, наломался в командировках, и все вроде мальчик на побегушках. Виктор Иванович тогда начертил ему путь. Поработать помощником у хорошего перспективного человека, а через некоторое время попросить пусть маленький, но самостоятельный кусочек хлеба.

Все так и стало. Кто-то очень мозговитый решил, что не хватает им в руководстве вот такого вахлатого мужика а а, который жизнь знает не по книжкам, а знает ее ногами, руками... Ценно это? Ценно. Образование у мужика – историческое, так что если он его вспомнит, а командировочного багажа не забудет, то получится самое то.

Получился Николай Зинченко. Он всю жизнь делил людей на тех, кто землю пашет, и на остальных. Ах, как крут он был с остальными! Как беспощаден. Муж Лоры, имеющий непонятную профессию реставратора древ-

него искусства, говорил о тесте: «Мой непобедимый враг». Когда Татьяна бывала с Николаем на премьерах, литературных встречах, она всегда боялась, что ее подтянутый, хорошо одетый, сухо вежливый муж в какую-то минуту не выдержит взятой на себя роли и шарахнет фужером в зеркало и скажет им всем: «Мать-перемать! Ишь, зажрались... Ишь, обмясели...» Но Николай никогда из образа не выходил, не забывал, где находится, у нее же от этих встреч оставался запекшийся внутри ком страха и брезгливого ужаса. «Мать-перемать, интеллигенция... Смокинги напялили... А зипун не хочешь, а а рмяк, а чуни-галоши? Да я вас всех... И каждого в отдельности...»

Она читала это все в его чуть затуманенных глазах, всю ненависть и неприятие, и боялась, и стыдилась этого...

Правильно, что ее не до конца принимали в редакции. Она была *его* жена. Когда ее ставили в пример, Татьяна всегда нервничала. Потому что выглядело все так: «Дорогая М.М.! Вы кандидат наук, член редколлегии, а вам все до этой, как ее... До фени... А у нас техработник, она, можно сказать, душой болеет...» «Делу не нужны душевнобольные. Делу нужны профессионалы». У этой М.М. за зубами ничего не задержится. «Ваша Таня громко плачет, потому что уронила в речку мячик. У нее работа исключительно для семечек. Она женщина без проблем. А я за синими сосисками полтора часа стояла, а мне досталась чайная колбаса, которой не то что кошка, а А уже и собака не ест. Обслужите меня хоть по минимуму, и я за это сгорю на работе». Татьяне: «Я вас тут употребила по случаю. Имейте это в виду... Ну зачем вы во все вникаете?»

Шла в угол, думала. И соглашалась с М.М., а потом отпаивала М.М. чаем, потому что ту «зело пбили на лютучке, зело». Вообще то того, то другого приходилось отпаивать.

Уже не было Натальи. Той Натальи, которая была раньше. Эта жила в Бескудникове, куда она сейчас едет, в комнате с ободранными обоями. Татьяна два раза сама обклеивала ей комнату, Наталья мазала куски клейстером, а Татьяна с табуретки клеила. «Смотри, какая получается светелка!» – говорила Татьяна, а Наталья смеялась. Потом Наталья все обдирала. Это у нее была такая степень опьянения, когда ей надо было все крушить и ломать. И она обдирала стены. И сидела в обойных ошметках на полу в серой бетонной клетке и пела их раздольские песни до тех пор, пока не приезжала машина с грубыми парнями, и они тащили ее по полу, а она радостно выкрикивала им в лицо матерные слова... Однажды все это Татьяна видела и кинулась закрывать заголившиеся Натальины ноги, а та рявкнула: «Не трожь! Хай глядят!»

Татьяна тогда все себя винила: где ж, мол, я была? Куда ж я, мол, смотрела? Сказала об этом Николаю, тот с отвращением дернулся: «Оставь! При чем тут ты? Это Вальке надо было бы холку намылить. Нашел себе краля...»

Непонятная штука – человеческие отношения, но «краля», в общем-то, нравилась Татьяне. Не видела она в ней виноватости перед Натальей, в себе видела, а в Бэле – нет. Подругой Бэла не стала, очень корректные, холодные отношения, но в душе Татьяна ее не судила. «Любовь – не грех», – сказала она как-то вслух, после какого-то общего застолья глядя на себя в зеркало в ванной. Сказала и оторопела, потому что, во-первых, вслух, а во-вторых, она ни про что такое в тот момент не думала. Стояла, мыла руки, смотрела себе в глаза, и вдруг: «Любовь – не грех». Хорошо, что бежала вода, а то что она сказала бы Володьке? Он как раз в коридоре возле ванной с чем-то возился. Сказав же неожиданные слова вслух, стала думать о Бэле. И почему-то пожалела ее... Что бы там ни думал и ни говорил о себе Валя

Кравчук... Никогда у нее к нему душа не лежала. И умный, и прибежит, если что, а не лежит душа... Тут она с Николаем в одной команде. Но это тоже не так! Николай как раз за ум, за мастеровитость не любит Кравчука. Он ему это в упрек ставит, потому что сам не такой... А Татьяна очень в человеке ум ценит. Когда-то в юности ей задали загадку. Стоит три мешка: в одном – ум, в другом – красота, в третьем – деньги. Что бы взяла? «Ум», – не колеблясь, ответила она. А ответ, оказалось, глупый. Оказывается, если так отвечаешь, считаешь себя дураком. Деньги надо брать, деньги! Но она упорствовала: ум. И пусть дура! Все равно – ум. Но вот с Кравчуком все было сложнее. Его ум ей не годился. Какой-то не тот был ум... Поэтому она и пожалела Бэлу, посочувствовала ей, что та в своей грешной любви на Валью *напоролась*.

Но ведь *любовью* напоролась!

А она на Николая как напоролась? То-то, голубушка, не судья ты людям. И Николаю – не судья. Он-то перед тобой не виноват... Он ведь любил, как умел. А ты никак не любила.

Она знала ночной скрип его зубов, холодную потность его ладоней. Она клала ему на лоб свою ладонь и говорила тихо: «Успокойся!» И тогда он долго, клокочуще матерился, проклиная всех и вся. Сразу после этого он уезжал на рыбалку. Возвращался веселый, хмельной и говорил детям, что рыбалка, охота на зверя – истинно христианские дела, что только человек-охотник был человеком естественным и счастливым, а цивилизация скрутила счастливцу голову. Но ведь охота – это не убийство в строгом понимании слова? Но он мог и убить. А может, и хотел... Мочь и хотеть – слова из разного ряда. До этого Татьяна додумалась не сама. Это ей сын объяснил: «Мочь – слово поведенческое... Мочь, делать... А хотеть – нравственное. Человек от человека отличается тем, чего он хочет...»

Она подумала: это слишком для меня умно. Я знаю одно: человек очень многое может. Может вытерпеть боль, голод, муку. А может и довести до боли, голода и муки. Может бросить на произвол младенца, может убить. Но может и что-то великое... Но никакое великое не может осчастливить брошенного младенца. Может, не может... Все он может, человек. Все! Вот про ее отца говорили, что он даже вовремя сумел умереть. Большие неприятности у него начались, а он возьми и умри. А так хотел жить... Так ждал конца войны и радовался, что в Заячьем советская власть не прекращала ни на день своего существования и люди не мерли с голоду. Это-то ему и поставили в вину, что не мерли...

Почему у нас смерть – всегда – по разряду доблести?

ВАЛЕНТИН КРАВЧУК

У Кравчука ломило в затылке. И хотя он уже снял эти уродливые очки-консервы, все равно осталось ощущение, что он в них, и все вокруг тускло, и продолжают давить на душу желто-горячие ботинки, сумевшие сохранить свой невообразимый цвет даже сквозь непотребно ширпотребскую пластмассу. Надо же именно сегодня им явиться! В другой бы раз он принял бы их как людей, с кофейком там, нар-занчиком, финскими галетами. Словил бы кайф от их растерянности, смущения, бывало такое, бывало. Объяснил бы им, как полудуркам, что не их ума дело, где прокладывать дороги. Популярно бы объяснил, но и немножко с подначкой. Есть, мол, в нашем народе это качество – фантазировать о глобальном (очень большом, значит, мужики, всеобщим, мировом), а в собственном сарае порядка навести не можем. «Ну есть в нас это или нет?» – Замялись бы желто-горячие, а куда денешься? Согласились бы... В своем сарае погано, это точно. С прошлой весны не ме-

тено. Так бы, смехом, все и закончилось.

Сегодня же – паскудный день. Не повезло мужикам, но и черт с ними. Не эти – другие... За чем-нибудь явятся...

Он бесконечен, хутор, как Вселенная... Верен, как судьба... Всюду тебя настигнет, всюду найдет...

Надо закрыть глаза и расслабиться. И перестать думать. Вообще! Будто нет у тебя для этого аппарата, а голова исключительно для шляпы и для еды. Так его учила Бэла – *не думать*. «Нечем думать! Понимаешь? Нечем!» И он застывал в позе немыслящего кретина, и – о тайна! – проходила боль!

Валентин поискал удобную позу, откинул голову назад. Сейчас! У меня нет мыслящей головы! У меня нет мозгов! Я пустотелый шар... Шар... Шар...

... Он вернулся из армии, и мать показала ему пачку больших, как полотенце, денег, которые «тебе, сынок, на учебу». Он ответил ей: «Спрячь! Мне не надо. Я пойду работать!» И мать заплакала. Боже, как она плакала, размазывая по сухому морщинистому лицу слезы.

«Зачем же я их ховала? – причитала мать. – Зачем же я бумажку к бумажке прикладывала?»

Он дал ей слово, что учиться будет обязательно. Он объяснил ей, что нет разницы в очном и заочном образовании. Что диплом дают тот же самый. Он ей посулил даже выгоды от такого образования, не материальные, моральные. Мать именно слово «выгода» поняла и стала вроде успокаиваться. Хотя с образованием она это слово, в сущности, соотнести не могла. Для нее дипломы детей имели, скорей, некое идеальное значение, как знак перехода в другую среду, другой мир, где уже не так важно в каждом, даже маленьком, деле искать выгоду. В сущности, она таким образом *спасала* детей от своей собственной доли. Одна, без мужа, без профессии, она всем троим дала высшее образование. Спасла ли?

Я пустотелый шар... Шар... Шар...

Первой была Ольга, старшая. Жизнь этой сестры – доказательство того, что иногда высшее образование попадает не в цель, а мимо. У Ольги был даже кравный диплом! Старая, старая дева, она всю жизнь прожила с тремя параллельно идущими, намертво заложенными в нее истинами. Первая. Труд превратил обезьяну в человека. Следовательно, любого, всякого уже человека тем более можно исправить трудом... Лопата, кирка, лом, тачка – символы труда. «А микроскоп? – смеясь, спрашивал он ее. – А ноты? А холст на подрамнике?». – «Нет! – отвечала Ольга. – Нет! Я имею в виду труд физический... Трудный...» – «А микроскоп – легко?» – «Не путай меня... Микроскоп – это, конечно же, легко». Вот такая у него сестра-шпала. Вторая ее мысль-идея была вычитанной: «Жалость унижает человека». Третья из песни. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью».

... Я пустотелый шар... Шар... Шар...

Мир, остальной и всякий, размещался у Ольги между этими идеями. Он или соотносился с ними, или нет. Соотносящийся был истинный, не соотносящийся был враждебным. Враждебным в какой-то период жизни было даже, к примеру, пришедшее на смену привычному синему бостону джерси. Она последней в стране сняла блестящий, как отполированный, костюм и с отворачиванием надела купленный ей в Москве джерсовый. Через год она радостно констатировала: джерсовый хуже! Вылезают нитки! А она ведь знала! Сразу знала, что он будет хуже. *Знать сразу ...* Априори... Это было невозможно важно для нее. Трудности познания – глупости. Смотрите, как аксиоматично все истинное – твердость земли, прозрачность воздуха, зелень травы. И тут Ольга даже становилась поэтом. Откуда что проклевывалось... В общем, Ольга – тяжелый, неизлечимый случай.

Итак, я шар... Шар!!!

К Галине он ближе. Она старше его на три года, но в восприятии она – младшая. Это оттого, что он видел ее

в беде, пережил ее вместе с ней. И взял все на себя, как, может, взял бы отец, будь он жив.

По времени все было тогда, когда у матери пропали все перевязанные ниточками деньги. Случилась реформа. Он, занятый Галиной, просто не успел мать предупредить, а потом узнал, что мать не поверила газетам и спрятала деньги поглубже, веруя, что они «вернутся». А им с Галиной очень нужны были тогда деньги. Он работал в молодежной газете и учился заочно в университете, жил в общежитии, ждал комнату, на воскресенье ездил жениться к Наталье. Откуда у него могла быть живая копейка? Комнату ему обещали в доме, где жили Виктор Иванович и Зинченко, прямо в том же подъезде. Из полуторки – так называли однокомнатную квартиру – на первом этаже должен был выехать милиционер, у которого родилась тройня. Целое событие для города. Милиционер пил без просыху сразу от двух потрясений в жизни – трех дочерей и предложенной ему сразу трехкомнатной квартиры. Ни то, ни другое он осознать не мог, потому и пил от неимоверного звона в голове. Милиционер ведь однокомнатную только-только получил, до того они жили так, что семилетний сын спал буквально у них в ногах, на сдвинутых стульях. Как они радовались полуторке, все время ходили и спускали воду из бачка и слушали, как набирается вода снова. И здрасьте, пожалуйста, получите трехкомнатную! Правда, уже есть трое девчонок! Тоже здрасьте, пожалуйста! Как же это у него получилось – тройня? Это значит, особенность какая-то в нем есть? Что-то не такое, как у всех? Именно на этом месте в голове у милиционера начинался звон... Хорошо, что пришел хороший парень-журналист смотреть квартиру, и он ему честно рассказал про звон. «А когда приму, проходит». Они выпили первую «маленькую», дернули цепочку у бачка, послушали воду, вышли покурить и тут встретили Зинченко и Виктора Ивановича, который только что приехал из

Москвы. И почему-то Виктор Иванович не просто узнал Валентина, как мальчика из «нашей школы», а как-то очень его обнимал, и вздыхал, и даже вроде всплакнул. Хорошо, у милиционера снова зазвенело в голове, пришлось пойти к нему в квартиру, выпить за здоровье дочек вторую «маленькую», дернуть за цепочку...

Надрались они тогда прилично. По квартирам их разводил сын милиционера, мальчик с печальными косенькими глазами. Валентин заночевал у Виктора Ивановича, а ночью тот его разбудил, повел на кухню и все рассказал.

Оказывается, он любил Галю, его сестру. Уже год у них отношения были «вполне конкретные», и он, порядочный человек, имел серьезные намерения: попросить назначение, куда Галочку направят после мединститута, «хоть куда, в любой уголок страны, пусть глухомань, например, Гурьев, пусть деревня, лишь бы вместе». Но случилось невероятное – Виктору Ивановичу предложили остаться в Москве. Он и в мыслях такого не имел. А его вызвали, куда надо, и спрашивают: «А по какой профессии у вас супруга (имея в виду, конечно, Фаину), чтоб мы подыскали ей работу?» Разве в такой ситуации скажешь про Гурьев и про Галину? Он сказал: жена – учительница химии. Вот так «предал я Галочку, предал, предал, не разубеждай меня!». Кто его разубеждал? Хмельная голова Валентина с трудом перемалывала информацию, но раньше понимания возникла боль. Заныло, застонало то, чего, в сущности, нет и быть не может. Душа. Так стала она в нем ворочаться, что даже ребра изнутри заболели. Виктор Иванович же, сказав тогда все, «как на духу», сказал и главное: Галина была беременна на шестом месяце. Идиотка сестра так уверовала в глухомань, что гордо носила конкретный результат конкретных отношений. «Она, конечно, надеюсь (а в глазах Виктора Ивановича был страх и не было особой надежды), не пойдет жаловаться, но торюет... А

я? Да зачем мне эта Москва? Я ее просил? Но нельзя *там* отказываться. Не так поймут и хуже сделают. Ты меня понимаешь?»

Понимания не было. Была боль.

С этой болью Валентин ездил за свой счет в Москву два раза. Вернее, за счет Виктора Ивановича. Первый, чтоб просто успокоить, поддержать сестру: у нее на носу были госэкзамены. Второй раз – уже привезти ее домой, матери, расплывшуюся, пятнистую. Была придумана легенда о том, что не то муж, не то жених попал под трамвай. Мать до смерти боялась трамваев, а потому поверила сразу. В Раз-дольской при помощи Виктора Ивановича Галина получила комнату. Отдельную квартиру на девятом этаже она с Петрушкой получила много позже, уже без всякой посторонней помощи, став в районе ведущим хирургом.

Виктор Иванович помогал Галине хорошо. Но никогда сам, лично, всегда через Валентина. С его подачи Валентин и попал в Москву, и тогда денежные переводы «от дядьки и брата» стали выглядеть совсем естественно. Тем более что с точки зрения периферии в Москве живут богато и все всё незаслуженно имеют.

Как это ни удивительно в век информации, но тайна рождения Петрушки была сохранена. Виктор Иванович больше никогда не видел Галину, жене был демонстративно верен и даже снискал себе репутацию «образцового семьянина, несколько ханжи», на что Фаина фальшиво отвечала, что «лучше бы у него была женщина». Глупая, она даже не знала, как была права. Страстью мужа стали рисунки Петрушки, которые ему как-то привез Валентин. С тех пор пошло-поехало... Теперь уже открыто Виктор Иванович покупал работы «талантливого мальчика».

Лично они никогда не встречались, и не дай Бог, говорил Валентин. Петрушка как две капли воды был похож на отца. Виктор Иванович, когда узнал об этом, был

очень растерян и на всякий случай решил не ездить в командировку в те края, от греха подальше. Когда же успокоился, полюбил не виденного сына какой-то истерической заочной любовью. И теперь уже Валентин стал за него бояться: в таком состоянии старик мог черт знает что совершить. А зачем? Это ни к чему при его положении, Галине это тоже давно ни к чему. А Петрушка... Петрушка ведь совсем другой, настолько другой, что даже картины этого не передают. В нем живет другая идея, другой образ мыслей, им встречаться нельзя, как двум поездам на одной колее.

А его сын – разве не другой?

Разве не потому он отослал его в училище, что временами боялся его взгляда, такого тяжелого, что хотелось согнуться под ним в три погибели? И сгибался, и злился: да что же это за черт, что я перед сопляком, мальчишкой, как трава, хилюсь? В чем я виноватый? Не спасал, что ли, его мать?

Отправил сына от греха подальше?

Тот уехал так радостно, будто ему отец и впрямь был в тягость... А что уж говорить про Бэлу... Там всегда была полная несовместимость. Вежливое неприятие.

Мечтал, что когда-нибудь расшелушит эту проблему до зернышка. Сын подрастет – умней станет.

... Я шар... Я пустотелый шар...

Ни хрена подобного! Голова была свинцово налитой, голова была тяжелой и, наверное, квадратной, потому что Валентину хотелось оббить ее углы, и он стал тыркаться головой туда-сюда, ища места, где это можно сделать. И ему показалось, что от этих движений возникли в нем треск, и шум, и взрыв, и крик, и ужас...

Понадобились время и возглас Василия: «Вот звезданулись так звезданулись!», чтобы понять – треск, шум, взрыв и крик не в нем. Вне его.

Виктор Иванович вошел в их дачную спальню. Над широкой двуспальной кроватью висел натюрморт. Он его специально повесил в спальню, чтоб не возбуждать лишнего любопытства. Натюрморт был именно таков... Возбуждающ...

На большом, крытом клеенкой столе... Все дело было в этой клеенке. Одно время их навалом было в магазине – клеенок с яркими рисованными продуктами. Положишь на стол – и уже аппетит. Виктор Иванович сам на каком-то совещании слышал, как солидные товарищи возмущались этими клеенками. В стране нехватки, зачем будоражить воображение ломтями окороков и красной рыбы, которых нет. После этого таких клеенок не стало.

А на натюрморте она осталась. До тонкости выписанная, даже потрогать руками хочется, и эффект аппетита вызывают как бы дважды нарисованные дважды несуществующие продукты. На самой же клеенке, сверху, «живой продукт» выглядит так. Три поллитры, опростанные до дна, с нервно сдернутыми крышечками. Две сморщенные сосиски в куче содранного с сосисочными следами целлофана. Трехлитровая банка с магазинными желтыми огурцами, величиной с кабачок, разрезанными абы как на неровные части. Разорванная пополам селедка, хорошо видно – иваси, с вытекшим горьким жиром. То, что горький, это уже, конечно, воображение, но Виктор Иванович всегда, глядя на эту иваси, сглатывает горечь. Так нарисовал, сволочь... Петрушка...

Такой вот натюрморт. Двести пятьдесят рублей стоит... Да Виктор Иванович за любую цену купил бы, только чтоб не оставлять его у Петрушки. Могли бы и неприятности возникнуть у того, захоти кто прочитать весь смысл изображения. Потому что – стервец! – не ос-

тановился на горьком жире иваси. Он ведь косточки от той селедочки, которая была съедена, аккуратненько выложил на газетку. С проектом продовольственной программы. В столовой же у него другая Петрушкина работа. Называется «Вечность». Ничего не нарисовано. Просто круги разного цвета. Один в другом. Самый наружный аспидно-черный, а самый внутренний – яркий, как солнце. Гости, которые у него бывают, называют эту картину «Мишень». Виктор Иванович их не поправляет. Мишень так мишень. В общем, даже похоже! Дурачок Валентин передал это Петрушке. Валентин однажды слышал, как усаживались гости и кто-то сказал:

«Ну, двигайтесь к мишени, двигайтесь». Валентин и рассказал племяннику это в шутку, а тот закричал: «Какому быдлу ты продаешь мои картины?»

Валентин вернулся, смеется, рассказывает: «Вот как он о твоих гостях!»

«Быдло-то я», – сказал Виктор Иванович и смутил этим Валю. «Да брось! Что ты так принимаешь к сердцу? Он ведь все что хочешь скажет... У него со словами не напряженно...»

Виктор Иванович долго тогда смотрел на «Мишень». Он ее сам так мысленно называл. Он хотел понять, почему вечность? Он ведь и других, в изобилии висевших у него в московской квартире Петрушкиных картин не понимал. Не понимал и не понимал. Слыл зато любителем живописи. Этим был даже знаменит в своих кругах. Покровительствует, говорили, Виктор Иванович одному молодому левому художнику с периферии... Широкий, мол, Виктор Иванович, широк... Дорогое ведь это дело – покровительство художнику. Что бы ему выбрать – шутили! – поэта! Дешевле...

И сейчас Виктор Иванович подошел к «Мишени». Ну, раскройся быдлу, тайна, раскройся! Ну, дайся в руки, сынок, объясни отцу-идиоту то, что сам знаешь...

Но мишень оставалась мишенью, пяля на него бес-

страстный круглый глаз.

Виктор Иванович заплакал.

Слезы шли из него нескончаемым потоком, но облегчения не приносили. Как будто плакал и не он вовсе, а некто совсем другой, *другой* плакал через его глаза. Виктор Иванович хотел понять, кто он, этот другой, но не мог. Он ничего, оказывается, не мог, он был немощен и бессилен, и одинок, и пришла мысль: хорошо бы ему здесь и умереть. Не дожидаясь гонцов с недобрыми вестями, не дожидаясь ничего... Все ведь кончено... У Петрушки есть одна картина, которую он понимал. Толпа людей на эскалаторе. Вверх – вниз. Все мазками, все пятнами. И только одно лицо, искривленное судорогой ужаса. «Одиночество». Потому что Виктор Иванович понимал смысл, он эту картину больше всего любил. Но одновременно он и не принимал этого смысла. Он слышал о расхожем понятии – одиночество в толпе. Но он с ним не был согласен. Он считал это неправдой, потому что помнил свое пребывание в толпе. Оно было приятно ему, это пребывание. Ведь хорошо, когда люди вместе! Что может быть лучше единения? Общности? Чувства локтя?

Сейчас же он понял: это *он* на том эскалаторе. Это его лицо, искаженное мукой. И никому никогда ему не помочь. Одиночество – это не когда ты один, это когда нельзя помочь...

Но что, собственно, у него случилось? Что? Его отправляют на пенсию... Ему в понедельник шестьдесят лет. Пенсионный возраст. Но почему все-таки *они* решили сообщить ему об этом за три дня? Кому он стал так поперек горла? Слез уже не было. Был привычный, естественный поток мыслей. Кому *это* надо? Кому *это* выгодно? Кто что выигрывает? Савельич не сказал ни одного поясняющего слова, принял его отставку как должное. Значит, есть *основания*. Какие?

Он перебирал по дням, по встречам. Без симптомов. Все было хорошо. А он много толочся последнее время в сферах, решая дела Валентина. Решил же! Как кружило вокруг него вятичье воронье со своей кандидатурой. Победил ведь! И без особого труда. Савельич тоже у него спрашивал про Кравчука. Кто он тебе, что ты так стараешься? Кто?

И этот вопрос о деньгах... Просто так?

Виктор Иванович не знал, сколько у него денег в сейфе. Не считал. Как не считал коробок отборного коньяка в шкафах кабинета. «Все до смерти не выпить», – говорил Зинченко. Истратить ли деньги? Единственное, на что он их трогал, были Петрушкины картины. Считал справедливым, что не урывает на свой старый грех денег от семьи. Фаина в деньгах строга, хотя на застолье может столько сразу выбросить, что он, бывало, ахнет... «Перестань, Витя, – говорила она. – Нет ничего дороже друзей, которые тебя любят и которых ты любишь. Ничего для них не жалко». Он не спорил...

Представилось, как ночью некие люди открывают сейф и пересчитывают пачки одну за другой, одну за другой.

«Чепуха! – подумал он. – Чепуха!»

И сжал связку ключей в кармане, и почувствовал, какие у него мокрые ладони.

ВАЛЕНТИН КРАВЧУК

Треск, шум, взрыв и крик были не в нем. Вне его.

Желтый автобус как-то стыдно лежал на боку, открыв для обозрения черноту своего живого, шевелящегося колесами низа.

– Я знал, что это будет, – с каким-то радостным удовольствием сказал Василий. – Тут все время копают... Я уже пять лет жду, что кто-нибудь сверзится.

Валентин не слышал. Он думал: что там внутри? Они ведь долго ехали за этим автобусом, он видел залепленное людьми заднее стекло. Валентину всегда бывало не по себе от этих лиц, прижатых к стеклам автобусов, троллейбусов. Он, который давно и громко проповедовал идею, что каждый может стать тем, кем хочет, и получить то, что хочет, именно перед стеклами автобусов в этой идее уверен не был. Не могло быть, чтоб люди, зажатые внутри транспорта, хотели в жизни именно этого. Транспортной каждодневной давки. Только некоторые из нее выбирались. Как выбирались сейчас попавшие в аварию, которым повезло быть рядом с окном, повезло опереться ногой в чью-то шею, и сбалансировать, и подтянуться, и не услышать, что под тобой, а знать, что тебе уже ничего не грозит. Ты-то спасен!

Здоровый мужичонка в красной куртке радостно прыгнул с автобуса, давя ногами стекла. Он глупо улыбался всей плящейся на него автомобильной пробке. И как-то по-птичьи отряхивался. В какую-то секунду они встретились взглядами – красный мужичок и Валентин. И между ними возникло то абсолютное понимание, которого в обычной жизни между людьми не бывает, а случается в обстоятельствах, пограничных с нормальной жизнью. На войне, перед смертью, или в больнице, перед операцией, или в откровенности пьянки, когда засыпают все внутренние сторожевые собаки и души выходят друг другу навстречу в чем мать родила и голос подают не с ума и образования, а с голого сердца, странный такой, сдавленный голос, который, будучи записанный на магнитофон, может быть не идентифицирован с тем, обычным голосом, который человек привык иметь.

О опасность откровения! Не надо ее... Не надо выпускать из плена задушенные голоса. Что с ними делать? Как с ними обращаться?

«Я живой, как и ты! – молча прокричал Валентину

мужичок. – Ты же понимаешь, что быть живому лучше, чем мертвому?»

И он даже развел руками от восторга жизни.

А потом с ним что-то случилось... С мужичком в красном... Он зацепился за все еще крутящееся колесо и полез обратно. Он распластался по багровому от солнца стеклу, которое несколько секунд назад давил ногами, он хватал молящие руки и тащил людей, и плакал, громко плакал, во всяком случае, Валентин слышал его плач, будто тот плачем выпускал из себя стыд за ту свою животную радость, которой он поделился с Валентином.

Кроме Валентина и мужичка много чего существовало вокруг.

Существовала милиция, которая начала делать свое дело. Уже выла сирена «скорой помощи». Уже возникло оцепление. Уже не один мужичок лежал, распластавшись, н а а втбусе. Уже старший лейтенант постучал в окошко к Валентину и, извиняясь, попросил машину. Для транспортировки легкораненых.

Валентин вскочил как ошпаренный.

– Да! Конечно – сказал он. – Извините.

Василий резко повернулся и посмотрел на него с осуждением.

– Нас могли бы и не трогать, – тихо проворчал он. – Сказали бы, что у вас заседание на высшем. Выгваздают же машину эти легкораненые.

Но Валентин его не слышал. Ему сейчас хотелось отойти от машины подальше. Отмежеваться от нее. Он бестолково топтался внутри оцепления, нелепо размахивая пластмассовыми очками, которые так и остались у него в руках.

– Товарищ с очками! Отойдите! – услышал мегафонный голос и не сразу сообразил, что это у него такое обозначение – товарищ с очками.

... А потом он увидел мать... Ее несли на руках к

«скорой помощи». Плюшевая жакетка волоклась по земле, и он сначала подумал, что ее надо бросить и не тащить за матерью, пока не сообразил, что жакетка «вошла» в мать и их нельзя разделить никоим образом. И он рванулся к матери, но понял: это не мать, матери тут быть не может. Просто похожая седая старуха в плюшевом жакете. И он облегченно замахал очками. Мать же, которая и не мать вовсе, сказала так ясно, будто стояла рядом: «Крушение, Валечка... Самое страшное, что есть на свете... Пожар и то лучше...»

Он даже вздрогнул от живости слышимого и тут увидел Ольгу... Наверное, так сцепить поломанные колени могла только его целомудренная учительница-сестра. Сцепила колени и придерживает руками отколовшийся шиньон, пятнадцать лет назад купленный в парикмахерской Кутаиси.

«Что это со мной?» – подумал он и увидел и Галину, и Наталью, и Петрушку. Пронесли мертвую Бэлу, с волос которой капала кровь. Он один был здоровенький среди мертвых и полумертвых и легкораненых. Он и этот мужичок в красном, который продолжал свое дело... «Ты отдал им свою машину, – услужливо шепнул ему некто. – Ты же понимаешь, в такой ситуации машина нужней всего... Это, как кровь...»

Кровь! Он еще отдаст и кровь. И Валентин кинулся к «скорой».

– Может, нужна кровь? – спросил он пожилую женщину в белом халате.

– Вы кто такой? – Она смотрела на него устало и в упор.

– Я? Журналист... – Он стал рыться в кармане, ища визитку.

– Напишите, чтоб чинили дороги! Чтоб не выпускали в рейс сломанные машины... Чтоб автобусов было больше... Скажите наконец хоть какую-то правду! Всем! – тонко закричала она и пошла прочь.

Было стыдно. От идиотизма порыва, от его ненужности. И он вышел из оцепления. «Что там? Что там? – горячо спрашивали его те, кому не было видно. – Много жертв?»

«Тема, – вяло подумал Валентин. – Все выяснить и написать, как было... Написать на самом деле правду про дорогу, про машины, про сдавленных в них людей...» Но он знал, что не напишет. Ни это, ни другое. Он шел, размахивая дурацкими очками, сворачивая на улицы, по которым никогда не ходил. Уже через сто метров *никто* не знал об аварии. Люди катили в колясках детей, стояли в очередях, сидели на лавочках, они ссорились из-за пустяков и таким же пустякам радовались. Поток обычной жизни был настолько мощней и сильнее странности смерти, что Валентин повернул назад, к шоссе, к аварии, чтоб убедиться, что было на самом деле. Он свернул во двор, через который, ему казалось, проходил, и увидел собственную машину. Выставив ноги из кабины, Василий вальяжно курил, а напротив него, облокотившись вальяжно на велосипед, стояла голоногая фифа. Они небрежно болтали о чем-то своем, но Василий ничуть не удивился, увидев начальника. Он приветственно помахал ему рукой и сказал фифе:

– Я ж тебе говорил, что мой меня найдет. – И он подмигнул Валентину. – Он же видел, как я слинял... Это ему неудобно отказывать милиции, а мне удобно. Правильно вы меня вычислили в этом дворе...

Как объяснить было Василию, что он ничего не вычислял? Что он случайно оказался в этом дворе? Что он был уверен, что его машина там, на «беде»?

Василий открыл ему дверцу. Фифа смотрела весело и нагло. Пахло дымом хороших сигарет. Он был в своей жизни, где у него рождались мысли, где он был умелец и хват, куда не приходили видения и призраки и где ничего не сходило с рельсов.

– Значит, в Крюково? – спросил Василий.

И тут он вспомнил, что с рельсов все-таки что-то сошло, раз он едет в Крюково. Вот у него и пакет тут приготовлен с вьетнамской соломкой и чешскими стекляшками. Презент одному подагрическому старику за совет и информацию, если он захочет их дать.....

Но не было безусловности решения ехать. Что-то все-таки изменилось, и о соломе он подумал именно как о соломе... Не больше... Василий ловко выезжал на магистраль, стараясь попасть выше аварии, а Валентин искал в себе решительность и уверенность, которые куда-то канули.

– Знаешь, – сказал он Василию, – если ты вон там сделаешь правый поворот, а потом еще один правый, мы окажемся возле одного дома, где ты меня и бросишь. Отложим Крюково.

Василий молча сделал два поворота. Знал он этот дом. В этом доме Валентин жил со своей первой женой, Натальей. Потом были сложные обменные игры и махинации, в результате которых Кравчук имеет теперь свою трехкомнатную в центре, а Наталья комнату где-то в Бескудниках. Зачем ему надо в бывший свой дом? Что он там оставил, подумал Василий? Но тут же решил, что не его дело это выяснять, его дело рулить и тормозить, не задавая вопросов. Он остановился недалеко от дома. Смотрел вперед и ждал. Ждал стука дверцы, каких-то слов. Но сзади было тихо. Глупо смотрел на свои бывшие окна Валентин Кравчук, очень глупо. И не мог он объяснить, что его сюда привело. Следствия и причины будто поменялись местами. Важным стала сущая чепуха: у него в этом доме на шестом этаже начал расти тополек. Вгрызлось семечко в щель между балконом и стеной и пустило росток параллельно земле. Невероятное было потом, когда вопреки всем законам физики крохотное деревце выпрямилось и пошло тянуться вверх. Если ему что было жалко бросать, так это топо-

лек, который к тому времени, как ему уезжать, был уже выше балконных перилец.

Сейчас дерева на балконе не было. Может, его не было уже давно – он ведь ни разу сюда не приезжал, только возникла в голове странная связь между тем, что его вопрос отменили, аварией и тем, что тополька не было.

«Это во мне литературное образование дает о себе знать, – подумал Валентин. – Пресловутая система образов».

Зачем он сказал – поверни направо? Зачем до этого свернул точно в тот двор, где отсиживался Василий? Что все это значит? Ничего не должно значить, если все в порядке, и черт знает что, если засбоило. Суеверия и Приметы – это демоны отчаяния. Тьфутьфукуния, постукивания по дереву, перекусывания, поплевывания, черные кошки, просыпанные соли, понедельники, пятницы – вертят как хотят бедного потерянного человека, он идет между этим, как по жердочке, усталый, затюканный, забывший, зачем он рожден.

А зачем он рожден? Он, Валентин Кравчук? Зачем мать выхаживала его в войну и после войны, зачем покупала криворогую козу с густым духовитым молоком? Почему тогда в армии, когда на учениях взорвался этот шальной снаряд, именно он оказался в замечательной ямке, по склонам которой росла земляника? Он к ней наклонился, к землянике, и остался жив. Почему он не ехал в том автобусе? Ведь автобус тоже ехал в Крюково. Почему он был сзади, а не там, внутри, как тот мужичок в красном? Почему? Ответ, который он вчера доподлинно знал, сегодня не годился. Сегодня его завертели демоны. Вот и тополеки они срубили.

– Так и будем стоять? – спросил Василий. Шоферу не нравился хозяин. Он не любил, когда люди «размокали». Ну, авария... Делов!.. Мужик должен на смерть смотреть спокойно и хладнокровно. Дергаться из-за де-

сятка покойников – себя не беречь. Смерть – дело житейское. Тут война на носу, все говорят – последняя, до «полного абзаца». Так что перевернутый автобус – ерунда. И если человек из-за этого плавится, ему не выжить. Валентин Петрович – кто бы мог подумать? – ведет себя, как баба. А еще за границу собирается. Кто его такого туда отпустит? Разочаровал его Валентин Петрович, разочаровал. А тот как почувствовал...

– Ты, Вася, подкинь меня к редакции и свободен. И смени выражение лица – будто тебе груз подменили. Это я. Я!

Но уверенности в этом не было. Ни у Валентина, ни у Василия.

БЭЛА

Она поняла, что звонка не будет. Поняла в кухне, куда пришла, чтоб в четвертый раз заварить себе кофе, потянулась к мельнице и вот в этой позе, на цыпочках, с протянутой рукой, вдруг осознала, что звонка нет не просто так, что у Вали случился, как теперь говорят, прокол, что его не утвердили, а может, и не сочли нужным утверждать, и он мечется сейчас по городу, не зная, как ей это сказать... Застонало сердце от этого невидимого ей кружения по городу, от его растерянности перед нею. К Наталье он бы поехал... Ей бы он сказал...

И тут раздался телефонный звонок.

Она перехватила трубку как-то неловко, наискосок и так же неловко прокричала «алло!» куда-то в запутавшийся шнур.

– Мама, это я! – услышала она тоненький и прерывистый голос дочери.

И хоть сомнений в том, что это была именно Катя, не существовало, она глупо, бестолково переспросила:

– Катя, это ты?

– Ну! – раздраженно ответила дочь.

Катя никогда ей не звонила.

Бэла всегда звонила сама. И долго вслушивалась в свою бывшую квартиру. Сначала в бабушкино скрипучее «Вас слушают» – к телефону подходила обычно она, – потом в долгое шарканье по коридору и отдаленное «это она», потом, ей казалось, она видит, как они все вздрагивают, как по команде, подбородки вверх, и в глазах возникает недоумение: «Неужели она все еще существует в природе? Неужели все еще жива?» Это непонимание еще долго будет оставаться у них на лицах, пока что-то естественное и нормальное, с их точки зрения, не вернет им привычного состояния. Например, любимая передача «В мире животных». Какая-нибудь африканская каракатица в цвете и оттенках освободит их от наваждения – звонка Бэлы, – и они почувствуют себя прочно, покойно и счастливо. А пока они еще сидят с торчащими вверх подбородками, ее дочь доходит до телефона и вежливо дает согласие прийти к ней на свидание на Чистые пруды, или на Патриаршие, или куда-нибудь на берег Москвы-реки. Они гуляют всегда возле воды, Катя любит смотреть на воду... Может, это она просто придумала, освобождая, таким образом, себя от необходимости смотреть на мать? Смотри на воду, я буду смотреть на тебя. Это даже лучше, что не глаза в глаза.

Так вот, звонила Катя, и это было первый раз в жизни.

– Слушай, – сказала она матери, – мне нужны билеты на «Юнону и Авось»... На весь класс... Мне дали такое общественное поручение... Иначе меня в комсомол не примут. Сделаешь?

– Подожди. – Бэла взяла трубку, как надо, и села на табуретку. Где-то там дышала ее дочь. Она приложила трубку к уху, но ничего не услышала. Дочь дышала тихо. – Алло! – сказала Бэла. – Ты тут?

– Ну! – ответила Катя. – Так сделаешь?

– А при чем тут комсомол? – начала Бэла с конца.

– Я же говорю! Мне дали поручение. Я культсектор. А все как один хотят на «Юнону»... Я уже заполнил а анкету, и у меня мало времени... Ты говори сразу, сделаешь?

– Попробую, – ответила Бэла. – Я сама еще не видела, но там, говорят, конная милиция, когда идет этот спектакль...

– Это валютный спектакль, – объяснила ей, как дуре, Катя. – Иначе я к тебе не обратилась бы.

Она сказала «не обратилась бы» как нечто само собой разумеющееся, а потому и не могущее быть обидным.

– Ты преувеличиваешь мои силы, – невесело сказала Бэла и тут же заторопилась: – Я не отказываюсь... Нет... Я попробую... Сколько надо билетов? Двадцать? Тридцать?

– Тридцать пять, – ответила Катя. – Классная тоже хочет пойти, и литераторша.

– Ладно, – сказала Бэла. – Как ты живешь? Я по тебе соскучилась...

– Нормально... Все, мама, все... Извини, мне некогда... Я из автомата... Когда тебе позвонить?

– Я сама позвоню...

– Нет! – закричала Катя. – Не звони! *Они* не знают, что я тебя прошу... Пока, мама...

Они не знают... Еще бы! *Та* семья отличалась удивительно несовременным образом мыслей. Например, они ничего не доставали. Они оскорбились бы, предложи им кто-то не прямой путь получения чего бы то ни было. У них всегда все было. Уже сто лет, еще до эпохи максимума дефицита, мясник в гастрономе, увидев кого-нибудь из их семьи, бросал очередь и подобострастно давал им самый лучший кусок. Потому что дети мясника, траченные алкоголизмом дети, лечились у них. Они даже не

заметили, что очереди стали длиннее, а мясник наглее для всех, но не для них. С ними он был все тот же «несчастный Толик». Потом у несчастного появился уже и внук, так что потребность во врачах не отпала, и Толик на оберточной бумаге со следами мяса написал имя и фамилию своей снохи, которая сидела в кассе молочного магазина. И уже дебелая кассирша лихо прыгивала с насеста и, послав очередь туда, где, на ее взгляд, ей самое место, бежала наперерез всем членам *той* семьи, и они, вежливо благодаря, брали из ее рук все то, чего не было на прилавках. Быстрота самого действия была такова, что они не успевали заметить, что же все-таки на самом деле было на прилавках, а чего давно не было. Не исключено, что патриарх семьи, дедушка, узнав, что пользуется спрятанными продуктами, мог бы и возмутиться, и бросить им все в лицо, и никогда больше не воспользоваться услугами Толика и его снохи, но он не успевал ничего заметить, потому что лечил людей от зари и до зари.

Вся их семья действительно врачевала, и не считалась со временем, и не ворчала на неработающие лифты, и не научилась брать взятки, так что обслуживание вне очереди в наших Богом проклятых магазинах было таким слабым, таким ничтожным эквивалентом этому, что и говорить нечего.

Конечно, они должны были возмутиться, если бы Катя им сказала: «Я позвонила маме насчет билетов».

«Никто так не делает, – сказал бы дедушка. – Нужно официально заказать билеты в кассе. В театре будут рады, если целый класс придет к ним на просмотр. Валютный спектакль. Таких не бывает... Я сейчас же позвоню в управление театров и выясню...»

И позвонил бы, и выяснил: не бывает. А может, его послали бы, наивного дедушку, подальше? На нормальные вопросы у нас не отвечают, а уж на такие... Скорей всего.

Катя всех обманула: сказала, что идет за билетами, а сама позвонила матери. Хорошо это или плохо, что дочь выпросталась из кокона той семьи и уже начинает жить по правилам времени? Может, так вот, делая услуги, одолжения, они и придут друг к другу, и этот путь окажется короче кровного?

Как знать? Как знать? Во всяком случае, дочери надо помочь. Бэла обрадовалась хлопотам, отвлекшим ее от мыслей о Валентине. От той самой мучительной: Наталье, что бы у него плохого ни случилось, он бы все сказал сразу. Когда-то он ей, Бэле, сам со смехом признался: «Я такой был рубаха... Расстегнутый мальчик... С порога начинал все рассказывать... Все, что ни случилось. Мне, видимо, требовалось проговорить любые глупости... А Наталья, как магнитофон, все в себя мотает, мотает... Без реакции». – «Мотай и на меня, – сказала тогда ему Бэла, – я хочу этого». – «Знаешь, не могу, – ответил он. – Пред тобой я должен быть только умным...» Она осталась довольна ответом. Хорошо же ведь – хотеть быть только умным.

Она так любила и уважала всю эту «Валину лестницу», которую он прошел и начало которой скрывалось в странном хуторе, где он родился. Он никогда не брал ее с собой туда, да она и не просилась. Ей один раз хватило приехавшей в гости снохи, Галины.

– Эх вы! – сказала ей Галина. – Размахались вы с Валькой и давай все рубить. Ты – дочь, он – Наташку. Широкие очень оказались люди!

– А я думала, ты за нас, – глупо сказала Бэла.

– Я за вас, дураков, – тоскливо ответила Галина. – Только мне Наташку, подружку свою, жалко. За что ей такая судьба? Ах, какая была девочка! Помнишь, мини пошло? Так Наташка пошла по улице, мы все аж ахнули. Ноги у нее! Таких нету, Бэла! Как врач говорю. Все косточки выточены вручную, а лодыжка плавненькая такая, что сил нет. Идет, едва попа прикрыта, а не срамно,

потому что красиво. Да что вспоминать! Она и изнутри была нежная, как твой цветок... Куда все делось? Почему именно ей такое горе? Эта водка...

– Валя с ней намучился...

– Знаю... Только где он был, когда у нее все началось? Где? Все писал про то, как, мол, все хорошо... Какие все вокруг молодцы да герои... Где ж его глаза были, Бэла? Где? Если он под носом у себя не видел?

Ничего Бэла не могла ей на это сказать. Не знала что... Ей стало ясно, что никаких слов против Натальи сейчас не будет, косточки, видите ли, у нее выточены. Деревенский, неведомый ей клан защищал себя, а она была для них чужая. И не Галина сейчас дала ей это понять. Еще раньше, когда они в первый раз пришли к Николаю Григорьевичу Зинченко. И тот ни разу на нее не посмотрел, что было даже глупо: в тарелку ей накладывал, в рюмку наливал, шубу подавал, а вот в глаза – не смотрел. Жена его, Таня, посмотрела, но это было еще хуже. Такая печаль была в ее взгляде, будто она, Бэла, в фобу лежала, а не в гости пришла. Странной показалась ей эта семья – Зинченко. Сын их, Володя, весь вечер просидел за столом молча, временами закрывая глаза, и Бэле казалось, что он внутренне считает: раз, два, три... пять... сорок семь... Будто отсчитывал он минуты бессмысленного времени за столом, с которым уходило что-то бесконечно для него важное...

В их спальне, поправляя колготки, она увидела фотографию: две молодые женщины склонили друг к другу головы в одинаковых островерхих меховых шапках, Татьяна и Наталья. И она навсегда поняла: ей нечего делать в доме, хозяйка которого держит эту фотографию у изголовья.

Нет, не приняли ее Валины земляки, но не знали, что сделали ей этим лучше: чем отчужденней и холодней они с нею были, тем нежнее становился Валентин, будто старался заполнить недостающее ей количество

любви и внимания.

Она же всегда была уверена – сторицей ему все вернет. И вернула. Она его любила за всех тех, которых он из-за нее потерял. Она сделала из него настоящего столичного мужчину, научила его носить вещи, читать стоящие книги. Она соскребала с него весь его «заячий нарос» и выпрастывала умного, обаятельного человека, который вполне мог обойтись без старых знакомых. А вот оказалось: не может он ей позвонить о своей беденеудаче (случилась беда, случилась, она чувствует), не может, потому что тот, которого она пестовала, должен был быть застрахован от любой беды, как прививкой от оспы.

Все на нее навалилось сразу, и она даже закачалась от взваленного груза, и кухонный стульчик заскрипел своими тоненькими растопыренными ножками. Бэла взяла себя в руки. Итак... Что было главным? Валя не позвонил. Наталье бы позвонил, ей – нет. Есть два типа женщин. Женщина для хорошей жизни и женщина для всякой, точнее, плохой. Кто-то ей это говорил...

Что такое она? На что она?

Смешно сказать, но она будто бы для хорошей. И не с ней делят последнее, не ее ждут в долгой ссылке. Она – другая. Перед тем, как ей позвонить, встряхиваются и надевают улыбку победителя. Чепуха! Она все это порушит, если кто так считает. Но прежде всего надо выяснить, где Валя, и сказать ему, пока он не успел рта раскрыть, что в гробу она видела эту границу. Не хочет она жизни, которая будет выдана ей на время. Она не любит прокат. Он ей противопоказан. Она ничего сроду там не брала. Это все надо будет быстро сказать Вале, чтоб он не думал, будто виноват перед ней, раз не принес престижное назначение на тарелочке с каемочкой. Бери, мол, дорогая, его тоненькими пальчиками и отщипывай медленно, медленно. Как виноградинки от пышной кисти на сочинском пляже...

Бэла позвонила в редакцию, и дерзкая Валина секретарша прокричала ей в ответ, что у Валентина Петровича летучка.

Вот и хорошо, подумала Бэла. У нее осталось время заняться билетами для дочери. Она позвонила знакомой актрисе, не ахти какой исполнительнице, но зато активной общественной деятельнице. На этой почве и состоялось у Бэлы знакомство с ней. Бэла писала о заводском театре, который ставил какую-то модную современную пьесу, а актриса приходила им помогать в этом. Все всё не умели делать. Самодеятельным актерам не интересно было играть «про себя», они были неестественны в попытках сказать привычные в их жизни слова. Такие, например: «Смежники нас подводят...» Актриса учила эти слова говорить естественно и с большим значением. Она становилась как-то боком и куда-то вверх, в потолок кричала: «Смежники...» Слово открывалось и повисало в воздухе, обнажая свою го-лость и бессмыслицу. И от этого выпростанного слова все действо становилось глупым, потому что не могло быть такой коварной и всемогущей силы в этих пресловутых смежниках, чтоб два часа взрослые люди из-за них страдали, ссорились и расходились друг с другом.

– Вы сошли с ума! – смеясь, ответил а актриса Бэле по телефону. – На этот спектакль надо попадать через начальника отдела культуры, не меньше, а то и через министра. Класс? Ну, этого вообще никто не позволит! Там много церковной музыки... Вы что!

Бэла не стала говорить актрисе, что от этого спектакля зависит прием в комсомол ее дочери. Она извинилась, поблагодарила за информацию и тут же решила звонить классной руководительнице Кати, чтоб объяснить ей, как нельзя связывать столь разные вещи. На пятой цифре она остановила диск.

Сразу после развода Бэла была отлучена от школы. Оговаривая все вначале, оговорили и это: в школу она

ходить не будет. Ее будут ставить обо всем в известность, но частности, подробности Катиной учебы – это дело *той* семьи. Не надо *двух* влияний. Это вредно для ребенка.

Как-то в метро Бэла встретила классную руководительницу Кати. Увидев Бэлу, та поджала губы так, что стало ясно: расцепить их можно было только насильственным путем. Она сверлила взглядом Бэлину шубку, шапку, сапоги, и во всех вещах, определенно, образовывались дырки, такова была сила этого сверления. Учительница испепелила ненавистью Бэлу за все: за то, что она хорошо одета, за то, что исхитрилась остаться без ребенка, за то, что на Бэлу пялятся мужчины всякого возраста. Учительница лишний раз убедилась в реальности атеизма. Ибо будь, существуй этот самый справедливый Бог, то все, что было у *этой* женщины, надлежало иметь ей, ибо она, учительница, лучше. Она всю жизнь работает, как карла, потому что у мужа потолок – сто сорок, а дети, как будто она денно и ночью им не объясняет безнравственность вешевладения, все требуют, требуют, требуют... Но она же не уходит от них! Она же несет свой крест. Учительница так сцепила губы и зубы, что у нее закровило во рту, но она глотала кровавую слюну с таким превосходством, что Бэла вышла на одну остановку раньше, рухнула на скамейку и сказала: «Ух!»

Так что кому звонить? Кому объяснять, что нельзя связывать прием Кати в комсомол с этим культпоходом?

Но девочка не сама же это придумала. Значит, надо попробовать ей помочь... Актриса сказала: отдел культуры. Что ж, придется звонить Николаю Григорьевичу Зинченко. Кому же еще? У него всюду свои люди, потому что все, у кого дети, мечтают дать им самое что ни на есть лучшее высшее образование. А тут как раз он стоит, Зинченко. С жезлом. Главный регулировщик.

Бэла даже хихикнула, так легко представился Николай в тяжелых, неподъемных с виду белых нарукавниках.

Она позвонит ему, он – кому-то там еще, и на другом совсем конце цепочки ее дочь примут в комсомол.

Бэла для начала решила позвонить Татьяне и через нее попросить Зинченко. Валя как-то сказал ей: «Если есть на свете мужик, для которого во всей природе годится только одна женщина, это Николай. Он всех баб ненавидит вообще, ни за что, а Татьяну не просто любит, он перед ней трепещет... Внутренне... Отними у него Татьяну, у него просто мужская функция отомрет... За ненадобностью».

Татьяны на работе не оказалось, и Бэла позвонила домой.

Трубку снял Зинченко.

Откуда Бэле было знать, что он только что оделся и уже вставлял ключ в замок, чтобы уходить, что внутренний карман его тяжелила бутылка водки, которой придавалось особое значение в осуществлении цели. Зинченко был до краев наполнен той самой силой, что вознесла когда-то безродного парня на крышу жизни, с которой он мог сейчас свалиться так, что костей не собрать, да понял вдруг, как зацепиться. Но прежде дела надо вернуть жену. Потому что Зинченко решил: вернет бодливую корову в стойло, скрутит ей рога – и сделать все остальное сумеет тоже, повернет вспять возникшую против него силу, повернет! Вот так все складненько сложилось в зинченковской голове, когда раздался Бэлин звонок...

Могла ли Бэла знать, что в стройной стратегии Зинченко она, Бэла могла быть только миной, только торпедой, только штырем под колесом. Она была... Ну, скажем, тебе плохо, ты при смерти, а потом враз полегчало, прошел кризис, и ты подымаешь еще слабую головенку с подушки *для жизни*, а на тебя падает сто лет непод-

вижно висевший портрет дедушки, не вернувшегося не с этой, а еще с гражданской войны.

– Николай Григорьевич! – чуть растерянно от неожиданности, что слышит Зинченко, пропела Бэла. – Собственно, вы мне и нужны, я только Танечку хотела взять себе в союзницы, обращаясь к вам с просьбой...

Бэла старалась как можно четче и короче изложить свою просьбу, избегая подробностей о комсомоле, о валютности спектакля, о некоторой замеченной ею идиотии классной руководительницы. Она говорила строго по существу и не знала, как багровеет Зинченко. Он не слышал смысла говоримых слов, он не понял существа просьбы, одна, пульсирующая водкой извилина напряглась и давала одну доступную пониманию мысль: они все спелись за его спиной. Эта не ожидала его услышать, у них наверняка сговор, и, видимо, давний.

Так, не на мальчика напали, не на мальчика.

– Я не сделаю этого для вас, дорогая Бэла, – хрипло сказал Зинченко, сам удивляясь, как, ненавидя, он может произнести слово «дорогая», и уважая себя за то, что в *такой* ситуации он держится, как говорит сын, «выше уровня моря».

– Так сложно? – переспросила Бэла.

– Да нет! – засмеялся Зинченко. – Я просто не хочу! – И он повесил трубку.

Бэла обмерла. Вернее, с ней произошло именно это, но она просто не знала, что ее состояние называется именно этим словом. То, что не звонил Валя, и то, что *так* говорил Зинченко, могло иметь одну природу, один корень. Что-то куда-то сдвинулось, стронулось, пошла какая-то другая дорога под ногами, и ей бы только понять какая... Бэла набрала прямой телефон Кравчука и услышала его голос: «У меня летучка». – «Я знаю, – проговорила она быстро. – Я хочу тебе сказать, что я тебя люблю... Не задерживайся, ладно?» Он молчал, а она не видела, как ошеломленно он сидит, прижав

трубку к уху, сидит так, что чуткий ко всяким изменениям Борис Шихман решил: не завертелись ли колеса истории назад? А ведь он уже привык к мысли, что все в его жизни остается по-прежнему, раз остается Кравчук. Но все-таки отчего так прибалдел редактор, от каких таких слов?

– Хорошо, – сказал Кравчук тихо, – я приду вовремя.

Бэла завертелась вихрем. Он придет вовремя – это самое главное. Главнее всего на свете. Значит, она его скоро обнимет, и ей будет все равно, что происходит в этом проклятом мире. Главное, чтоб они были вместе. Не имеет значения, где, под каким небом. Если он захочет, пусть это будет любая глухомань, и не будет теплого клозета, черт с ним. Главное, чтоб он был с ней и чтоб ока его ждала с работы.

Она приготовит ему сейчас самое любимое его блюдо, благо оно так доступно. Бэла достала из морозилки кусок жирной магазинной свинины. Она резала его грубо, крупно – так Валя любил – и складывала куски в жаровню. И квашеная капуста у нее была, рыночная, покупала как-то под водочку как закуску. То, что она стояла в холодильнике и скислилась, хорошо. Именно такую солянку любит Валя – из свинины пожирней и капусты покислей. Она отучала его от этой грубой еды, от которой у него была отрыжка, но сейчас готовила именно ее. Если бы ее спросили, почему она так поступает, она вряд ли объяснила бы. Она не знала, но она чувствовала, что при помощи хрустящей, пряной капусты она на секунду станет именно той женщиной, которая годится не только для хорошей жизни. Что она сумеет подняться до Натальи, которой он мог рассказать все и не бояться выглядеть слабым. И еще Бэла испытала облегчение оттого, что Наталья – алкоголичка, пропадающая душа, иначе именно в такие минуты мужчины возвращаются к старым женам. На этом месте Бэла затопталась. В сущности, она ведь так ничего и не знает.

Может, все в полном порядке, и они едут за границу, и она смехом зайдетса завтра, когда будет вспоминать этот охвативший ее психоз?

Но чувствовала – смеха не будет. Что-то там лопнуло. Как ей Зинченко сказал: «Я не сделаю этого для вас». Имей Валя назначение, сделал бы.

Правильно, что воняет у нее в доме прокисшей капустой. Это был запах неудачи. Черт возьми, голова лопнет от всего, и надо доставать любым способом билеты для дочери, которую должны принимать в комсомол. Почему это все так вместе? Что за странные связи родило наше время? Бэла открыла форточку в кухне, и к ней ворвался пронзительный голос реанимобиля. «Успей, родной!» – подумала она. Она всегда так просила, слыша сирену «Скорой».

ВАЛЕНТИН КРАВЧУК

Когда Валентин Петрович вернулся в свой кабинет, он прежде всего увидел порушенные им сувениры и Бориса Шихмана, который старательно заталкивал их в ящики, выдвигая на освободившиеся места пластиковые самолеты и танки, чугунные бюсты, треугольные вымпелы всех цветов.

– Убираю вот, – сказал Борис.

– Спасибо, – тихо ответил Кравчук, вспомнив, что в машине остался пакет, который он готовил для Савельича. – Была тут у меня сумасбродная идеи... Ну, я и похулиганил...

– Я так и понял... – Борис сел в кресло и посмотрел на Кравчука. – Судя по твоему лицу, ты в курсе.

– Если ты насчет того, что я никуда не еду... – невесело засмеялся Кравчук.

– Это как раз слава Богу, – ответил Шихман. – Я в этом лицо заинтересованное. Но я про другое... Твоего

Виктора Ивановича «уходят» на пенсию. Это стопроцентная информация... И именно сегодня совершается акция, назовем ее «Один момент».

– Не может быть! – закричал Кравчук.

– Может! Может! – махнул рукой Шихман. – Вверху легкая паника с дрожью. Накрыли Зинченко... По взыточному делу... Потянулась целая цепочка...

– Ты что? – Кравчука даже слегка зашатало.

– А теперь скажи мне, если способен, как на духу: у тебя были с ними дела?..

– Какие дела? Дружины мы, земляки... Вытащил он меня сюда, Виктор Иванович... С квартирой помог... С работой...

– Это не криминал, – сказал Шихман.

– Ничего другого. Ничего! – страстно сказал Кравчук. – Это что, мне придется доказывать?

– Не думаю, если ничего нет, – сказал Шихман и встал. – Собери лицо, – сказал он, – и давай проведем летучку. В общем... Я понял, что ты приедешь... И держал людей на стреме.

– Я сейчас видел автобусную аварию. Страшное дело...

– В жизни много страшного, Валя, – тихо сказал Шихман. – Более чем...

– Там был один мужик... Он так сноровисто вытаскивал людей...

Закинув голову, Шихман засмеялся. Смеялся он громко, весело, закрывая глаза ладонью.

– Что с тобой? – не понял Валентин.

– Пока Кравчук, – захлебываясь, сказал Шихман, – везде находит героев, с ним все будет о'кей. Пиши, Валя, пиши! А я зову людей...

– Стой! – закричал Кравчук. – Стой! Что плохого в героях, что?

– У тебя всегда один и самый лучший, один и самый худший. А в жизни, нормальной, которую мы с тобой,

уже старые идиоты, между прочим, проживаем, так не бывает. Хватит героев, Валя, хватит! Не надо падающих автобусов и самолетов, не надо амбразур, не надо горящих домов. Надо, чтоб жизнь была нормальной! Герой – это нонсенс.

– Не знаю, не уверен. Я сейчас ни в чем не уверен, – сказал Валентин. – Зови людей.

Кравчук остался один.

Почему он не удивился, узнав про Зинченко? Почему страшная информация не показалась ему неестественной? Оттого, что тот по-хамски послал его сегодня по телефону? Но это ерунда. Они вообще сосуществовали, потому что был Виктор Иванович. Он сажал их ошуюю и одесную и таким образом запрещал противоречия. Много раньше дважды в год, на дни рождения хозяина и хозяйки, они сидели за большим столом только семьями. Он с Натальей и Зинченко с Татьяной. Женщины болтали про свое, а они, мужики, расплавлялись под действием коньяка и воспоминаний. Как-то хорошо вспоминалась Раздольская. И какой там особенный воздух – сладкий, но и с горчинкой тоже, и как временами он сухой и паленый, когда веет от калмыков, а временами нежный и влажный, когда от моря. И какая там была рыба на базаре в те времена, когда они были мальчишками. Всегда в этом месте Виктор Иванович грустнел и говорил, что он по сравнению с ними – старик, и не годы это определяют, война. И начинал вспоминать войну. Кравчук честно признавался потом Наталье, именно в эти минуты ему всегда хотелось уйти. Потому что он все это слышал раз сто, а может, двести. Например, эту байку, как их полковой или какой там еще повар автоматически набирал в руку одинаковое количество фарша для котлет, проверяя хоть на каких электронных весах. Что однажды какая-то заблудившаяся или сошедшая с ума пуля тихонько пролетела сбоку и сбила с груди Виктора Ивановича осоавиахи-

мовский значок. Что как-то они захватили немецкую кухню и навалились на их гороховый суп и потом едва не проиграли сражение, так их всех пронесло. «Неподходящая для русского человека пища – этот немецкий суп».

«Это была чечевица, а не горох! – почему-то каждый раз (в пятисотый, семисотый, тысячный) взвизгивала Фаина Ивановна. – Чечевица! Я убеждена!»

Кравчук как-то посмотрел в момент такого разговора на Татьяну. Она выщергивала ей одной видимую нитку из рукава. В другой раз она выщергивала нитку из пояса, оглаживала толстые листья столетника или сцепляла две вилки вместе и, положив на стол, раскачивала их, как детскую качалку.

Чем дальше шло время, тем глупее казались воспоминания Виктора Ивановича, тем багровее становился Зинченко, тем выше был голос Фаины, призывающей петь, тем больше ниток надо было выдернуть Татьяне. Кравчук давно себе сказал: Виктор Иванович и устарел, и поглупел. Но мало ли что он себе говорил. Виктор Иванович был старшой в их команде. Поэтому ошую и одесную продолжали существовать. Тем более был между ними Петрушка, со всех сторон в доме Виктора Ивановича паялились на них его картинки. Не будь этой тайной родственной связи, не простил бы Виктор Иванович ему Бэлы.

Первый раз Валентин увидел, что Наталья пьет профессионально, тоже у Виктора Ивановича. Фаина праздновала свое пятидесятилетие. Сидела во главе стола в блестящем платье, с прической на одно ухо, вся такая «под пожилую молодую», народу было много, их землячество растворилось в общей куче, и Наталья оказалась не рядом, а как раз напротив. Возле нее сидел один именитый, сильно пьющий главный режиссер, которого явно раздражали длительность пауз между рюмками и витиеватость тостов. Он крутанулся с бу-

тылкой к соседу, но тот, картинно приложив ладонь к груди, сказал, что на машине. Тихим выразительным матом ругнулся режиссер, все-таки стесняясь пить в одиночку, и увидел, как с другой стороны очень незаметно между салатов и прочей снеди к нему целенаправленно двигается рюмочка. Валентин остолбенел тогда от этого враз возникшего между ними взаимопонимания, от этих согласованно одновременных быстрых заглываний, от их какой-то прямо родственной нежности друг к другу, от того, что у них обеих тарелки с едой оказались нетронуты, а уже через полчаса режиссер, привстав, перенес к себе поближе следующую бутылку коньяка, а Наталья, как в хорошо изученном танце, сделала это свое легкое, почти воздушное движение – одним пальчиком подвинула рюмку. В паузе перед горячим он ей сказал: «Ты много пьешь...» – «Да ты что, зайчик?» – ответила она, глядя на него нежно. И ушла к Татьяне чуть заплетающимися ногами. Он шел за ней, потому что страх, какой-то смертный страх охватил его. Как будто она шла не через комнату, а по мосту, под которым уже лежит мина, и сейчас отсчитываются последние секунды.

– Сядешь со мной, – грубо сказал он Наталье. Татьяна посмотрела на него весело, видимо, решила, что бедный Кравчук приревновал жену к этому облезлому, угреватому режиссеру.

– Сяду, сяду, – засмеялась Наталья. И он успокоился, и еще долго он вот так же успокаивался от искренних обещаний, от искренней лжи, от искренней хитрости.

Когда уже все было испробовано, он возненавидел Наталью люто, как врага, как горе, и даже Зинченко – Зин-ченко! – с которым у него никогда никакого человеческого взаимопонимания не было, а было только это – ошуюю и одесную, – сказал, что пьющая баба – дело, конечно, последнее.

Именно тогда он картинно поседел. Было в этом

что-то издевательское – красивая седина на горе. Но было именно так.

– Какой вы стали интересный! – говорила редакционная машинистка и поводила толстыми плечами так, чтоб сомнений в ее словах не оставалось. – Просто тронь – упаду!

Кравчук бежал из машбюро с ощущением какого-то необъяснимого ужаса. Он не входил в лифт с женщинами, его раздражало, возмущало в них все – слова, жесты, косметику просто видеть не мог: черную тушь продолженных до висков век, крашенные подглазья, какие-то нечеловечески вычерченные рты. Случайно, из-за ангины попал к врачу, а та, выписывая лекарство, тут же переправила его к невропатологу. От крохотных синих таблеток наступил апатия. Было все все равно. Даже сын. Спал по двенадцать часов. Гуляла всю освобожденная от опеки Наталья. Он почти не слышал.

Однажды проснулся рано, спокойный, отдохнувший. В кухне тихо-тихо пил чай сын. Вышел к нему. Увидел серьезного, сосредоточенного мальчика в грязном свитере. Проводил его в школу и тут же, утром, рванул в ГУМ, купил ему новые рубашки, новый свитер, спортивную куртку. Когда вернулся, Наталья с больной с похмелья головой бестолково ходила по квартире. Прошли друг мимо друга, как чужие.

Но понял – из ямы выскочил. А вскоре пришла в редакцию Бэла. Чистая, холеная, из другого мира, из другого теста. Смотрел на нее и думал – есть же такие! С такими, наверное, все иначе... Вся судьба... И застучало в висках: судьба, судьба... Ее же полагается делать? Разве не об этом он исписал километры страниц? И тогда Татьяна прибежала к нему с кулаками. Не фигурально, нет, самым настоящим образом. Прослышала про Бэлу и прибежала.

– Я убью тебя, слышишь, убью! – И шла на него так рьяно, что он не то что испугался, а забеспокоился, точ-

но. – Я бы тоже запила, говорю тебе чистую правду, но меня рвет от первой рюмки. Это беда моя, а не счастье. Я бы пила с ней, с Наташкой, потому что я ее понимаю... Мы все живем плохо, Валя, плохо! И чем мы живем вроде бы лучше, тем мы живем на самом деле хуже. Неужели ты этого не чувствуешь? Нет? Или врешь? Чувствуешь, а врешь? Нас всех, понимаешь, всех как черной пеленой накрыло, и мы ничего не видим, мы слепые, мы глухие... Валя! Мы плохие! Ты не думал никогда, что мы плохие? Ты помнишь моего отца? Вот пока он жил, я знала – я хорошая... Ах ты Господи! Я не о том... Наташка твоя – звездочка. В пелене она, Валя, в пелене... Ну, как же ты ее бросишь? Зачем же ты тогда на свет народился, если ты можешь человека бросить, чтоб он загнил? Валя! Я тебе отцом своим клянусь, не может быть счастья на несчастье... Думай об этом, думай! Валя! Хочешь, я на колени перед тобой встану... Только не бросай ее, не бросай!

И встала. Пришлось ее подымать, потому что от обилия произнесенных слов она сама же и рухнула и разревелась, и ушла от него, размазывая по лицу слезы.

Бэла ничего этого не знает. Она уже была, а он все-таки сделал еще одну попытку спасти Наталью. Повез ее в Дмитров, к специалисту. Наталья сидела тихо, забившись в угол машины, пряча руки в рукава цигейковой шубки.

Когда шли по двору больницы, она сказала ему:

– Ну, зачем ты меня ведешь? Зачем тебе сразу две женщины?

Он толкнул ее в кабинет. – Она не хочет лечиться, – сказал ему потом врач. Бэла не пригласила их землячества. Она была «всесторонне чужая». Это была вслух выраженная куриная мысль Фаины. Бэла не пела в застольях их песен. Когда Фаина визгливо запевала «Тополя, тополя, беспокойной весной вы шумите листвою...», Валентин чувствовал, как Бэла сначала вздраги-

вала, а потом напрягалась.

– Это же твоя специальность, – смеясь, говорил ей Валентин, – художественная самодеятельность. Ты должна слушать и восторгаться...

– Хорошо, – говорила она. – Я постараюсь привыкнуть. Но это ужасающе, Валечка... Они так кричат...

Когда в середине застолья согласно вековой традиции Фаина Ивановна вынесла из спальни аккордеон, две женщины как взлетели из-за стола, Бэла и невестка Виктора Ивановича. Валентин видел: зашли в самую дальнюю комнату и закрыли за собой дверь. И еще Валентин заметил: невестка забрала с собой дочку, которая смотрела телевизор в холле. Кравчук тогда внимательно стал смотреть на оруще поющих. Пуще всех, конечно, старались хозяева дома, очень им стремились соответствовать все подчиненные Виктора Ивановича. Зинченко не пел, он никогда не пел. Он сидел, будто обтянутый непробиваемой пленкой, и только глаза поблескивали в прорезях пленки насмешливо и недобро.

...Кравчук набрал номер Виктора Ивановича – ответа не было.

Зинченко звонить ему не хотелось, более того, после информации Шихмана возникла мысль, что надо бы с ним разрубить все связывающие корни. Взятничество – дело последнее. Слава Богу, у него с ним общих дел – ноль. И вдруг он понял, что у Виктора Ивановича дела могли быть. Вот откуда эта торопливость с его отстранением, вот почему и его сегодня «закрыли». Кравчук просто кожей ощутил этот щуп, который миллиметр за миллиметром обшаривает его жизнь, и он перед ним голый, голый... Нет за мной греха, хотелось ему крикнуть оглядывающим его невидимкам.

А в кабинет уже заходили люди, Шихман внимательно смотрел на Кравчука.

– Все о'кей, Борис! – бросил тот небрежно, будто о каком-то их общем деле. Шихман понимающе кивнул. И

тут раздался звонок. Прямого телефона. Кравчук схватил трубку. «Я тебя люблю», – сказала Бэла.

Летучка шла своим ходом. Кравчук ничего не слышал. Хоть и сказал о'кей, но все в нем было разлажено, все сдвинуто с места. Надо было себя собрать, но он не знал, с чего начать. Он вспомнил усталые глаза врача, которой предложил на шоссе свою кровь. Напиши лучше правду, ответила она. Короче, предложила ему заниматься своим делом. Что есть его дело? Герои? Правда?

В чем, в чем, а в своей профессиональной силе он не сомневался никогда. И никогда не стоял перед вопросом, писать или не писать. Дело в том, что любой факт можно повернуть так, как тебе угодно, создать свою позицию правды. Как там говаривал Чехов? Хотите рассказ о чернильнице? Это про него! Он тоже на своем журналистском уровне – никогда в писатели не рвался – может рассказать о любой вещи, любом событии, и это будет то, что надо. Напишите правду. А что такое правда? Вы видели хоть одного человека на земле, который считал бы себя неправым, считал бы, что не так живет, не за то получает деньги? Самый последний подонок считает себя правым на этой земле.

И если собрать всех, виновных хотя бы в этой аварии на дороге, они закричат каждый свою правду в десять, двадцать горл, и это будет правда о резине, об асфальте, о графике, о зарплате, о нехватке кадров, и такая раздробленная правда окажется уже и не правдой вовсе... Потому что правда – одна. А половина правды – уже ложь... И не складывается правда из маленьких правд, как и не делится она на части. Не числитель она и не знаменатель... Не дробь, одним словом... Думал ли он когда об этом? А не думал! Была конкретная жизнь со своими правилами, со своими условиями игры. Он с наслаждением принимал новые условия, новые правила, даже если сегодняшние напрочь перечеркивали

вчерашие... Разве он один такой? Разве это не закон его профессии, в которой он мастак? Так чего его развезло? Аварий не видел? Или надо было самому звездануться, чтоб понить: что-то с тобой не то?.. Не взяточник, не вор, не насильник, а дерьмо все-таки порядочное... Ишь, как рвал сувениры, как чужой соломкой хотел выстелить себе дорожку. Куда? Так, может, правильно развернуло тебя вспять? И не просто так плакал сегодня мужичок в красном? Может, он о тебе плакал, о душе твоей поганой? Ну уж нет, возмутился Кравчук. Это уж слишком.

Спокойно! Спокойно! Спокойно!

Надо подбить бабки.... Он никуда не едет. Плохо, но не смертельно... Поедет туристом...

...Лопнуло их славное землячество, в честь которого он еще утром пел дифирамбы. Не смертельно, товарищи! Бэле неприятны были их общие застолья, а Зинченко он всегда не любил. Мурло эмтээсовское. Надо что-то подарить Виктору Ивановичу под занавес. Он знает что... Есть у Петрушки одна картина. «Автопортрет» называется. Петрушка пялится в зеркало. Два человека, разделенные гладкой холодной поверхностью. Два одинаковых и два таких разных мальчишки, что он его спросил: «Ты действительно такой?» – «Я еще и третий!» – засмеялся Петрушка.

...Что еще? Он дал утром деньги Наталье. Дурак! Но это тот самый случай, когда уже ничего нельзя сделать. Значит, и нечего думать. Но застонало, заныло... Фантомные боли, повторял он... Фантомные... Болит то, чего нет...

...Надо восстановить сувениры. Редакционные сувениры, которые разобрал. Все до одного! Он заберет их домой, а Бэла все вошьет и вклеит. Истерику после себя оставлять нельзя. И спасибо несчастному автобусу, что не доехал он до Крюкова и не пришлось ему унижаться до прошения. Не его это дела, не его!

И еще остаются вопросы... Например, как он нашел Василия? Шел, шел и нашел... Случайно – не случайно...

Но интересно ведь ответить на него!

...Господи, куда его несет? Ничего не случилось. Сегодня четверг, завтра пятница. Он сидит на работе, в которой понимает толк, и ему с портрета улыбается женщина, которая только что сказала: «Я тебя люблю».

Момент сложившегося пасьянса... Так, что ли, он говорил еще утром? Дурак ты, Кравчук, дурак...

Ничего у тебя не сложилось... Ничего.

ТАТЬЯНА ГОРЕЦКАЯ

Они попали в пробку. Ни шофер, ни Татьяна не знали, что причиной ее был а а вария впереди них. Костя вышел из машины размяться, разведать, а Татьяна вжалась в самый угол и не то дремала, не то думала, не то грезила. Было ощущение полного, завершенного одиночества в этом машинном пофыркивающем стаде, была благодарность к Косте, который вышел и треплетсЯ с кем-то, присев на металлическое ограждение, а не пристаёт с болтовней, было неизвестно откуда пришедшее к ней и умиротворившее ее ощущение конца. Какого конца? Чьего? Но не хотелось додумывать, докапываться... Конец так конец... Главное, что не страшно, а хорошо... Как в детстве. Будто мать вымыла ее в цинковом корыте, облила теплой водой из глечика и перенесла, скрипяще чистую, на руках в кровать, накрыв толстым, стеганным из разноцветных кусков одеялом. Так было хорошо, уютно, счастливо под тем одеялом. От печки шел жар, пахло сушеной травой, которая висела у матери под потолком, сразу и от мух, и от моли, и от клопов, в общем, от всего. Маленькое окно все было в толстом снежном узоре. Отец сидел спиной к ним, моющимсЯ, и читал учебник географии для специаль-

ных факультетов.

Татьяна помнит, как крепко сжала мать ей руку выше локтя – синяк даже остался, – когда после долгого перерыва остановилась на их улице черная машина.

«Иди за него, иди! – шептала мать. – Хорошо будешь жить. Городская станешь».

Господи, а ведь ее в школе учили классической литературе! Почему же все мимо?.. Как будто она не проходила этого: нельзя без любви. Нет, она думала иначе: то, что у нее, совсем другое. Оказалось, то самое, то самое... Без любви. Дети без любви родились. И теперь она уже никогда не узнает, какие должны быть дети, которые от любви. Не может же не быть между этим связи! Вспомнился родильный дом. Как она проснулась рано утром, легкая до невесомости, и не могла понять, где она, пока не сообразила, что вечером родила дочку. И оттого, что она на секунду забыла про Лору (она сразу знала, что будет Лора, Лариса, имя для дочери придумала еще в детстве), почувствовала себя такой виноватой, что заплакала. И всю жизнь она эту вину в себе неслла, казнилась: проснулась, мол, корова, радуюсь, что легкая, а что дочка, девочка, в голове нету. Только Наталье про это рассказала. Та ей ответила:

– Счастливая... Я едва не сдохла, пока Мишку рожала. Все у меня было не так... Трое суток не то что спать, жить не могла... И даже уже не хотела...

Татьяна же в этой своей запаятности видела причину того, что Лора вроде бы как чужая ей временами, и потому у Лоры все плохо, внутри она вся какая-то пустая. Вымытая банка, донышком вверх. Когда-то в школе изучали Гоголя. И было там про девчонку, которая не знала, где право, где лево. Так вот Лоре, ее дочери, *все равно*, где право, где лево. Ей все все равно, была бы в крапе вода и была бы свободная ванная. О чем она думает, запершись в ванной? Татьяна сколько раз прижималась ухом к двери, чтоб убедиться, что за хлопну-

той дверью дочь ее жива.

«Доча! – тихо звала. – Доча!» – «Ну, что такое?! – орала Лора. – Ну, что тебе надо?»

Как ей скажешь, что ничего ей, матери, не надо, что надо знать, что она дышит, только дышит...

Совсем другой сын Володя, совсем... Он сам приходит слушать, как она, мать, дышит. Замечала: приляжет отдохнуть и чувствует – кто-то смотрит. Это Володя в дверях ждет, как колыхнется у нее на груди кофточка. Бывало, нарочно замирала, чтоб продлить это счастье – сын смотрит. Но всегда боялась его испугать и до его тихого зова «мама!» открывала глаза и ворчала: «Ну чего пялишься, дурачок?» – «Так», – отвечал он и уходил.

Он считал – она не знает, не понимает, чего он приходил. И она молчала. Все это такое неговоримое, что какие слова сыщешь? Он ей в семье роднее всех, как он ей говорил про предательство, когда был пионером? «Знаешь, мама, я очень плохой человек... И любую бы тайну я выдал, если б при мне тебя мучили... Я плохой, мама...» И очень плакал, а она его утешала: «Муку трудно снести, сынок. Может, все дело в том, что всякое предательство вызовет большую муку? И люди это понимают?» Николай же кричал – всегда на сына кричал:

«В армию его, хлюпика, в армию! Чтоб пропотел, провонял насквозь, чтоб землю ел и рад был этому... Кого ты нарожала, баба, кого? Что с ними делать в жизни, что? Сомнения у него, засранца... Нет на свете сомнений, нет! Есть жизнь, и в ней надо метелиться сначала, чтоб выжить, а потом – чтобы жить... И любое сомнение я руками задушу, если оно мне поперек станет».

«Что ты, Коля, все душишь, душишь? – сказала она ему. – Не война же...»

«Всегда война, – зло ответил он. – Всегда. Это ты у меня блаженная, и дети у тебя блаженные... Так это потому, что я за вас, подлецов, воюю... Нет, что ль?»

«Нам ничего не надо», – тихо сказала она ему.

«Не надо? Не надо? Ну, не бреши, мать, не бреши! Надо! Все вам надо, и еда сладкая, и одежда теплая, только ее просто так не взять... Она еще не для всех... Ты хоть раз стояла в очереди со сдвинутой на заднице юбкой? Ты хоть раз брала магазинные котлеты? А тряпки наши, которые давно дешевле сжечь? То-тв... Ничего им не надо! Все надо и все имеете. Моей войной, моей, сволочи! И прошу это запомнить раз и навсегда... Я не для того из дерьма выбирался, чтоб меня сосунки и бабы жить учили. Все!»

Такого Татьяна его боялась. И жалела тоже, потому что чувствовала в нем не то что правду, а какую-то его искренность, что ли... Действительно, всего добился сам... Она его запомнила по школе: он выходил, всегда раздетый, из двери, ведущей в подвал, в котельную. Бежал вдоль стены школы, прижимаясь к ней, как к спасению, в дождь, в мороз... В ботинках без носков. Лохматый мальчишка, которого однажды враз обрили наголо, кажется, даже сам директор, и тогда он стал ходить в кепке, натянув ее на уши и повернув козырек назад. Хорошо она это запомнила, как появлялся он в дверях подвала и как застывал на пороге, о чем-то думая.

Потом втягивал голову в плечи и бежал вдоль стены. Она тогда была в третьем классе, а он в седьмом.

Сейчас уже сын старше его *того*. Карусельный круг сделал более чем полный оборот. Вот откуда ощущение конца.

– Слезайте, барышня, приехали!

Это говорил, оказывается, Костя.

– Там автобус навернулся... Это теперь надолго... И никуда, черт, не вырулишь... Мы в самой середине...

– Господи, авария!

Автоматически, не отдавая себе отчета, прикинула: ни дочери, ни сыну, ни зятю, ни мужу – никому в эту сторону, слава Богу, не ехать. Наталья! Это ее дорога! В

ее Бес-кудники. Стало так страшно, что даже голова закружилась.

– Я пешком! – крикнула Косте, пробираясь сквозь плотные ряды машин.

– Далеко же! – кричал ей Костя.

Но она уже была на тротуаре, она бежала и думала, что Наталья могла быть в этом автобусе. Могла!

Место аварии оцеплено. Ей показалось, что она увидела Кравчука.

– Валя! Валя! – закричала она в сплюсненную толпу.

Повернулись какие-то женщины, а мужчина, показавшийся Кравчуком, из поля зрения исчез! Да и не мог он быть здесь, не мог. Но Татьяне вдруг очень захотелось, чтоб этот показавшийся Кравчуком мужчина и был им. И пусть бы была там Наталья. И чтоб он ее спас. На руках вынес. Говорят, алкоголикам иногда помогает сильное потрясение. У Натальи доброе сердце. И страдать она умеет. Да увидь она такую вокруг себя беду и людское горе, она бы вмиг отрезвела. Ох, если бы она была там и если бы ее спас Валентин...

– »Я сошла с ума, – подумала Татьяна, – вполне! Как будто что-то можно через столько лет изменить»...

Но остановиться не могла. Все представляла, представляла, как выносит на руках Кравчук Наталью, как смеется она у него на плече и говорит ей, Татьяна:

«Все хорошо, Танька! Все хорошо! Еще попоем!..» – Дверь у Натальи, как всегда, была открыта. Сама она сидела в старом кресле, которое когда-то в настроении лихости притащила с мусорной свалки... Рядом стояла едва початая бутылка. Видимо, Наталья выпила только рюмку и была сейчас в состоянии успокоения. Она не удивилась Татьяне, не обрадовалась ей, молча кивнула на стул. Татьяна после бега, после всех пережитых видений была как-то болезненно опустошена. Увидела живую подругу и вся как сникла. А ведь пока порог не переступила, пока не увидела провалившуюся в дыря-

вое сиденье Наташку, думала – разорвется сердце. Села на стул, и состояние – хоть сама умри.

– Авария на дороге, – сказала вяло.

Пожала плечами Наталья – делов!

– Пешком пришлось. – Надо же что-то говорить, раз пришла, а не звали.

Даже не пошевелилась подруга для выражения хотя бы сочувствия. Глаза ясные, спокойные, умные Натальины глаза. И не тянется к бутылке, не угощает, не прищипывает от радостного нетерпения, что не самой! «Хуже нет самой! Мне хоть завалашенький, но компаньон требуется. Чтоб в глаза-а-а ему смотре-е-еть!!!»

Сейчас же сидит, молчит...

«Голову бы ей вымыть, – подумала Татьяна. – Сейчас отдышусь и вымою... Шампуня у нее, конечно, нет, но кусок мыла, наверное, найдется... Раньше вообще шампуней не знали... А в войну вообще мыло сами варили... Доставали где-то каустическую соду...»

– Я чего-то вспомнила, – сказала Татьяна, – как в войну мыло варили... Вонючее было, противное... А мылись, и ничего... И голову, и тело, и лицо даже...

Молчала Наталья.

«К чему это я ей сказала про соду? – расстроилась Татьяна. – Зачем я войну вспоминаю? У нее отец погиб... Я ведь к ней пришла рассказать про себя... Про то, что у нас с Николаем».

– Я сегодня... – сказала она. И вдруг увидела, что Наталья плачет. Беззвучно, сдержанно, прикрыв лицо ладонью. – Наташа! – закричала она. – Наташа!

– Уезжает, – тихо сказала Наталья. – Седой весь как лунь, мой Валька... И морщин много... Господи! Господи! – застонала. – Это вы его туда запятели? Умники! Чтоб уж совсем? Чтоб уж навсегда? От меня?!

– Да что ты, Наташка! – прошептала Татьяна. – Что ты!

– Любит он меня, слышишь, любит! Обнял он меня

сегодня, не хотел, а обнял! Руки его не брешут! Руки – они честные! – Так что это такое, Танька, если руки делают одно, голова говорит другое, а ноги бегут незнамо куда? Кто это нас на три части разрезал, кто?

Она плакала, плакала, а перепуганная Татьяна, уже совсем не зная, что делать, подумала: лучше бы она выпила. Но тут же на себя накричала и от греха подальше отодвинула бутылку, а потом и вовсе её вынесла на кухню, где увидела на столе брошенные скомканные деньги, сложила их в кошелек, забеспокоилась: откуда такие новенькие? Снова на себя накричала, вернулась, обняла.

– Ну, не плачь, пожалуйста, – ласково говорила Татьяна. – Давай я лучше голову тебе вымою. Я люблю головы мыть... До сих пор Володьке мою... У меня рука легкая. Ты успокоишься...

Странно, но Наталья сразу и покорно встала и пошла в ванную. Стояла, наклонив голову над раковиной, освободив от волос тонкую, как у ребенка, шею.

Розовым обмылком мылила ей волосы Татьяна, радуясь, что в шуме воды Наталья не слышит, как плачет она сейчас о ней, о себе, о всех них по отдельности и вместе и еще о тех, кто попал в аварию... Да разве перечислишь все, о чем можно плакать, моя голову?

Бежала в сток мыльная вода, где-то сливалась с другими водами, размывая, разбавляя, изничтожая пролитые человеческие слезы, очищалась, обновлялась и где-то далеко, далеко становилась совсем чистой. Странно... Как слеза...

НИКОЛАЙ ЗИНЧЕНКО

Зинченко знал, кто ему нужен. Шофер Костя, с которым Татьяна ездит по своим скрепочно-бумажным делам. Если есть на свете люди, которые знают все и про

все, то это шоферы. Конечно, в их информированности всегда много чепухи, но главную тенденцию времени – кто куда рулит – они улавливают четко. А уж про то, кто с кем, когда и где, знают точнее Господа Бога. И Костя не мог не знать, был ли кто-нибудь у Татьяны и где этот «кто» проживает. Для него и заготовил Зинченко бутылку. Готов был выложить и любые деньги, если шофер сочтет, что информация стоит денег.

Поймать такси оказалось для Зинченко сложно. Он не имел сноровки. Сколько лет ездит на прикрепленной машине, даже услугами зятя пренебрегает, если тот предлагает подкинуть куда-нибудь на своем «жигуленке».

Зинченко давно мог купить себе машину. Не хотел. По двум причинам. Он никогда не любил возню с моторами, со всем этим машинным нутром. Он терпеть не мог все механическое, электрическое, потому что не понимал и даже слегка боялся его. Погасший свет вызывал в нем злобу и легкий ужас оттого, что его могут попросить подойти к пробкам и починить их. Он неловко себя чувствовал рядом с умельцами, которые умеют и дрель держать в руках, и прокладки в водопроводе сменишь, а потому и презирал их за «ловкость рук». Это была первая и, пожалуй, главная причина, почему у Зинченко не было своей машины. Была и другая... Зинченко нравилось, что его возили. Сколько бы лет ни садился он в поданную к порогу машину, он всегда испытывал легкое внутреннее восторженное дрожание. Он видел подобное же дрожание у владельцев собственных машин, понимая этот блаженный трепет *владения*, но свое состояние на их состояние не променял бы ни за что. Ибо считал: испокон веку такое тебе служение выше личного владения. Мысль не пришла сама по себе, такова была шкала ценностей мира, в котором он жил. В этой шкале было много чего, но прикрепленная машина стояла, пожалуй, на месте первом.

Сегодня, приехав домой не вовремя, он отпустил свою машину. И теперь бестолково и неумело пытался поймать такси. Возле него почему-то проезжали, не останавливаясь, и было унижительно топтаться посреди улицы. Казалось, все уставились и смеются, глядя на то, как все машины мимо, мимо...

Притормозила черная «Волга». Сразу было видно, чья-то служебная, и, судя по буквам и номеру, ведомства высокого. Зинченко с робостью сел в чужую машину. Внутри пахло хорошим хозяином. В зеркальце он поймал иронический шоферский прищур и почувствовал себя голым и понятым до конца: и куда едет, и зачем, и что думает. Пришлось даже сделать усилие, чтоб назвать адрес редакции Татьяны.

Машина легко, как-то даже нежно, тронулась с места, что не успокоило Зинченко, а, наоборот, повергло в панику.

...Сегодня утром к нему приходил сморчок в пиджаке, обсыпанном перхотью. Тихим, каким-то мышиным голосом он сказал ему, что должен разобраться с ним по поводу письма в Комитет народного контроля (копия в ОБХСС), в котором он, Зинченко, обвиняется в получении взятки в размере тысячи рублей от Брянцева Олега Константиновича, пенсионера, 1912 года рождения.

– Можете ознакомиться, – сказал мышиный человек, вынимая из папки письмо, отпечатанное на машинке с выскакивающим из строчки «д». Зинченко тогда на письмо не посмотрел, он хотел, пытался одним взглядом охватить содержимое всей папки в целом. Мелькнула «собачка» одного из провинциальных институтов, сверкнул золотистый бланк знакомого музея – все приметы его епархии.

– Чушь какая, – сказал он мышинному, – даже читать не хочу.

– Все-таки прочтите, – вежливо попросил тот. Обвинение ему, Зинченко, было толстым, страницы, как в

насмешку, были сшиты белыми нитками, видимо, не было под рукой у Брянцева скрепок. Кстати, денег у него не было тоже. Он тогда сказал: ну хорошо, мы продадим библиотеку.

Началось все три года тому назад. Зинченко в своей приемной увидел старика и по тому, как застучало у него в висках, понял: он знает этого старика и почему-то не любит. Но вспоминать было некогда. Только когда тот, припадая на ногу, вошел (потом Зинченко узнал, что у Брянцева был инсульт), он вспомнил: это был директор той самой школы, где он жил в котельной, отец той девчонки, с которой ему не полагалось дышать одним воздухом.

Как все остро вспомнилось! Как заходило в нем сердце! Пришлось засунуть руку под пиджак и слегка прижать его, распаленно стучащее. Оказывается, он ничего не забыл! Стоял в ноздрях запах сырого подвала, звучал в ушах пронзительный голос про «мальчика из этой порочной котельной».

Как же посмел прийти к нему этот старик, как посмел что-то ему говорить! Зинченко вслушивался с трудом. Старик, оказывается, радовался, что из «его школы» вышли «такие люди», что он горд, счастлив и все такое прочее... Что сам он живет с семьей в деревне, потому что у жены – «Вы помните мою жену?» – всегда были слабые легкие и они всю жизнь держат коз и козье молоко – «Оно гуще – очень помогает...» Сам старик все время был на «ниве просвещения», пока не случился удар. «Я говорю удар, а не инсульт, потому что это точнее, не правда ли?»

– Что вас ко мне привело? – прервал элегический поток Зинченко. Сердце вошло в ритм, в висках больше не стучало, но страстно, просто до безумия, захотелось выдать этому паралитику за то свое детство. Зинченко еще не знал как, но знал, что сделает это непременно.

Старик просил о внучке. Дочери той самой, что пры-

гала со скакалкой. Девочка переболела полиомиелитом, плохо ходит, поступала в институт культуры, «страстно мечтает, работая библиотекарем, приносить пользу своему народу», но недобрала баллов. Всего два, «исключительно из-за волнения, потому что знания глубокие и разносторонние».

– Ну, что ж вы после драки кулаками? – сказал Зинченко. – Уже списки вывешены... Я ничего не могу...

– В порядке исключения? – робко не то просил, не то подсказывал выход Брянцев.

– Не могу, – твердо повторил Зинченко. – При всем моем...

И встал, и выпроводил старика, а потом закрыл дверь и радостно засмеялся, потому что даже не подозревал, каким сладким бывает это чувство отмщения. Жизнь развивалась справедливо и правильно. Помочь этой калечной девочке значило внести коррективы в то, что безукоризненно сконструировала судьба. У той, что прыгала, родилась увечная, а у него дети будь здоров. Правда, при этом как-то противно снова заныло слева, напоминая Зинченко про его полное непонимание собственных детей. Но это был уже другой вопрос.

Через год старик Брянцев сидел в приемной снова. Вот тогда он решил «выпарить» его до полного уничтожения. Но тот оказался живуч и упорен в любви к своей внучке. На третий год он сказал, что готов заплатить любые деньги.

– Ну и какие же? – смеясь, спросил его Зинченко.

– Любые! – вскинул голову старик. – Я продам библиотеку.

В самой ситуации уже была некая дьявольщина: библиотека продавалась за библиотечное образование. Круг повернулся. И теперь выросший мальчишка решает вопрос равенства. Кому учиться, кому продавать библиотеки, кому воду носить. Старик принес ему деньги в клетчатом носовом платке. В какую-то минуту

Зинченко стало стыдно, что-то в нем даже хрустнуло, и все предстало в немыслимой яркости и даже звоне: синеголубой платок на полированном крае стола и трясущиеся пальцы Брянцева, которые будто вызванивали какую-то мелодию. От всего этого Зинченко ослабел и дал команду в институт устроить внучку-калечку, хотя не было у него этого в плане. Старик Брянцев не дослушал до конца разговор по телефону. Поняв, что все в порядке, он ушел не прощаясь. Деньги Зинченко положил в сейф, платок – в нижний ящик стола.

Странное чувство вызывали в Зинченко эти деньги. Он умел и знал, как их брать и за что.

Скажи ему кто, что он берет взятки, Зинченко вполне мог бы съездить и по физиономии. Была у него целая философия, переводящая, так сказать, чужие деньги в свои по праву. Зинченко считал, что ему должны. Должны *все*. За безотцовщину. За голод в детстве. За унижение бедности. За мытарства молодости. Была и четкая логика ответа: должны те, у кого его, зинченковских проблем сроду не было. Вот и отдай, сукин сын, мне несъеденный белый кусок хлеба, несношенные сапоги! Отдай, отдай, отдай!

Существовала служба, за которую он получал зарплату, имел машину и прочие блага. Была и другая. *Своя* работа. В которой он был мастер. С виду человеку непосвященному могло показаться, что Зинченко делает одно и то же. Но это было не так. До каких-то, к примеру, людей Зинченко не было дела вообще, хоть он и жал им руки. И были *его* меченые люди, к которым и был настоящий интерес. Именно они ткали ему ковры, именно они делали ему высокие тонкогорлые кувшины. Некоторые дела требовали денежного эквивалента, и тогда Зинченко расписывался в каких-то бумажках, иногда же и не расписывался – не формалисты же мы..

Сложные дела приходилось решать с Виктором Ивановичем.

«Ты уверен?» – спрашивал тот, уже занося ручку для вельможного крючка.

Зинченко только пожимал плечами, не пришел бы, мол, иначе. Когда же дело касалось земляков, то Виктор Иванович не только не спрашивал, а качал обиженно головой: «Что ж ты его так долго не выдвигал, держал черт-те где?» Однажды одна газета написала большой судебный очерк о групповом бандитизме в их городе. Боже, как патриотически всполошился Виктор Иванович! Весь день висел на телефоне, доказывая, что писать о насилии – это принцип западной журналистики. У нас орать об этом – совести не иметь ни автору, ни газете. Зинченко был без сентиментальных комплексов. У него был другой подход. Жаль, что ребята с обрезами – рабочие. Вот это никуда не годится. Хорошо бы ловить таких, у которых родители играют на скрипках. Это было бы куда более точное попадание. Виктор Иванович, на взгляд Зинченко, был не то что стар, он устаревал своей слабостью. На природе мог заплакать и причитать, как баба, возле березки.

Зинченко знал цену каждому совершенному им лично делу. И если Виктор Иванович помогал ему, он точно знал стоимость этой помощи. И не было случая, чтоб он до копейки не отдал Виктору Ивановичу ему причитающееся. Все в мире стоит денег, а риск больше всего. Последнее время, правда, потерял бдительность. Какой, думал, к черту, риск? Все давно за все платят. И правильно! Образование стоит денег. И хорошая кафедра стоит. И поездка за границу. И параллель южная стоимостью повыше северной. Умный человек всегда знает таксу.

Деньги же старика Брянцева были вульгарной взяткой. Просто замусоленные купюры. Зинченко, хоть и положил их в сейф, а клетчатый платок в ящик стола, на отрывном листочке календаря сразу написал: «В-а. Б-в. О.К. 13.9». Внутренне он допускал, что старик переписал

знаки и пошел в милицию и сейчас к нему явится какой-нибудь толстомордый, а он ему засмеется в лицо и выложит деньги кучкой, отрывной листок и скажет: «Вот они, родимые. На стол мне бросил. А я думаю: что с ними делать? Идти к вам? Так он, какой-никакой, был мой учитель, а девочке я помог... Верно... Три раза она пыталась, да, видимо, люди у нас черствые... Не посчитались с калекой... Я деньги хотел ему отвезти, видите, даже платок храню, у меня в те края командировка». И позвонит секретарше: туда-то и туда подготовили приказ о командировке?

Что он будет делать, толстомордый, если все будет так? Возьмет под козырек и слиняет.

Но никто не пришел. Ни сразу, ни потом... Год прошел... И явился не толстомордый, а какой-то перхотный, без козырька. А Зинченко уже выбросил отрывной листок, ушли в дело деньги, был выброшен клетчатый платок. Оказывается, умерла та самая девочка. Просто-яла на платформе Левобережной полтора часа в ожидании электрички, просквозило ее, слабую, всеми ветрами сразу, и отдала калека Богу душу. Так понял Зинченко из беглого прочтения письма Брянцева. Старик писал жалобу и на железную дорогу, на бардак с расписанием. И на медицинское обслуживание написал тоже: погнали девочку за медицинским освобождением от картошки в поликлинику Химок, а то сразу не видно, какой она уборщик картофеля.

Зинченко смекнул: не будь всего этого вместе – справочно-медицинского идиотизма, плохой железной дороги, – умри, скажем, девочка от сквозняка из форточки, не было бы никакого письма. Но старик слишком долго пил вдалеке от мира густое козье молоко. Поэтому его потрясла даже не смерть внучки, а совокупность обстоятельств жизни, которой он не знал и от которой ужаснулся. И он пошел на нее, на жизнь, волоча ногу, как на последний, решительный...

Зинченко испугался. Он знал этих стариков, которым нечего терять. В партконтроле, в разных отделах писем не успевают читать их сочинения. А тут еще случилось на улице время, когда решили распаковать уши для внимания и бдительности. Но Зинченко жил спокойно, был уверен: его нельзя прищучить, а главное, нет повода и нет ниточки, за которую можно ухватиться.

Письмо этой старой сволочи Брянцева могло стать такой ниточкой. Перхотный уже носил против него целую папку.

– Все это чушь, – повторил ему тогда Зинченко. – Девочке я помог, верно... Пожалел калеку, а у нее со знаниями, между прочим, действительно было не очень... Просил натянуть, этот грех имею... Деньги? Господи ты Боже мой! Откуда у старика могли быть деньги?

– Он продал библиотеку...

– Какая у него могла быть библиотека? – всплескивал руками Зинченко. – Ну, подумайте.

Перхотный достал из папки листок, заверенный, с печатями, на котором черным по белому были перечислены книги, их стоимость и лично заверенные фамилии покупателей. Обведенная красным карандашом внизу страницы пялилась та самая пресловутая тысяча.

– Ну, ну, – пожал плечами Зинченко. – Продал библиотеку, а я при чем? Лежат деньги на книжке или истратил на что-нибудь... – Зинченко вызвал секретаршу и велел собрать людей, он таким образом выталкивал перхотного, и тот не возражал, поднялся, сказал, что он придет еще, потому что «набежали вопросы».

Зинченко отдал пришедшим к нему подчиненным какие-то противоречивые распоряжения, но люди приняли их естественно, ибо вокруг них была противоречивая жизнь, а человек, встретившийся им по дороге, был из ОБХСС. Зинченко увидел глаза своих подчиненных, но мнение народа его никогда не интересовало.

Остро захотелось домой, раздеться до трусов, выпить водки и обдумать ситуацию. Никто не видел, как давал ему деньги Брянцев. Показания его жены не в счет. Была у старика тысяча при отъезде в Москву, а потом ее не стало. При чем тут он? Да ни при чем! Докажите, докажите! Главное, что еще у этого с мышиным голосом в папке. Какие другие факты?

Зинченко приехал домой и разделся. Как хотел, до трусов. И обнаружил на себе беленькие прилегающие трусики, усиженные черненькими мелкими бабочками. Почему-то испытал острое отвращение от их прикосновения, потому и извлек из глубины шифоньера длинные сатиновые, не пристающие к телу трусы. Вспомнил про чесанки. К такому виду, который в результате получился, как-то органично потребовался граненый стакан.

...Чуть-чуть качнулась, тормозя, «Волга». Зинченко бросил на переднее сиденье трояк и вышел не глядя.

Возле редакции Костиной машины не было. Зинченко в неуверенности затоптался, не зная, как правильной поступить дальше. Уже переступая порог, он вдруг отчаянно понадеялся, что Татьяна спокойно сидит себе в своем закутке, пьет вприкуску чай, охватывая чашку ладонями и вытянув ноги к электрокамину. Она недоуменно посмотрит на него и спросит:

«Ты чего?»

Он с ходу придумал ответ:

«Я забыл сказать... Предлагают лисью шубу... Надо посмотреть... Она с брачком, совсем недорогая...»

Шубу действительно предлагали, но он, не задумываясь, дал отбой. У Татьяны хорошая импортная дубленка, можно сказать, без сносу, и финское пальто с ламой, и еще стеганое, малиновое, привез ей из Кореи. Вчера решил, что лисья шуба – это слишком. Сейчас бы он подарил ей не то что лисью – норковую, окажись же на в редакции. Но Татьяны не было. Навстречу ему по-

пался их ответственный секретарь со свежеподбритыми височками, он просто воссиял, увидев Зинченко. И затащил в кабинет, и усадил, и стал рассказывать о перспективном плане редакции и о сложностях с подпиской.

– Подорожали мы слишком, подорожали.

Зинченко пришлось его неделикатно перебить:

– Ты прости (он всегда тыкал в ответ на подобострастие, он просто не мог иначе), но я тут как частное лицо. Я ищу вашего Костю.

Лоб секретаря собрался морщинами, выдавая мучительный мыслительный процесс: кто такой есть Костя?

– Шофер, – тихо подсказал ему Зинченко, – я ищу шофера.

Секретарь кинулся к окну, отодвинул штору, и Зинченко увидел сам, как к подъезду припарковалась редакционная «Волга».

Зинченко тихо ругнулся на невезение. Что стоило ему пять минут подождать на улице, не было бы этого глупого разговора с секретарем. А теперь этот, определенно, будет спрашивать у Кости, о чем они говорили, значит, надо будет Костю предупредить, чтоб молчал.

– Я позову его, – ринулся было к двери секретарь, но Зинченко его остановил:

– Я сам выйду.

Они столкнулись на пороге, шофер и Зинченко, и несколько секунд молча смотрели друг на друга.

Если бы можно было переводить человеческие взгляды на время и деньги! Взгляд шофера Кости стоил немалых денег, это Зинченко понял сразу. Взгляд же самого Зинченко, по мнению шофера, отсчитывал не деньги, а время, а точнее – секунды.

– Я к тебе, – сказал Зинченко, – выйдем...

Костя выходил первым, и Зинченко не видел, как плотоядно усмехнулся шофер, как он мысленно уже рассказывает эту историю корешам в парке, как он ре-

шил сейчас валять перед Зинченко ваньку.

Зинченко, глядя в затылок Косте, как зверь, учуял мысли Кости, подумал, что, может статься, пустой номер – его приезд, но он сейчас будет расшибаться перед этим идущим впереди него, хотя, в сущности, информация не стоит того. Ну, не сегодня, так завтра, послезавтра все тайное все равно станет явным. Штука в том, что она ему нужна сегодня. Сейчас. Сию минуту. До задыхания.

– Сядем в машину, – предложил Зинченко.

Ну, конечно, Костя сел сзади. Он сразу давал понять: он не ехать садится. Второй раз за день Зинченко лез в машину с чувством неуверенности и легкой паники.

– Значит, так, – сказал он. – Ты куда Татьяну отвез? Отвези меня туда же...

Глупо это было, глупо. Во-первых, Костя сидел рядом. Какое «отвези», если человек специально отсел от руля?

– А куда? – вытаращил глаза Костя. – Куда отвезти? Он в упор разглядывал Зинченко. Никого никогда не разглядывал из начальников так близко. Ему доставалось зеркальное отображение уха или глаза, ну, сцепившего папиросу рта, да и не нужно было Косте больше этого. Неинтересны были ему его возимые.

А тут широкое лицо рядом, все поры наружу, и дыхание водочное, несвежее, и глаза, чуть прикрытые тяжелыми веками, ничего не выражающие глаза, тусклые и налитые. Костя знает, такие глаза. Более хитрый народ прячет их под темными очками, потому что глаза эти *на пределе* ... Скажи таким глазам слово – и полыхнут они уже с подачи потрохов ненавистью ли, злостью...

Как же она жила с таким набрякшим, Татьяна? Что ее держало возле него, горемыку? Зарплата, положение? Но он однажды видел, как она мыла в редакции полы. Он тогда рано выехал из гаража, ему в редакции

надо было взять сверток, забытый накануне: знакомая продавщица оставила ему пять пачек чая «со слонем». Он собирался отвезти чай матери, у которой за всю ее жизнь прядильщицы не возникло никаких вкусовых пристрастий, кроме индийского чая. Когда с этим чертовым чаем тоже началась чехарда и он исчез с прилавка, он первый раз в жизни видел, как мать заплакала. В войну не плакала, в голодную послевоенную не плакала, отец под электричку попал – не плакала, он, сын, ей фокусы отбрасывал будь здоров – даже сидел три года по молодости, по дури, – не плакала. Ни слезинки. Такой характер. Но, правда, и не смеялась никогда. Никаким Райкиным, никаким Хазановым или Рязановым ее не разомнешь. Слушает, смотрит... И как не видит и не слышит. «Мумия, – назвала ее в первое же знакомство Костина жена. – Ты извини, но она у тебя мумия». За матерью это закрепилось. Он сам, бывало, говорил дома: «Я к Мумии заеду».

Так вот, исчез индийский чай. А мать его пила так. Насыпала ложку сухого чая в чашку и ошпаривала его крутым кипятком. Закрывала полотенечком и ждала. Когда цвет становился таким, как надо – шоколадно-золотым, она садилась пить без всего, как какая-нибудь японка. Потом выливала гущу в ведро, отчего Костина жена прямо криком заходила: такое хорошее в помойку? А Костя материну причуду принял сразу. Ну, что она видела в жизни, его мать? Какие радости? «Вся жизнь в труде, с трудом засыпаем». Такая у них в гараже шутка. Ни одной приличной вещи мать за свою жизнь не сносила. Самое дорогое, что у нее было, – тоже, кстати, индийская толстая кофта, которую он же ей подарил на шестидесятилетие. Мать стеснялась ее носить, потому что в их коммуналке жили люди очень бедные и какие-то невезучие. Те, что побогаче, посно-ровистей, те давно съехали, а их квартира обладала каким-то особым притяжением, в нее вселялись те, у кого впереди

уже ничего не было, никакой надежды. Кофта за шестьдесят рублей торчала в этой коммуналке, как гвоздь в стене. Костя много ездил, много видел, он знает, как люди научились приспособливаться, чтобы соответствовать времени. Материна квартира была островом в океане-море. На кухне стояли неизменного зеленого довоенного цвета кастрюли, жильцы носили какого-то невообразимого цвета серые вещи, они жили тихо, тихо напивались. Костю прямо за горло хватала эта его родина, где он учился ходить, переходя от одной коричневой двери к другой. Вот почему он просто счастливым себя почувствовал, узнав, что у матери есть страсть – чай «со слоником». И понял, почему она заплакала, когда пропал этот чай, – у нее не то что *все* отняли, все было отнято давно, у нее отняли то *малое*, что у нее еще осталось. И тогда он стал ей его доставать. Радовался, видя тумбочку, забитую пачками. «Не пропадешь, мать!»

Сейчас, глядя в самые поры зинченковского лица, он обо всем вспомнил – о матери, о чае, о Татьяне, которая мыла в редакции полы. Он тогда тихо вошел, он вообще тихо ходит, такая у него привычка смолоду, а она двигалась к нему задом, ловко собирая в тряпку воду. Ну, он тогда прежде всего, конечно, посмотрел на ее высоко открытые ноги, белые, сильные, с узкими щиколотками. Но уже прошел период, когда ему хотелось просто «завалить» ее, он уже относился к ней иначе, сочувствуя ей и желая ей бабьего счастья. Он сразу понял: не надо, чтоб она его видела. Не для того она пришла в такую рань. И он ушел так же тихо, как и появился. Трепач, злослов Костя никому не рассказал про Татьянино мытье. Сел в машину и подумал о ее муже: «Ну, мурло, ну, мурло... Ну, от хорошего разве побежишь полы чужие мыть?»

Сейчас же это мурло ждало от него предательства, дыша на него водкой, выпитой из мерной кружки.

Костя засмеялся.

– Чего? – спросил Зинченко.

– Удивляюсь, что вы меня спрашиваете, где ваша жена, – ответил Костя. Глядя прямо в набрякшие зинченковские глаза, Костя ощутил какую-то сладкую ненависть. Вот этот чиновник, этот бюрократ, эта сволочь, от которого убежать и полы помыть – счастье, и есть его лютый враг. – Не знаю, где ваша жена, – удовлетворенно повторил Костя.

И тогда Зинченко достал бутылку.

«Мать честная! – подумал Костя. – Мне, оказывается, цена – одна бутылка. Пять пятьдесят...»

Зинченко же тупел. Ему отказывал даже не разум – чутье. То самое чутье, какое его выручало, вело, помогало во всех жизненных перипетиях. Он достал эту проклятую бутылку, абсолютно не понимая Костиной открытой, даже какой-то лучезарной улыбки.

– Спрячь, – сказал Зинченко. – Вечером примешь под ужин.

Костя засмеялся громко, даже голову закинул от смеха. И враз замолчал.

Идиот Зинченко полез в карман. Он не понимал ни смеха, ни обращения, ни этого внимательно рассматривающего глаза, он доставал бумажник.

– Нет у тебя таких денег. Сроду не будет, – тихо сказал ему Костя. – Не скрипи кожей.

– Сживу со свету, – прошипел Зинченко. – Сгною, понял?

– Не сживешь... Не сгноишь... – спокойно ответил Костя. – Вали отсюда! Слышь, вали!

Полагалось вмазать шоферу по роже, такой шел разговор. Но Зинченко слишком далеко ушел от того себя самого, который таким способом решал вопросы.

Сейчас он не мог, *как раньше*, и не знал, *как сейчас!* Прочная земля разверзалась под ним, затягивая его в образовавшуюся щель, и он падал, падал, падал... С этим

надо было кончать, он рванул дверцу машины и вышел. Из окна кабинета ему махал руками этот, что с подбритыми височками, он не то звал, не то прощался, но он хорошо поступал, назойливо торча в окне, потому что именно за него Зинченко зацепился и стал себя осознавать.

– Не трепись о нашем разговоре, – уже твердо сказал он Косте.

Зинченко медленно шел по улице. Он не знал, где искать Татьяну, представить себе не мог другого мужчину. Откуда он вообще мог взяться? Может, вернуться к ответственному секретарю и взять его за лацканы и чуть поднять над землей? Этот скажет! Все скажет, если что есть и если знает... А не знает, будет бежать рядом, вынюхивать след, давать советы. Но советы Зинченко не нужны. Ему нужно сейчас прикрытие... От этого перхотного с папкой... В общем, это все-таки главное... То есть, конечно, Татьяна главнее... Он все бы отдал, вернись она домой... Но тут такая штука: она не вернется к нему, пока над ним нависла папка. Ёж твою двадцать! Она чистюля, мать твою так! Она им побрезгует.

Значит, надо, во-первых, перекрыть кислород этому мышиному с бумагами. И сделать все так быстро, чтоб он не успел еще раз рот открыть. А потом уже Татьяна. Он потряхнет город так, что все прописанные и не прописанные в нем повываливаются из своих кроватей. И она, Татьяна, прибежит из человеколюбия, из жалости, чтоб он не потрянул, не дай Бог, во второй раз. Он ее этим возьмет – сочувствием. Она этим слаба.

Поэтому прежде всего ему нужен Виктор Иванович. Он ему расскажет все как есть, без подходов. «Не я это начал, – скажет. – Помнишь? Когда мы из командировок возвращались... Десять цыплят со связанными ногами стоили нам с тобой семнадцать копеек... Помнишь? Ты никогда не думал, сколько цыпленок стоит на самом деле?» Он ему скажет «ты». Почему-то очень этого хо-

телось.

Уважая и чтя Виктора Ивановича, Зинченко знал минуты ненависти к нему. Это были как раз «денежные минуты». Виктор Иванович, принимая от него деньги, так тяжело, так страдальчески вздыхал, будто не ему давали, а он отрывал от сердца последнее. И головой, бывало, качает, и бурчит себе под нос: «Лишнее это, Коля, лишнее...» Чвакнет дверцей сейфа и обязательно скажет какую-нибудь бузу о щедрости народа, о великой широте его души. Вот в эти минуты хотелось Зинченко сунуть голову бывшего учителя между колен и давить, давить. Сдерживался Зинченко. Скрипел зубами и сдерживался. И проходили ненависть, и злость, и желание придавить. Сейчас другая ситуация. Они оба зависли над пропастью.

Блаженный Виктор Иванович должен сейчас испугаться до смерти, а потом нажать на все кнопки. Придется ему сказать, во сколько обошлось назначение Кравчука... Сколько стоили обеды и сколько презенты всем, от кого это зависело. Неужели он, Виктор Иванович, думает, что только чириканьем по телефону решалась эта проблема? Ему еще предстоит поговорить с Кравчуком на эту тему... Он знает, что ему сказать... Кравчук – современный, он соображает на минуту раньше, чем слышит. Правда, Зинченко его не любит. Еще с тех пор, как тот смолodu вилял вокруг Татьяны. Не любит и за бойкость пера. Зинченко не признает слова «талант». Не хочет принять некую изначальную данность, которая вдруг оказывается в человеке. Конечно, все это есть, громкий голос там или умение рисовать, но есть в наличии этого какая-то несправедливость. Почему одному дано, а другому нет? Чем другой хуже?

Так что ж ему за это, скажет он Виктору Ивановичу, и за границу принести за так, на блюдецке... Не за так, дорогой шеф, не за так!

Так что выручай, Виктор Иванович! Спали папку. Переедь перхотного трамваем, когда он прижимает ее к боку. Главное же – письмо Брянцева. Пусть Виктор Иванович пошлет к этому маразматику толковых гонцов, пусть они поплачут все вместе над могилой дорогой внучки, пусть отвезут деньги ему в клетчатом платке, да не тысячу, а поболее... Пусть козу ему привезут самую лучшую, из павильона ВДНХ.

В общем, это не его, Зинченко, дело. Тут уже нужны силы поболее. Музыка погромче. И он скажет об этом Виктору Ивановичу впрямую и в открытую и уйдет. Пусть старик хоть раз в жизни почешется...

Зинченко почти успокоился. Полезно, оказывается, ходить пешком. И Татьяну он вернет... Нет такого человека на земле, которому нельзя было бы скрутить руки. Он не знает Татьянинного хахаля, если он вообще есть, представить его себе не может... Но скрутить руки – он скрутит. Он скрипнул зубами и напряжинил шаг, потому что на него уже глядел всеми своими окнами родной офис.

В глаза бросилась авоська с курицей, которая распластанным образом лежала на подоконнике второго этажа.

ВИКТОР ИВАНОВИЧ

«Николай – верный человек, – думал Виктор Иванович. – Вот я сейчас вернусь к себе, вызову его и скажу: «Коля! Прошу тебя, забери это все! Употребь деньги в дело!».

Какое дело?

Неважно. Детский дом или магистраль. Коля сообразит. Главное, чтоб не было проклятых денег в сейфе. Хотя, с другой стороны, присутствие некоей неизвестной суммы вроде и оправдывало Виктора Ивановича. Хотелось даже крикнуть кому-то в пространство: «Ко-

пейки чужой не истратил!» Неправдой это было – картины Петрушкины все-таки покупал, но и правдой было тоже – другого не покупал ничего. Грешный Петрушка! Это ты меня путаешь, сынок? Хотелось припасть к чьей-то груди и выговорить все с самого начала. И очиститься. И начать все сначала. Вообще было острое желание плакать, и оттого, что он сдерживался, что-то в нем противно булькало и хлюпало.

Виктор Иванович пошел на кухню попить воды. Кран громко выхлопнул три рыжие капли и замер. Он пошел в ванную, до упора открутил кран, но тут даже капли не вышло. На участке стояла водоразборная колонка, когда-то, когда еще воду не провели в дачу, они ходили за водой туда. А потом колонкой стали пользоваться только для полива. С эмалированной кружкой, в которой кто-то разводил марганцовку, Виктор Иванович отправился к колонке. «Отключили дома, – решил он, – а централь-то не могли».

Горло колонки было отрезано, а торчащая труба была забита деревянным штырем. Когда это было сделано, Виктор Иванович не знал, но, судя по уже заросшей тропинке, которая вела к колонке, по почерневшему штырю, это было сделано давно.

Виктор Иванович глупо стоял с кружкой. Штука была в том, что, когда он шел к крану в кухне, пить не то чтобы не очень хотелось, а, можно сказать, не хотелось совсем, просто надо было сглотнуть что-то в горле. Будто что-то застряло. Теперь же, возле бывшей колонки, он просто умирал от жажды, казалось, минута – и не хватит сил вытерпеть.

Был простой выход. Дойти до машины, она метрах в двухстах отсюда стояла, у дачи Савельича, и быстро поехать, тут недалеко было кафе, притормозить возле и выпить минералки. Или там сока. Еще проще попросить воды у Савельича. Если воду отключили, то у него, оп-ределенно, был запас, он ведь живет здесь постоянно.

То есть никакой проблемы утолить жажду у Виктора Ивановича не было.

Но так зажглось во рту и горле, таким сухим и толстым стал язык во рту, что он сделал несусветное – стал пробовать вытащить штырь из трубы. Руки сразу покрылись ржавчиной, но не в этом было дело, они были какие-то ватные, какие-то мягкие, не способные держать руки. «Ладно, пойду», – подумал Виктор Иванович и, опустившись на корточки, стал вытирать о траву слабые ладони. Но и это у него почему-то не получалось. Пришлось даже сесть для удобства, вода туда-сюда, туда-сюда по вялым листьям подорожника.

...И вспомнился запах. Они валялись тогда на взгорочке, сняв ремни и расстегнув пуговицы гимнастерок, уткнувшись носом в такой же точно вялый подорожник, и вдруг кто-то завопил: «По укрытиям!» Они схватились с места и пулей сиганули за пригорочек, и тут же услышали смех взводного, который, такой же расстегнутый, шел к ним с охапкой ромашек.

«Ну, ребята, вы так красиво лежали, – сказал он им, – расстрелять вас было бы одно удовольствие».

Начался у них тогда разговор о том, как они будут жить потом, после войны. Все они были холостяки, забрали их восемнадцатилетними, поэтому главным вопросом был вопрос, как быть «с их сестрой». Жениться ли сразу, чтоб все начинать с женщиной вместе, или «все вкусить»? Или, может, вообще не жениться, потому что кто его знает, какая попадетсЯ, потому что баб хороших, конечно, много, но и плохих не меньше. Потом Виктор Иванович прочел много, наверное, неважных книг о войне, где все его сверстники были чистые-пречистые, «анголы», как говорила его мать. Его товарищи были почему-то совсем другими. Они были всякие. Люди, одним словом. Среди них он, Витек, пожалуй, был единственный голубой и розовый сразу. Он, например, мечтал жить в доме-гиганте (в их городе в три-

дцатые годы построили такой дом – в три этажа) на самом третьем этаже. Он мечтал сидеть на сцене с аккордеоном, а чтоб сзади него – все в длинных белых блестящих платьях – стояли девушки и пели под его аккомпанемент. Он мечтал, чтоб его девушка сидела в этот момент в первом ряду в шляпе с вуалеткой в точечку, закинув ногу за ногу, и была на ее вскинутой ноге черная лодочка с муаровым бантом. Он мечтал купить матери плюшевую жакетку, та, в которой она ходила до войны, совсем потерлась, а какие деньги у почтальонки? Он мечтал в комнате дома-гиганта иметь патефон, зеркало-трюмо и кровать на панцирной сетке. Он мечтал иметь этажерку, на которой бы стояли «Краткий курс», «Нана», «Милый друг» и стихи Есенина. Он мечтал о темно-синем шевиотовом двубортном костюме и длинном галстуке в широкую косую полоску. Он мечтал попробовать гоголь-моголь, о котором только слышал. Он мечтал об аккордеоне, с которым будет сидеть, и так далее. Он получил аккордеон в городе Герлице. Зашел в брошенный хозяевами дом, а в коридоре, прямо под большой массивной вешалкой, на которой остались зонт и пояс от серого плаща, стоял упакованный в чехол аккордеон. Он взял его, малиновый, с золотом. До сих пор жив, сносу ему нет. А взводный тогда ласкал заскорузлой ладонью бархатную с кистями зеленую скатерть. «Эхма! – говорил он. – Как у царицы платье! Это ж надо – какая гладкость... А мягкость? Сносу ж наверняка нету... Всю жизнь в таком ходить можно!»

Почему-то стало нестерпимо важно выяснить, что из того, чего так хотелось молодому, осуществилось. Значит, так... Комнаты на третьем этаже «гиганта» не было, Виктор Иванович, кажется, даже хихикнул, потому что, начиная с неосуществленной комнаты, и все остальное у него было лучше! Ему, молодому учителю, дали сразу не одну, а две комнаты в доме почты. Круглые сутки

они с Фаиной слушали через стенку: «Алло! Алло! Райком? Примите сводку!» Центнеры, литры, гектары, воплощенные в красивую, с запятой, цифирь, протекали через стенку, через их уши и так же свободно уходили куда-то в пространство, не задевая, не вызывая раздражения... Крепкое здоровье было у них с Фаиной. Была ли Фаина той девушкой в вуалетке с черной точечкой? Жена преподавала химию, и у нее от реактивов пальцы были сухие и шершавые. Она не сидела в первом ряду его мечты, она стояла рядом с ним, когда он играл, и пела без всякого хора, соло: «На позицию девушка провожала бойца», «На солнечной поляночке», «Значит, ты пришла, моя любовь...». Он был счастлив в эти минуты. И сейчас ему захотелось сказать об этом Фаине. Она должна это знать. Смолodu, с войны, как-то было стыдно говорить разные слова, а когда вроде научился из кино, из книжек, взял и сказал все слова другой... Слава Богу, Фаина ничего про это не знает, но она и про то, что он ей благодарен, тоже не знает. Приедет сейчас и скажет: я мечтал, чтоб ты меня слушала, а ты со мной пела... Это, Фая, перевыполнение мечты. Дальше в душе у Виктора Ивановича поднялись слова, которые показались ему хорошими, ласковыми: рука об руку, жизнь пройти – не поле перейти, семья – ячейка общества. Их оказалось очень много, таких слов, они сыпались из него, забивали рот... Виктор Иванович со слезами подумал: оказывается, я ее все-таки любил, но тут что-то в нем нестерпимо зазвенело, заверещало, заколотило. Пришла гневная Галочка. Шумом пришла, ветром. А так хорошо было, покойно... «Ты, Галя, пойми», – сказал он ей. А она не понимала. Она закричала страшные слова: «Ну и пусть исключат!» Правда, тут же сама, глупая, испугалась. Теперь, слава Богу, все позади... И вдруг он понял, что для него уже не имеют значения понятия «позади» и «впереди», что он запросто может быть и там, и там. В один и тот же момент он благодарит Фаи-

ну за все ее песни и мчится к Галочке, Галине, которую он должен проводить в город Гурьев. Они вместе выбрали этот город, потому что – так смешно! – в один и тот же день, когда они ползали по большой карте, специально снятой с гвоздика, и обнаружили, что Гурьев и их родной город почти на одной параллели, им в тот же день предложили в столовой гурьевскую кашу. Они просто зашлись от смеха.

Сейчас он мчался проводить Галочку и быстро, быстро просить туда же назначения. И еще он мчался поблагодарить Фаину и попросить ее не кричать на домработницу. Он вспомнил сразу, одновременно крепкую, налитую, с шершавым соском грудь Галочки и дряблую, поникшую грудь Фаины. И понял, что любил обеих женщин... Скорость была невероятная, поэтому Виктор Иванович захотел осторожить шофера, но тут они как раз въехали в тоннель. И возникло ощущение, что он едет в картину Петрушки... Вот она, впереди маячит «Мишень». Но тут же это ушло, потому что вспомнилось совсем несуразное. Гуськом, как утята за матерью, идут в школу ребята. Под его аккордеон. Фаина стоит рядом – как же он забыл? – в черных лодочках с муаровым бантом и отбивает ритм сложенной тетрадкой. Он запомнил этот первый класс. Впереди всех шла Наташа. Потом она вышла за Кравчука и стал а а лкоголичкой. Но тогда она ничего не боялась и шла так отважно и весело, что местный фотокор в ноги ей кинулся, чтоб запечатлеть ее такую. И она, малявка, даже притормозила, понимая, как это важно – ее снять для газеты. Фотокор благодарно пожал ей лапку и сказал: «Всегда будь такой!» «Всегда буду!» – радостно ответила она.

«Надо найти эту фотографию, – озабоченно подумал Виктор Иванович. – Хорошее лицо для международной выставки».

Потом шла Таня Горецкая. Третий класс, с золотой косой до пояса. «Ну, мать честная, – закричал фото-

граф, – у вас тут не дети, а просто оранжерея». Таня шла и пела, она одна знала все слова песни, которую он тогда играл. Она прошла мимо фотокора равнодушно, и ее детская спинка была прямой и гордой.

Шел Валя Кравчук. Он прямо ел его, Виктора Ивановича, глазами, и столько было в этих глазах восхищения, что Виктор Иванович подмигнул мальчишке, за что получил тычок тетрадью от Фаины. «Не фамильярничай», – прошептала она ему.

Следом шли старшие. Галочку он не помнит. Помнит ее сестру Ольгу. Она шла, поджав губы, ни на кого не глядя. Ни на кого не глядя, бычком прошел и Коля Зинченко.

«Надо найти всех этих детей, – думал Виктор Иванович. – Надо их собрать вместе. А я поиграю им на аккордеоне».

«А в морду не хочешь? – спросил его взводный. – Я тебе дам играть среди ночи! Ишь, Новиков-Прибой...»

«Я тогда постеснялся ему сказать, что не Прибой, а Седой, и не Новиков, а Соловьев... Так он и будет ошибаться... Надо обязательно найти его и осторожно поправить, чтоб не обиделся».

Скорость увеличивалась, но и росло количество не сделанных дел. «Ах ты, Боже мой!» – забеспокоился Виктор Иванович, а тут и туннель проехали, и Некто стоял на дороге, подняв руку, как для автостопа.

«Садитесь, садитесь, – растерянно сказал Виктор Иванович. – Вам куда?»

«Нам по дороге», – засмеялся Некто.

«Ну и хорошо, – обрадовался Виктор Иванович, – а то мне сворачивать никак... Ничего не успеваю... Дел по горло...»

И он хотел показать это «по горло», но вдруг понял, что не сможет этого сделать. То ли не было горла, то ли рук, то ли они существовали в разных местах или временах, только шевельнувшиеся пальцы распростертого

на траве человека лишь и сумели, что чуть прищемить лист подорожника.

Он не знал, что в двухстах метрах от него разговаривали двое. Савельич, сжимая когтистой рукой когтистую куриную ногу, говорил respectableному седоватому мужчине, который, аккуратно натянув штанины над коленями, усаживался в кресло напротив.

– Пошел к себе, – сказал господину Савельич. – Переживает...

– Вы ему ничего не сказали? – спросил мужчина.

– Витя нежный... Витя – подсолнух... Пусть отдыхает... От дела Зинченко его надо отделить совсем...

– Не получается, – сказал respectableный, продолжая тянуть брючины вверх.

– Не трогать Гуляева по уголовке! Не трогать! – Казалось, Савельич хочет бросить куриной лапой в собеседника, тот даже вздрогнул, и встал, и крутанул шеей.

– Пойду к нему! – сказал он и засмеялся. – Убежал от судьбы, как мальчишка. Казак!

И гость Савельича пошел по тихой зеленой улице. Приметил в стороне машину Виктора Ивановича. Шофер лежал на траве, закрыв глаза «Огоньком».

Не торопясь, помахивая веточкой, гость шел к даче Виктора Ивановича.

Он наткнулся на него возле колонки. Виктор Иванович лежал, глядя широко открытыми глазами в небо. Рядом с протянутой рукой, будто прося Христа ради, стояла эмалированная кружка с пятнами марганцовки.

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНТИКИ И РЕАЛИСТЫ (Не для белого человека).

Роман 3

РЕАЛИСТЫ И ЖЛОБЫ (Чистый четверг). *Роман*.....299

Литературно-художественное издание

Галина Щербакова

ПРОВИНЦИАЛЫ В МОСКВЕ

Ответственный редактор *Л. Михайлова*

Выпускающий редактор *Ю. Качалкина*

Художественный редактор *А. Сауков*

Технический редактор *О. Куликова*

Компьютерная верстка *Е. Кумшаева*

Корректор *М. Колесникова*

В оформлении использованы фото ***Р. Горелова***

ООО «Издательство «Эксмо» 127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5.

Тел. 411-68-86, 956-39-21.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Подписано в печать 24.03.2008.

Формат 84x108 ¹/₃₂- Гарнитура «Балтика». Печать офсетная.

Бумага тип. Уел. печ. л. 23,52.

Тираж 20 100 экз. Заказ № 3383.

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».

143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

Оптовая торговля книгами «Эксмо»:

ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74

E-mail: reception@eksmo-8ale.ru

По вопросам приобретения книг «Эксмо»

зарубежными оптовыми покупателями обращаться в ООО «Дип pocket»

E-mail: foreign@eksmo-eale.ru

International Sales:

International wholesale customers should contact» Deep Pocket» Pvt. Ltd. for their orders

f.oreign@eksmo-eale.ru

По вопросам заказа книг корпоративным клиентам,

в том числе в специальном оформлении,

обращаться в ООО «Форум»: тел. 411-73-58006, 2596

E-mail: ylpzakaz@eksmo.ru

Оптовая торговля бумажно-беловыми

и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:

Компания «Канц-Эксмо». 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный),

e-mail: kanco@eksmo-8ala.ru, сайт: www.kanco-akamo.ru

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:

В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.

Тел. (812) 365-46-03/04

В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.

Тел. (8312) 72-36-70.

В Казани: ООО «НКП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (843) 570-40-45/46

В Ростове-на-Дону: ООО «РДЦ-Ростов», пр. Стачки, 243А.

Тел. (863) 268-83-59/60.

В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е».

Тел. (846) 269-66-70.

В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.

Тел. (343) 378-49-45.

В Киеве: ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9.

Тел./факс (044) 501-91-19.

Во Львове: ТП ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Бузкова, д. 2.

Тел./факс (032) 245-00-19.

В Симферополе: ООО «Эксмо-Крым», ул. Киевская, д. 153.

Тел./факс (0652) 22-90-03, 54-32-99.

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и канцтоварами «Канц-Эксмо»:

117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс (495) 411-50-76.

127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (495) 780-58-34.

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»:

В Москве в сети магазинов «Новый книжный»:

Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12. Тел. 937-85-81.

Волгоградский пр-т, д. 78, тел. 177-22-11; ул. Братиславская, д. 12, тел. 346-99-95.

Информация о магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.

В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:

«Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»

обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.

**Александр
КУДРЯВЦЕВ**

Не бойся никогда



СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК
ПОЛОН АМБИЦИЙ И
МЕРЯЕТ СЕБЯ ИСКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНО БУДУЩИМ...

ТОГДА КАК ЗАЧАСТУЮ
ПОЛЕЗНЕЕ ЗАГЛЯНУТЬ
НАЗАД, В ПРОШЛОЕ,
ЧТОБЫ ОЩУТИТЬ СОБ-
СТВЕННУЮ ЗНАЧИМОСТЬ
СЕГОДНЯ.

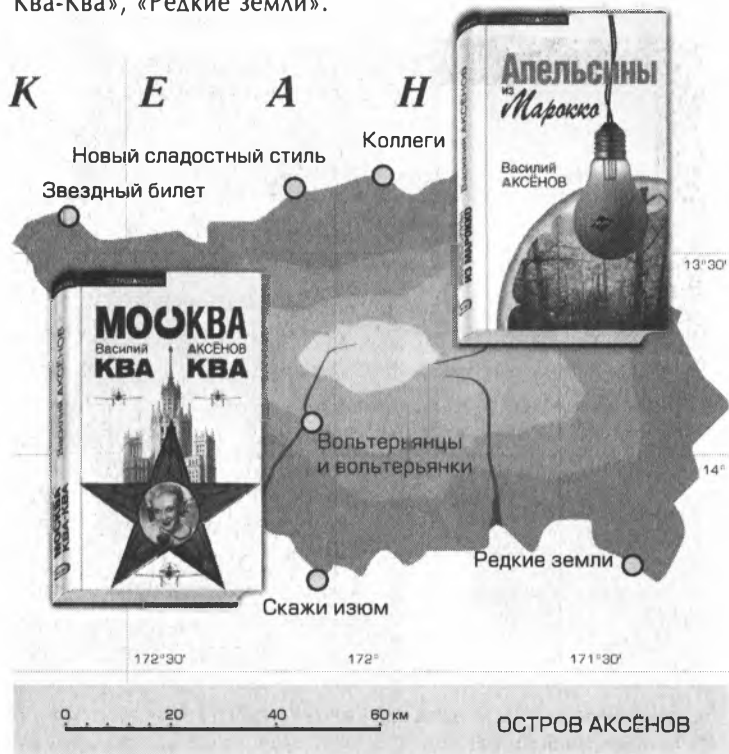
ИСПОВЕДЬ НЕЛИШНЕГО ГЕРОЯ. ЮНОСТЬ FLASHBACK

Нас увлекали пронизательные циники и довлеющие мизантропы от литературы, мнящей себя "современной". Мы читали их излияния – а сами хотели простого русского слова. Нам хотелось поговорить о мечте, которую, как нам казалось, мы потеряли. И о юношеских годах, которые, оказывается, всё это время были с нами.

www.eksmo.ru

Серия "Остров АКСЁНОВ"

В новую, оригинально оформленную серию вошли любимые произведения легендарного писателя Василия Аксёнова. Это «Коллеги», «Звездный билет», «Апельсины из Марокко», «Остров Крым», «Скажи изюм», «Новый сладостный стиль», «Вольтерьянцы и вольтерьянки», «Москва Ква-Ква», «Редкие земли».



Серия «Остров Аксёнов» – своеобразный отчёт самобытного писателя перед читателем и перед собой за полвека творчества. Это книги человека, воплотившего в себе дух времени и свободомыслие эпохи перемен.

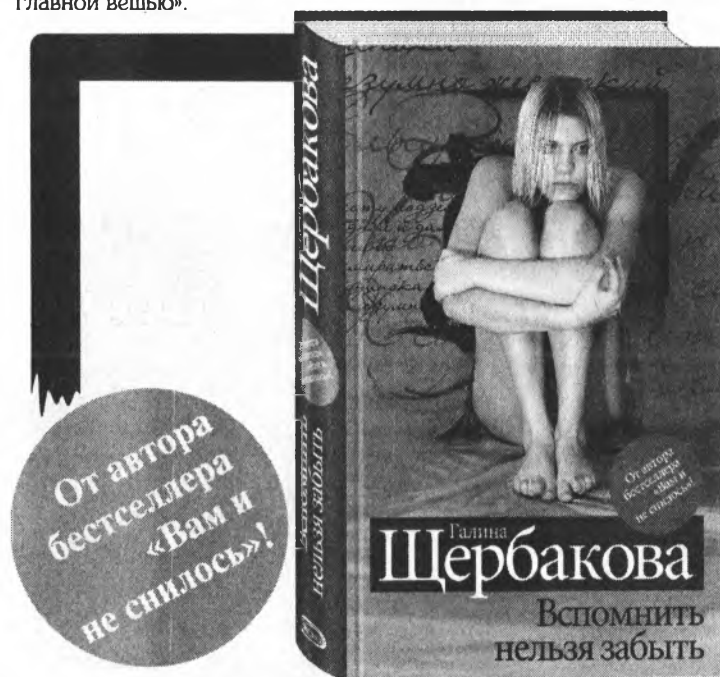
www.eksmo.ru

В море книг есть остров,
который нельзя не посетить...

Галина ЩЕРБАКОВА

«ВСПОМНИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ»

«...Случается, меня приглашают на встречи с читателем. Только я отказываюсь. Потому что разговор опять будет крутиться вокруг одной лишь «Вам и не снилось»... А она никогда не была для меня главной вещью».



Читайте лучшие произведения Галины Щербаковой в книге «Вспомнить нельзя забыть»: «Дверь в чужую жизнь», «Отчаянная осень», «Дом с витражом» – и, конечно, новую повесть, давшую название всему сборнику.

**Вам и не снилось,
что у неё есть столько прекрасных историй!**
– В серии "Лучшая новейшая женская проза"

Серия «ЛАУРЕАТЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ»

Андрей ТУРГЕНЕВ

Роман Андрея Тургенева «Месяц Аркашон» (2003) – один из фаворитов премии «Национальный бестселлер-2004». Этот роман можно было бы назвать флюбировским – если бы он не был таким современным и таким русским! «Можно всё!» – провокационно заявляет автор. Мужчи-

не разрешено продавать свою способность доставлять удовольствие одной и содержать на эти деньги другую, свободную, молодую и распутную... А сильная, успешная и опытная женщина имеет право проверить свою способность манипулировать людьми от скуки.



Свежий, живой язык, неповторимый авторский стиль, пост-модернистские смещения времен и смыслов ставят автора в ряд выдающихся писателей нашего времени.

**Фривольно? Возможно. Изысканно?
Не без этого. Совершенно? Без сомнения!**

www.eksmo.ru

– Понаехали тут, – злобно шипят
за спиной незнакомые люди.
– Москва! Я покорю тебя, я смогу, –
идут вперед провинциалы, и плевать
они хотели на московский снобизм.

Опасения столичных жителей можно
понять – приезжие влияют на уклад
жизни, разрушают традиции,
захватывают лучшие должности
и теплые места.

Никакие ограничения, унижения
и опасности мегаполиса не остановят
активных, талантливых, энергичных
людей, рожденных в глубинке,
на пути к «завоеванию» Главного
Города своей страны!

*Дилогия Галины Щербаковой исследует
темные и светлые стороны жизни
и амбиций провинциалов в Москве.*

ISBN 978-5-699-27249-5



9 785699 272495 >

Галина
Щербакова

От автора
бестселлера
«Вам и
не снилось»!

**Провинциалы
в Москве**

